

*Российская академия наук*  
*Институт русского языка им. В.В. Виноградова*

# **РУССКИЙ ЯЗЫК**

**в научном освещении**

**№1**

**(5)**

***ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ***

*Москва*

*2003*

**Научный журнал**

Основан в январе 2001 года

Выходит два раза в год

**Редакционная коллегия:**

*А. М. Молдован* (главный редактор), *А. А. Алексеев*, *Х Андерсен* (США), *Ю. Д. Апресян*,  
*А. Богуславский* (Польша), *И. М. Богуславский*, *Д. Вайс* (Швейцария), *Ж. Ж. Варбот*,  
*А. Вежбицкая* (Австралия), *М. Л. Гаспаров*, *А. А. Гиппиус*, *М. Ди Сальво* (Италия),  
*Д. О. Добровольский*, *В. М. Живов*, *А. Ф. Журавлев*, *А. А. Зализняк*, *Е. А. Земская*,  
*Х. Кайперт* (Германия), *В. В. Калугин* (ответственный секретарь), *Л. Л. Касаткин*,  
*Э. Кленин* (США), *А. Д. Кошелев*, *Л. П. Крысин*, *Р. Лясковский* (Швеция), *Х.-Р. Мелиг* (Германия),  
*И. Мельчук* (Канада), *Н. Б. Мечковская* (Беларусь), *Е. В. Падучева*, *Т. В. Рождественская*,  
*А. Тимберлейк* (США), *Х. Томмола* (Финляндия), *М. Флайер* (США), *А. Я. Шайкевич*, *А. Д. Шмелев*

**Адрес редакции:**

121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка

им. В. В. Виноградова РАН, Редакция журнала «Русский язык».

Тел.: (095) 201-79-92, факс: (095) 291-23-17, e-mail редакции журнала: [rusyaz@yandex.ru](mailto:rusyaz@yandex.ru),

e-mail: [koshelev.ad@mtu-net.ru](mailto:koshelev.ad@mtu-net.ru)

Зав. редакцией *Н. Н. Розанова*

*Редактор номера: М.А. Осипова*

*Корректор: А.И. Рыко*

Издатель *А. Д. Кошелев*

Подписка на журнал оформляется в любом отделении связи по  
Объединенному каталогу «Печать России», индекс 44088

G.E.C. Gad Booksellers, Slavic Department, Ndr. Ringgade 3, DK-8000 Aarhus C, Denmark (Fax: +54 86 209102; E-mail: [slavic@gad.dk](mailto:slavic@gad.dk)) have the exclusive right to distribute this publication in Europe and the United States.

Исключительное право на распространение журнала в Европе и США принадлежит датской книготорговой фирме G E C GAD (Fax: +54 86 209102; E-mail: [slavic@gad.dk](mailto:slavic@gad.dk)).

© Институт русского языка  
им. В. В. Виноградова РАН  
© Авторы, 2001

## СОДЕРЖАНИЕ

### Исследования

<i>А.В. Бондарко.</i> Функциональная грамматика: проблемы сочетаемости	5
<i>И.И. Ковтунова.</i> Семантика форм лица в языке поэзии	23
<i>М.Л. Гаспаров, Т.В. Скулачева.</i> Односложные слова в стихе: ритм и части речи	35
<i>В.П. Григорьев.</i> Мандельштам и Хлебников, II (1932 – 1936)	51
<i>Р.И. Розина.</i> Глагольная метафора в литературном языке и в сленге: таксономические замены в позиции объекта	68
<i>Анна А. Зализняк.</i> Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира	85
<i>О.Е. Фролова.</i> Вульгарный или пошлый	106
<i>Т.В. Пентковская.</i> Лексический критерий в изучении древнеславянских переводов: проблемы локализации и группировки	124
<i>И.И. Макеева.</i> Акцентная микросистема Архивского хронографа XV в. (На материале «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия)	141
<i>В.И. Аннушкин.</i> «Книга риторского всекраснаго златословия» Козмы Афоноиверского 1710 года: источники – содержание – терминология	170

### Полемика

<i>А.А. Алексеев.</i> Еще раз о книге Есфирь	185
<i>Б. Гаспаров (Нью-Йорк).</i> Наблюдения над употреблением перфекта в древнецерковнославянских текстах	215

### Personalia

#### Памяти Михаила Викторовича Панова (1920-2001)

<i>Е.А. Земская.</i> М.В. Панов как теоретик, или о значимости «фонетической печки»	243
<i>Л.П. Крысин.</i> М.В. Панов как социолингвист	250

### Рецензии и обзоры

<i>Л. Найдич, Х. Пфандль.</i> Рец. на: Язык русского зарубежья. Общие процессы и речевые портреты. Отв. ред. Е.А. Земская. М.; Вена, 2001	255
--	-----

<i>И.А. Гулова.</i> Рец. на: Русский язык зарубежья. Под ред. Е.В. Красильниковой. М., 2001	263
<i>К.А. Максимович.</i> Рец. на: Людмила Щеголева. Путятина Минея (XI в.) в круге текстов и истолкования. М., 2001	269

### **Информационно-хроникальные материалы**

<i>Н. Будаева, Н. Труфанова.</i> Международная конференция «Пятыешмелевские чтения: проблемы семантического анализа лексики» (Москва, 23-25.02.2002 г.)	276
<i>Н.К. Онипенко.</i> Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы (Москва, 8-10.07.2002 г.). Хроника конференции	282
<i>А.А. Алексеев.</i> Международная конференция «Проблемы славянской библейской филологии» (Москва, 16-20.09.2002 г.)	294
<i>В.Е. Гольдин, О.Ю. Крючкова, А.П. Сдобнова.</i> Симпозиум «Власть, общество, личность в речевом сознании взрослых и детей современной России: функциональные, социальные, гендерные и возрастные параметры» (Саратов 13-25.11.2002 г.)	297
<i>О.Г. Ровнова, Т.Б. Юмсунова.</i> Отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 2002 года – 29,042	

### **Письмо в редакцию**

<i>Н.В. Перцов</i>	317
--------------------	-----

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА: ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОСТИ

Интенсивная разработка проблем семантики требует особого внимания к различным аспектам системности. Речь идет не только об анализе средств формального выражения языковых значений, но и о системном анализе семантических категорий и единиц, семантического содержания высказывания и целостного текста. При таком подходе к изучаемым фактам языка и речи функциональное направление лингвистических исследований по существу становится системно-функциональным.

В этой статье рассматриваются проблемы языковой категоризации семантического содержания, конкретизируемые в следующих аспектах: 1) оппозиции и неоппозитивные различия; 2) инварианты и прототипы; 3) взаимодействие системы и среды; 4) межкатегориальные связи.

**1. Оппозиции и неоппозитивные различия.** Оппозиция предполагает бинарное противопоставление, строящееся на едином основании. Обязательным условием для определения такого предмета анализа, как оппозиции, является наличие определенного отношения к каждому признаку у обоих членов оппозиции. Ср., например, признаки «ограниченность пределом» и «целостность», лежащие в основе оппозиции совершенного / несовершенного вида (СВ / НСВ).

Далее речь будет идти о неоппозитивных различиях (НР). НР представляет собой такую структуру, в которой обобщенное значение данного единства (родовое понятие) репрезентируется в членах единства, отличающихся друг от друга как по соотносительным признакам (однородным, представляющим единое основание членения), так и по признакам несоотносительным (неоднородным). В отличие от оппозиции, данная структура может быть не только двучленной, но и многочленной,

НР связано с понятием естественной классификации. В сфере лингвистики это определяемое единицами, классами и категориями данного языка членение, для которого характерны следующие особенности: 1) возможные отклонения от единого основания классификации; 2) частичная неоднородность выделяемых признаков; 3) возможность пересечения классов. Исследователь следует принципу «доверия языку», опираясь на его формы, классы и категории.

Основы такого подхода к языковым единствам и их соотношениям были раскрыты применительно к частям речи Л. В. Щербой: «... в вопросе о “частях речи” исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой, или точнее, — ибо дело вовсе не в “классификации”, под какую общую категорию подводится то или иное лексическое значение в каждом отдельном случае, или еще иначе, какие общие категории различаются в данной языковой системе» [Щерба 1974: 78—79]).

Сущность принципа естественной классификации (без употребления самого этого термина) убедительно выявляется В.М. Жирмунским. Осмысляя природу частей речи и их классификации, он излагает свое понимание проблем классификации в общеметодологическом аспекте. «Классификация объектов науки, существующих в реальной действительности, в природе или в обществе, на самом деле не требует той формально логической последовательности принципа деления, которая необходима для классификации отвлеченных понятий. Она требует только правильного описания системы признаков, определяющих в своей взаимосвязи данный реально существующий тип явлений» [Жирмунский 1968: 8]. Данное истолкование принципа естественной классификации в полной мере сохраняет свою значимость (о естественной классификации см. также [Гипотеза 1980:319—357]).

Понятие естественной классификации в той интерпретации, которая характерна для анализа языковой системы, может быть соотнесено с принципами классификации, разрабатываемой на основе теории категоризации в рамках когнитивных исследований (см., в частности, [Лакофф 1988]). С естественной классификацией в некоторых отношениях сближается понятие «семейного (фамильного) сходства», широко используемое в современной когнитивной лингвистике (см. [Кубрякова и др. 1996: 140—145; 170—172]). Ср. суждения о том, что между членами одной и той же категории, а также разных категорий возможны отношения типа «компонент *a* сходен с компонентом *b*, который проявляет сходство с компонентом *c*, который, в свою очередь, может иметь сходство с *d* и т. д., так что компоненты *a* и *d* могут не быть сходными друг с другом» [Givón 1986: 78].

Классификации (если они стремятся отразить членения, существующие в языке и речи) отражают реальную типологию, реальную системность, стратификацию и вариативность языковых единств и их соотношений. В лингвистической теории чередуются и дополняют друг друга тенденции к исследованию этих единств и отношений, с одной стороны, в общих «картинах членения», а с другой — в отдельных «клетках» (узлах, «фокусах пересечений»).

Изучение языкового знания немислимо без стремления познать существующие в нем единства, «естественную структуру» (часто далекую от логической правильности) каждого из них и связи между единицами, классами

и категориями, специфические именно для языкового знания и «языкового мышления». В каждом фрагменте языковой структуры, в каждой отдельной «клетке» (морфеме, слове, словоформе, конструкции) коренится «пучок связей», отражающих пересечение и взаимодействие тех более широких единств и отношений, которые репрезентируются в данном фрагменте. Обычно, говоря о структуре грамматических категорий (ГК), имеют в виду оппозиции. Действительно, оппозиции представляют собой доминирующий тип структуры ГК. Это своего рода эталон, структурный прототип. Однако немаловажную роль в сфере ГК играют НР. Далее приводятся некоторые примеры. В структуре категории лица глагола собственно оппозитивные отношения осложняются значениями обобщенноличности, неопределенноличности и безличности. За пределы единого основания членения выходит способность форм 3-го лица выражать отнесенность действия не только к лицу, но и к неодушевленному предмету. В категории наклонения повелительное наклонение отличается от изъявительного и сослагательного особым типом представления отношений между участниками речевого акта. Падежная система как целое основана на принципе НР, хотя внутри этой системы могут быть выделены оппозиции между отдельными членами (например, между формами им. и винит, падежей). В целом отношения оппозиции господствуют в структуре двучленных ГК; для них характерна «оппозитивная доминанта»; что же касается многочленных категорий, то в их структуре оппозитивные различия обычно сочетаются с неоппозитивными.

В сфере лексико-грамматических разрядов господствуют НР. Один из показательных примеров — отношения между способами действия. В этой сфере лишь как своего рода исключение встречаются оппозиции (ср. многоактные глаголы типа *хлопать* и одноактные типа *хлопнуть*). Правилom же являются соотношения разрядов, характеризующихся разнородными признаками. Ср. такие способы действия, как начинательный (*засверкать* и т. п.), финитивный (*отговорить, отшуметь*), ограничительный (*посидеть, поработать* и т. п.), длительно-ограниченный (*просидеть, проработать*), прерывисто-смягчительный (*побаливать*).

Отношения НР представлены не только в сфере лексико-грамматических разрядов и ГК, но и в системе функционально-семантических полей (ФСП). Речь идет о полях, анализируемых в шеститомном коллективном труде «Теория функциональной грамматики» [ТФГ 1987 (изд. 2-е, стереотипное—2001); 1990; 1991; 1992; 1996 а; 1996 б]. Выделяются следующие группировки ФСП: 1) ФСП с предикативным ядром: аспектуальность, временная локализованность, таксис, темпоральность, модальность; персональность, залоговость; 2) ФСП с субъектно-объектным ядром: субъектность, объектность, коммуникативная перспектива высказывания, определенность / неопределенность; 3) ФСП с качественно-количественным ядром: качественность, количественность; 4) ФСП с предикативно-обстоятельственным ядром: локативность, бытийность, посессивность, обусловленность (комплекс полей условия, причины, цели, следствия и

уступительности). В этой системе ФСП находят отражение комплексы доминирующих частей речи и членов предложения, репрезентирующих центральные компоненты рассматриваемых функциональных единств (ср. ФСП с предикативным и субъектно-объектным ядром). Можно найти отдельные оппозиции (ср. соотношение «предикативные ФСП — субъектность»), однако в целом весь комплекс выделенных ФСП имеет явно выраженный характер системы с доминирующими НР.

Изучение языкового знания немислимо без стремления познать существующие в нем единства, «естественную структуру» (часто далекую от логической правильности) каждого из них и связи между единицами, классами и категориями. В каждом фрагменте языковой структуры, в каждой отдельной «клетке» (морфеме, слове, словоформе, конструкции) коренится «пучок связей», отражающих пересечение и взаимодействие тех более широких единств и отношений, которые репрезентируются в данном фрагменте.

В лингвистической теории чередуются и дополняют друг друга тенденции к исследованию языковых категорий, с одной стороны, в общих «картинах членения», а с другой — в отдельных «клетках» (узлах, «фокусах пересечений»). Необходимо то и другое. Взаимосвязи очевидны. Исследование может быть посвящено лишь одному слову и вместе с тем оно может отражать системные единства и их многоаспектные комплексы, представленные в данной «точке».

Проведенный анализ отношений оппозиции и НР свидетельствует о существовании зависимости: бинарная структура — оппозиция; многочленная структура — сочетание оппозиции с НР (в сфере многочленных ГК) или господствующие НР (в сфере ФСП и лексико-грамматических разрядов). Такая зависимость естественна. Бинарная структура «поддерживает» оппозитивное отношение, создавая необходимые условия именно для такого отношения между противопоставленными друг другу компонентами. Многочленная же структура, не исключая возможности реализации отдельных оппозитивных отношений в ее рамках, в целом обуславливает высокую степень вероятности выхода за пределы единого основания членения. Уже трехчленные структуры обычно выходят за рамки «чистой» оппозитивности. Структуры, содержащие большее число членов, характеризуются расширением отношений НР или их абсолютным преобладанием.

Анализ НР лишний раз свидетельствует о том, что системность в языке и речи имеет более сложный характер, чем это представляется в том случае, если не придается должное значение принципу естественной классификации в «языковой картине мира» (подробнее об оппозициях и НР см. [Бондарко 1981; 1983: 7—20; 1996: 32—43]).

**2. Инварианты и прототипы.** Инвариант в сфере лингвистики может быть определен как признак или комплекс признаков изучаемых системных объектов (языковых и речевых единиц, классов и категорий, их значений и функций), который остается неизменным при всех

преобразованиях, обусловленных взаимодействием исходной системы с окружающей средой. Данное истолкование рассматриваемого понятия соотносится с дефинициями, имеющими междисциплинарный характер. Ср. определение, согласно которому инвариант — это «выражение; число и т. п., связанное с какой-либо целостной совокупностью объектов и которое остается неизменным на всем протяжении преобразований этой совокупности объектов» [Кондаков 1976: 196—197]. Особенность предлагаемой трактовки данного понятия заключается в том, что в характеристику инвариантов вводится указание на то, чем обусловлена вариативность: инвариант как элемент определенной системы подвергается преобразованиям в результате взаимодействия системы и среды.

Взаимодействие инвариантов и вариантов, по мысли Р.О. Якобсона, «...является существенным, сокровенным свойством языка на всех его уровнях» [Якобсон 1985: 310]. В проблематике инвариантности / вариативности в сфере грамматической семантики важную роль играет вопрос о типах семантической инвариантности. Среди семантических инвариантов выделяются, с одной стороны, значения грамматических форм как инварианты в сфере граммема, т. е. компонентов ГК, а с другой — семантические категории, выражаемые различными сочетаниями морфологических, синтаксических, лексико-грамматических и лексических средств. Различные типы инвариантных значений компонентов ГК представлены в сферах семантической маркированности и немаркированности. В первом случае налицо инвариантность «положительной» семантической характеристики данной граммема. Во втором случае мы имеем дело с инвариантом, выступающим собственно не как конкретное значение, выражаемое в том или ином варианте в речи, а как системная значимость — способность данной формы к выражению определенного комплекса частных значений и к импликации семантики маркированного члена оппозиции (ср. значимость НСВ).

Инвариантам присуще свойство относительности. Каждый раз речь идет об инвариантности / вариативности в рамках определенной подсистемы (микросистемы), являющейся непосредственным предметом лингвистического анализа. За пределами данной подсистемы даже «канонические инварианты» во многих случаях оказываются не абсолютными, а относительными. Ср. семантические категории, лежащие в основе полей аспектуальности, временной локализованности<sup>TM</sup>, темпоральности, таксиса и временного порядка. Каждая из этих категорий представляет собой семантический инвариант высокого уровня обобщенности. Вместе с тем указанные категории могут рассматриваться как компоненты аспектуально-темпорального комплекса, основой которого является общая идея времени (см. [Бондарко 1999]). Инвариантные семантические категории условия, причины, цели и уступительности могут рассматриваться как компоненты категории обусловленности, относящейся к более высокому уровню обобщения (см. [ТФГ 1996 б]).

Рассмотрим «трудные вопросы» в проблематике инвариантности. Существуют различные подходы к характеристике семантики грамматических форм: а) определение единого «общего значения», трактуемого как инвариант, охватывающий все частные значения и типы употребления грамматической формы (варианты); б) анализ, опирающийся на понятие «основного значения»; в) описание комплекса значений. Представляется обоснованным принцип множественности возможных типов структуры категориальных значений. Эта множественность обусловлена, с одной стороны, свойствами ГК, а с другой — влиянием лексики, контекста, речевой ситуации, различными аспектами взаимодействия системы и среды.

На разных этапах развития теории значения в сфере грамматики постоянно сосуществовали и сменяли друг друга концепции общих значений и концепции, основанные на критике представлений об общих значениях. Так обстоит дело и в настоящее время (ср. [Тимберлейк 1998: 11—15; Перцов 2001]). Эта ситуация развивающейся полемики отражает сложность и многомерность изучаемых системных объектов и в целом способствует углублению наших представлений о структурных типах грамматических значений.

Возникает вопрос о пределах возможностей использования понятия «инвариант» в области грамматической семантики. Являются ли инвариантами лишь общие значения или термин «инвариант» может быть отнесен и к основным значениям?

Одно из возможных решений этого вопроса заключается в выделении особого типа ограниченной инвариантности, распространяющейся не на всю сферу употребления грамматической формы, а лишь на центральную часть этой сферы (см. [Бондарко 1978: 143]). Учитываются следующие факторы: а) основное значение, как и общее, имеет системно-категориальный статус: оно определяет место данной граммы в системе граммем, конституирующих грамматическую категорию (ср. упомянутые выше значения форм сложного и простого будущего времени); б) в ряде случаев одно и то же значение допускает различные истолкования — и как общее, и как основное, таким образом, между этими типами значений нет резкой грани.

Итак, существует возможность включения основных значений в сферу инвариантов. Вместе с тем такой подход к решению рассматриваемого вопроса связан с определенными трудностями. Понятие «инвариант» утрачивает определенность, «размывается». Термин «инвариант» используется в данном случае по отношению к тем значениям, которые обычно не рассматриваются как инвариантные. Возникает расхождение с широко распространенным истолкованием данного термина, с существующим узусом.

Рассмотрим теперь другую — альтернативную — возможность решения рассматриваемого вопроса: статус инварианта приписывается лишь общему значению, но не значению основному. Таким образом, понятие «инвариант» сохраняет свою определенность. Однако и такой подход не приводит к ситуации ясного и «однозначного» решения существующих проблем.

Существенно все то, что препятствует резкому размежеванию рассматриваемых структурных типов грамматических значений с точки зрения их отношения к понятию «инвариант». Важную роль играют системные признаки основных значений, сближающие их с общими значениями.

Итак, основные значения грамматических форм представляют собой своего рода промежуточное явление по отношению к сфере распространения понятия «инвариант». Сама природа изучаемого объекта такова, что она допускает разные его интерпретации с точки зрения принципа инвариантности. В сфере грамматических значений существуют своего рода прототипы инвариантности. Одним из них является общее значение грамматической формы. Что же касается основных значений, то они относятся к окружению прототипа.

При всех различиях, связанных с отношением к статусу инварианта, общие и основные значения объединяют системные признаки категориальности. Понятие категориального значения охватывает как общие так и основные значения, интегрируя их по ряду системных признаков (см. [Бондарко 1978: 128—170]). В этом можно видеть существенный фактор, подтверждающий возможность истолкования основных значений как относящихся к сфере инвариантности. Промежуточный характер основных значений в указанном выше смысле «непрототипичности» побуждает лишний раз упомянуть о том, что речь идет об одном из возможных истолкований.

Постановка вопроса о категориальных значениях грамматических форм коренится в языковедческой традиции. Примечательны суждения А.М. Пешковского. Определяя формальную категорию слов как «ряд форм, объединенный со стороны значения и имеющий, хотя бы в части составляющих его форм, собственную звуковую характеристику», он продолжает: «Объединение же форм со стороны значения может осуществляться при помощи 1) единого значения, 2) единого комплекса однородных значений, 3) единого комплекса разнородных значений, одинаково повторяющихся в каждой из форм» [Пешковский 2001: 27]. Фактически А. М. Пешковский выразил идею категориального значения грамматической формы как системного единства, реализующегося в различных вариантах содержательных структур. Думается, что в этих суждениях А. М. Пешковского заключен стимул для дальнейших поисков в намеченном им направлении.

Обратимся к соотношению понятий инварианта и прототипа. Теория прототипов предполагает, что категории выступают в «лучших примерах» (см. [Lakoff 1988: 7; Лакофф 1988; Givón 1986; 1995: 111—299; Кубрякова и др. 1996: 140—145; Рахилина 1997]). Наиболее репрезентативное значение в семантической сфере, охватываемой данной формой, рассматривается как значение прототипическое. Ср. точку зрения, согласно которой прототипический субъект — это агенс и в то же время тема (topic) [Lakoff 1988: 64—65]. Отношения, рассматриваемые в терминах теории прототипов, по многим признакам сходны с

оппозицией «центр — периферия» в трактовке представителей Пражской школы [Travaux Linguistiques de Prague 1966] и в теории полевой структуры (см. [Адмони 1964; Павлов 1996]).

Идея инвариантности / вариативности и «прототипический подход» закономерно и естественно интегрируются в единой системе лингвистического анализа (целесообразность совмещения принципов инвариантности и прототипичности уже обсуждалась в лингвистической литературе; см., в частности, [Вежбицкая 1999: 31, 44—53; Петрухина 2000: 48]).

Определение понятия «прототип» (в сфере языковых единиц, классов и категорий) может быть сформулировано следующим образом: прототип — это наиболее репрезентативный (канонический, эталонный) вариант определенного инвариантного системного объекта, характеризующийся наибольшей специфичностью (концентрацией специфических признаков данного объекта), способностью к воздействию на производные варианты (признак «источник производности») и (во многих случаях) наиболее высокой степенью регулярности функционирования. Таким образом, в излагаемой интерпретации понятия «прототип» само определение этого понятия отражает связь с дихотомией инвариантности / вариативности. Итак, для определения понятия «прототип» существенны следующие признаки: 1) наибольшая специфичность — концентрация специфических признаков данного объекта, «центральность», в отличие от разреженности таких признаков на периферии (в окружении прототипа); 2) способность к воздействию на производные варианты, статус «источника производности»; 3) наиболее высокая степень регулярности функционирования — признак возможный, но не обязательный. Примером проявления признака «источник производности» может служить конкретно-фактическое значение совершенного вида (СВ): *Он сказал мне об этом* и т. п. Другие частные значения СВ — суммарное (*Он мне дважды это сказал*), наглядно-примерное (*Всегда так: сначала скажет, а потом подумает*) и потенциальное (*Он и не такое скажет*) являются производными по отношению к конкретно-фактическому значению — основному, прототипическому варианту общего значения СВ.

Понятия «инвариант» и «прототип» в сфере семантики объединяет их роль источника системного воздействия на зависимые значения и функции. Вместе с тем есть и существенные различия. Инвариант представляет собой системный (глубинный) источник воздействия на подчиненные ему варианты. Он отражает исходно-системную сторону взаимодействия системы и среды. Инварианты часто не являются интенциональными, они далеко не всегда осознаются говорящими и не всегда включаются в сферу актуального смысла. Иной характер имеет признак «источник воздействия» в сфере прототипов и их окружения. Прототипы в сфере семантики по своей природе интенциональны. Функции прототипов неразрывно связаны с актуальным сознанием участников речевого акта. Прототипические значения связаны с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности. Они являются одним из актуальных элементов речевого смысла.

При анализе грамматической семантики важную роль играет понятие «степень прототипичности». Прототипы, как и инварианты, проявляют свойство относительности. То или иное значение может быть производным от прототипа более высокого уровня и вместе с тем быть прототипом по отношению к тому или иному семантическому варианту, находящемуся на более низкой ступени иерархии. Например, «живое» настоящее историческое (*Иду я вчера...* и т. п.) является производным от актуального настоящего, выступающего в роли «первичного прототипа», и вместе с тем данная разновидность настоящего исторического является прототипом по отношению к «литературному настоящему историческому» как одной из возможных разновидностей художественного повествования. Ход анализа в системе инвариантности / вариативности в сочетании с понятиями прототипа и степени прототипичности может быть представлен следующим образом: 1) ставится вопрос (как Своего рода предварительная гипотеза) о возможности истолкования определенного семантического элемента как категориального значения, представляющего собой инвариант; 2) раскрывается система вариантов; именно в этой области целесообразно использование понятия прототипа как эталона, наиболее точно и полно представляющего специфику данного признака; 3) анализ вариантов начинается с прототипа как эталонного варианта, затем прослеживается цепочка постепенных переходов от эталона к его окружению — шаг за шагом, сначала к ближайшему окружению, которое чаще всего не отделено четкой гранью от прототипа, а затем к ближней и, наконец, к дальней периферии рассматриваемого семантического пространства. Рассмотрение таких переходов дает возможность ввести в анализ вариантов элементы системности. В дальнейшем изложении анализ инвариантности / вариативности в сочетании с понятием прототипа проводится на материале, связанном с исследованием семантики перцептивности. Говоря о перцептивности, я имею в виду языковую и речевую интерпретацию восприятия явлений внешнего мира с точки зрения перцептора. Речь идет прежде всего о наблюдаемости (учитывается и акустическое восприятие, а также ощущение). Понятие «перцептор» в лингвистическом анализе предполагает языковую и речевую интерпретацию субъекта восприятия — говорящего, слушающего (в художественных текстах — автора, повествователя, персонажей, неопределенного множества реальных и потенциально возможных лиц, воспринимающих обозначаемую ситуацию).

Проблема перцептивности получила интересное освещение в работах ряда исследователей (см. [Апресян 1986; 1995; Падучева 1998; 2000; 2001; Кустова 1999; Пупынин 2000]). Перцептивность рассматривалась нами в связи с анализом аспектуальности (см. [Бондарко 1983: 132—135]).

Высказывания, содержание которых характеризуется признаком перцептивности, выражены теми или иными языковыми средствами и являющимся одним из элементов

передаваемого речевого смысла, можно назвать перцептивными. Ср. примеры с лексически и контекстуально выраженной «доминантой перцептивности»: *Ну вот, — крикнул он обиженно и жестом всех призвал в свидетели, — поглядите, смотрит на меня волчьими глазами* (М. Булгаков); *Я остановился и прислушался. Кто-то крался в кустах* (К. Паустовский).

С перцептивными высказываниями коррелируют высказывания, в семантике которых элементы наблюдаемости и других разновидностей восприятия отсутствуют, т.е. высказывания неперцептивные. Например: *Он отказался от поездки; Они подали в суд; Вынесли приговор; Его уволили; Думаю, что ты прав; Посоветуй ему не делать этого*; ср. пер-формативные высказывания: *Клянусь!; Приглашаю вас на ужин* и т. п.

Различие между перцептивными и неперцептивными высказываниями четко проявляется в сфере прототипических (центральных) репрезентантов данного противопоставления. На периферии же между рассматриваемыми типами высказываний нет резкой грани. Налицо проявления континуальности, «переходные случаи». Например:—*Все. Можете идти. Зорин, не помня себя, хлопает дверью* (В. Белов). В высказываниях такого рода представлено описание доступных наблюдению ситуаций с точки зрения «всеведущего автора». В данной связи уместно привести высказывание Ю. С. Маслова, относящееся к характеристике художественного повествования: «Автор как бы всеведущ: он незримо присутствует при всех событиях, видит своих героев “насквозь” и так же “насквозь”, с их сокровенными помыслами, показывает их читателю. Вместе с тем он нигде, никак и ни в чем не обнаруживает себя и как бы вообще не существует, — действие происходит “само собою”, без его участия» [Маслов 1984: 183]. В подобных текстах элементы «литературной перцептивности» относятся не к семантическому центру высказывания, а к тому, что называют «фоном»; эти элементы специально не подчеркиваются, не актуализируются, их нельзя признать элементами актуального речевого смысла. Тексты подобного рода следует отнести к типу перцептивных высказываний, однако необходима оговорка: речь идет о периферии, отличающейся слабой выраженностью данного признака.

Перцептивность может приобретать статус содержательной характеристики текста как целого или по крайней мере значительных фрагментов текста. Одним из примеров перцептивности как характеристики текста является первый из «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого: *Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас...* Автор ставит читателя в позицию участника и вместе с тем свидетеля того, что происходит. Создается образ совместного восприятия.

Говоря о перцептивности как одной из возможных характеристик текста, необходимо подчеркнуть связь этого аспекта анализа речевого представления семантики восприятия с выделяемым Г. А. Золотовой в системе коммуникативных типов речи репродуктивным регистром

[Золотова и др. 1998: 33]. Коммуникативная интенция говорящего в данном регистре заключается в том, чтобы «воспроизвести в речи наблюдаемое» (другие регистры — информативный, генеративный, волюнтивный, реактивный).

Далее речь идет о перцептивности в ее отношении к категории вида. В ряде определений и общих характеристик глагольного вида четко выступает идея «взгляда на действие». Ю.С. Маслов, говоря о виде как субъективно-объективной категории, подчеркивает, что такие категории устанавливают «тот угол зрения, под которым рассматривается в формах языка объективная внеязыковая действительность» [Маслов 1984: 6].

Возникает вопрос: как совместить, с одной стороны, разделяемую нами мысль о том, что категория глагольного вида передает «взгляд на действие», а с другой — высказанное выше суждение о том, что перцептивность представлена не во всех высказываниях? Заметим, что отсутствие перцептивности констатируется и по отношению к тем высказываниям, в которых выступают видовые формы глагола (ср. приведенные выше примеры: *Он отказался от поездки; Они подали в суд; Вынесли приговор* и т. д.). Необходимо ввести следующее разъяснение. Когда речь идет о «взгляде на действие» как характеристике категории вида, предметом анализа является отношение к внутренней темпоральной структуре действия, заключенное в категориальных грамматических значениях форм СВ и НСВ. Эти значения могут быть связаны с перцептивностью как элементом смысла высказывания, с «перцептивной ситуацией» (см. ниже анализ конкретно-процессного значения НСВ), но такая связь не является обязательной. «Взгляд на действие», представленный в видовых значениях, охватывает и те глаголы, которые обозначают действия, не являющиеся предметом конкретного наблюдения или акустического восприятия (ср. глаголы типа *заблуждаться, назначать, обобщать* и т. п.). Когда же речь идет о перцептивных высказываниях, имеется в виду языковая интерпретация восприятия явлений внешнего мира, реализующаяся как один из элементов передаваемого смысла. В условиях obligatorности категории вида естественно, что грамматическое значение, базирующееся на взгляде на действие, далеко не всегда включается в актуальный смысл высказывания. Итак, следует различать ориентационные элементы грамматических значений видовых форм и перцептивность как семантический признак высказывания. Взаимосвязи возможны в определенных типах употребления видов, но они не являются всеобщими и постоянными.

Системно-грамматическая релевантность признака перцептивности четко проявляется при функционировании глаголов НСВ в конкретно-процессном значении. Конкретно-процессное значение НСВ предполагает выделение в обозначаемом действии срединного фиксируемого периода. Например: *Бежит кто-то!* В понятии «фиксируемый период» заключены два элемента: а) срединная фаза в протекании действия; б) период восприятия данной фазы протекания действия наблюдателем (воспринимающим субъектом). Эти элементы тесно связаны друг с другом: в протекании процесса выделяется именно тот период, который охватывается наблюдением. В

действии, выраженном формой СВ, срединный период не выделяется, действие не может быть представлено в процессе его протекания, как уже начавшееся, но еще не законченное. При употреблении СВ период (момент), о котором идет речь, не застает действие в его актуальном осуществлении: в этот момент действие предстает либо как уже осуществившийся факт, либо как факт, который осуществится, наступит. Ср.: *Посмотри, он уже проснулся; ... скоро проснется.* Налицо взгляд на действие, исключаящий признак срединности.

Категория перцептивности взаимодействует не только с компонентами аспектуально-темпорального комплекса, но и с локативностью, субъектно-стью и объектностью. Наблюдаемость предполагает определенную пространственную сферу, то или иное выражение субъекта и объекта восприятия. В научной литературе были высказаны суждения и о связях предикатов, обозначающих перцептивные события, с семантикой существования и контакта [Кустова 1999].

По существу мы имеем дело с особой «скрытой категорией», связывающей признаки темпоральности, аспектуальности и локативности с восприятием окружающего мира человеком. Категориальный статус перцептивности в ее многообразном языковом выражении - это тема, заслуживающая специального исследования и теоретического осмысления.

**3. Взаимодействие системы и среды.** Рассматриваемая модель функциональной грамматики включает анализ функционирования единиц строя языка во взаимодействии с элементами окружающей среды [Бондарко 1985]. Реализация функций трактуется как результат взаимодействия языковых системных объектов и их разнотипных окружений.

В теории системных исследований взаимозависимость системы и среды рассматривается как один из базисных принципов, наряду с такими свойствами системы, как целостность и иерархичность (см. [Берг, Бирюков 1983]). В языкознании давно уже укоренилось понятие системы, однако не получило распространения понятие той же степени абстракции, которое бы обобщало разные типы окружения системных объектов. Хотя термин «среда» используется в некоторых языковедческих работах, учитывающих проблематику системных исследований, этот термин до сих пор не стал общеупотребительным. Между тем ясно, что все элементы языковой системы функционируют и развиваются не в вакууме, а в определенных разновидностях языковых и речевых окружений.

Среда по отношению к той или иной языковой единице, категории или группировке — это множество языковых (в части случаев также и вне-языковых) элементов, играющее по отношению к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которым она выполняет свою функцию.

В реализации системных значений ГК роль среды выполняют элементы контекста и речевой ситуации; к среде относятся лексические значения и

лексико-грамматические разряды слов, влияющие на данную категорию, а также элементы «категориального окружения» — другие ГК, взаимодействующие с категорией, рассматриваемой как исходная система. Так, по отношению к категории вида как исходной системе в роли среды выступают следующие элементы: а) лексические значения глаголов и представляемые ими семантические классы, воздействующие на реализацию видовой семантики, ср., например, глаголы состояния, отношения и т. п.; б) способы действия и лексико-грамматические разряды предельных / неопредельных глаголов; в) представленные в данной глагольной лексеме ГК, взаимодействующие с видом (время, наклонение, лицо, залог); г) элементы окружения данной формы, образующие аспектуально значимый контекст; это понятие охватывает, в частности, другие глагольные формы (любые формы сказуемого), выступающие в данном предложении или соседних предложениях, обстоятельственные показатели типа *постепенно, вдруг, часто*, подлежащее и дополнение со значениями конкретности / неконкретности субъекта и объекта. Языковые средства, отмеченные в пунктах «а — в», представляют по отношению к видовой форме с ее системным значением внутрилексемную среду, тогда как средства, отмеченные в пункте «г», — среду внелексемную. Ближней средой по отношению к категориальным видовым значениям являются разнообразные семантические элементы, охватываемые понятием аспектуальности. Они представляют собой ближайшее окружение категории вида как центра данной семантической сферы.

Обращение к понятию среды имеет существенное значение не только для описания, но и для объяснения изучаемых языковых подсистем (в частности, ГК, ФСП и их группировок). Свойства ГК как системы могут быть поняты и объяснены лишь при том условии, если будут выявлены ее отношения: а) к лексическим значениям слов, б) к лексико-грамматическим разрядам, в) к другим ГК, г) к синтаксическим конструкциям, с которыми связана данная категория, д) к элементам окружающего контекста и речевой ситуации.

Могут быть выделены два основных типа среды: 1) системно-языковая (парадигматическая) среда — окружение языковых единиц, категорий или группировок в парадигматической системе языка, 2) речевая среда — контекст и речевая ситуация. Например (имеется в виду среда 1-го типа), возможность образования форм сравнительной степени имен прилагательных зависит от их принадлежности к лексико-грамматическим разрядам прилагательных качественных или относительных.

Одно из членений в рамках рассматриваемого понятия — разграничение ближней и дальней среды. Ближняя среда включает те элементы окружения исходной системы, которые непосредственно «граничат» (нередко пересекаясь) с нею, тогда как дальняя среда предполагает менее тесные, в части случаев опосредствованные связи, выходящие за пределы ближайшего окружения данной системы. Разумеется, между этими разновидностями среды нет и не может

быть (по самой сути данного различия, имеющего весьма неопределенный характер) четких граней. Рассматриваемое различие касается как системно-языковых (парадигматических), так и речевых окружений. Например, по отношению к полю темпо-ральности ближнюю среду в плане парадигматики представляют другие ФСП, связанные с понятием времени, — аспектуальность, временная локализация, таксис и временной порядок, а также объективная модальность, а дальнюю среду — такие поля, как персональность (ср. темпоральную характеристику обобщенно-личных конструкций), залоговость, количественность, локативность и т. п. Что касается речевых аспектов рассматриваемого различия, то достаточно сослаться на известные понятия узкого и широкого контекста.

В общей теории систем различаются два типа поведения системы в ее отношении к среде: 1) реактивное, т. е. во всем основном определяемое воздействием среды; 2) активное, т. е. детерминируемое не только состоянием и воздействием среды, но и собственными целями системы, предполагающими преобразование среды, подчинение ее потребностям системы (см. [Философская энциклопедия 1970; 19]). Указанные типы взаимодействия системы и среды необходимо учитывать и в лингвистическом анализе. Формы СВ, рассматриваемые со стороны их системного значения, характеризуются активным поведением по отношению к среде, тогда как формы НСВ демонстрируют поведение реактивное.

Рассматриваемое различие связано со статусом маркированного и немаркированного членов оппозиции. Маркированность СВ определяет «сильное» (активное) воздействие грамматической системы на среду, в то время как немаркированность НСВ создает разнообразные возможности для активного воздействия «сильной» среды на исходную систему. Немаркированность НСВ в отношении признаков «целостность» и «ограниченность пределом» играет роль своего рода «пассивного фона», на который накладываются признаки внутрилексемной и внелексемной среды.

**4. Межкатегориальные связи.** До сих пор основное внимание исследователей уделялось рассмотрению отдельных грамматических единиц, классов и категорий. В последнее время внимание к проблеме межкатегориальных связей усилилось. Наметившаяся тенденция приобретает статус особого направления исследований (см. [Межкатегориальные связи 1996]).

«Чистых» значений, свободных в их реализации от межкатегориального взаимодействия, нет. Когда исследователи определяют грамматические значения, они всегда проводят «операцию отвлечения» от тех или иных связей между данной категорией и другими ГК.

В проблематике межкатегориального взаимодействия существенны следующие аспекты: 1) типы системных связей между ГК, а также между ФСП; взаимозависимости и односторонние зависимости; «более свободные связи»; 2) соотношения изучаемых категорий в языковой системе и в системе речевого функционирования (ср. парадигматические соотношения

ГК и связи между элементами поликатегориальных семантических комплексов, выступающих в речи; ср. также связи между ФСП и между элементами сопряженных категориальных ситуаций — аспектуально-таксис-ных, аспектуально-модальных, аспектуально-квалитативных и т. п.); 3) вычленение «фокуса взаимодействия» (ср., например, настоящее время момента речи как фокус взаимодействия категорий вида и времени); 4) выделение исходных центров изучаемых отношений; ср. межкатегориальные связи, сосредоточенные вокруг аспектуального, модального и залогового центров, в частности, отношение категории вида к категориям времени, наклонения, залога и лица, связи аспектуальности с ФСП темпоральности, временной локализованное<sup>TM</sup>, таксиса, а также модальности, залоговое<sup>TM</sup>, персональности, субъектности, объектности, коммуникативной перспективы высказывания, определенности / неопределенности, качественности, количественности, локативности. При всей важности изучения «близких» категорий, образующих «естественные комплексы» (вид и время и т. п.), следует подчеркнуть актуальность исследования связей между категориями, обычно рассматриваемыми как разобщенные.

\* \* \*

Рассмотренные выше вопросы не исчерпывают всех аспектов проблематики системности в сфере функциональной грамматики. В частности, не была затронута проблема стратификации семантики. Речь идет о соотношении собственно языкового уровня, связанного с системой средств данного языка и отражающего его идиозтнические особенности, и уровня смысла, который может быть передан в условиях той или иной степени эквивалентности различными средствами данного языка и разных языков (проблема стратификации семантики, актуальная не только для функциональной грамматики, но и для теории значения в целом, рассматривается в кн. [Бондарко 2002]).

Для дальнейшего развития теории функциональной грамматики существенна интеграция системно-структурных и коммуникативных аспектов функционально-грамматических исследований (см. [Проблемы функциональной грамматики 2000]). Коммуникативные аспекты грамматики могут развиваться в разных направлениях (ср. анализ «коммуникативных регистров речи» в рамках коммуникативной грамматики русского языка, основанной на концепции Г. А. Золотовой). В разрабатываемой нами теории функциональной грамматики перспектива развития ее системно-структурных и коммуникативных аспектов связана с дальнейшими исследованиями на основе концепции ФСП и категориальных ситуаций.

Необходима детальная разработка системы инвариантности / вариативности в сфере ФСП и категориальных ситуаций. Требуют дальнейшего развития различные аспекты полисистемного анализа (включая изучение межкатегориальных связей). Для сопоставительных исследований особое значение имеет выявление элементов общности и различий в типах употребления

грамматических единиц, определение эквивалентности / неэквивалентности сопоставляемых типов и вариантов функционирования форм и конструкций.

В истории языкознания сменяли друг друга периоды преимущественно содержательной направленности научного познания (в связи с проблемами соотношения языка и мышления) и периоды концентрации внимания на форме. Думается, что на современном этапе «движения по спирали» результаты семантических исследований требуют поисков нового в теории системности — системности, охватывающей всю сферу выражаемого содержания и его языковой интерпретации. Новые тенденции в развитии лингвистической семантики должны быть стимулом для осмысления роли формы, системы и структуры в целостном комплексе научного познания языка и речи.

### Литература

Адмони 1964 — В. Г. Адмони. Основы теории грамматики. М.; Л., 1964.

Апресян 1986 — Ю. Д. Апресян. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. С. 5—33.

Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. С. 629—650.

Берг, Бирюков 1983—А. Н. Берг, В.В. Бирюков. Познание сложных систем и проблема нетранзитивности научного объяснения // Философско-методологические основания системных исследований. Системный анализ и системное моделирование. М., 1983. С. 17—56.

Бондарко 1978 — А. В. Бондарко. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.

Бондарко 1981—А. В. Бондарко. О структуре грамматических категорий (Отношения оппозиции и неоппозитивного различия) // ВЯ. 1981. № 6. С. 17—28.

Бондарко 1983 — А. В. Бондарко. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.

Бондарко 1985 — А. В. Бондарко. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды // ВЯ. 1985. № 1. С. 13—23.

Бондарко 1996 — А.В. Бондарко. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.

Бондарко 1999 — А. В. Бондарко. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация идеи времени. СПб., 1999.

Бондарко 2002 — А. В. Бондарко. Теория значения в системе функциональной грамматики (на материале русского языка). М., 2002.

Вежбицкая 1999 — А. Вежбицкая. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. М., 1999.

Гипотеза 1980 — Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.

Жирмунский 1968—В. М. Жирмунский. О природе частей речи и их классификации // Вопросы теории частей речи (на материале языков различных типов). Л., 1968. С. 7—32.

- Золотова и др. 1998 — Г. А. Золотова, Н.К. Онипенко, М. Ю. Сидорова. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
- Кондаков 1976 — Н. И. Кондаков. Логический словарь-справочник. М, 1976.
- Кубрякова и др. 1996 — Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Паи-крац, Л.Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- Кустова 1999 — Г. И. К у с т о в а. Перцептивные события: участники, наблюдатели, локусы // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 229—238.
- Лакофф 1988 — Дж. Лакофф. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. М, 1988. С. 31—51.
- Маслов 1984 — Ю. С. М а с л о в. Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Межкатегориальные связи 1996 — Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996.
- Павлов 1996 — В. М. П а в л о в. Полевые структуры в строе языка. СПб., 1996.
- Падучева 1998 — Е. В. Падучева. Наблюдатель и его коммуникативные ранги (о семантике глаголов *появиться* и *показаться*) // Научно-техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и системы. 1998. № 12. С. 23—28.
- Падучева 2000 — Е. В. Падучева. Наблюдатель как Эксперимент «за кадром» // Слово в тексте и в словаре: Сб. статей к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. 185—201.
- Падучева 2001 — Е.В. Падучева. К структуре семантического поля «восприятие» (на материале глаголов восприятия в русском языке) // ВЯ. 2001. № 4. С. 23—44.
- Перцов 2001 — Н.В. Перцов. Инварианты в русском словоизменении. М., 2001.
- Петрухина 2000 — Е.В. Петрухина. Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.
- Пешковский 2001 — А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М., 2001.
- Проблемы функциональной грамматики 2000 — Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.
- Пупынин 2000 — Ю.А. Пупынин. О роли перцептора в функционировании грамматических категорий вида, залога и времени в русском языке // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000. С. 36—51.
- Рахилина 1997 — Е.В. Рахилина. Основные идеи когнитивной семантики: Сборник обзоров. М., 1997.
- Тимберлейк 1998—А. Тимберлейк. Заметки о конференции. Инвариантность, типология, диахрония и прагматика // Типология вида: Проблемы, поиски, решения. М, 1998. С. 11—27.
- ТФГ 1987 — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987 (2-е изд. стереотип.: М., 2001).
- ТФГ 1990 — Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
- ТФГ 1991—Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.

ТФГ 1992 – Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.

ТФГ 1996 а – Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.

ТФГ 1996 б – Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.

Философская энциклопедия 1970 – Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 77-100.

Щерба 1974 – Л.В. Щерба. О частях речи в русском языке // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 77-100.

Якобсон 1985 – Р.О. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.

Givón 1986 – T. Givón. Prototypes: Between Plato and Wittgenstein // Noun Classes and Categorization. Proceedings of Symposium on Categorization and Noun Classification? Eugene, Oregon. October 1983. (Typological Studies in Language. Vol.7). Amsterdam; Philadelphia, 1986. P. 87-92.

Givón 1995 – T. Givón. Functionalism and Grammar. Amsterdam, 1995.

Lakoff 1988 – G. Lakoff. Women, fire and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1988.

Travaux linguistique de Prague 1966 – Travaux linguistique de Prague, 2: Les problèdu centre et de la périphérie du système de la langue. Prague, 1966.

## СЕМАНТИКА ФОРМ ЛИЦА В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ

**Асимметрия в системе поэтического языка.** Если сопоставить систему поэтического языка с общелитературным языком, то при таком подходе в поэтическом языке обнаружится асимметрия в употреблении грамматических форм лица (личных местоимений, личных форм глагола и притяжательных местоимений). Эта асимметрия проявляется в сдвиге между означающим и означаемым. Разные типы такого сдвига с большей или меньшей степенью регулярности повторяются в поэтическом языке.

В языке лирики автор обычно говорит о себе в первом лице. Но нередко поэт вступает в диалог с собой — с одной из сторон своего я, обозначаемой вторым лицом. В некоторых случаях поэт говорит о себе в третьем лице. Это происходит при отчуждении я, при взгляде на себя со стороны.

Разговор с лирической героиней (лирическим ты) обычно происходит во втором лице. Лирическая героиня (лирический герой, если поэт — женщина) предстает также в третьем лице. Но иногда лирическая героиня (лирический герой) ведет о себе речь в первом лице.

О любом лице, предмете или явлении мира лирический поэт обычно говорит не только в третьем лице, но и во втором лице, так как он вступает с миром в диалог. Однако поэт может давать слово любым другим лицам, предметам и явлениям мира, которые рассказывают о себе в первом лице.

Таким образом, каждое из трех лиц может выступать не только в собственном значении, но и в значении двух других лиц.

**Диалог с собой.** Диалог с собой — универсальное свойство поэтического языка. Поэт говорит о себе во втором лице: *Всё та же озерная гладь, Всё так же каплет соль с градирен. Теперь, когда ты стар и мирен, О чем волнуешься опять?* (А. Блок). *Ты завтра очнешься от спячки И, выйдя на зимнюю гладь, Опять за углом водокачки Как вкопанный будешь стоять* (Б. Пастернак).

В диалоге с собой одна сторона лирического я представлена как речь от первого лица, а другая выражена вторым лицом. Характерно переключение лиц, переход в тексте от второго лица

к первому. В последней строфе приведенного выше стихотворения Б. Пастернака («Иней») появляется первое лицо: *И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: «Благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь».*

Речевыми субъектами в таком диалоге чаще всего (но не всегда) бывают высшие стороны человеческого я — этическое сознание, совесть, разум, воля. Адресатами являются эмоциональное я и действующее в мире я. Эмоциональное я имеет устойчивые лексические эквиваленты, которые служат поэту для обращения к своему эмоциональному я — *сердце, душа* (вместилище эмоциональной жизни): *О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!..* (Ф. Тютчев).

Существенное место в лирике занимает разделение поэта на поэтическое я и человеческое я. Одна из сторон обращается к другой: *Смирись, мятущийся поэт: С небес нисходит жизни влага!* (А. Фет). Поэтическое я имеет также две стороны — область поэтической мысли, мечты и область их словесного воплощения. Поэт обращается к одной из этих сторон: *Без слова мысль, волненье без названья, Какой ты шлешь мне знак, Вдруг взбороздив мгновенной молнией знанья Глухой декабрьский мрак?* (А. Блок). *Дроби, мой гневный ямб, камня!* (А. Блок).

В обращениях поэта к своему поэтическому дару, поэтическому я, фигурируют устойчивые символы поэтического творчества, относящиеся к пению, музыке, игре на музыкальных инструментах и под. Подробное описание диалога с собой как одной из форм автокоммуникации см. в книге [Ковтунова 1986: 61—88].

Необходимо отметить, что диалог с собой в известной своей части является переходной областью между общением с собой и общением с духовными сущностями, приходящими из мира. С. Л. Франк глубоко раскрыл природу высшего я, высшего начала в человеке: «духовное или идеально-разумное „я“ непосредственно выступает как *объективная и сверхиндивидуальная* инстанция в нас и вместе с тем как последний, абсолютный корень нашей личности. В его лице мы сознаем себя орудием или медиумом чего-то высшего, чем какое-либо отдельное „я“, с другой стороны, не слепым и внешним его орудием, а именно центральной силой, само глубочайшее существо которой состоит в осуществлении сверхиндивидуальной, объективной цели» [Франк 1995: 551].

**Речь о себе в третьем лице.** Речь о себе в третьем лице — относительно редкое явление, присущее лишь некоторым поэтам. Это происходит при отчуждении своего я, его отстранении, самообъективации. Речь о себе в третьем лице — один из способов удаления я с центральной позиции. Она не только позволяет избежать прямого высказывания о себе от первого лица, но дает возможность сделать себя объектом восприятия со стороны адресата речи — которым чаще всего бывает лирическая героиня (герой), лирическое *ты*. В стихотворении Ф. Тютчева с первой

строфой *Не говори: меня он, как и прежде, любит, Мной, как и прежде, дорожит... О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит, Хоть, вижу, нож в руке его дрожит* взгляд на себя с точки зрения лирической героини, говорящей от первого лица, является своеобразной формой покаяния.

Самообъективация возможна в разных вариантах — без введения точки зрения другого лица или в сочетании с чьей-то точкой зрения (обычно лирической героини). Примеры самообъективации без введения позиции другого лица можно встретить в поэзии А. Блока:

Среди поклонников Кармен  
Спешащих пестрою толпою,  
Ее зовущих за собою,  
Один, как тень у серых стен  
Ночной таверны Лиллас-Пастья,  
Молчит и сумрачно глядит,  
Не ждет, не требует участия,  
Когда же бубен зазвучит,  
И глухо зазвенят запястья, —  
Он вспоминает дни весны,  
Он среди бушующих созвучий  
Глядит на стан ее певучий  
И видит творческие сны.

При взгляде на себя со стороны А. Блок называет себя *поэт, странник, путник* и другими наименованиями. Например: *Но есть один вздыхатель тайный Красы божественной — поэт... Он видит Твой необычайный, Немеркнувший, Мария, свет!* («Глаза, опущенные скромно»). В тексте возможны переходы от первого лица к третьему и обратно. Стихотворение «Владимиру Бестужеву (ответ)» начинается речью от первого лица: *Да, знаю я: пронзили ночь отвеса Незримые лучи.* В последней строфе поэт говорит о себе в третьем лице: *Но страннику, кто снежной ночью полон, Кто загляделся в тьму, Приснится, что не в вечный свет вошел он, А луч сошел к нему.*

Наиболее явно точка зрения другого лица бывает выражена тогда, когда дается речь от его имени. Ср. приведенное выше стихотворение Ф. Тютчева. В стихотворении А. Блока «Петербургские сумерки снежные» в речи лирической героини от первого лица дважды появляется третье лицо, относящееся к поэту. Во второй строфе: *Всё гляжусь в мое зеркало сонное... (Он, должно быть, глядится в окно...)*. В последней строфе: *Посмотрю-ка, он там или нет? Так и есть... ах, какой неотвязный!* В стихотворении А. Ахматовой «Подошла. Я волненья не выдал» представлен взгляд на себя с точки зрения лирического героя, ведущего речь в первом лице.

В подобных случаях сочетаются два асимметричных употребления форм лица — третье лицо, относящееся к лирическому я, и первое лицо, относящееся к лирическому ты.

**Речь от имени лирической героини (героя) в первом лице.** Разговор с лирической героиней во втором лице, а также речь о ней в третьем лице для лирической поэзии обычны.

Они связаны с особой близостью лирического *ты*, его постоянным присутствием в сознании поэта. Относительно редкий случай — речь от имени лирической героини (героя) в первом лице.

Речь лирической героини о себе в первом лице обычно содержит обращение к поэту. Не поэт говорит с лирической героиней, а лирическая героиня говорит с поэтом. Функции такого употребления форм лица различны у разных поэтов и в разных поэтических текстах. Чаще всего это особый способ создания образа лирической героини в индивидуальном восприятии поэта. Например, в стихах А. Блока, начинающихся строками *Мой любимый, мой князь, мой жених, Ты печален в цветистом лугу. Павиликой средь нив золотых Завилась я на том берегу*, лирическая героиня полностью включена в романтический мир поэта.

В стихах А. Ахматовой с первой строфой *Я с тобой, мой ангел, не лукавил, Как же вышло, что тебя оставил За себя заложницей в неволе Всей земной непоправимой боли?* («Другой голос. 1») у поэта иная позиция. Ахматова не дает образ лирического героя, но рисует картину своей жизни, проходящую перед его внутренним взором, и описывает чувства, которые он должен при этом испытывать. В этом стихотворении первое и второе лицо можно легко поменять местами.

Своеобразна речь от имени героини в стихах М. Волошина. В стихотворении «Портрет» ее образ создается цепью уподоблений в рассказе о себе, ни к кому не обращенном:

*Я вся тона жемчужной акварели,  
Я бледный стебель ландыша лесного,  
Я легкость стройная отвисшей мягкой ели,  
Я изморозь зари, мерцанье дна морского.*

*Там, где фиалки и бледное золото  
Скованы в зори ударами молота,  
В старых церквах, где полет тишины  
Полон сухим ароматом сосны, —*

*Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,  
Я шелест старины, скользящей мимо,  
Я струйки белые угаснувшей метели,  
Я бледные тона жемчужной акварели.*

Поэт полностью устраняет себя. Он смотрит на лирическую героиню как художник, воспринимающий не только ее внешний облик, но впитывающий в себя и ее духовную сущность. С помощью речи в первом лице она раскрывает себя поэту. Отсутствие второго и третьего лица удаляет из поля зрения того, кто созерцает, и оставляет в чистом виде лишь предмет созерцания. Речь не от своего имени позволяет поэту настойчиво повторять слово *я*, подчеркивая этим неотвратимость и силу ее присутствия.

Применение слова *я* к другому лицу дает возможность в ряде случаев ближе подойти к его внутреннему миру, его скрытой сущности, чем при употреблении слов *ты* и *он, она*. (О сложном смысловом статусе слова *я* см. ниже).

Эти примеры показывают, что речь в первом лице от имени лирической героини (героя) в каждом случае приобретает своеобразные черты, связанные с индивидуальной позицией поэта.

**Речь от имени любого лица, предмета или явления в первом лице.** Помимо третьего лица, для поэтического языка в целом обычно второе лицо по отношению к любым лицам, предметам и явлениям мира. Как было отмечено выше, диалог с миром — универсальное свойство поэзии.

Но возможны и обратные отношения. Мир рассказывает о себе, ни к кому не обращаясь или же обращаясь к поэту и другим адресатам. Не только поэт говорит с миром, но и мир говорит с поэтом. Явления природы, живые существа, духовные сущности, герои мировой литературы, исторические лица, предметы и т. д. ведут речь от первого лица в стихах многих поэтов начала XX века (в русской поэзии И. Анненский, В. Брюсов, А. Блок, Вяч. Иванов, М. Волошин, Н. Гумилев и др.).

В иных случаях такое употребление местоимения *я* — проба формы. Но обычно у каждого поэта эта форма имеет определенную смысловую направленность. Например, у Вяч. Иванова вещи рассказывают о себе, обнаруживая свою сущность, раскрывая свою природу. В стихотворении «Трамонтана» — речь от имени ветра. В стихотворении «Валун» — от имени валуна. Стихотворение «Красота» (стихи «Из Бодлера») построено как речь от имени Красоты, которая обращается к людям: *Я камень и мечта; и я прекрасна, люди!* Голос живой природы звучит в сонете «Печаль полдня»: *Я — полдня вещею крылатая Печаль. Я грезой нисхожу к виденьям сонным Пана.* Сонет кончается обращением к поэту:

Из золотых котлов торжественной рекой  
Я знойных чар лию серебряные сплавы  
На моря синего струящийся покой,  
На снежной вечности сияющие главы,

На красные скалы, где солнечные славы  
Слагаешь ты, поэт, пронзен *моей* тоской.

В драматизированных стихах Вяч. Иванова голоса духов, природных стихий, мифологических существ и т. д. вступают в диалогическое общение друг с другом. В таком диалоге поэт выявляет разные грани структуры мира.

А. Блок проецирует в мир природы внутренние голоса своего *я*. Голоса таинственных существ, духов и природных стихий обращаются к поэту:

И под мостом поет вода:  
Смотри, какие быстрины,  
Оставь заботы навсегда,  
Такой прозрачной глубины  
Не видел никогда...

Такой глубокой тишины  
Не слышал никогда...  
«Свирель запела на мосту»

Мы — целители истомы,  
Нашей медленной заботе  
Покорись!

В златоверхие хоромы,  
К созидающей работе  
Воротись!

— Кто вы? Кто вы?  
Рая дщери!  
Прочь! Летите прочь!  
«Прочь!..»

Такой диалог сближается с общением между разными сторонами лирического я.

Речь от имени другого лица, в частности, от имени известного лица (героя литературного произведения, исторического деятеля и т. д.) нередко служит способом косвенной передачи чувств и мыслей самого поэта. В подобных случаях происходит неявное отождествление поэта с его героем. Речь от имени другого есть во многих стихах В. Брюсова («Ассаргадон», «Жрец Изида», «Дон-Жуан», «Раб»). В них в разной степени воплощены мысли и психологические свойства поэта.

Во многих стихах Н. Гумилева описание другого лица дано не в третьем лице, а в первом. Это не прямая речь другого, которую обычно ставят в кавычки, а глубокое проникновение поэта в сознание его героя. Так построены стихи «Дон-Жуан», «Укротитель зверей», «Маркиз де Карабас», «Влюбленная в дьявола» и др. В таких стихах есть, с одной стороны, передача мыслей поэта герою, а, с другой стороны, перевоплощение, вживание поэта в мир другого.

Особенно многообразны формы речи от имени вещей и явлений мира в поэзии М. Волошина. В его стихах отражено изначальное родство поэта с людьми, природой, землей, травами, морем. Поэтому речь другого человека или речь природы от имени я для него так же естественна, как речь самого поэта от имени я. Ф. Тютчев («Листья») и А. Фет («Бабочка») наделяют природу человеческим языком, чтобы дать ей голос. Но дистанция (различение человека и природы) сохраняется. У М. Волошина такое различие исчезает. Природа впитывает в себя чувства поэта, а поэт впитывает в себя чувства природы. Происходит взаимное уподобление, обмен признаками. Поэт ощущает жизнь природы, живущую в ней историческую память — материальную и духовную (дух прошедших культур), и сам становится частью природы, вступая с ней в общение. В стихотворении «Небо в тонких узорах» — речь воды: *Я к траве припадаю. Быть твоим навсегда... «Знаю... знаю... все знаю...», — Шепчет вода.* Сонет «Mare internum» построен как речь от имени моря, которое обращается к поэту:

*Я* — солнца древний путь от красных скал Тавриза  
До темных врат, где стал Гераклов град — Кадикс  
*Мной* круг земли омыт, *в меня* впадает Стикс  
И струйный столб огня *на мне* сверкает сизо.

Вот рдяный вечер *мой*: с зубчатого карниза  
*Ко мне* склонились кедр и бледный тамарикс.  
Широко шелестит фиалковая риза,  
Заливы черные сияют, как оникс.

Люби *мой* долгий гул и зыбких взводей змеи,  
И в хорах волн *моих* напевы Одиссеи,  
*Вдохну* в скитальный дух *я* власть дерзать и мочь,

И обоймут тебя в глухом *моем* просторе  
И тысячами глаз взирающая Ночь,  
И тысячами уст глаголящее Море.

*Поэт* здесь приобретает обобщающий смысл — тот, в ком живет «скитальный дух». Ср. в «Венке сонетов»: *Изгнанники, скитальцы и поэты!*

В ряде стихотворений М. Волошина речь ведет от своего имени дух, таящийся в вещах и событиях, движущая сила событий. В двух стихотворениях под названием «Два демона» демоны сами себя характеризуют: **Я** дух механики. **Я** вещества Во тьме блюду слепые равновесья, **Я** полюс сфер — небес и поднебесья, **Я** гений числ. **Я** счетчик. **Я** глава. В стихотворении «Ангел мщенья» речь духа, определяющего ход событий, имеет адресата: *Народу Русскому: Я скорбный Ангел мщенья!*

Таким образом, функции описанной формы употребления первого лица до известной степени варьируются в зависимости от индивидуальных свойств поэта. Типовая функция этой формы в поэзии — самораскрытие предмета, дающее более глубокий образ, чем при взгляде на него со стороны. Такой образ предполагает силу проникновения поэта в сущность предмета.

Обозначение одного лица тремя личными формами образует своего рода синонимию. Контекстуальная синонимия является одним из источников переключения лиц в поэтическом тексте, которое играет важную роль в композиционной и смысловой организации лирического стихотворения. Возникает в поэтическом языке и о м о н и м и я (применение одного означающего к разным означаемым), принимающая наиболее сложный характер в первом лице ед. ч. Об асимметрическом дуализме языкового знака в языке поэзии см. [Ковтунова 1986: 166—179].

**Речь в первом лице от имени лирического я.** О м о н и м и я в местоимении *я* связана с дроблением *я*, с его внутренней подвижностью. Главное деление *я* в языке поэзии — поэтическое *я* и человеческое, эмпирическое *я*. Не менее значимо и иное деление — духовное *я* и земное, телесное *я*. При таком делении поэты включают поэтическое *я* в духовное *я*.

Две главные ипостаси лирического я — поэт и человек — в одних случаях неразделимы, в других случаях преобладает одна из них. В тексте отнесенность я подвижна. Смысл я может незаметно переходить от одной ипостаси к другой. Когда Б. Пастернак пишет *Очам и снам моим просторней Блуждать в туманах без меня*, оказываются сопоставленными два я — я в сфере поэтического творчества (очам и снам моим) и эмпирическое я (без меня). Разные я скрываются за одним знаком в стихах *Всю жизнь я быть хотел как все. Но век в своей красе Не принял моего нитья И хочет быть как я*.

О поэтическом я речь идет в стихотворении А. Ахматовой «Многим»: *Я — голос ваш, жар вашего дыханья, Я — отраженье вашего лица, Напрасных крыл напрасны трепетанья, Ведь все равно я с вами до конца*. Как и в приведенных выше стихах Б. Пастернака, здесь выражена невозможность для поэта уклониться от своего призвания. Одно я переходит в другое в строках Ахматовой *И если я умру, То кто же мои стихи напишет вам, Кто стать звенящими поможет Еще не сказанным словам?*

В стихах некоторых поэтов можно встретить размышления о двух я. Стихотворение И. Анненского «Который» с описанием двух я заканчивается строфой: *О Царь Недоступного Света, Отец моего бытия, Открой же хоть сердцу поэта, Которое создал ты я*. О двух я упоминает О. Мандельштам: *О широкий ветер Орфея, Ты уйдешь в морские края И, несозданный мир лелея, Я забыл ненужное „я“*. Мысли о двух я и образы двух я есть в ряде стихов В. Ходасевича. М. Волошин в стихотворении «Подмастерье», говоря о превращении подмастерья в Мастера по мере духовного роста и расширения познания мира, пишет:

Так, высвобождаясь  
От власти малого беспмятного „я“,  
Увидишь ты, что все явленья —  
Знаки,  
По которым ты вспоминаешь *самого себя*,  
И волокно за волокном собираешь  
Ткань духа *своего*, разодранного миром.

Превращение подмастерья в Мастера мыслится как возврат из мира блужданий «малого беспмятного я» к изначальному совершенному духовному облику, к своему истинному духу, «насыщенному памятью» (в «Доме поэта»: *И памятью насыщен, как земля*).

Для М. Волошина и Вяч. Иванова характерно противопоставление духовного я и земного я. В стихотворении М. Волошина «Я к нагорьям держу свой путь» расположенные параллельно местоимения первого лица выражают эти два я: *Я ли в зорях венчанный царь? Я ли к долу припал в бессильи? Осеняют земной алтарь Огневеющие воскрылья...* В «Зимних сонетах» Вяч. Иванова выделяются две стороны я — плоть и дух. Поэт считает истинным я дух, а плотское я называет

двойником: *Свой гроб влечит двойник мой, раб покорный, Я ж истинный, плотскому изменя, Творю вдали свой храм нерукотворный.*

У Вяч. Иванова есть важное свидетельство о переходе от одного я к другому в момент поэтического творчества — я, испытывающего аффект, к я творческому: «...я, испытывающее аффект, предстоит как бы в зеркальном отражении, следовательно отчуждении творческому я, уже свободному от наблюдаемого и изображаемого аффекта <...> Без „очищения“ (катарсиса), достигнутого таким внутренним отрешением от себя самого, не светится над произведением та потусторонняя улыбка хотя бы только предчувственной сверхличной гармонии, которая служит для людей знаменем подлинности мусического сообщения» [Иванов III: 665].

О различении в одном человеке поэта и человека написала М. Цветаева в очерке «Пленный дух»: «— С кем говорите? Со мной, Борисом Николаевичем, или со мной, Андреем Белым? Конечно, и каждый пишуший, и я, например, могу сказать: с кем говорите, со мной, «Мариной Цветаевой», или со мной — мной (я, Марина Цветаева, для себя так же не существую, как для Андрея Белого) ...» [Цветаева 1980, 2: 306]. Интересно отметить, что человека и поэта принято именовать по-разному: Марина Ивановна и Марина Цветаева (подобным же образом обозначаются и другие поэты).

В другом месте («Поэты с историей и поэты без истории») М. Цветаева раскрывает сущность поэтического я: «Что такое „я“ поэта? По видимости — это „я“ человеческое, выраженное в строе речи. Но только по видимости <...>. „я“ поэта есть преданность его души неким снам, посещение поэтом неких снов, тайный источник не воли его, а всей его природы <...> „я“ поэта есть „я“ сновидца плюс „я“ речетворца» [Там же: 425].

У больших поэтов, сознающих серьезность своего предназначения и передающих в своем творчестве нечто важное для человечества, смысл „я“ выходит за пределы «я человеческого, выраженного в строе речи». Выражаясь словами Вяч. Иванова, «аффект как таковой», не преобразуемый в гармонию в акте поэтического творчества, остается принадлежностью обычного человеческого я [Иванов III: 665].

Обычно смысл я, соотношение в нем человеческого и поэтического я прочитывается при восприятии текста на фоне целостного образа, нередко на фоне всего творчества поэта, включающего образ его поэтического я.

Менее определенной является граница между различными я, связанными с изменением я во времени. Ю. М. Лотман обратил внимание на разные по содержанию я в одном поэтическом тексте. По наблюдениям Ю. М. Лотмана, динамика текста может изменять содержание местоимения, если „я“ или «ты» мыслятся в разных временных планах на протяжении текста. Так в стихотворении Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю» разное содержание имеют „я“ в настоящий момент и „я“, отнесенное к временному отрезку прошлого [Лотман 1972: 173]. Ю. М. Лотман отметил и иной случай изменения смысловой структуры „я“ на протяжении стихотворения. В стихотворении А. Вознесенского «Гойя» предикаты

к „я“ не тождественны, а лишь параллельны, поэтому «не равны и эти, следующие друг за другом „я“: „я“ каждый раз приравнивается новой семантической структуре, то есть *получает новое содержание*. Раскрытие сложной диалектики наполнения этого „я“ — один из основных аспектов стихотворения» [Там же: 187].

Появление разных *я* может быть связано с разными периодами жизни (по словам Н. Гумилева, *Только змеи сбрасывают кожи, Мы меняем души, не тела* — «Память») или с проходящими в воображении и памяти поэта перевоплощениями души. В стихотворении Н. Гумилева «Прапамять» в последней строфе — два разных *я*: *Когда же наконец, восставши От сна, я буду снова я — Простой индиец, задремавший В священный вечер у ручья?* Ср. в стихотворении «Позор»: *Вероятно, в жизни предыдущей Я зарезал и отца и мать, Если в этой — Боже присносущий! — Так жестоко осужден страдать*. Поэтическая рефлексия по поводу изменений *я* во времени — в стихотворении В. Ходасевича «Перед зеркалом»: *Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот — это я?*

В случаях более дробной дифференциации *я* его отнесенность в тексте менее отчетлива. За словом *я* всякий раз стоит содержание, связанное с внутренним пространством поэта, скрытым от непосредственного наблюдения, но так или иначе отразившимся в образе.

**Содержание поэтического я.** Местоимение *я* — языковой знак, имеющий сложный смысловой статус. Природу слова *я* глубоко раскрыл С. Н. Булгаков в книге «Философия имени». «**Я** есть та точка, из которой говорящий смотрит и выражает в слове весь мир». «**Я**, языковое местоимение *я*, оказывается онтологической рамой, в которой может быть вмещено все бытие, а в частности и бытие этого самого *я*, насколько оно входит в Космос, именуется, нарекается». Местоимение *я* — это «слово-жест», «указательный жест», «онтологический жест». Раскрывая сущность поэтического слова, С. Н. Булгаков утверждает онтологизм поэзии и отмечает ограниченный характер «психологизма». «Поэт должен быть послушен велениям музыки, забыть о себе, отдаваясь вдохновению, стремиться перейти за ограду личной ограниченности». *Я* — это жест, «облекаемый в слово, не имеющее своего собственного содержания». «**Я** есть ориентирующая точка бытия, мысли и слова. От *я* отсчитываются направления, им измеряются расстояния». В слове звучат «голоса вещей» [Булгаков 1997: 65—68, 170—172].

Такой статус слова *я* ведет к тому, что оно наполняется всякий раз содержанием, заключенным в тексте. О тонкой и двусторонней связи поэта и текста см. [Топоров 1993]. Содержание поэтического *я*, образ *я* при его восприятии исследователем или читателем определяется рядом расширяющихся контекстов: стихотворение, цикл стихов, сборник стихов, книга стихов, творчество поэта в целом, значимые для поэзии, сконденсированные и преображенные в ней моменты биографии. Самые широкие контексты уходят в неисследимые глубины бытия поэта.

Содержание *я* присутствует в тексте и тогда, когда в нем нет слова *я*. Позиция *я* в лирическом стихотворении всегда присутствует. Часто поэты в стремлении не допустить перенасыщенности текста словом *я* прибегают к разнообразным способам устранения форм первого лица. Изучение этих способов составляет специальную проблему структуры лирического текста.

Умеренность в употреблении слова *я* или даже отсутствие в тексте форм первого лица ведет к некоторому отстранению, отвлечению лирического сюжета, приобретающего сверхличный характер. Последнее зависит в конечном счете от содержания текста, как и от содержания *я* поэта, взятого в его целостности. *Я* больших поэтов обладает общезначимостью: оно открывает потенциальную возможность для многих читателей в разной мере отождествить себя с этим *я*. В ходе времени число таких читателей возрастает.

В статье «Немая музыка псалмов» священник Г. Чистяков, предельно расширяя круг возможных читателей, высказывает убеждение в том, что автором псалмов должен почувствовать себя каждый: «Это книга, автором которой должен быть не только тот древний псалмопевец (Давид, Асаф, Эман Эзрахит и т. д.), чьим именем подписан тот или иной псалом. Им должен становиться всякий, кто берет эту книгу в руки и начинает ее читать. То „я“, от имени которого написан псалом — совсем не его лирического героя, это мое, личное „я“, «его» каждого из нас без каких бы то ни было исключений» [Чистяков 1999: 74].

В содержание поэтического *я* входит мир, охватываемый сознанием поэта: масштабы пространства и времени, отношение поэта к природе и истории, к Космосу и Вселенной. М. Цветаева в статье «Поэты с историей и поэты без истории» отмечает огромные масштабы *я* у «поэтов с историей»: «Они слишком велики по объему и размаху, им тесно в своем „я“ — даже в самом большом; они так расширяют это „я“, что ничего от него не оставляют, оно просто сливается с краем горизонта. [Гёте, Пушкин]. Человеческое „я“ становится „я“ страны — народа — данного континента — столетия — тысячелетия — небесного свода... (Геологическое „я“ Гёте: “Я живу в тысячелетиях”» [Цветаева 1980, 2: 427]. Не только масштабы мира, но и степень проникновения в существо вещей определяет содержание поэтического *я*.

Общезначимости *я* способствует ярко выраженная индивидуальность поэта. Индивидуальность взгляда на предмет, его новизна рождает единственную в своем роде поэтическую форму, которая, при значительности смысла, с тем большей силой запечатлевается в уме читателя.

**Заключение.** Язык поэзии на фоне общелитературного языка обнаруживает а с и м м е т р и ю в употреблении грамматических форм лица. Формы лица приобретают свойства омонимов. Каждое из трех лиц ед. числа может выступать не только в собственном значении, но и в значении двух других лиц. Наряду с о м о н и м и е й личных форм возникает и с и н о н и м и я :

каждое из действующих лиц лирики — лирическое *я*, лирическое *ты*, любое третье лицо или предмет — может обозначаться тремя личными формами.

Для структуры лирического стихотворения существенное значение имеет контекстуальная синонимия, ведущая к переключению лиц в тексте (напр., при обозначении лирического *я* первое лицо может сменяться вторым), и контекстуальная омонимия (напр., на протяжении текста может изменяться смысл местоимения *я*).

В системе асимметричных форм употребления лиц одни формы носят универсальный характер, будучи достоянием поэтического языка в целом, другие, более редкие и присущие отдельным поэтам, занимают в этой системе периферийное положение.

Категория лица в поэзии наглядно показывает, как поэтический язык в своих универсальных чертах обнаруживает системные свойства, сопоставимые с общеязыковой системой, и в то же время в своих индивидуальных проявлениях (в единстве отдельно взятого поэтического образа) ведет себя как целостный живой организм, не подвластный в полной мере, как все живое, однозначному рациональному осмыслению.

## Литература

Булгаков 1997 — Протоиерей Сергей Булгаков. Философия имени. КаИр, 1997.

Иванов 1971—1987, III — Вяч. Иванов. Собрание сочинений. Т. I—IV. Брюссель, 1971—1987.

Ковтунова 1986 — И. И. Ковтунова. Поэтический синтаксис. М., 1986.

Лотман 1972 — Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста. Л., 1972.

Топоров 1993 — В. Н. Топоров. Об «экзотропическом» пространстве поэзии (поэт и текст в их единстве) // От мифа к литературе. М., 1993. С. 25—42.

Франк 1995 — С. Л. Франк. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995.

Цветаева 1980 — Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. М., 1980.

Чистяков 1999 — Священник Георгий Чистяков. Немая музыка псалмов // Священник Георгий Чистяков. На путях к Богу Живому. М., 1999. С. 69—77.

## ОДНОСЛОЖНЫЕ СЛОВА В СТИХЕ: РИТМ И ЧАСТИ РЕЧИ<sup>1</sup>

1. Эта статья входит в серию работ «Лингвистика стиха», цель которых - показать, как перестраивается фонетика, морфология, синтаксис, семантика стихотворного текста под влиянием специфических особенностей стиха — ритма и рифмы. Механизм этого влияния угадывается легко. Требования ритма налагают дополнительные ограничения на отбор слов в стихе: на определенных местах строки могут оказываться только слова определенных ритмических структур (односложные, двухсложные с ударением на 1-м или 2-м слоге и т.д.) — это фонетика. Многие из этих структур характерны для слов, принадлежащих к определенным частям речи (например, слова с длинными безударными окончаниями чаще бывают прилагательными, за счет флексий, а слова с длинными безударными зачинами чаще бывают глаголами, за счет приставок): это морфология, признаки частей речи. Располагаясь соответственным образом по строке, эти части речи вступают в свойственные им синтаксические отношения (после прилагательных встают определяемые ими существительные, перед глаголами - их подлежащие, после глаголов - их дополнения и т.д.): это синтаксис. Те слова, которые оказываются на ритмически сильных местах, получают интонационное выделение и благодаря ему воспринимаются как семантически подчеркнутые, многозначительные (сказать «многозначные» было бы преувеличением), обогащенные смыслом: это семантика. К этим требованиям ритма добавляются требования рифмы: она оттягивает на конец строки слова с удобными для рифмовки флексиями (существительные и прилагательные на *-ой*, краткие прилагательные и причастия на *-он*, *-на* и т.п.), а это дополнительно влияет на морфологическую и синтаксическую композицию строки. Так влияние стихотворной специфики — членения текста на строки, ритма внутри строк, рифмы между строками — пронизывает всю словесную структуру стихотворного текста.

Из этого описания видно, что узловую позицию в этой структуре - на переходе от фонетики к морфологии — занимает связь между фонетической и морфологической формой слова: какие ритмические структуры слов предпочитают какими частями речи и наоборот. Эти

---

<sup>1</sup> Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-00049а)

характеристики русского языка до недавнего времени почти не обращали на себя внимания. Первые подсчеты были опубликованы в статье [Гаспаров 1984] на материале русской художественной прозы XIX в. Они выявили с несомненностью по крайней мере три ритмико-морфологических тенденции: 1) среди слов с длинным безударным окончанием преобладают прилагательные и причастия (41% при средней их доле 15%); 2) среди слов с длинным безударным зачином преобладают глаголы (39% при средней доле 25%); 3) среди односложных слов преобладают местоимения (46% при средней доле 17%). Как используется в стихах первая из этих тенденций, мы потом попытались рассмотреть в других публикациях [Гаспаров 1999, 2002; Гаспаров, Скулачева 2001]. Теперь мы попробуем рассмотреть, как используется в стихах третья из этих тенденций -- относящаяся к частеречевому заполнению односложных слов.

Были сделаны более детальные подсчеты пропорций частей речи в русской классической прозе и в русском 4-ст.ямбе XVIII - XX в. Выделялись следующие грамматические категории. Среди существительных (С) - слова в и(менительном) и к(освенных) падежах. Среди глаголов (Г) - л(ичные формы), им(ператив), ин(финитив) и д(еепричастия). Среди прилагательных (П) - п(олные) и к(раткие) формы. Наречия (Н) рассматривались без дифференциации; для других, не односложных слов, будет полезно различать наречия, производные от существительных, от прилагательных и непроизводные, но среди односложных господствуют только последние. Среди местоимений (М) выделялись местоимения-с(уществительные) в именительном (с.и.) и косвенных (с.к.) падежах и местоимения-п(рилагательные). Остальные части речи, слишком немногочисленные, отмечались как Пр(очие) - главным образом это предикативы, числительные, местоименные наречия, междометия.

Напоминаем, что учитывались только односложные фонетические слова, а не графические, - то есть односложные слова, которые не объединялись при чтении с предшествующими или последующими атонированными предлогами, союзами и т.п. Односложные графические слова, объединяющиеся по определенным правилам в неодносложные фонетические слова, заслуживают отдельного описания. Местоимение *я* на метрически сильной позиции обычно учитывалось как односложное, но в сочетании *и я* считалось двухсложным фонетическим словом и не учитывалось. По предварительным подсчетам (по «Евгению Онегину» и «Пиковой даме») таким образом в составе двух- и более -сложных фонетических слов теряется около половины всех односложных местоимений текста.

Из прозы были взяты для подсчета тексты Пушкина («Метель»), Гоголя («Мертвые души», ч. 1, гл. 6), Тургенева («Касьян с Красивой Мечи»), Толстого («Хозяин и работник», гл. 6-8), Чехова («Огни»). Из стихов - 4-ст.ямбы Ломоносова (15 од 1745-1764), Жуковского (1814-1833), Лермонтова (1832-1841) и Брюсова (1900-1917, только лирика). Пушкин с его стремительной эволюцией потребует отдельного разбора; приближением к нашей теме может служить статья [Шоу 1996].

В абсолютных цифрах частеречевой состав односложных слов в прозе и стихе выглядит так.

Таблица 1

	П.	Г.	Т.	ЛТ.	Ч.	<i>Проза</i>	Лом.	Жук.	Лер.	Бр.
С. и	15	34	31	34	29	143	207	294	464	323
к	24	27	33	30	51	165	378	307	533	488
Г. л	11	16	15	35	12	89	52	117	146	42
им	–	–	–	1	–	1	3	6	7	5
ин	6	4	1	17	5	33	18	38	35	18
д	–	–	–	1	–	1	5	3	2	1
П. п	1	–	–	–	–	1	1	1	3	–
к	–	2	–	–	1	3	4	13	20	18
Н	9	14	23	32	14	92	44	93	102	43
М. си	52	39	91	71	56	309	56	167	346	103
ск	24	17	17	17	22	97	93	209	199	79
п	10	15	14	26	18	83	61	105	116	74
Пр.	12	20	39	36	27	134	15	40	91	30
<b>Всего</b>	<b>164</b>	<b>188</b>	<b>264</b>	<b>300</b>	<b>235</b>	<b>1151</b>	<b>937</b>	<b>1393</b>	<b>2064</b>	<b>1224</b>

По сравнению со средними пропорциями частеречевого состава русской речи - ок.30% существительных, 25% глаголов, 15% прилагательных, 10% наречий, 15% местоимений [Гаспаров 1984, 173]- состав односложных слов обнаруживает сильные, но объяснимые отклонения. Почти исчезают глаголы и, особенно, прилагательные с их характерными затяжными зачинами и окончаниями: сохраняются лишь прилагательные в краткой форме. Основными частями речи остаются существительные и местоимения. Любопытна разница в пропорциях именительного и косвенных падежей в существительных и местоимениях. В прозе среди существительных преобладают, хотя и ненамного, косвенные падежи: дополнений с обстоятельствами в предложении обычно больше, чем подлежащих. (Впрочем, именительные падежи в наших цифрах - это не только подлежащие, но и, например, именные части сказуемых и сравнения с как). А среди местоимений преобладают именительные падежи (почти втрое): местоимения в предложениях используются для связи с предыдущими предложениями, и эта связь, вероятно, лучше обеспечивается через подлежащие, чем через второстепенные члены. Однако в стихах картина другая. У Ломоносова и Жуковского среди местоимений преобладают не именительные, а косвенные падежи (как среди существительных); и только у Лермонтова и Брюсова начинают преобладать именительные падежи, и не в три, а только в полтора раза. Может быть, это значит, что в стихах слабее связность текста и местоимения меньше принимают на себя заботу о ней.

2. Даже независимо от частеречевого заполнения односложные слова занимают особое место в составе русской речи. Основную массу фонетических слов русского языка составляют двухсложные и трехсложные слова - около двух третей (64,2%).

В том числе только три ритмических типа слов составляют около половины всех слов (48,7%) - двухсложные с ударением на 1-м и на 2-м слоге и трехсложные с ударением на 2-м слоге [Гаспаров 1974, 79-88]. Эти категории слов ощущаются как определяющие для звучания русской речи. Остальные на их фоне выступают как «короткие» (односложные) и «длинные» (четыре и более -сложные). В обычной речи контраст «нормальных», «коротких» и «длинных» слов не привлекает внимания. В стихотворной речи, где постоянный объем стихотворной строки заранее задан и ожидание его присутствует в сознании, заполнение его словами разной длины становится ощутимым и художественно значимым. Положение коротких и длинных слов в строке важно для звучания стиха.

Важным оказывается прежде всего соотношение коротких и длинных слов с ритмом. Расположение ударений коротких и длинных слов на ритмически сильных и слабых позициях строки может усиливать и ослаблять четкость ее ритма. Ударения на длинных словах ощущаются как более полновесные — потому что ударный слог в них контрастирует со смежными безударными слогами, и от этого ударность его более выделена. Ударения на коротких, односложных словах ощущаются как более легковесные — потому что ударный слог в них фонетически не подчеркнут контрастом, а семантически такое ударение не является фонологическим, смысловозначительным [Якобсон 1979, 203- 205]. Поэтому естественно ожидать, что ударения длинных слов будут тяготеть к ритмически сильным, а ударения коротких слов к ритмически слабым стопам строки.

Эти соображения впервые развил Р.Якобсон в статье «Об односложных словах в русском стихе» (1973) [Якобсон 1979, 201- 214], попытавшись, с помощью К.Тарановского, подкрепить их подсчетами.

Для 4-ст. хорей подсчеты оказались очень выразительными. В этом размере вторичный ритм стиха очень четок: слабые стопы - 1-я и 3-я, сильные - 2-я и 4-я; процент ударности четырех стоп: 57 - 97 - 45 - 100%; доля односложных слов среди ударений каждой стопы: 33 - 8 - 20 - 5(10)%; чем больше ударность стопы, тем меньше на ней односложников. Доля односложников на последней стопе у Якобсона занижена: в хорее Пушкина половина строк имеет мужское окончание (на ударный слог) и половина - женское (на безударный), а в женском окончании односложное слово на последней стопе невозможно; поэтому долю односложных слов здесь следует считать не от общего числа строк, а только от числа строк с мужскими окончаниями. Однако и в размере 10% она существенно ниже, чем на слабых 1-й и 3-й стопах.

Для 4-ст. ямба подсчеты оказались гораздо менее выразительными. В этом размере вторичный ритм стиха более зыбок: сильная стопа - 4-я, слабая - 3-я, а сила 1-й и 2-й стоп колеблется: в XVIII в. сильнее была 1-я стопа, в XIX в. — 2-я. Кроме того, ямбический стих начинается с безударного слога, поэтому на 1-й стопе в нем в принципе не может стоять

односложное слово. Процент ударности четырех стоп в 4-ст. ямбе письма Татьяны к Онегину: 81 - 92 - 52 - 100%; доля односложных слов по стопам, по подсчетам Якобсона: 20 - 17 - 21 - 15(30)%. Как мы видим, односложные слова по стопам распределяются гораздо более ровно, а на последней, константно ударной стопе, если сделать подсчет только по мужским окончаниям, доля односложных слов оказывается не ниже, а выше, чем на остальных. Показатель по первой стопе очень сомнителен: он учитывает односложные слова в составе таких словосочетаний: как *Я к вам*, *Я жду* и даже *Иль сон*, и, по-видимому, *Но вы* и *А мы*, хотя обычно стиховеды считают их двухсложными фонетическими словами с проклитикой. Для проверки мы сделали два подсчета по составным фонетическим двухсложным словам на первой стопе ямба у Ломоносова и Лермонтова: оказалось, что от общего числа двухсложных слов они составляют 31-34% (если считать даже такие фонетические слова, как *И я* и *Не ты*) или 11-12% (если считать только случаи, где на первом слоге стоит *я, все, кто?* и другие слова, считающиеся ударными хотя бы на сильной позиции строки). Якобсоновские 20% - это субъективно нащупываемая середина между этими двумя объективными способами учета; доверять этой цифре не следует. (Ср. критические замечания в статье: [Красноперова 2001]).

3. Однако на самом деле и в ямбе, действительно, односложные слова играют роль в укреплении ритма строки. Однако они делают это не просто частотой своего появления на сильных и слабых стопах, а пропорциями частей речи, разными на разных стопах.

Четыре поэта, рассмотренные нами, хорошо представляют четыре эпохи русского 4-ст.ямба: у Ломоносова 1-я стопа по ударности сильнее 2-й (как в XVIII в. в целом: «рамочный» ритм «ИзвОлила Елисавет»); у Жуковского 1-я стопа ослабевает, 2-я усиливается, их ударность сравнивается (переходный ритм, характерный для 1800-1830 гг.); у Лермонтова 2-я стопа по ударности сильнее 1-й (как у большинства поэтов середины и второй половины XIX в.: «альтернирующий» ритм «АдмиралтЕйская игла»); у Брюсова 2-я стопа ослабевает, 1-я усиливается, их ударность опять сравнивается (общая тенденция 4-ст.ямба начала XX в.). На рассмотренном нами материале эта картина ударности 4-ст.ямба по 4 стопам выглядит так:

Т а б л и ц а 2	
Ломоносов	94 - 75 - 51 - 100% (3280 ст.)
Жуковский	85 - 85 - 41 - 100% (4952 ст.)
Лермонтов	84 - 93 - 43 - 100% (7270 ст.)
Брюсов	87 - 87 - 54 - 100% (4158 ст.)

Мы рассмотрим, в каких частеречевых пропорциях появляются односложные слова на сильных стопах (4-я у всех поэтов, 1-я у Ломоносова, 2-я у Лермонтова),

на слабых стопах (3-я у всех поэтов, 2-я у Ломоносова, 1-я у Лермонтова) и на колеблющихся стопах (1-я и 2-я у Жуковского и Брюсова).

4-ст.ямб допускает 36х2 различных комбинаций ритмических слов внутри строки (не считая совершенно неупотребительных), как с мужским, так и с женским окончанием. Односложные слова находят место в 27 таких «словораздельных вариациях». Вот их перечень. Первая цифра обозначает (по ныне установившейся нумерации) номер «ритмической формы» (они различаются расположением ударений по стопам), вторая — «словораздельной вариации» внутри формы (они различаются расположением словоразделов между ударениями — м(ужских), ж(енских), д(актилических) и г(ипердактилических)). Примеры — из Лермонтова и Брюсова.

Односложное слово на 4-й стопе:

1.2 Пою, друзья, на старый <i>лад</i>	ммж
1.4 Везде прекрасен Божий <i>свет</i>	мжж
1.6 Высокий дом, широкий <i>двор</i>	жмж
1.8 Разлуки первой грозный <i>час</i>	жжж
2.2 На вышине гранитных <i>скал</i>	-мж
2.4 Остановился быстрый <i>взгляд</i>	-жж
3.2 Лежит полуобъятый <i>сном</i>	М-ж
3.4 Недолго продолжался <i>бой</i>	Ж-ж
3.6 Мучительный, ужасный <i>крик</i>	Д-ж
3.8 Неведомыми станут <i>вновь</i>	Г-ж.
4.4 Мою пылающую <i>грудь</i>	мГ-
4.8 Ланиты девственные <i>жжет</i>	жГ-
6.4 От продолжительного <i>сна</i>	-Г-

Односложное слово на 3-й стопе:

1.3 <i>Надежд разбитых груз</i> лежит Тебя иное <i>ждет</i> страданье	мжм
1.7 Покинув тайный <i>свой</i> ночлег Печальный Демон, <i>дух</i> изгнанья	жжм
2.3 На беззаконный <i>наш</i> союз Благословляя <i>час</i> свиданья	-жм
3.7 Обменивая <i>взгляд</i> на взгляд На будущие <i>дни</i> взирает	Г-м

Односложное слово на 2-й стопе:

1.5 Отчизну, <i>дом</i> , друзей, родных И входит <i>он</i> , любить готовый	жмм
1.6 Высокий <i>дом</i> , широкий двор И будешь <i>ты</i> царицей мира	жмж
4.5 И молча <i>зло</i> переносу Он сеял <i>зло</i> без наслажденья	жМ-

Односложные слова (как не обладающие фонологическим ударением - см. выше) могут появляться и на нечетных слогах ямба в качестве сверхсхемных ударений: «Где я? что я? в какой глуши?» Но полноударные слова (знаменательные части речи) здесь редкость, а неполноударные (местоимения и служебные слова) здесь атонируются. Единственная из нечетных позиций, на которой односложные слова часты и ударение их ощутимо — это начальный слог в тех строках, в которых схемное ударение на 1-й стопе пропущено.

Односложное слово на 1-й стопе:

2.1	<i>Я</i> наложил печать мою	-мм
2.2	<i>Бой</i> закипел, смертельный бой	-мж
2.3	<i>Нем</i> и недвижим он стоял	-жм
2.4	<i>Два</i> комплимента, нежный взор	-жж
6.1	<i>Ты</i> отомстил? - Не отомстил...	-М-
6.2	<i>Сны</i> золотые навевать	-Ж-
6.3	<i>Мой</i> безыскусственный рассказ	-Д-
6.4	<i>Ты</i> позавидовал бы мне	-Г-

Не лишены интереса перемены в частоте этих сверхсхемных ударений на начальном слоге длинного безударного зачина. В процентах от общего количества строк 2-й и 6-й ритмических форм это выглядит так:

	<i>Т а б л и ц а 3</i>		
	<i>2 ф.</i>	<i>6 ф.</i>	<i>В ср.</i>
Ломоносов	-	-	7,9%
Жуковский	38,1	28,5	31,5%
Лермонтов	38,9	35,2	37,0%
Брюсов	48,5	51,3	49,7%

У Ломоносова сверхсхемных ударений на начальном слоге так мало (всего 16), что их не приходится даже дифференцировать по формам. Видимо, на начальной стадии развития русской силлабо-тоники сверхсхемные ударения ощущались как сильная аномалия и на столь заметном месте избегались. В XIX в. они перестают быть исключением, а в XX в. становятся правилом: у Брюсова они в половине всех строк, их можно воспринимать как схемное ударение, сдвинутое на один слог влево. В начале эволюции сверхсхемные ударения предпочитают 2-ю ритмическую форму, в конце, кажется, начинают предпочитать 6-ю (с ее нехваткой схемных ударений). Однако эта тенденция к отягощению начального слога корректируется, как мы увидим, пропорциями частей речи на нем и на других односложных словах.

3.1. Обобщая цифры, представленные в табл.1, мы получаем такие средние пропорции распределения частей речи по односложным словам

в стихе и прозе (сверхсхемные ударения не учитываются); все показатели - в процентах.

Т а б л и ц а 4

	<i>Проза</i>	<i>Лом.</i>	<i>Жук.</i>	<i>Лер.</i>	<i>Брюс.</i>
Существит.	26,8	62,5	43,1	48,3	66,2
Глаголы	10,8	8,3	11,8	9,2	5,4
Прил.и прич.	0,3	0,5	1,0	1,1	1,5
Наречия	8,0	4,7	6,7	5,0	3,5
Местоимения	42,5	22,4	34,5	32,0	20,9
Проч.	11,6	1,6	2,9	4,4	2,5

Из таблицы видно: в стихе резко (в полтора-два раза) возрастает доля существительных и убывает доля местоимений и служебных частей речи. Местоимение в прозе было господствующей частью речи среди односложных слов, в стихе оно становится второстепенным. Выше всего доля существительных, вытесняющих местоимения, - в начале и конце нашего материала, у Ломоносова и Брюсова.

Стиховедами давно замечено, что стих фонетически плотнее, чем проза: в нем слова короче, и в равный слоговой объем их помещается больше. Средняя длина слова в художественной прозе — 2,8 — 2,9 слога (в разговорной речи 2,7 слогов, в деловой прозе 3,9 слогов), средняя длина слова в 4-ст.ямбе — 2,6 — 2,7 слога (соответственно для XVIII и XIX в.) [Гаспаров 1974: 80-86]. Теперь к этому можно добавить, что стих и семантически плотнее, чем проза: в нем больше знаменательных частей речи. В прозе доля их - меньше половины, в стихе - от двух третей до трех четвертей. Конечно, это относится только к односложным словам, где контраст между знаменательными и служебными словами ярче всего. Насколько это меняет пропорции частей речи во всем словарном составе стиха, еще предстоит вычислить.

3.2. Однако эти средние пропорции односложных частей речи в стихе по-разному реализуются на разных позициях строки. Для четырех стоп 4-ст.ямба (1-я стопа - сверхсхемное ударение) их распределение выглядит так (в процентах).

Т а б л и ц а 5

	<i>ЛОМОНОСОВ</i>					<i>ЖУКОВСКИЙ</i>				
	<i>Стопы</i>	1	2	3	4	Ср.	1	2	3	4
<i>Сущ.</i>	--	46,4	48,2	79,7	62,5	9,0	43,3	33,1	48,7	43,1
<i>Глаг.</i>	--	8,3	8,9	8,0	8,3	4,3	10,3	8,0	14,9	11,8
<i>Прил.</i>	--	--	0,4	0,9	0,5	--	0,5	2,0	0,8	1,0
<i>Нар.</i>	12,5	6,4	7,3	2,3	4,7	19,0	8,1	7,4	5,3	6,7
<i>Мест.</i>	81,3	34,1	34,8	8,7	22,4	56,5	35,7	46,4	27,3	34,5
<i>Проч.</i>	6,2	4,8	0,4	0,4	1,6	11,2	2,1	3,1	3,0	2,9

	ЛЕРМОНТОВ					БРЮСОВ				
Стопы	1	2	3	4	Ср.	1	2	3	4	Ср.
Сущ.	12,3	47,2	29,5	63,6	48,3	17,4	61,2	53,1	77,3	66,2
Глаг.	3,5	12,3	8,8	7,0	9,2	4,6	6,5	3,3	5,8	5,4
Прил.	0,2	1,1	0,7	1,5	1,1	0,4	0,3	1,0	2,6	1,5
Нар.	14,1	3,7	4,7	2,8	5,0	7,9	5,4	2,0	3,0	3,5
Мест.	52,5	30,8	50,7	22,0	32,0	59,5	24,8	35,0	10,1	20,9
Проч.	17,4	4,9	5,5	3,1	4,4	10,2	1,8	5,6	1,1	2,5

Из таблицы видно:

а) Односложные слова на начальном слоге резко отличаются от всех остальных. Их ударения в стихе - сверхсхемные, поэтому они стараются быть не слишком весомыми, чтобы не сбивать основного ритма. Распределение частей речи здесь — не такое, как в стихе, а такое, как в прозе: господствуют местоимения и «прочие» (их даже больше, чем в прозе), а существительные и глаголы ступеньются (их даже меньше, чем в прозе). Необычно повышен лишь процент наречий: видимо, за счет таких слов, как *здесь*, *там*, *так*, которые в поэтическом языке часты в начале предложений, а следовательно, и строк. Эти тенденции слабеют от Ломоносова к Брюсову: доля существительных и глаголов нарастает в последовательности 0 — 13 — 16 — 22%, сверхсхемные односложные слова постепенно подтягиваются к схемным. Но все равно они не дотягивают даже до показателей прозы (37,5% существительных и глаголов): сверхсхемные ударения остаются облегченными.

б) Противоположная тенденция - на последней стопе: ударение, отмечающее конец строки, стремится быть не только максимально частым (100%), но и максимально полновесным (65-90% существительных и глаголов, местоимения отеснены на второй план). Сильнее всего эта тенденция у Ломоносова и Брюсова, от нее - общая повышенность доли существительных, которую мы отмечали в таблице 4. Слабее всего эта тенденция у Жуковского: у него больше всего местоимений на последней стопе. Повышенный процент местоимений в рифме был и у Пушкина [Гаспаров 2000: 321,152]. Как кажется, здесь в развитие ритмики стиха вмешалась рифма: чтобы уйти от все более стереотипных пар существительных, в начале XIX в. в стих были шире допущены легкие рифмы на местоимения, а с ними и односложные слова на рифмующей стопе. Потом эти рифмы стали казаться слишком уж легкими, и местоимения ушли из рифм; подробности этого процесса еще не выяснены.

Заметим, что засилье существительных в конце строки может порождаться не только стиховыми потребностями, но и чисто языковыми тенденциями — а именно, синтаксическими. Стиховая строка обычно стремится к синтаксической замкнутости - т.е. к совпадению если не с предложением, то с «колоном», «синтагмой», «фразой». Большая часть строк в русском 4-ст.ямбе — трехсловные. Так вот, трехсловные колоны уже в составе русской прозы, как кажется,

обнаруживают ту же тенденцию: максимум существительных на последней позиции, максимум местоимений — на предпоследней. Предварительные подсчеты («Пиковая дама» и «Капитанская дочка», 970 трехсловных колонов) показывают такие пропорции частей речи на трех позициях:

Т а б л и ц а 6

Существит.	31	18	63%
Глаголы	26	29	17%
Прил.и прич.	9	21	6%
Наречия	10	8	5%
Местоимения	17	21	7%
Прочие	7	3	2%

Подсчеты Шоу для последних слов в колонах любой длины по прозе «Пиковой дамы» [Шоу 1996: 334] дают похожую картину: 56% существительных, 19% глаголов, 8% прилагательных и причастий, 5% наречий, 8% местоимений. Однако до более подробного исследования синтаксиса таких колонов настаивать на этой аналогии было бы рискованно.

в) На двух средних стопах, 2-й и 3-й, пропорции частей речи в односложных словах — и это самое интересное — соответствуют ритмическим тенденциям сменяющихся эпох (см. табл.2). Для Ломоносова 2-я стопа не является сильной (частоударной) — поэтому она не притягивает тяжелых существительных и не избегает легких местоимений, доля существительных и местоимений на 2-й и на 3-й стопах одинакова, существительных в 1,4 раза больше, чем местоимений. У Жуковского 2-я стопа сравнивается с 1-й по частоударности и опережает 3-ю по тяжелоударности: существительных на 2-й стопе в 1,2 раза больше, чем местоимений, а на 3-й стопе в 1,4 раза меньше. Для Лермонтова 2-я стопа — сильная, частоударная, и этому вторит тяжелоударность: существительных на 2-й стопе в 1,5 раз больше, чем местоимений, а на 3-й стопе в 1,7 раз меньше. У Брюсова 2-я стопа опять снижает частоударность, сравниваясь с 1-й, но по тяжелоударности по-прежнему превосходит 3-ю: существительных на 2-й стопе в 2,5 раз больше, чем местоимений, а на 3-й стопе только в 1,5 раз больше.

Мы видим, что понятие «ритмически сильная стопа» складывается из двух факторов: частоударности и тяжелоударности, и эволюционируют эти два фактора в различном темпе. Когда классический альтернирующий ритм «Адмиралтёйская игла» начинает складываться, то тяжелоударность опережает частоударность: сильная 2-я стопа сперва становится тяжелоударной, а уже потом частоударной (у Жуковского). В расцвете альтернирующего ритма они совпадают (у Лермонтова). Когда альтернирующий ритм начинает слабеть, то тяжелоударность отстает от частоударности: сильная 2-я стопа уже перестает быть частоударной, но еще остается тяжелоударной (у Брюсова). Так морфология (распределение частей речи по строке) через фонетику (распределение односложных слов по строке) подкрепляет и разнообразит ритмику строки: это одна из нитей той ткани, которая называется «лингвистика стиха». На материале

односложных слов это видно особенно отчетливо; но можно думать, что и среди двухсложных слов пропорции знаменательных слов, с одной стороны, и местоимений со служебными словами, с другой, будут следовать тем же тенденциям: это еще предстоит проверить подсчетами.

4. Синтаксические последствия таких тенденций расположения односложных частей речи просматриваются плохо. Из всех частей речи определеннее всего задают свое синтаксическое окружение глаголы и прилагательные, а именно их среди односложников почти нет; существительные же и местоимения уживаются в любых синтаксических структурах. Однако хотя бы у одного поэта в одной из словораздельных вариаций намечаются уловимые синтаксические предпочтения.

Среди 27 словораздельных вариаций 4-ст.ямба, содержащих односложные слова, есть только одна, содержащая целых два односложных слова — 1.6 с мужским окончанием, «Высокий дом, широкий двор». Такое чередование трехсложных и односложных слов (3+1+3+1) побуждает воспринимать строку как состоящую из двух параллельных полустиший. У Лермонтова таких строк 108, у Жуковского 74, у Ломоносова 55, у Брюсова 22. Именно у Лермонтова с его наибольшим навыком «упрощенного ямба» синтаксис в таких строках дополнительно подчеркивает этот ритмический параллелизм. Это видно из сопоставления системы межсловесных синтаксических связей в вариациях 1.6 с мужским окончанием (3+1+3+1 слог, строгий ритмический параллелизм) и с женским окончанием (3+1+3+2 слога, ослабленный ритмический параллелизм). При мужском окончании синтаксическая связь между 2-м и 3-м словом избегается или ослабляется, чтобы стих легче распадался на два полустишия; при женском окончании этого не происходит.

В полноударной, четырехсловной строке 4-ст.ямба возможны 6 межсловесных синтаксических связей. Самые частые и тесные связывают слова второго полустишия (3-4), на втором месте — связи между словами первого полустишия (1-2), далее следуют связи между полустишиями - одна контактная (2-3) и три дистанционных (1-3, 1-4, 2-4) [Гаспаров, Скулачева 1999]. Примеры на материале лермонтовских строк типа 1.6:

<i>Связи</i>		<i>Строк с муж.ок.и с жен.ок.</i>	
1-2, --, 3-4	На брачный пир к закату дня	30	17
1-2, 1-3, 3-4	Позвольте мне представить вам	9	6
1-2, 1-4, 3-4	И вспомнил я отцовский дом	8	7
1-2, 2-3, 3-4	Приветный блеск увижу я	4	12
1-2, 2-4, 3-4	Минутный крик и слабый стон	27	5
Прочие		30	11

Уже из этих абсолютных цифр видно: при мужском окончании Лермонтов предпочитает в середине стиха неконтактную связь 2-4, при женском окончании — контактную 2-3. Это

повышенное внимание к связи 2-4 объясняется тем, что она соединяет именно два ритмически перекликающихся односложных слова. В 9 случаях из 27 эта связь — между однородными членами предложения, порождающая синтаксический параллелизм полустипий: *Минутный крик и слабый стон, На знойный дол и пыльный путь, На гордый вид и гордый дух, Ни горный дух, ни дикий зверь, Высокий дом, широкий двор* и т.п. Не случаен и высокий процент строк без всякой синтаксической связи между полустипиями (*На брачный пир к закату дня, Такой-то царь в такой-то год, Ты хочешь знать, что делал я, Могучий барс. Сырую кость* и т.п.: около 30%, тогда как в словораздельной вариации 1.5 с менее ритмическим расположением слов 3+1+2+2 - лишь около 20%): они не добавляют синтаксического параллелизма, но подчеркивают ритмический параллелизм полустипий. Стих и язык опять поддерживают друг друга.

Однако повторяем, что в нашем материале такое внимание синтаксическому подкреплению ритма — индивидуальная черта Лермонтова. Ни у Ломоносова, ни у Жуковского, ни у Брюсова такого предпочтения связям 2-4 перед связями 2-3 нет, и строки с параллелизмами *Проливши свет, отгнало страх* (Лом.), *Чудесный вид! огромный рост!* (Жук.), *Фонтаны бьют. Лепечет рай* (Брюс.) возникают, как кажется, не чаще естественной случайности, - во всяком случае, не чаще, чем при женских окончаниях *Унизил дол, возвысил горы* (Лом.), *Три целых дня, три целых ночи* (Жук.) и пр. Как кажется, у Жуковского и Брюсова есть даже тенденция бороться с распадением стиха на полустипия: у них повышенная доля строк с невыделенным первым полустипием, например, *И быстро все светлело вдруг* (1-3, 2-3, 3-4) или *Лелеют ваш прекрасный сон* (1-4, 2-4, 3-4), а в женских строках Жуковского - даже с невыделенным вторым полустипием, например, *Сказал ей страж крылатый рая* (1-2, 2-3, 2-4). Но индивидуальные особенности синтаксиса четырехсловий — это еще слишком неисследованная область.

5. Говорить о семантических деформациях односложных частей речи в стихе на нашем небольшом материале вряд ли возможно. Однако, может быть, стоит обратить внимание если не на семантический, то хотя бы на лексический аспект нашего материала. Запас односложных знаменательных слов русского языка не очень велик, и повторяемость их высока. (Так, у Лермонтова формы *был, быть, будь* составляют 40% всех его односложных глаголов). Было бы интересно посмотреть, в какой последовательности и с какой частотой они входят в употребление у поэтов.

Мы ограничимся данными по односложным именам существительным у четырех поэтов: это будет малый срез (хоть может быть, и не самый интересный) частотного словаря русского поэтического языка разных эпох: создание такого словаря необходимо, но, кажется, до него еще далеко.

В прилагаемом алфавитном списке указывается число употреблений каждого слова у Ломоносова (ЛМ), Жуковского (Ж), Лермонтова (ЛР) и Брюсова (Б); если число не указано, то слово употреблено только один раз. Слова, встречающиеся у всех четырех поэтов, выделены

полужирным шрифтом. Для лексикографической ясности все односложные словоформы одного слова суммировались при его именительном падеже, так что за словом *день* в нашем списке стоят также *дня, дни, дней* и пр. (От этого - повышенные показатели частоты таких слов, как *день, сон, мгла, тьма*). Односложные формы род.и вин.пад. мн.ч. от двухсложных существительных перечисляются отдельно в конце каждой буквы после знака //. Размещение слов по позициям в строке не отмечалось; если это сделать, то станет видна возмущающая роль рифмы: неудоборифмуемые слова (*жизнь, мысль*) избегаются на 4-й стопе.

Всего в списке 408 слов (из них 86 односложны только в косвенных падежах). Какая это доля всех односложных слов русского языка, сказать трудно; по пробным подсчетам (именительные падежи слов на Д и К), это 18-19% односложных существительных, значащихся в Малом академическом словаре. Это приблизительно соответствует общей доле поэтического словаря от всего словаря русского языка: отбор слов применительно к ритму менее строг, чем, например, применительно к рифме [Гаспаров 1986: 188]. 17% слов - общие всем четырем поэтам, 15% - трем, 23% - двум, 45% встречаются только у одного поэта (9% у Ломоносова, 5% у Жуковского, 12% у Лермонтова, 19% у Брюсова: лексика Брюсова наиболее разнообразна). Слов, общих всем четырем поэтам, - 68 (1678 словоупотреблений). Наиболее частотные из них (в порядке убывания): *день, час, сон, свет, лет, взор, путь, мир, жизнь, грудь, дух, кровь, луч, вод, ночь, дом, тень, сил, звук, гор, мгла, лик, блеск, храм, крик, шум, бог, страх, цвет*. На эти 29 слов приходится три четверти от 1678 словоупотреблений. Вообще же 68 односложных существительных, даже если отбросить менее частотные, — набор, вполне достаточный для построения картины мира: *бог, мир, рок... век, день, час... край, путь, храм... свет, грудь, взор... жизнь, смерть, сон...* Может быть, традиционные эксперименты со стихотворениями только из односложных слов - от песни А.Ржевского до односложных сонетов В.Ходасевича и других - не так уж безнадежны в содержательном отношении, как это обычно кажется.

*ад ЛМ 2 ЛР; // астр Б.*

*бал ЛР 2, барс ЛР, бег ЛМ ЛР 2 Б 2, Бей ЛР 2, бич Б, блеск ЛМ 2 Ж 4 ЛР 7 Б 8, бог ЛМ 10 Ж 4 ЛР 3 Б 2, бой Ж 5 ЛР 9 Б 4, боль Б, бор Ж 2 ЛР Б 2, брак ЛМ 2, брань ЛМ 5 Б, брат Ж 4 ЛР Б 3, брег ЛМ 2 Ж, бред ЛР 3 Б 2, бровь ЛР, Брюс Ж, быль Ж Б; // бед ЛМ 2 Ж ЛР 3, бездн Б 2, битв Б 2, благ Ж 2 Б, бурь ЛМ 3 Ж.*

*вал Ж ЛР, век ЛМ 9 Ж 2 ЛР Б 3, весть ЛР ветвь ЛМ ЛР, ветер ЛМ ЛР 2 Б 2, взгляд Ж 6 ЛР 12 Б 7, вздох Ж ЛР 2 Б, вздор ЛР взмах ЛР, взор ЛМ 5 Ж 9 ЛР 30 Б 14, вид ЛМ 5 Ж 10 ЛР 5, винт Б, визг ЛР, вихрь ЛМ Ж Б 3, вклад Ж, вкус ЛР 2, власть ЛМ 6 Ж 2 ЛР 2 Б, вождь Ж Б 2, воз Ж, вой ЛМ ЛР 3 Б, вол Б 2, волк ЛР, вопль Б, враг Ж ЛР 5 Б, вран ЛМ, врач ЛР, вред ЛМ, всхлип Б, восход ЛМ, вход Ж 2, высь Б 3; // вежд Ж, вех Б, вод ЛМ 12 Ж 8 Л 4 Б 10, волн Ж 5 ЛР Б, врат ЛМ 2, встреч Б 2.*

гад ЛМ, газ Б 2, гимн Б 3, глад ЛР, глаз Ж ЛР 15 Б 6, глас ЛМ 15 Ж 13 ЛР 4, глубь ЛР Б 4, гнев ЛМ ЛР, год ЛМ 3 Ж ЛР 6 Б 7, гость Ж 5 ЛР 3 Б 3, град ЛМ 8 Ж 2 ЛР Б, граф Ж 3, грех ЛР, гроб ЛМ 2 Ж 8 ЛР 2 Б, гром ЛМ 2 Ж 2 ЛР 3 Б, грудь ЛМ 4 Ж 3 Л 25 Б 11, груз ЛР Б, грусть ЛР, грязь Ж, гул Ж 2 ЛР 4 Б 12; // глав ЛМ 2, гор ЛМ 5 Ж 2 ЛР 14 Б 2, грез Б 6, гроз Б, губ ЛР Б 2.

даль ЛР Б 4, дань ЛМ 4 ЛР, дар ЛМ 2 Ж 5 ЛР 3 Б 2, дверь ЛМ 3 Ж 2 ЛР 6 Б, двор ЛР 4, дед ЛМ, день ЛМ 30 Ж 46 ЛР 63 Б 53, длань Б 2, Днепр ЛМ 2 ЛР, дно ЛМ 2 Ж 2 Б 3, дождь Ж 2 ЛР Б, дол ЛМ 2 Ж ЛР Б 2, дом ЛМ 4 Ж 5 ЛР 14 Б 5, Дон ЛМ 2 Ж, дочь Ж 2 ЛР 9, дрожь Б 3, друг Ж 10 ЛР 3 Б 3, дуб Ж ЛР, дух ЛМ 5 Ж 2 ЛР 17 Б 11, дочь ЛМ 9, дым ЛМ 2 Ж 5 ЛР 3 Б 4; // дам Ж ЛР, дач Б 2, дев Ж 3 ЛР Б 4, дел ЛМ 14 ЛР 2 Б, див ЛМ, древ ЛМ, дум ЛР 10 Б, души ЛМ Ж ЛР.

жар ЛМ 4 Ж 6 ЛР 2 Б 2, жгут Б, жезл Б 2, жизнь ЛМ 4 Ж 13 ЛР 14 Б 12; // жен Б, жертв ЛР Б.

зал Б, зверь ЛМ ЛР 4 Б, звон Ж 4 ЛР 5 Б 2, звук ЛМ 4 Ж 3 ЛР 13 Б 4, зев Ж, зло ЛМ Ж 4 ЛР 9 Б 2, змей Б, знак ЛМ 3 Ж ЛР Б 4, зной ЛР 2 Б, зрак ЛМ 4, зов ЛР Б 10 // зал Б, звезд ЛМ 6 Б 2, зим Б, змей Ж 2 ЛР Б.

// игр Б, изб Б.

казнь ЛР Б, Карл Ж 3 Б, клад Ж 2 ЛР, клевет ЛР, клик ЛР 2 Б, клич Б 2, ключ Ж ЛР 2 Б, клуб Б, князь Ж 3 ЛР 19, ков Б, конь Ж ЛР 17, кость ЛР Б, край ЛМ 2 Ж 3 ЛР 5 Б 3, Красс Б, крест Ж 2 ЛР Б 2, крик ЛМ Ж 5 ЛР 9 Б 5, кров ЛМ Ж ЛР 2, кровь ЛМ 5 Ж 4 ЛР 17 Б 8, круг ЛР 4 Б 6, куст Б, куш ЛР; // Карр Б, книг ЛР Б 3, крат ЛМ, крыл Б, Кум Б, куп Б.

лавр Б, лад ЛР 2, лай ЛР 2, лев ЛМ Ж ЛР 2, лед ЛМ 4 ЛР 3 Б, лен Б, лень Б 2, лес ЛМ 2 Ж 4 ЛР 8 Б 3, лик ЛМ 6 Ж 7 ЛР Б 7, лист ЛР 4 Б, лоб Ж ЛР 3 Б 2, ложь Б 2, луг ЛМ Ж 2 ЛР Б 2, лук ЛМ 2 Ж, луч ЛМ 5 Ж 8 ЛР 16 Б 5, лях ЛР // ласк Б 3, лат ЛР, лет ЛМ 9 Ж 13 ЛР 26 Б 12, лип Б, лир Б, лиц ЛР 4 Б, лоз ЛМ ЛР, льдин ЛР.

Марс ЛМ 2 Ж, марш ЛР, мать ЛМ 4 Ж 2 ЛР 4 Б 2, мгла ЛМ Ж 8 ЛР 4 Б 8, медь Б 2, месть ЛР 2 Б, меч ЛМ 3 Ж 5 ЛР 3 Б 3, миг Ж ЛР 9 Б 16, мир ЛМ 7 Ж 6 ЛР 14 Б 17, млат Ж, мост Ж 2 ЛР, мох Ж, мочь ЛМ Ж, мощь ЛМ Б 2, мрак ЛМ 2 Ж 4 ЛР 3 Б 3, муж ЛМ ЛР 4, мысль ЛМ 2 Ж 2 ЛР 9 Б 2, мяч Б; // мест ЛМ 8 ЛР 2 Б, Муз ЛМ 3, мук ЛМ Ж 2 ЛР 5.

Нил ЛМ Ж Б, нимб Б, нить Б, нож ЛР, нос Ж 2 ЛР, ночь ЛМ 3 Ж 3 ЛР 15 Б 12, нрав ЛМ, нутр ЛМ; // нег Б, недр ЛМ 3, нив Б 3, нимф ЛМ, ног ЛР 2 Б 5.

Обь ЛМ, одр Ж, Орм ЛМ, ось Б 2.

пар ЛМ Ж 2 ЛР 4 Б, парф Б, пасть Б 2, пень Ж 3 ЛР 3: перл ЛР, пес Ж 2 ЛР 3, песнь Ж 4 ЛР 2 Б, Петр ЛМ 10 Б, пир ЛМ ЛР 2 Б 4, плач Ж 2 ЛР Б 2, плен Ж Б, плеск ЛМ Ж ЛР, плод ЛМ 6 ЛР 2 Б, плоть ЛМ, плуг Б, пол ЛМ Ж ЛР 4, полк ЛМ ЛР 2 Б, понт ЛМ Б, пост Ж, пот ЛР 4, прах ЛР 11 Б 8, пруд Б, пря ЛМ, пук Ж, путь ЛМ 7 Ж 8 ЛР 22 Б 8, пыл ЛР 2, пыль ЛР 2; // пальм Б, пен Б 2, плеч Ж 2 ЛР 3 Б 2, плит ЛР 3 Б, пор ж 4 ЛР 6 Б, прав ЛМ 3, просьб ЛР, птиц ЛМ 4 Ж ЛР 2 Б 4, пуль ЛР, пчел ЛМ 2.

раб ЛР 3 Б, раз Ж 6 ЛР 15 Б 7, **рай** ЛМ 4 Ж 5 ЛР 2 Б, рать ЛМ, рев ЛР Б, **речь** ЛМ 5 Ж ЛР 8 Б 2, Рим ЛМ Б 5, ров Б, рог ЛМ 2 Ж, род ЛМ 8, рожь Б 2, рой ЛМ ЛР 2 Б 2, **рок** ЛМ 4 Ж 3 ЛР Б 7, роль Б, рост Ж 2, рот ЛР Б, Русь Б, ряд Ж 6 ЛР 8 Б 2; // ран ЛМ 2 ЛР 3 Б, рек ЛМ 4 Б 3, рельс Б, рифм Б, **роз** ЛМ Ж 2 ЛР 3 Б 6, руд ЛМ, рук ЛМ 9 ЛР 2 Б 3, рыб Б,

сад Ж 3 ЛР 2 Б, сан ЛР, **свет** ЛМ 22 Ж 33 ЛР 17 Б 11, свист Б, свод Ж 4 ЛР 4 Б, связь ЛМ Б, севр Б, сень ЛМ Ж 2, синь Б, скат Б 2, скиптр ЛМ 4, скит Б, склон Б, скок Ж 2 Б 2, скорбь Ж 2, скрып ЛР, **след** ЛМ Ж 2 ЛР 10 Б 3, слог Ж, **слух** ЛМ 7 Ж ЛР 2 Б 3, **смерть** ЛМ 4 Ж 6 ЛР 2 Б 2, смех Ж ЛР 3 Б 2, смысл Б, снег ЛР 4 Б 2, сок ЛМ Б, **сон** ЛМ 3 Ж 18 ЛР 34 Б 39, сонм Б, спор Ж ЛР, срок Ж, срыв Б, сталь Ж Б, стан ЛР 4 Б, ствол Ж ЛР, степь ЛР 2, стих ЛР 2 Б 4, стол Ж, столп Б 4, **стон** ЛМ Ж 3 ЛР 7 Б 5, страж Ж 3 ЛР, **страсть** ЛМ 2 Ж ЛР 3 Б 4, **страх** ЛМ 7 Ж 3 ЛР 6 Б 2, строй ЛМ Ж 3 Б 3, стук Ж ЛР 4 Б 2, стул Ж, стыд ЛМ ЛР Б 2, стяг Б, **суд** ЛМ 2 Ж 3 ЛР 5 Б 2, сук ЛР, счет Б, сын ЛМ ЛР 4 Б 2; // свеч ЛР, сел ЛМ 3 Ж ЛР, сестр Ж, сеч ЛР, **сил** ЛМ 9 Ж ЛР 6 Б 9, скал Ж 3 ЛР 9 Б 4, **слез** ЛМ Ж 5 ЛР 8 Б 2, слов ЛР 4 Б 8, слуг ЛР 2, ссор ЛР, стад Б, **стен** ЛМ Ж 2 ЛР Б 3, стор ЛР, стран ЛМ 4 ЛР 3 Б 2, стрел ЛМ 2 Б, строк ЛР, строф Б 3, струй ЛМ Ж Б 4, **струн** ЛМ Ж ЛР Б.

тать Б, тварь ЛМ 2, твердь ЛМ 2 Б 3, **тень** ЛМ 9 Ж 4 ЛР 3 Б 12, тигр Б, тишь Б, ток ЛМ 2 Б, том Ж 2, торг ЛМ, трель ЛР, треск ЛМ, трон ЛМ Б, **труд** ЛМ 6 Ж 2 ЛР 4 Б 4, труп Ж 3 Б, тук ЛМ, тьма ЛМ 3 Ж 4 Б 8; // тайн Б 2, тел ЛР, трав ЛР 2 Б, труб ЛМ, **туч** ЛМ 4 Ж ЛР 3 Б 3.

ум ЛМ 9 Ж Б 2, ус ЛР 3; // уз ЛР 2 Б, **уст** ЛМ Ж 2 ЛР 4 Б 4.

флаг ЛМ, флот Б: фрак ЛР, Фта Б 2; // фей Ж.

хвост Ж Б, хлад ЛР, хлеб ЛМ Б, хлябь ЛМ, хмель Б, ход ЛМ 4 Ж 2, холм Ж Б, хор ЛМ Ж 3, **храм** ЛМ 3 Ж 9 ЛР 4 Б 5, храп Ж ЛР, хруст Б; // хвал Б.

царь Ж 2 ЛР 10 Б 2, **цвет** ЛМ Ж 7 ЛР 9 Б, цель ЛР Б 2, цепь Ж 2 ЛР 3, Цна ЛР; // царств ЛМ Б 2.

чай ЛР Б, **час** ЛМ 10 Ж 33 ЛР 34 Б 18, часть ЛМ 5, челн Ж 4 Б, червь ЛР, чернь ЛР, черт ЛР, **честь** ЛМ 2 Ж 4 ЛР 3 Б, чин ЛМ Б 2 // чад ЛМ, числ Б, чресл Б, чувств Ж ЛР Б.

шаг Ж ЛР 2 Б, шар ЛМ Б, шелк ЛМ Б, шерсть ЛР, ширь Б, шпиль Б, штрих Б, **шум** ЛМ 9 Ж 3 ЛР 7 Б; // шей Б, шпаг Б.

**щит** ЛМ Ж 6 ЛР Б 2.

явь Б 2, яд Ж ЛР 9 Б 3.

## Литература

Гаспаров 1974 – М.Л. Гаспаров. Современный русский стих. М., 1974.

Гаспаров 1984 – М.Л. Гаспаров. Ритмический словарь и ритмико-синтаксические клише // Проблемы структурной лингвистики-1982. М., 1984. С.169-186.

Гаспаров 1986 – М.Л. Гаспаров. Ритмико-синтаксическая формульность в русском 4-ст.ямбе // Проблемы структурной лингвистики-1983. М., 1986. С.181-199.

Гаспаров 1999 – М.Л. Гаспаров. Синтаксические клише в поэзии Пушкина и его современников // ИОЛЯ. 1999. Т. 58. N 3. С.18-25.

Гаспаров 2000 – М.Л. Гаспаров. Очерк истории русского стиха. 2-е изд. М., 2000.

Гаспаров, Скулачева 1999 – М.Л. Гаспаров, Т.В. Скулачева. Синтаксис 4-стопного полноударного ямба // Поэтика, история литературы, лингвистика: сб.к 70-летию Вяч.Вс.Иванова. М., 1999. С.93-101.

Гаспаров, Скулачева 2001 – М.Л. Гаспаров, Т.В. Скулачева. «Длиннохвостые слова» в синтаксисе стиха // ИОЛЯ. 2001. Т.60. N 3. С.38-43.

Гаспаров 2002 – М.Л. Гаспаров. Слово в стихе: ритмика, морфология, синтаксис: об одном типе прилагательных (статья в печати).

Красноперова 2001 – М.А. Красноперова. Теория недопустимости переакцентуации и односложные слова в русском стихе // Славянский стих: лингвистическая и прикладная поэтика. М, 2001. С.50-62.

Шоу 1996 – Дж.Т. Шоу. Части речи в рифмах основных стихотворных жанров и в концах прозаических синтагм у Пушкина // Русский стих: метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1996. С.327-336.

Якобсон 1979 – R. Jakobson. Selected Writings. V.5. The Hague: Mouton, 1979.

**МАНДЕЛЬШТАМ И ХЛЕБНИКОВ, П (1932 – 1936) \***

Мне в каждом зипуне мерещится Дантон,  
За каждым деревом – Кромвель.

*Хл917 (Речь Персонажа)*

Нет никаких оснований считать, что московские встречи с Хлебниковым (далее – также: Хл) в 1922 г. «перевернули душу» Мандельштаму (далее – также: ОМ), «обратили его в новую веру» etc. Развивая свою поэтику, он не поддавался напрямую каким бы то ни было «воздействиям» и следовал собственным «внутренним законам». И всё же в душу его эти встречи и беседы с Хл несомненно запали. Как ни трудно складывалась жизнь в дальнейшем, с образом Будетлянина он оказался связанным чем-то на предельной глубине своего творчества. Кажется, вот уже удалось установить, как конкретно это проявлялось в позднейших текстах ОМ, но и самому «установщику», видимо, никак не убедить самого себя в безусловности «установленного», чтобы вполне доказательно и убедительно для других рассказать о нём, продемонстрировать гипотезу как целое – стройное и достойное внимания. Естественно, что в новейших комментариях к творческому пути ОМ имя Хл, как и раньше, выглядит раритетом (реже встретишь его разве что в кроссвордах...) <sup>1</sup>.

Наши апелляции к существенному множеству строк ОМ, на которые могло бы пасть подозрение в том, что образ Хл присутствует в них хотя бы порой и с исчезающе малой вероятностью, пока не были услышаны или сочтены достойными анализа, опровержений etc.

---

\* Данная статья публикуется с сохранением авторской системы постраничных примечаний и принятых автором сокращений. – *Прим. ред.*

Первую часть настоящей работы см. в сб. памяти проф. Марцио Марцадури: *Studi e scritti in memoriam di Marzio Marzaduri*. Padova, 2002. P.171-177.

<sup>1</sup> См.: *Мандельштам О.* Стихотворения. Проза / Сост., вступ. ст. и коммент. М.Л.Гаспарова. М.; Харьков, 2001. – Отдельные (недостаточные?) упоминания Хл в связи со статьями ОМ 20-х гг. здесь даны (с.705-706; далее ссылки даём в тексте); ни одно из стихотворений 1931-1938 гг. не вызвало такой потребности. – Весь круг контекстов ОМ, вызывавших малейшее подозрение в связях с Хл, см. в разделе «Хлебников и Мандельштам» в кн.: *Григорьев В.П.* Будетлянин. М., 2000. С.635-700 ( и по указат.).

Попробуем поэтому: 1) сократить число привлекаемых для анализа контекстов, сосредоточившись на «опорных» для нашей гипотезы, подозреваемых как основные у ОМ упоминания о Хл.; 2) центром анализа сделать «Восьмистишия»; 3) использовать при этом «сократический», т.е. более мягкий способ *овелимирения* ОМ, – путём вопросов, обращаемых к его творчеству. Ведь у заметного большинства предлагаемых нами ответов на них просто нет известных или убедительных, *геср.* общепринятых альтернатив.

Нелегко рассматривать в определённой системе и эволюции прямые высказывания ОМ о Хл, ряд несомненных намёков на него и пока сомнительные, иногда даже ничтожные поодиночке, но настораживающе многочисленные и варьирующие косвенные «улики» особого отношения ОМ к Хл. Нелегко по разным причинам. Назовём три, по-видимому, основных (разумеется, кроме возможных прямых заблуждений заведомо незаслуженного «установщика», его огорчительных неумений и природных слабостей).

1) Наверняка продолжает сказываться то, что интерес к Хл и знания о нём и его творчестве среди филологов еще далеки от соответствия критериям необходимости и достаточности (имею в виду также общие представления об Авангарде и Серебряном веке). «Бум» вокруг ОМ, видимо, уже уступает место «норме». О «буме» Хл можно говорить лишь с оговорками, как о том, что с трудом, только постепенно назревает. Кажется даже, что этот «бум» вообще выльется в довольно неторопливое развитие всё более высоких требований филологии к себе и «норме» Хл.

2) Мандельштамоведы, при всех сохраняющихся среди них разногласиях (в основном связанных с трактовками (про)сталинской «Оды» как «капитуляции» или/и «болезни»), приняли высоко профессиональную концепцию жизни и творчества ОМ. Условно назовем её моделью «трёх поэтик» (по М.Л.Гаспарову). Подразумеваемая нашей гипотезой о «тайном образе Хл» некая «четвёртая поэтика» ОМ – сквозная поэтика «двоемирия» и «тайнописи», иносказаний и не раскрываемых явно намёков – представляется при этом чуждой и как бы даже избыточной, слишком сложной для того, чтобы оказаться истинной.

3) Мотивы «двоемирия» тем более трудно принять, что эзопов язык (как, в частности, показал недавно и Н.А.Богомоллов; см. об этом ниже) в той же «Оде» ОМ *н е* использовал. Жена ОМ к Хл относилась хорошо и как-никак выделила его, отведя ему (единственному) отдельную главку во «Второй книге» из своих «Воспоминаний» (ср. там же главки «Трое» и «Пятеро»). Для Ахматовой Хл был «безумным, но изумительным» (И.Берлин), посвящал ей стихи... Так почему бы ОМ и не раскрыться перед близкими? Что же, своё внимание к Хл он прятал от них в стихах куда тщательнее, чем в реальной жизни увлечения О.Арбениной, О.Ваксель или М.Петровых? Ради чего?

Здесь – некий «исходный пункт» многих наших подозрений и, вероятно, главная причина затруднений для беспристрастного восприятия гипотезы о шифровке ОМ глубины своего интереса

к Хл и обращений к его образу. Коротко говоря, надо принять всерьез и надолго раннее признание поэта в «двурушничестве»:

Двурушник я, с двойной душой –

и связать его с осознанием ОМ того, что в увлечении Хл он действительно, а не только в глазах близких, изменяет и «утру», и «полдню», и «вечеру» акмеизма. Разве было не так?

Отклик ОМ на «великую утрату» и свежую «зелёную новгородскую могилу» в статье «Литературная Москва»; его же «Заметки о поэзии», где язык Хл оценивается как «язык-праведник», а он сам как тот, кто «наметил пути развития языка» и благодаря кому (вместе с Пастернаком, но уступающим ему, на взгляд ОМ, по самому большому счёту) «российская поэзия снова выходит в открытое море»; статья «Буря и натиск», этот панегирик Будетлянину, как подчёркивает ОМ, «необычайно общительному», человеку с «чисто пушкинским даром поэтической беседы-болтовни» (ср. слова Н.Я.Мандельштам о том, что «разговор с Хлебниковым был немислим»<sup>2</sup>) – было отчего тревожиться близким ОМ? Могло ли всё это восприниматься ими иначе как опасные начальные знаки явного «отступничества» от акмеизма? (О *зелёной могиле* – и *гибком смехе!* – см. ниже.)

Для 30-х годов особенно существенно стремление ОМ если не скрывать от жены и самых близких людей своё устойчивое поклонение Будетлянину, то по крайней мере не огорчать их видимой «изменой» акмеистской молодости, не давать прямых поводов для их ревности и поэтому не «вводить в [собственную] песнь имя» Хл, даже не намекать на него в стихах слишком прозрачно, в то же время ничуть не сдавая своих главных позиций.

О беседах ОМ с Хл в Москве в марте-мае 1922 г. можно было узнать уже в начале 80-х годов из публикации материалов ЦГАЛИ, а затем – по книгам Н.Я.Мандельштам. Вскоре обнаружилось, что Хл начинал набросок разговора «Заумец и доумец»; ещё немного погодя – что этот набросок имеет прямое отношение к тем самым *беседам* и *болтовне*. Предварительная проверка текстов ОМ на возможное присутствие в них аллюзий к образу Хл выявила к середине 90-х гг. значительный свод «улик», ставший базой первых публикаций о связке Хл – ОМ. И тут книга М.Л.Гаспарова о гражданской лирике ОМ 1937 г.<sup>3</sup> неожиданно заставила лингвиста вникать уже не только в «чисто бытовую» тайнопись ОМ прежних лет и общий смысл «Стихов о неизвестном солдате», но и в своеобразно ущербную «политическую структуру» якобы (?) престаалинской «Оды», как, по-новому, и во многие другие из окружающих её и «Солдата» воронежских текстов.

Смысл и глубина «связки Хл – ОМ» в новых, но, естественно, еще более спорных, чем ранее, результатах «вникания» заметно усложнились.

<sup>2</sup> Мандельштам Н. Вторая книга. 4-е изд. Paris, 1987. С. 106.

<sup>3</sup> Гаспаров М.Л. О. Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. М., 1996.

Прямолинейно антисталинская эпиграмма (1933) теперь проецируется на давний панегирик ОМ Будетлянину в статьях. В такой якобы одномерной «Оде» мы вдруг простукиваем то, что называют «двойным дном»: сталинский план строф оказывается неожиданным прикрытием для почти идеально замаскированного на этот раз *выраженья* – нового панегирика своему истинному *близнецу и отцу* – поэту Хл (в стихах 1923 г. мы находили лишь робкие намёки на него).

Понятно, что еретическая мысль о возможном и здесь «двоемирии» ОМ выглядит уж чересчур дерзновенной, если не фантазёрской. Есть же сигналы о том, что «приятие действительности» у ОМ крепло с 1931 г. (через мысли о *разночинцах* и «стремление всё запечатлеть» – М.Л.Гаспаров, с. 651). Но всё же; может, стоит придать большее значение его синхронной готовности к (любим?) наружным *извинениям* при сохраняющейся (и обещаемой?) *неизменности в глубине?* Да и сам пафос какой-то части «уничтоженных стихов», а затем и стихов 1933 г. как-то подтачивает уверенность в том, что в идеостиле ОМ личность Сталина существенно отделена от сталинского «режима».

По инерции полагают, что в «Опять войны разноголосица...» ОМ как бы уже отдал достойную дань Хл-поэту и более или менее отчётливо вернулся к его образу лишь в «Стихах о неизвестном солдате», хотя даже в почти предельно откровенной строке

Впереди не провал, а промер

всё еще не видят чего-то сколько-нибудь существенного на глубине. Да и в первом стихотворении (1923-1929!) призывом автора *жить во времени*, а не в пространстве (!?) и его презрением к *летающим в безвременьи* исследователи в общем-то пренебрегают – «постижение времени» в поэзии ОМ пока ведётся в отвлечении от образа Хл-мыслителя, его «псевдонимов ad hoc» у ОМ, всей массы контекстов у обоих наших поэтов с формами глагола *быть*, паронимии *врем-/вер-/мер-/мр/рм*, поэтики таких слов, как *где* и *когда*.

---

Пастернак, наиболее, может быть, пронизательный человек из не самого близкого окружения ОМ, в 1932 г. прямо заявил ему: «Я завидую вашей свободе. Для меня вы новый Хлебников. И такой же чужой...»<sup>4</sup>. Кажется, для начала нам стоит прислушаться к этому тонкому ощущению поэта: десять лет без Будетлянина разве не изменили, по крайней мере имплицитно, вектор и самую суть *идеостилевого* развития Мандельштама?

Какие-то не слишком определённые и часто не безусловные сигналы о не знакомой другим современникам свободе в отношении к внешне завершённой пути Хл, начальные знаки внимания к тому уникальному смыслу,

---

<sup>4</sup> Свидетельство Н.И. Харджиева. – Цит. по: *Мандельштам О.* Собр. соч. в 2 томах. М., 1990. Т.1. С.502.

который явно и как бы «поверх барьеров», огораживающих любых поэтов, ощутил в Будетлянине ОМ в 1922 г., уже были заново рассмотрены в первой части этой работы. Продолжим наши наблюдения, имея в виду и то, что с Хл (в сопоставлении с Блоком) действительно «началась новая эстетическая эпоха, не представляемая до него»<sup>5</sup>, а новизна Хл связана с системой «осад» – *времени*, слова и множеств / *толп*, – которой задавался поэт (наш курсив разъяснится ниже).

Во имя «осад» строилась «неклассическая поэтика» Хл. *О т* первых, еще неискusstных, вех словотворчества или полиметрии *д о* работ в небывалом жанре «сверхповести», развивавшем профильную для Хл идею «разговоров» как сочетания всегда трудно дающейся глубокой мысли с «лёгкими изящными намёками» (которые у Хл, по ОМ, «никто не понимает»), *д о* тонких семантических структур звёздного языка и верлибра как формы, адекватной именно для «поэзии осад». И *о т* явных, нескрываемых и неизбежных (при постановке и углубляющихся решениях *гносеологической* сверхзадачи, воплощённой в таком многомерном сплаве «осад», чуждом беллетристике той эпохи) и осознаваемых как неизбежные «проторей и убытков» – *о т* всего *дисгармонического*: порой смутного смысла у «намёков слов», смелых стилистических «ляпусов», уступок примитивизму, семантической размытости etc. – *д о* установок на самоограничения (например, в сфере «западных слов»), на многообразную предварительность и фрагментарность или даже принципиальную незавершённость многих текстов.

Лишь отчасти справедливо было замечено: «Очень трудно выразить суть различия между смысловой задачей Хлебникова и смысловым же направлением, к которым (какому? – В.Г.) относили себя и О.Мандельштам, и Б.Пастернак. Она, вероятно, в том, какой смысл в каждом случае считается предметом искусства»<sup>6</sup>. Очевидно, что именно «смысловая задача» Хл оказалась гораздо ближе позднему ОМ, чем и позднему, и раннему Пастернаку, при существенных сходствах между всеми тремя поэтами на ряде внешних, «идиолектных» уровней, отдельно взятых «приёмов выразительности». «Осаду времени» Хл сделал таким же прямым «предметом искусства», как важнейшие, с его точки зрения, традиционные и новые топосы в художественном творчестве XX века<sup>7</sup>. Несомненно, это она и заставила поэта с первых же лет в искусстве заняться

---

<sup>5</sup> Эткинд Е.Г. Заболоцкий и Хлебников // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911-1998). М., 2000. С.406.

<sup>6</sup> Седакова О.А. Контуры Хлебникова // Там же. С.839. – Но см. также: Григорьев В.П. В защиту Будетлянина (Оппонирую О.А. Седаковой и «Миру» Хлебникова) // Текст. Интертекст. Культура: Сб. докладов междунар. науч. конф. М., 2001.

<sup>7</sup> Ср. к этому: «Стирание границы между художественным и нехудожественным дискурсом [у Хлебникова] ставит читателя в чрезвычайно трудное положение» (Вроон Р. Генезис замысла «сверхповести» «Зангези» (К вопросу об эволюции лирического «я» у Хлебникова) // Вестник Общества Велимира Хлебникова. I. М., 1996. С.155). Многие произведения Хл 1921-1922 гг. Р.Вроон относит к «гибридному» типу (Там же, с.151), но полагает, что «Доски судьбы» и «Зангези» созданы с разными целями (Там же, с.156). Между тем цель, или (по О.А. Седаковой) «смысловая задача», у Хл – мыслителя, поэта и ученого в одном лице была одна, заставляя его «стирать границу». «Выход во внетекстовую реальность», который Р.Вроон считает избыточным для понимания, скажем, «Взлома Вселенной» (Там же, с.143), необходим при обращении почти к любому тексту Хл. Кажется, ОМ это чувствовал и до 1932 г.

не только собственно научной и художественной методологией (от вдохновлявших студента Хл идей Лобачевского или Минковского до осмысления эстетических причин отступничества «Аполлона» от «Зверинца»), но и самой широкой *онтологией* мироздания, и новой гармонией текста.

В этом отношении можно провести прямую параллель между поздней парой текстов «Зангези» – «Доски судьбы» и ранней, куда менее заметной парой, которую образуют пьеса «Маркиза Дзезес» и статья «Μεταβίος» (1910). В пьесе участвует alter ego поэта – Спутник, олицетворяющий поиск автором *меры*, а это – и основа формулы «365 +/- 48» (1912), и суть «основного закона времени» (1920). Сама же эта статья Хл о метабиозе в дальнейшем напоминает о себе лишь косвенно – зато таким настойчивым вниманием поэта к категориям диахронии, смены, сдвига и панхронии <sup>8</sup>.

Но вернемся к основной нашей теме. На уровне поэтики Хл и ОМ объединяет достаточно многое. Можно бы предположить влияние первого на второго в области паронимии, «самовитых словосочетаний», не очень редких у ОМ фактов словотворчества, небрежения рифмой, даже в опробовании верлибра, не исключено, что и в практике «двойчаток» или переноса целых строф из одного текста в другой. Если «Восьмистишия» (стихи о «познании»!) и не так уж слишком выходят за рамки более или менее обычной циклизации, то разве не мерцают в неоконченном сборе частей «Стихов о Неизвестном солдате» некоторые зачаточные подобию «парусов» или «плоскостей» из «сверхповестей» Хл (пусть даже о *сознательной* трансформации жанрового опыта «сверхпоэм» Хл в этом случае говорить вообще не приходится; может, всё же только преждевременно?)?

---

<sup>8</sup> Кстати, в стихотворении «Саян» мы наблюдаем взаимодействие образа реального сибирского «одинца» (видимо, Хая-Ужу, открытого в 1879 г. А.В. Адриановым; см. памятник E-24 в кн.: *Васильев Д.Д.* Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л., 1983. С.23, 63, 97-100) с образом той березы, на коре которой в 1904 г. Хл записал свою известную клятву, но также и еще одним образом – иконой Спасителя. Вскоре, в поэме «Ночной обыск», моряк Старшой увидит в образе Спасителя «девушку с бородой»; она тут же обернется Числобогом, может быть, для кого-то странно, однако очень похожим на Хл (после «Единой книги» никакой странности здесь нет). В стихотворении «Если я обращаю человечество в часы...» (1922) поэт уже прямо относит перифразу «девушка с бородой» к себе.

Концовку стихотворения «Вооружённый зрением узких ос...» (1937) – «О, если б и меня когда-нибудь могло...» М.Л.Гаспаров (с.670-671) возводит к строке из стихотворения Гумилёва «Деревья», вошедшего в сб. «Костёр» (1918): «О, если бы и мне найти страну...»<sup>9</sup>. Действительно, не очень-то легко отыскать в XIX-XX вв. другую строку с конструкцией «О, если б / бы и меня / мне...», хотя у ранней Цветаевой есть некоторый аналог: «Ах, если бы и мне // <...> знать <...>». Очень вероятно, что «двойной душе» ОМ особо запомнилась и эта строка акмеиста Гумилёва.

Но вот статья ОДИССЕЙ нового словаря непременно сведёт воедино контексты: Это было, когда рыбаки / Запевали слова Одиссея Хл<sup>920</sup> и Это было и пелось, синяя, / Много задолго до Одиссея ОМ<sup>937</sup> (и их метрику)<sup>10</sup>. Разве уже сегодня они – не достаточный повод (полагаю, даже больший) для того, чтобы «ввести в песнь» (то есть Комментарий) имя Хлебникова? Тем более, что с близким по времени его пятитомником 1928-1933 гг. ОМ был не только знаком, но и взял с собой два тома из него (мы не знаем, какие именно) в предсмертный путь в Саматиху. Возможно, в его руках побывал также и совсем свежий степановский однотомика Хл (1936) – тогда бы он имел случай дополнительно освежить свою память о стихотворении «Сыновеет ночей синева...».

Повторим: на таком *идиолектно-интертекстуальном* уровне «поэтики и стилистики» мы имеем мало шансов вывести Хл у ОМ на чистую воду, разглядеть то, что находится у него как бы ниже ватерлинии<sup>11</sup>. Да, Пастернак не разъяснил приведённую выше оценку им ОМ. Но если бы, разъясняя её, он ограничился какими-то крепнувшими сходствами между поэтами на уровне отдельных «приёмов» и даже их «системы», а менее заметным, но более глубоким проявлениям

<sup>9</sup> Строка Гумилёва начинается заключительную пятую строфу – находится в ударной позиции, как и у ОМ.

<sup>10</sup> Имеем в виду «Словарь языка русской поэзии XX века» (вышел в свет т.1: А-В. М., 2001). Тем временем Г.А. Левинтон и Р.Д. Тименчик уже проникательно сопоставили эти тексты. См. «Вместо послесловия» в кн.: *Тарановский Кирилл. О поэзии и поэтике* / Сост. М.Л. Гаспаров. М., 2000. С.413.

<sup>11</sup> Не станем, однако, зарекаться: поиски еще не замеченных интертекстуальных сближений и на идиолектном уровне не безнадежны. Жесткой вере Н.Я. Мандельштам в то, что ее муж «не переносил <...> совмещения несовместимого <...>», а любить Хл и ОМ вместе нельзя – только врозь (*Мандельштам Н.* Вторая книга. С.278, 107), по-разному, но убедительно противостоят: 1) цитированные суждения Пастернака, 2) ряд «совмещений» у самого ОМ в 1937 г., 3) размышления М.В. Панова и, в меньшей мере, Л.Я. Гинзбург о «сочетании несочетаемого» и прямо о «совмещении несовместимого» в упомянутом сб. «Мир Велимира Хлебникова». – Но, конечно, *табор улиц* у ОМ, отмечаемый в двух местах и у Хл, значит не больше, чем два «заимствования» – схождения Пастернака с Хл, рассмотренные еще в кн.: Самовитое слово / Словарь русской поэзии XX века. Пробный выпуск: А – А-ю-рей / Приложение к журналу «Русистика сегодня». М.: Русские словари, 1998. С.11.

образа Хл у ОМ внимания не уделил... Не осталась бы тогда его чёткая оценка всего лишь личным ощущением, довольно тривиальным (совсем не характерным для него), ни в чём действительно глубоком не убеждающим, ни для кого не убедительным?

*Пример* в «Стихах о Неизвестном солдате», вообще говоря, не обязательно напрямую связан с *промерами* в «Досках судьбы» и стихотворении Хл «Мои походы»<sup>12</sup>, т.е. претендует, в рамках гипотезы об особом отношении ОМ – Хл, только на образ ключевого для Хл понятия «Меры» и на то, что в 30-е годы ОМ осознаёт масштаб соответствующей хлебниковской «осады», примеряя к собственным построениям её особую «союзную избыточность». Если здесь и нет интертекста как такового, то, что же, это недостаточно яркий образ? И его не усиливает многократно позиция противопоставления (отвергаемому поэтом *провалу*; ср. *Не/А* у ОМ – и у О.А.Седаковой)?<sup>13</sup>. Разве он не воплотил значимую и для позднего ОМ «интеридею», являясь вместе с тем и одним из вполне определённых итоговых свидетельств схождения его «идеостиля» именно с хлебниковским?<sup>14</sup>.

С другой стороны, в том же стихотворении «Вооружённый зрением узких ос...» интертекстуальное схождение ОМ с Гумилёвым как бы отстраняет остающийся без ответа важнейший вопрос: кто это, еще до ОМ, успел «услышать ось земную, ось земную», кого предполагают здесь слова *и меня* (как кого-то ранее)? Имя Гумилёва трудно было бы связать с осями, осами и сутью зависти ОМ. Между тем именно для Хл особенно значимы *оси* (в том числе *земная*); *осы* появляются у него и в начале поэмы «Синие оковы» (1922),

---

<sup>12</sup> В т.2 «Собрания сочинений» Хл (М., 2001. С.321) Е.Р.Арензон и Р.В.Дуганов датируют первую редакцию этого стихотворения концом 1921 г., т.е. временем *много после* (как мог бы сказать ОМ) открытия «основного закона времени» – временем торжества поэта. Но тогда откуда будущее время у глаголов *узнает* и *сдастся*? И почему сами *промеры* Хл называет здесь *грустными*? Или датировку следует изменить на 1920 г., или/и (?) соотнести её с непосредственной реакцией Хл на провал в Баку его доклада «Коран чисел» («Мой Коран»). Не выглядела бы более вероятной и правдоподобной связь с «Курской верой» (то есть верой «в честь встречи моря и будущего»), родившейся у поэта на военном судне «Курск» по пути в Энзели (см.: *Хлебников В.* Собр. произв. Т.5. Л., 1933. С.321). Конечно, пока весь этот вопрос (здесь – к велимироведам) остаётся открытым.

<sup>13</sup> «Время – мера мира», – уже давно утверждал Хл. Это крепко паронимически сбитое заглавие его брошюры, когда-то изданной М.В.Матюшиным (Пг., 1916), в частности, и наводит на мысль о том, что при исследовании оппозиции «пространство / время» у позднего ОМ может оказаться существенным учёт упомянутой здесь выше основы *-мер-* (ср. в этой связи серию известных работ Л.Г.Пановой).

<sup>14</sup> А образ ласточки по варианту стихотворения <«Эль»> в издании: *Хлебников В.* Стихи. [М., 1923]. С.53, – почти безусловно знакомом ОМ, завершают такие строки: «По площади широкой пролит / Летуньи вес, спасённой от провала».

а многим связанная с нею харьковская поэма «Три сестры» содержит такой близкий стихотворению ОМ образ: «То чёрная бабочка небо *сосёт* / И хоботом *узким* пьёт синий цветок»; сюда же еще и такой «кусочек»<sup>15</sup>: «Кого *заставляли* всё *зорче и зорче* / Шиповники солнц понимать точно пение» – в программном стихотворении Хл «Ты же, чей разум стекал...» (1917, 1922).

«Новые стихи» ОМ (1930 – июнь 1931) на поверхности текстов как будто не дают ни малейшего основания для того, чтобы подозревать в них отголоски образа Хл. Это выглядит резким контрастом сгущению прямых упоминаний имени Хл и косвенных намеков на Будетлянина в статьях и стихах ОМ 1922-1923 гг.<sup>16</sup> Не забудем, однако, что к 1932 г. вышли уже 4 тома из этапного и почти совсем неправдоподобного для этих лет пятитомника Хл, чем-то и поучительного, и завидного для ОМ. Так что для новых «сгущений намёков» был и повод, а не одна только естественно и постоянно действующая причина – память ума и сердца. Новая партия намеков (неуверенных, как и те, что мы находили и отмечали для «Нашедшего подкову» или «Грифельной оды», и в своей сумме, конечно же, недостаточно определённых) поэтому и заставляет нас упоминать о них как о возможных попутных свидетельствах того, что образ Хл и в начале 30-х годов постоянно и активно сопровождал мысли поэта, малыми «квантами»,

---

<sup>15</sup> О том, как ОМ защищал хлебниковские «кусочки», видя за ними «целое», см.: *Мандельштам Н.* Вторая книга. С.107, 315.

<sup>16</sup> Возможно, впрочем, что новый косвенный намёк ОМ ввёл уже в программное стихотворение «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» (3 мая 1931). М.Л.Гаспаров полагает, что оно «обращено, по-видимому, к русскому языку», добавляя: «Анна Ахматова считала, что эти стихи посвящены ей» (с.650).

Отмеченной «претензии» чуть противоречит строка с обращением «отец мой, мой друг и помощник мой грубый». Но и с *отцом*, и с догадкой о русском языке могла бы лучше ужиться мысль о Хл, как будто слегка подсказываемая присутствием в 1 строфе образа Новгородчины (как места *могилы* Хл?). Не настаиваю на этом. Ещё меньше – на прямой связи *нас* и *пехотинцев* в строке «Мы умрём, как пехотинцы» из стихотворения «Полночь в Москве...» с Хл и началом его поэмы «Ночь в окопе», так же как именно с хлебниковской Астраханью – *астраханской икры асфальта*, а тягу к *чему бы приохотиться*, жажду *разыгаться, разговориться*, *взять за руку кого-нибудь*, сказать ему – *нам по пути с тобой...* («Еще далёко мне до патриарха...», май-сентябрь 1931) – совсем однозначно и непременно – с воспоминанием о Хл и беседах с ним. И всё же... Тем более, что ОМ полупрозрачно намекает: он уже *хорошо озорует* (с Хл?), хотя только (?) *полуночи*, и тайно *пирует*, *взяв на прикус* [его] *серебристую мышь* (из «Войны в мышеловке») как «символ времени» (по М.Л.Гаспарову – с.647) и судьбы (?). Разве мы все не проглядели это лёгкое, изящное и красноречивое «саморазоблачение» ОМ – «После полуночи сердце ворует...», март 1931? – Нет, даже «робко» поэт *не* хочет «выключиться из времени».

но иногда выходя и на поверхность из глубин его полубудетлянского подсознания<sup>17</sup>.

Установочная сдержанность ОМ в отношении очевидного наличия в его текстах образа Хл не давала оснований для использования традиционных средств пресловутого эзопова языка. Но способствовала выработке тайнописи, т.е. новых средств иносказательности, и таких связей между планами выражения и содержания, которые уместнее назвать не эзоповым языком, а «двойным планом» в отдельном тексте, тем более – в их множестве<sup>18</sup>.

Н.Я.Мандельштам недоумевала, почему ОМ «долго прятал» от неё «Нищенку» – стихотворение «Еще не умер ты...» (январь 1937)<sup>19</sup>. Не исключено, что одной из причин мог стать очень слабый, косвенный, размытый в нём намёк на образ Хл<sup>20</sup>. Ранг этого намёка сам по себе, возможно, ничтожен. Но предыдущее стихотворение – «Влез бесёнок в мокрой шёрстке...» кончалось строфой, резко изменявшей первоначальную редакцию и почти (хотя, как всегда, только *полу*-) прозрачной по присутствию образа Хл: глагольная форма *надсмехалась*, сбитая *ось* (ключевое слово Хл) *прямого дела* ОМ – работы над «Одой» (?). На этом фоне и вся «Нищенка» могла стать опасной «уликой» – каплей, переполняющей чашу. Ведь после «Восьмистиший» до самого Нового 1937 г. ОМ вёл себя в этом смысле (по видимости) «вполне прилично». Настоящие акмеисты серьезно боялись тогда,

---

<sup>17</sup> На «Отрывки уничтоженных стихов» (июнь 1931) приходятся: 1) два слова – *зубы* и *глина* (здесь еще целиком связанная с циклом «Армения»), – которые по-разному дадут о себе знать как сигналы о Хл (?) лишь впоследствии; 2) междометие *Гули-гули!...* – разумеется, не такое уж обязательное напоминание о «Гуля, гуля!» у Хл (вариант соответствующего текста вошел в те же его посмертные «Стихи» 1923 г.), и всё-таки; 3) наконец, *стеклянные дворцы на курьих ножках*, для которых не исключена связь с «Городом будущего» и «Москвой будущего» у Хл. Этого мало, но и объём «Отрывков» у ОМ совсем не велик.

<sup>18</sup> Поэтому лишь отчасти прав Н.А.Богомолов, когда даёт отрицательный ответ на чуть узко и жёстко поставленный вопрос: «Писал ли Мандельштам эзоповым языком?» (НЛО, № 33 (5/1998). С.386-399). – В относительно строгом смысле (квази)термина – нет. Но уже «до-престалинский» дискурс ОМ наводит на еретическую мысль о том, что сам «эзопов язык» – этот довольно прямолинейный вид иносказаний – мог бы рассматриваться нами как частный случай особого, условно говоря, «*осипова языка*» 20 – 30-х гг. Или поставим под вопрос наши привычные представления об эзоповом языке, а вместе с ними также позицию Н.А.Богомолова? (Ему в разборе книги Ирины Месс-Бейер «эзопов язык», кажется, и не дал возможности сосредоточиться на более общей проблеме тайнописи у ОМ.) – Во всей сложности тема «двуплановости» у ОМ встанет лишь в III, заключительной части этой работы.

<sup>19</sup> *Мандельштам Н.* Вторая книга. С.445.

<sup>20</sup> Через слово *полуживой*: ведь его можно воспринять как намёк на одноимённый сб. А.Кручёных (1913 г.), этого «иезуита слова» (по Маяковскому), а в контексте игры *теней* – и на образ самого Хл.

верные рыцари акмеизма, видимо, боятся и сегодня, что какие-то силы смогут «оторвать» ОМ от Ахматовой и Гумилева, чтобы «соединить» его с Хл (ненужным «квазинеоакмеизму»), да не только с ним, а то и с кем-нибудь «еще похуже»<sup>21</sup>.

На время уступим скептикам «Ламарка» (1932)<sup>22</sup>. И тогда до текстов 1937 г. нашей гипотезе придётся опираться только на «Восьмистишия» (май 1932 – июль 1935). Для них мы ограничимся пока ссылкой на разбросанные по разным текстам в книге «Будетлянин» ранее сделанные наблюдения<sup>23</sup> и совсем коротким резюме.

---

Оставив под подозрением как совокупность «слов Хл», уступим скептикам отдельные слова-намёки *ткань, два, три, дуги* (и *дуговую растяжку, и выпрямительный вздох*), *бормотанья, день, ночь*, даже *голуботвёрдый глаз...* С отрывками 1, 2 и 9 сдадим, как бы капитулируя, и отрывки 3 и 8. О 4 и 7 лишь заметим, что *бабочку и мусульманку, мечети* и *Айя-Софию* у ОМ слегка и скромно, но подсвечивают у Хл *бабочка, крылья, зелёный плащ пророка* и *храм Софии голубоокой* в двух (VI и IV) плоскостях «Зангези»<sup>24</sup>. Сосредоточимся на отрывках 5, 6, 10 и 11, не замахиваясь на логику всего цикла (но сомневаясь в том, что её определяет доминирующая связь с «Ламарком») и помня о как будто всегда остававшемся маленьким старичком и потому не знавшем *люльки*, т.е. детства, еще не переосмысленном людьми *пространстве* в 1, стремлении понять его *внутренний избыток* (не за счёт времени!?) в наших представлениях об основном законе (в который, по ОМ, кто-то уже *проник*) в 9.

Начнём, как и М.Л.Гаспаров (с.653), с 10. ОМ отвергает *наваждение причин*, но не «детерминизм» как таковой (по крайней мере *не* в мягкой версии Хл, который не только в «Досках судьбы» ту же причинность подчиняет

---

<sup>21</sup> См.: *Мандельштам Н.* Вторая книга. С.48 и др. – Ср. своего рода изоляционизм у *элитариев* – части новых поклонников ОМ (и – соответственно – Анненского, Набокова, Бродского; Пруста; Пригова etc.).

<sup>22</sup> Имеем в виду его концовку с *зелёной могилой, красным дыханьем и гибким смехом* (см. ниже). Однако сохраняем вопросы: 1) В чём смысл изменения автором раннего варианта? 2) О ком идёт речь, если не о Хл?

– Ср.: *Лекманов О.А.* Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. С.542-545; *Шиндин С.Г.* Фрагмент поэтического диалога Мандельштама и Хлебникова // *Смерть и бессмертие поэта*. М., 2001. С.254-267. – Тем, кто первым указал на связь с Хлебниковым *зелёной могилы* в «Ламарке», видимо, был П.М.Нерлер.

<sup>23</sup> См.: *Григорьев В.П.* Будетлянин. С.480, 638-641, 647, 653-654, 662-663, 668-674, 679, 683, 692 и др.

<sup>24</sup> Сверхповесть «Зангези» тоже вошла в состав т.3. Едва ли ОМ не был знаком с её отдельным изданием (возможно, и по корректуре?) или по крайней мере с её планом/планами?, сутью и образами еще в 1922 г.

числам, т.е. Отношению)<sup>25</sup> и *н е* (якобы) «постылое время» (якобы) ради «нового *пространства*», а скорее, в духе 9, то самое *пространство* как категорию-доминанту (может быть, даже в приближении к духу борьбы Хл с «государствами пространств» за «государство времени»?)). Не намёк ли на пьесу «Смерть будущего» образ сравнения: *как лёгкая смерть?*<sup>26</sup> И не синонимы ли противостоящего старцу-пространству еще юного времени (детского в смысле глубины наших представлений о нём) *ребёнок* и *маленькая вечность*? А *малые величины* – это не числа – «двойки» и «тройки» Хл в том же *законе* (из 9), который ведь *преодолеет затверженность природы* в наших привычных представлениях о ней, то есть охватывает Природу как всё мироздание, *большую вселенную*, включая и *лепесток*, и *купол* (с.653-654) – и внешний природный мир, и культуру, и природу общества (как в конце «Ламарка»)?

Таким образом в 11 дело не в том, что *пространство* само по себе «тесное», – оно слишком долго теснило время, и теперь, в кульминации «Восьмистиший», ОМ *выходит в запущенный сад* тех самых *величин*, что занимали Хл и представляли время «лесом чисел» (а то и «садом»). Независимо от того, прочитаем ли мы слова *И я выхожу* – с ударением на местоимении, т.е. увидим ли в них прямой намёк: «вслед за Хл», – ОМ «выходит» из пространства именно во время. Его имеет в виду и в самом деле «дикая необжитая» (с.653) *бесконечность*, чей *учебник* (разве, кроме хлебниковского, известен другой?) ОМ *читает один, без людей* (NB! Почему бы так, при его общительности и любимой жене рядом?).

У нас нет и, очевидно, уже не будет прямых свидетельств, отвечающих на вопрос: располагал ли ОМ когда-либо собственными экземплярами изданий «Вестника» № 2, «Зангези» и «Досок судьбы»?<sup>27</sup>. Но на его знакомство с «Досками» указывают между прочим (кроме позднейшего *промера*, раннего *сдвига*, а также *величин* в 10 и 11 etc.) настойчиво повторяющиеся в них образы той же *бесконечности* и «бесконечного роста числа».

<sup>25</sup> «Доски судьбы» (лл.1-3) вышли в свет в мае 1922 – начале 1923 гг. – В дополнение к аргументам в части I нашей работы только задумаемся, откуда: 1) в «Нашедшем подкову» образ *не вифлеемского мирного плотника, а другого*, если не из «Досок судьбы» с их «плотником, работавшим над Вселенной»? [Полагая, что ОМ мог иметь в виду и «строителя корабля аргонатов», М.Л.Гаспаров, замечает, завершает эту догадку знаком вопроса (с.642); ранее О.Ронен был убеждён, что «другой» – это Пётр I...]; 2) а в «Грифельной оде» – образ *сдвига* (ключевого слова у позднего Хл; *н е* в смысле Кручёных!)? – Ещё важнее, что категория причинности – вовсе не «иллюзия»: и Хл, и ОМ просто ставят её в мире о т н о ш е н и й на точное место.

<sup>26</sup> Пьеса впервые напечатана в том же т.3 из пятитомника Хл.

<sup>27</sup> Этот вопрос касается и отдельного издания «Ночи в окопе» (М., 1921). Его тираж в 10000 экз. как будто делает очевидным положительный ответ. Возможное значение этой поэмы для ОМ мы рассмотрим в дальнейшем – при обращении к «Оде» 1937 г. в заключительной части (III) нашей работы.

Не видно мотивов для отказа от догадки, что они, вместе с образом «Починки мозгов» (он есть и в «Зангези»), и обложка «Вестника» № 2 (работы П.В.Митурича) стали поводом-основанием для семантических пересечений в заключительном катрене цикла – для учебника, который выступает и как *безлиственный, дикий лечебник*,

Задачник огромных корней.

Митурич вспоминал, что «Доски судьбы», по словам Хл, и были «учебником», необходимым тем, кто хотел бы понять его учение о времени<sup>28</sup>. А мы повторим, что *задачником* обернулся тот самый, тоже (но по-другому) *огромный* «всероссийский требник-образник», каким ОМ когда-то, в статье «Буря и натиск», представлял творчество Хл, теперь более полно знакомое изменщику-акмеисту и глубже им понимаемое.

С другой стороны, *безлиственный, дикий лечебник* как-то (и, кажется, существенно) связан со строкой *И в бездревесности кружились листы* в 5. Не усомнимся, что ОМ чётко осознавал различные значения слова *лист*, и это заставляет внимательно отнестись к мнимой (?) небрежности поэта и подозревать в ней некоторый, не такой уж отдалённый намёк. На что? На те же 3 «листа» из «Досок судьбы», образ «свёрстанного человечества» там же, упомянутый «священный лес чисел», его «стволы», его «уравнения, похожие на деревья», и всё *дерево* – «счёта» или «чисел». Но в 5 намёки такого рода полутайно содержит каждая (!) строка. Перечислим их, хотя бы как дополнения, но может быть, и альтернативы к комментарию М.Л.Гаспарова (с.653).

*Шёпот*, родившийся *прежде губ*, предшествует внутри 5 и подозрительным *листам*, а вместе с ними усиливает известный «голос»-шёпот Хл. Он-то ведь, действительно, возник еще до *губ* в «Бобэоби...», но, кроме того, может напомнить о «солнечном шёпоте» в уже упоминавшемся «Воззвании...». Не отвергнем с порога этот ход мысли – и тогда *те, кому посвящает* [этот свой] *опыт* ОМ (т.е. «Доски судьбы» и их автор Хл), естественно выступают как носители тех *черт*, которые они *приобрели* уже задолго до того, как ОМ приступает к *с в о е м у опыту* (над ними?)<sup>29</sup>. Такое понимание второго катрена в 5 помогает найти ключ к интерпретации первого. Здесь *Моцарт* – это дорогой Хл образ и независимо от *птичьего гама*, «сквозь» который старший поэт, знаток птичьего царства, к тому же «жил» еще в своём раннем и хорошо известном стихотворении «Гонимый – кем, почему я знаю?..» (1912)<sup>30</sup>. *Гёте* (ср. его мечту о западно-восточном синтезе),

<sup>28</sup> Митурич П. Записки сурового реалиста эпохи авангарда / Дневники. Письма. Воспоминания. Статьи. М., 1997. С.53.

<sup>29</sup> Едва ли здесь у ОМ игра на многозначности слова *опыт*. Между тем естественное множ. число *те* и *приобрели* ещё глубже прячет образ Хл из первого катрена 5. См. ниже догадку о множ. числе и в нём.

<sup>30</sup> Ср.: «Несколько хлебниковских строк, содержащих упоминание имени Моцарта, представляют один из самых законченных «сюжетов» всей музыкальной мифологии русской поэзии XX века» (Гервер Л.Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первые десятилетия XX века). Автореф. дисс. <...> докт. искусствоведения. М., 1998. С.11; дисс. издана отдельной книгой (М., 2001). – Ср. также посвящённую птицам плоскость I в «Зангези».

хотя и менее, чем Моцарт, тоже привлекал внимание Хл, а вместе с Данте (!) и Вергилием даже стал одной из иллюстраций законов времени в «Досках судьбы». Для *Гамлета* там также находится возможный источник: не очень заметные слова о «черепе, покоящемся на ладони мыслителя», – да и подзаголовок пьесы Хл «Пружина чахотки» гласит: «Шекспир под стеклянной чечевицей» (= под микроскопом).

Остаётся *Шуберт*. Прямо связать это имя с творчеством Хл нам не удалось. Можно было бы предположить, что само отсутствие связи (полу)сознательно маскирует образ Хл в начале довольно-таки откровенного далее отрывка<sup>31</sup>. Но вероятнее иной ход тайной мысли ОМ, что заставляет нас обратиться к характеристикам всех имён в §, чтобы увидеть в каждой из конструкций и в их сумме образ самого Хл, а не так или иначе занимавших его людей. Своего рода поэтической энтимемой [«Хл – это»] автор скрыл необходимое ему имя в экспозиции – «подзаголовке» катрена, превращаемого таким путём в подобие портрета Хл<sup>32</sup>. Множ. число форм *считали* и *верили* этому формально противоречит, но логика энтимемы проясняется мыслью о необходимой на глубине связке [«которые»].

Ключевыми становятся понятие «вода», образы «водоёмов» у Хл и его отношение к реальной воде («Баркаролла» и нередкий у ОМ *Шуберт* лишь отводят глаза от него), образы «птиц» (о них и о *Моцарте* см. выше), излюбленные Хл «горные тропы» [на которых как-то не по «имиджу» придворного, примирившегося с порядками, *свищет* (впрочем, видимо, молодой?) *Гёте*; кстати, у Хл в поэме «Каменная баба» (1919) горы «вьются», а «свищут» у него, «повитого лучшими свистами птиц» даже «звуки»; см. «Зангези»] и *пугливые шаги* (к *Гамлету* они пристают, кажется, меньше, чем к Хл, с его легендарной походкой и прозвищем «Пумы», – этому мыслителю, как Гёте и Гамлет, а, по самохарактеристике в «Войне в мышеловке», «лишь кролику *пугливому* и *дикому*»<sup>33</sup>).

*Пульс толпы* – это важнейшая для Хл идея, так что сегодня странно не подозревать, а не подозревать здесь намёк на его «осаду толп».

<sup>31</sup> Не считаем возможным подыскивать ритмические аналоги имени *Шуберт* в культурологии Хл и ОМ.

<sup>32</sup> Ср. традиционные конструкции типа «Я – Гамлет» у Блока, заменяемые здесь серией [Он (Хл)] – и X, и Y, и Z, и U[, которые] etc., а также практику иносказаний у таких композиторов, как А. Берг и Д. Шостакович (см. поучительные для проблемы «тайнописи» статьи *Ю. Векслера* и *Т. Левоу* в сб.: *Искусство XX века: Уходящая эпоха?* Т. I. Н. Новгород: Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки, 1997).

<sup>33</sup> Ср. там же «осень такую заячью», «шаг небольшой, только «ик»» и «зайца пугливость».

На «западное» слово *пульс* у Хл был запрет. Но «дрожь» и «толпа» были связаны им еще в «Маркизе Дэзес» и друг с другом, и с понятием «меры» (за счёт «веры»; не говоря о других текстах с гроздью синонимов к «дрожи», а среди них мы найдём «общий трепет»; ср. *трепет* в б!). Едва ли также ОМ не почувствовал, что слово *толпа* у Хл много частотнее, чем у него самого (> 3:1). Почему же тогда в «Восьмистишиях» не присутствует противостоящая глаголу *верили* м е р а Хл в явном виде? Но разве слово *мера* не слишком открыто демаскировало бы интерес ОМ к тем же самым «Доскам судьбы»? <sup>34</sup>.

В свете 5 наше особое внимание привлекает диалог в б. С кем он ведется? Кто этот *чертёжник* и *геометр*? Чем вызван вопрос о соотношении *безудержности линий* с *дующим ветром*? Что та и другой означают? Наконец, почему эти вопросы не возникли пока у комментаторов б, обходятся ими?

Ответ на последний вопрос – в самих существующих комментариях: они не только исключительно разноречивы как интерпретации «Восьмистиший» в целом, но и весьма пристрастны в выборе ряда «своих» объектов комментирования и произвольны в игнорировании других – важнейших (по нашему мнению) слов и конструкций. Неудобно задавать чисто риторический вопрос, но в поисках истины зададим и его: как же это до сих пор в светлое поле сознания выдающихся интерпретаторов не попала бросающаяся в глаза д и а л о г и ч е с к а я форма б? А так: диалог-то у ОМ – с Хл...

Непосредственным поводом к диалогу могли послужить два текста Хл: 1) поэма *чертёжника* «Ладомир» с ярким сгущением в её впечатляющем ударном концовом четверостишии «Черти не мелом, а любовью / Того, что будет, чертежи»; 2) известное еще из «Стихов» Хл 1923 г. (с искажениями и под условным названием «Испаганский верблюд») стихотворение «С утробой медною верблюд...», где автор-*геометр* – давний поклонник «доломерия Лобачевского» – обыгрывает «границы большаков» (а кстати, это «дороги» или «большевики») и «угол», как образ *пустыни*, так и её *пески* <sup>35</sup>.

*Безудержность линий* при этом можно интерпретировать как отсылку к «основному закону времени» или/и непосредственно к «Доскам судьбы». Всё еще также почему-то пренебрегаемая аллюзия к пушкинскому «Зачем крутится ветер в овраге...» тогда объясняется совсем легко как

<sup>34</sup> ОМ мог и не знать об упоминавшейся выше брошюре Хл «Время – мера мира». Но паронимией *море – морить* и *мор – мера* при создании более откровенного, чем обычно, образа Хл-свирельщика-*флейтиста* в 1937 г. он словно нарочито подчеркнул, кого при этом имеет в виду. Ср. сближения тех же корней и *мира* в «Войне в мышеловке» или «Зангези». – Раннего Хл занимали также *морок* и *мророки*.

<sup>35</sup> У *Арабских песков* был вариант: *Сынучих*. Оба эпитета нам представляются маскировкой невозможно-откровенного здесь, но виртуально-реального определения «Иранских / Персидских».

оппозиция *дующего ветра* – детерминированности. Ведь в «мягком» хлебниковском варианте последней ОМ еще не сумел разобраться – отсюда его вопрос в диалоге. Не менее ясным становится и ответ Хл. Его смысл: «Меня давно уж нет; вы, живые, можете сколько угодно недоумевать по поводу очевидного смысла открытого мною «основного закона времени» – это ваши проблемы-заботы»<sup>36</sup>.

И ОМ вкладывает в уста собеседника изречение, достойное как творчества Хл, так и «медной доски», обещанной ему еще в «Буре и натиске»:

Он опыт из лепета лепит  
И лепет из опыта пьет.

*Он* – это сам ОМ, таким образом, через речь персонажа, смиренно сознающий: его *опыт* познания Хл еще недалеко ушёл от детского *лепета* «доумца» 1922 г., так что и нынешний *лепет* в «Восьмистишиях» – лишь слабый отголосок *опыта* Хл. Но это важнейший этап на пути от «Грифельной оды» к «Оде» 1937 г. и колоссальный опыт создания в тексте «параллельного мира», использования иносказаний, пока еще вполне невинной (в политическом смысле) тайнописи.

Закончим поиск обращений к образу Хл в «Восьмистишиях» напоминанием о догадке, опубликованной в 1995 г.<sup>37</sup> Как и тогда, она выглядит фантастической. Но альтернатива, объясняющая числа 11 и 8 в структуре «Восьмистиший», неизвестна. Не отбросим же с порога возможное влияние Хл и здесь. В «Досках судьбы» есть рассуждение о «сладком числе» 11. Оно примиряет борьбу волн «двоек» и «троек»:  $2^3 + 3 = 3^2 + 2 = 11$ . Как было сладёне и сладкоежке ОМ не воспринять по-особому слова «Сладкой около воды» в «Иранской песне» Хл? Не позавидовать в душе Будетлянину, заявившему в «Синих оковах» (1922), что тому, кто прочитал «законов синих свод»,

И сладко думается, и сладко волится <...>?

Всё изложенное не порывает в «Восьмистишиях» с токами, идущими и от «Ламарка». Неоламаркизм, впрочем, уже там чуть иронически корректировало «зангезийство» Хл. За *лестницей Ламарка* и образом спуска (*спущусь*) у ОМ могли возникать и иные ассоциации – с

<sup>36</sup> Более того: «Ваш *трепет* смешон перед общей «дрожью» Вселенной, на «трепет» которой я, Хл, вам четко указал, в том числе и словом *трепет* еще в 900-е годы». – А вот определением *иудейские* ОМ здесь же исхитрился и своеобразно «отомстить» собеседнику, незаметно напоминая о некрасивом эпизоде ноября 1913 г., замешенном на еще не вполне изжитом тогда бытовом антисемитизме Хл. – Отдельный анализ этого диалога в 6 см. в статье: Григорьев В.П. Об одном тире в одном из «Восьмистиший» Осипа Мандельштама // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2002. Т.61, № 5. С.52 -61.

<sup>37</sup> См.: Григорьев В.П. Будетлянин. С. 671.

образом «спуска» и «нисходящими степенями троек» в тех же «Досках судьбы». В мае 1932 г., когда был написан «Ламарк», исполнилось 10 лет со времени последних бесед ОМ с Хл, и это был повод для того, чтобы помянуть его *зелёную могилу*, а заодно припомнить также беспрецедентно *гибкий смех* Хл в знаменитом «Заклятии смехом». Что же касается наличного в «Ламарке», наряду с ними, и *провала*, то у ОМ уже зрел противостоящий ему и обязанный исключительно Хл *промер* из «Стихов о Неизвестном солдате».

ОМ и Хл сближаются как близнецы-отцы-основатели того, что позднее получит имя поразному трактуемой «контркультуры». Оба они, каждый на свой лад, до конца оставались молодыми бунтарями против «несправедливого и лживого устройства взрослого мира, его стиля и образа жизни», так самоотверженно уходя в «искренний бессребреннический нонконформизм» («базис» контркультуры» сегодня видят именно в нём). Оба не хотели «играть по установленным правилам, жить ради денег и пр.»<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> *Гладильщиков Ю.* Скромные революционеры [Это не о Хл и ОМ. – В.Г. ] // Известия, 10 ноября 2001 г.

**ГЛАГОЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И В СЛЕНГЕ:  
ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕНЫ В ПОЗИЦИИ ОБЪЕКТА <sup>1</sup>**

**1. Постановка задачи**

Процессы изменения российского общества, начавшиеся в середине 80-х гг., привели к разрушению барьеров между официальной и бытовой сферой общения и дали толчок бурному развитию и распространению сленга. Сленг – та часть сниженной лексики русского языка за пределами разговорной, которая раньше допускалась только в дружеском общении, а теперь употребляется практически во всех ситуациях всеми носителями русского языка, включая образованных, или по крайней мере, хорошо известна им<sup>2</sup>.

Примерно половина единиц сленга по своему происхождению – производные значения слов, основное и ряд других производных значений которых принадлежит литературному языку, например, *тащиться* ‘испытывать удовольствие’, *подвинуть* ‘вытеснить с центральной позиции’, *контора* ‘учреждение или организация’, *мельница* ‘любое устройство в пластмассовом корпусе’, *железо* ‘компьютер’ и т.п.<sup>3</sup>. При этом почти абсолютное большинство сленговых значений мотивировано метафорически. Метонимические переносы при образовании сленговых значений встречаются очень редко – они составляют примерно 15% общего числа случаев семантической деривации сленга, причем используется только одна модель

---

<sup>1</sup> Данная работа выполнена в рамках проектов, получивших финансовую поддержку РГНФ (грант № 02-04-00294а) и РФФИ (грант № 01-0680234).

<sup>2</sup> Ср.: «Сленг в русском языке – относительно недавнее явление, возникшее в точке пересечения молодежной речи с профессиональными жаргонами, блатной феней и другими периферийными лексическими областями русского языка. Однако в последние 10 лет он настолько вырос в объеме и распространился на такое число говорящих, включая и образованных, что завоевал право на лексикографическое признание» [Апресян и др. 2000].

<sup>3</sup> Все данные, приводящиеся в статье, основаны на собранной автором картотеке. Частично картотека отражена в словаре [Ермакова и др. 1999].

метонимии – ‘неконтролируемое действие (происшествие) / процесс, сопутствующий другому действию, - действие, которому он сопутствует’<sup>4</sup>, например: *вздоргнуть* ‘совершить произвольное движение телом’ – (сленг) ‘выпить’, *возникать* ‘появляться в поле зрения’ – (сленг) ‘высказывать свое мнение, тем самым привлекая к себе внимание’, *качаться* ‘ритмично подниматься из горизонтального положения на вытянутых руках’ – ‘тренироваться’, *шуршать* ‘действуя с тканью или бумагой, произвольно производить шум’ – (сленг) ‘действовать’. Иными словами, деривация большей части сленговых значений слов – результат изменения таксономического класса одного или нескольких участников ситуации, описываемой глаголом. Возникает вопрос, есть ли какие-либо регулярные различия между образованием сленговых и литературных метафорических значений. Этот вопрос связан с другим, более широким: можно ли считать не только метонимически, но и метафорически мотивированную многозначность в какой-то степени регулярной.

Проблема регулярности языковой метафоры уже рассматривалась в работе [Розина 2002]. В центре внимания в этой работе была мена таксономического класса одного из участников ситуации, описываемой глаголом, Субъекта, причем сопоставлялось образование метафорических значений в рамках литературного языка и за его пределами, в сленге. Вывод работы заключался в том, что хотя одно из направлений изменения класса Субъекта при деривации литературной метафоры – с предмета на человека – совпадает с направлением его изменения при образовании сленговой метафоры, конкретные модели реализации этого изменения таксономического класса Субъекта в литературном языке и сленге различны.

В данной статье в центре внимания другой участник ситуации - Объект. Термин «Объект» понимается синтаксически: Объект – тот участник ситуации, описываемой глаголом, который выражен прямым дополнением. Семантические роли этого участника могут быть различными – например, Пациент, как в (1), или Образ, как в (2):

(1) Он [Рубахин] подхватил *юношу* на руки, нес через ручей (Маканин).

(2) Солдаты-старогодки, они вспоминали *тех*, кто демобилизовался (Маканин).

Известно, что в ходе семантической деривации Объект меняет свой таксономический класс гораздо чаще, чем Субъект [Pustejovsky 1995:88-89]. Втягивание в ситуацию нового Объекта меняет характер действия (=воздействия на Объект) и, в конечном счете, меняет значение самого глагола [Кустова 2000].

---

<sup>4</sup> Эта модель метонимии отсутствует в перечне регулярных метонимических переносов, приведенном в [Апресян 1995 : 203-209]. Можно предположить, что она нехарактерна для литературного языка.

## 2. Модели изменения таксономического класса Объекта

Объекты глаголов, способных в ходе семантической деривации давать производные сленговые значения, принадлежат различным таксономическим классам. Ниже следует их иерархия:

предмет: *бомбить (город), замазать (стекло в стену), волочить (бревно), впаять (монету в портсигар), врезать (замок в дверь), выдать (зарплату рабочим), грузить (машину песком), дать (книгу приятелю), держать (стакан в руках), задвинуть (чемодан под кровать), заложить (вещи в ломдарад), замочить (постельное белье в холодной воде), кинуть (девушку) (простореч.), крутить (обруч), купить (пальто), наварить (топор) ‘увеличить, приварив кусок’<sup>5</sup>, отмыть (кастрюлю от жира), отстегнуть (кобуру револьвера), повесить (картину на стену), подвинуть (стол ближе к стене), подогреть (чайник), подставить (спину под удар), получить (выговор), припаять (провод к лампе), пристегнуть (сумку к ремню), раскрутить (гирю над головой), сдать (книги в библиотеку), сделать (стол), сечь (капусту), склеить (дом из картона), снять (посуду со стола), стянуть (скатерть со стола / туфли с ног), оторвать (лист от ветки), обломить (ветку), настрогать (планок)*

- светочувствительный предмет: *засветить (негатив)*

- предмет с твердой оболочкой: *расколоть (орех)*

- движущийся предмет: *пропустить (велосипед)*

- транспорт: *тормозить (автомобиль)*

- вместилище: *завязать (мешок веревкой)*

- длинный гибкий предмет: *дернуть (шнурок), завязать (шнурок узлом), мотать (шерсть в клубок) / отмотать (пять метров проволоки), накрутить (канат на барабан)*

масса: *выкрутить (воду из тряпки), вырубить (свет), гнать (волну), поддать (пару), прессовать (опилки), отлить (воды), подогреть (чай), развести (молоко), размазать (грязь по стене)*

- съедобная масса: *квасить (капусту), принять (лекарство)*

поверхность: *достать (дно рукой), начистить (пуговицы мелом), пахать (поле), подмазать (противень / колеса / бричку) ‘смазать слегка или дополнительно’*

- поверхностный слой: *содрать (кору с березы), скатать (ковер), слизать (пенку с варенья)*

живое существо: *зарубить (медведя / крестьянина топором)*

- насекомое: *накрыть (бабочку сачком)*

- движущееся: *ловить (рыбу)*

<sup>5</sup> Значения поясняются только в некоторых случаях, когда их сложно вывести из сочетаемости или когда они малоизвестны.

- человек: *навести кого-то на что-то* (уст.) ‘указать местоположение’, *обуть (ребенка), посадить (ребенка на дерево), раздеть (ребенка), списать (матроса на берег)*

- часть тела человека: *наколоть (палец), напрягать (глаза)*

действие: *заказать (ужин в ресторане)*

По сравнению с этим списком, список таксономических классов Объектов производных сленговых глаголов очень ограничен, ср.:

человек: *бомбить (пассажира), вырубить (противника), грузить (сына [нотациями]), держать (кого-то за идиота), достать (врача вопросами), засветить (Леонтьева в театре), накрыть (кого-то на месте преступления), настрогать (детей), обуть (заказчика, вкладчиков) ‘обобрать’, подмазать (начальство), посадить (кого-то на иглу) ‘приучить к употреблению наркотиков’, раздеть (клиента), задвинуть (претендента), заложить (друга), замочить (террориста), кинуть (заказчика на 150 тысяч), купить (кого-то) ‘обмануть’, напрягать (меня) ‘приводить в нервное состояние’, обломить (приятеля) ‘не выполнить обещания’, подвинуть (соперника), подогреть (начальника) ‘дать взятку’, подставить (президента), расколоть (допрашиваемого), прессовать (арестованного), развести (клиента на покупку) ‘преодолеть внутреннее сопротивление’, ‘сделать так, чтобы купил’, размазать (противника по стенке), раскрутить (молоденькую актрису), сдать (премьер-министра), сделать (противника), склеить (мужа), снимать (девушек)*

- часть тела человека: *начистить (морду кому-то)*

деньги: *выкрутить (деньги)<sup>6</sup>, крутить (деньги), отмыть (деньги), отстегнуть (40000), ловить [деньги] ‘зарабатывать’, наварить (1 000 000), накрутить (цену)*

алкоголь: *дернуть [рюмку], пропустить [рюмку], поддать [алкоголь], принять [алкоголь]*

наука: *волочить (математику),*

тюремный срок: *впясть (10 лет), припясть (срок), мотать / отмотать (срок)*

произведение: *зарубить (пьесу)*

речь: *гнать [слова, рассказ]*

текст: *сдирать (контрольную у приятеля), скатывать (задачу у приятеля), слизать (сочинение у соседа по парте)*

моча: *отлить [мочу]*

любой предмет:

- ценность: *оторвать (квартиру), стянуть (книгу в библиотеке)*

<sup>6</sup> *Выкрутить деньги* – от *выкрутить воду из тряпки* (диатеза от *выкрутить тряпку*).

действие:

- удар: *вмазать* [0]<sup>7</sup> кому-то, *врезать* [0] кому-то
- выговор: *получить* [0], *выдать кому-то* [0], *врезать кому-то* [0]
- обвинение / дело: *повесить* (дело на кого-то)
- сексуальное действие: *дать* [0]

Легко видеть, что самый крупный таксономический класс Объекта у сленговых значений глаголов – ЧЕЛОВЕК, а остальные классы ограничены миром человека. Поэтому сразу можно сделать вывод о том, что при деривации сленгового значения глагола Объект глагола либо остается в классе ЧЕЛОВЕК, например, *обуть* (ребенка – вкладчиков), *раздеть* (ребенка – акционеров), либо переходит в класс ЧЕЛОВЕК из какого-либо другого класса, например, *достать* (дно руками – мать вопросами), *размазать* (слезы по щекам – противника по стенке).

Объект может также переходить из какого-либо таксономического класса, не имеющего отношения к человеку, в таксономический класс объектов, принадлежащих миру человека, например, ЧАСТЬ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА (*начистить кастрюлю – морду кому-то*), НАУКА (*волочить ветку по земле – математику*), ЖИЛЬЕ (*оторвать лист от ветки – квартиру*)<sup>8</sup>. Если Объект мотивирующего значения уже принадлежит миру человека, он переходит из подкласса, более удаленного от человека, в подкласс, более непосредственно связанный с человеком, например, из класса АРТЕФАКТ в класс ДЕНЬГИ, ср. *отстегнуть* (кобуру от ремня – 1000 долларов).

Хотя общее направление изменения таксономического класса Объекта при деривации сленговых значений очевидно, это не проливает света на различия деривации литературных и сленговых значений слов. Проблема заключается в том, что в литературном языке производное значение может быть построено на любом из двух переходов Объекта – как по модели ‘человек – предмет’ (антропоцентрическая метафора), пример (3), так и по модели ‘предмет – человек’, пример (4):

(3) а. Она [Татьяна Павловна] .... даже **щипала** меня, а толкала положительно, даже несколько раз, и больно (Достоевский).

б. Конь при дороге траву **щипал**, / Ночь наступила — и конь пропал... (Н. Матвеева).

(4) а. Мальчик еле **отделил** прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул (Пастернак).

б. На товарном дворе в Иваново **отделили** троих: Сабурова, Власова и из чужой группы, а остальных увели сразу (Солженицын).

<sup>7</sup> Нулем в квадратных скобках обозначаются инкорпорированные актанты. Об инкорпорированных актантах см. [Падучева 2001:26; 2002:182].

<sup>8</sup> Сфокусированность разговорной речи на человеке и мире человека и направленность метафорического переноса разговорной и сниженной лексики от предметного мира к человеку отмечалась в [Земская и др. 1981:160-161].

Очевидно, что при деривации сленговых значений направление изменения таксономического класса Объекта совпадает с одним из двух возможных направлений его изменения при деривации литературных значений, т.е. с направлением от предмета к человеку. Такое же соотношение между сленговой и литературной семантической деривацией можно было видеть, когда мы рассматривали изменение таксономического класса Субъекта глагола [Розина 2002]: при деривации литературных значений Субъект может меняться в двух направлениях – от человека к предмету и от предмета к человеку, а при деривации сленговых значений – только от предмета к человеку. Можно предположить поэтому, что деривация сленговых и литературных значений слов различается не общим направлением изменения класса Объекта, а конкретными моделями его реализации.

### 3. Модели деривации значений глаголов разделения

Различия между деривацией сленговых и литературных значений мы рассмотрим на примере глаголов разделения: *разделить (яблоко на части)*, *раздробить (кость)*, *расколоть (орех)*, *раскроить (ткань)*, *перепилить (бревно)*, *пороть (платье)*, *развязать (узел)*, *рассечь (тушу)* и др. Выбор именно этого класса глаголов обусловлен тем, что в основном значении у всех у них Объект – предмет и все они многозначны, причем у трех глаголов этого класса – *расколоть*, *рассекать* и *сечь* есть производные сленговые значения, например:

(5) Передача «Театр+ТВ» и ее ведущая Е.Уфимцева славятся тем, что умеют «*расколоть*» на откровенные рассказы о себе самых «закрытых» и сдержанных людей театра (Центр-плюс 30.01.1995).

(6) ...в таком виде, шокировавшем не только пассажиров, но и бывалых железнодорожников, *рассекал* потомок Адама пространства скорого поезда долго и упорно (Нов.Изв. 3.11.2000).

(7) Французы это [моду] *секут* (МК 10.08.93).

Рассмотрим, как образуется сленговое значение у каждого из этих глаголов.

#### *РАСКОЛОТЬ*

Глагол *расколоть* близок по значению к двум другим глаголам этого класса - *разбить* и *раздробить*. В своих основных значениях все три глагола описывают ситуацию разделения предмета на части ударом. У всех трех глаголов есть, в пределах литературного языка, производные значения ‘разъединить’ <Объект - множество людей>, например, *расколоть партию*, *разбить врага*, *раздробить сторонников реформы*, и ‘нанести телесное повреждение’ <Объект - часть тела человека>, например, *разбить*

себе нос, раздробить сопернику челюсть, расколоть череп противнику. Но при этом только у *расколоть* есть еще и сленговое значение ‘ослабив чье-либо сопротивление с помощью насилия или каким-то другим способом, получить требуемую информацию’, пример (5) и (8):

(8) «МК» *расколол* маньяка (МК 15.03.94).

При образовании этого значения глагола *расколоть* таксономический класс Объекта меняется на ЧЕЛОВЕК так же, как при деривации литературного значения, но действие, описываемое глаголом, теперь направлено не на множество людей, а на одного человека. Таким образом, подкласс Объекта сленгового значения оказывается иным, чем подкласс Объекта производного литературного значения. Такое изменение Объекта в ходе семантической деривации нехарактерно для глаголов рассматриваемого класса, и уже этого достаточно, чтобы противопоставить производное сленговое значение – производным литературным значениям.

Возникает вопрос, регулярно ли такое различие сленговой и литературной семантической деривации; иными словами, существует ли еще хотя бы один глагол, у которого Объект производного литературного значения был бы множественным, а Объект производного сленгового значения – единичным.

Таким оказался глагол *развести*. Этот глагол стоит рассмотреть подробно, поскольку на множестве его значений можно продемонстрировать различия процессов литературной и сленговой семантической деривации.

### РАЗВЕСТИ

Если у *расколоть* множество людей было Объектом производного литературного значения, то у *развести* множество людей – Объект уже основного значения ‘поместить каждого члена группы в отдельное место’, например:

(9) Потом встали, другие партии *развели* по пунктам, а нашей объявили: «Вот ваш лагерь. Устраивайтесь, как знаете» (Пастернак).

В этом значении Объектом *развести* могут быть также высшие животные, наделенные разумом, например:

(10) Без лишнего шума *развели* лошадей по своим местам (Айтматов).

Производные литературные значения *развести* наследуют характеристику Объекта основного значения *развести* – его множественность. В самом деле, Объект значения ‘расторгнуть брак’ – супружеская пара, ср. (11), а значения ‘разнять дерущихся’ – двое или более людей, ср. (12):

(11) Первый суд их не *развел*, не дала согласия на развод Наташа (Вишневская).

(12) Уже слышались однообразные возгласы: «А ты кто такой?», уже вырвалась из очей Паниковского крупная слеза, предвестница генеральной драки, когда

великий комбинатор, сказав «брек», *развел* противников, как судья на ринге (Ильф и Петров).

В дальнейшем класс Объекта *развести* изменяется в наиболее распространенном в литературном языке направлении с человека на не-человека, но сам Объект по-прежнему остается множественным. Так, у *развести* есть производное значение 'разъединить', Объект которого - парные части тела человека, ср. (13), или устройство, состоящее из подвижных частей (14), ср.:

(13) Он передохнул, сморщил лицо неудавшейся усмешкой и *развел* руки (Горький).

(14) Вышли начкар с контролёром из вахты, по обоим стороны ворот стали, и ворота *развели* (Солженицын).

Объект другого производного значения *развести* 'добавив жидкость, понизить концентрацию' – жидкость, ср. (4):

(15) Дашка, видать, подумала, что наговорное зелье действует, навела для надежности еще, да и *развела* его водкой (Войнович).

К этому значению очень близко другое - 'добавив жидкость, превратить в жидкость (тем самым понизив концентрацию)', Объект которого - порошок, ср.:

(16) ...он достал из кармана так называемый «чек»- кусочек полиэтиленовой пленки с жирновато-бурым пятнышком опиума, снял это пятнышко лезвием ножа, прокалил над спичкой, ссыпал в шприц и *развел* обыкновенной водой из кружки (Незнанский, Гополь).

Физический смысл действия, которое описывает *развести* в этом значении, заключается в том, что когда Субъект добавляет к Объекту жидкость, молекулы жидкости встраиваются между молекулами Объекта; с точки зрения обыденного сознания, при добавлении жидкости расстояние между частицами Объекта увеличивается. Поэтому, хотя в традиционных таксономических классификациях жидкости и порошки – масса, т.е. класс, отличный от множества дискретных физических тел, в рассматриваемом случае Объект также может трактоваться как множественный.

Кроме того, у *развести* есть производные значения 'ухаживая, добиться размножения' с Объектом животными или растениями, пример (17), и 'не контролируя, допустить увеличение количества' с Объектом-массой, пример (18):

(17) - Этих голубей для фестиваля *развели* (Сорокин).

(18) Ты зачем здесь такую грязь *развел*?

В примерах с (9) по (16) у Объекта была роль Пациенс; в примере (17) и (18) роль Объекта – Результат. Множественный характер Объекта в (17)

не вызывает сомнений. Но и в (18) представлен множественный Результат: *развести грязь, беспорядок, тараканов* и т.п. можно только позволив Объекту «умножаться».

Между тем, значение *развести* ‘понизить концентрацию’, проиллюстрированное примером (19), мотивирует сленговую метафору ‘ослабив чье-либо сопротивление, добиться желаемого’, ср.:

(19) – Смотри, они дают пятилетнюю гарантию на пломбы при условии, что раз в полгода приходишь к ним на профосмотр. – Ну конечно, пойдешь и они там тебя обязательно на что-нибудь *разведут* (из разговорной речи, 2002).

Это значение демонстрирует сразу два отличия сленговой деривации от литературной. Во-первых, изменение таксономического класса Объекта в противоположном направлении – от не-человека к человеку. Во-вторых, исчезает такая характеристика, как множественность Объекта – он становится единичным так же, как при деривации сленгового значения *расколоть*.

Такие же изменения Объекта при деривации сленгового значения демонстрируют глаголы *прессовать* и *размазать*.

*Прессовать* в литературном языке – моносемичный глагол с Объектом-массой или множеством однородных предметов, например:

(20) При загрузке он [шнек], вращаясь в одну сторону, *прессовал* мусор, а при выгрузке, наоборот, выталкивал его наружу (Интернет-журнал: Возим мусор, 1999, N 12).

Воздействуя на массу давлением, Субъект действия делает расстояние между частицами массы меньшим, и тем самым масса становится плотнее. У *прессовать* есть производное сленговое значение с Объектом-человеком ‘упорно бить или каким-то другим способом настойчиво воздействовать на кого-либо, обычно с целью подчинить себе’, ср.:

(21) Чтобы выбить признание или получить «нужные» показания, оперативники прибегают к услугам «своих», пользующихся особыми привилегиями подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей в милиции, ИВС и СИЗО, которые избивают, насилуют или иным образом принуждают других подозреваемых или обвиняемых. Эта широко распространенная практика получила название «пресс-хата», потому что работающие на милицию *«прессуют»* задержанного непосредственно в камере предварительного заключения (Нов. Изв. 28.09.2000).

Объект глагола *размазать* в литературном языке – жидкая или пластичная масса, например:

(22) Он повернулся, выронил стрелу и, *размазывая* по лицу чернильные пятна и слезы, пошел со двора (Белов).

В сленговом значении ‘нанести кому-то серьезный физический или моральный ущерб, тем самым лишив способности сопротивляться’ таксономическим классом Объекта *размазать* становится ЧЕЛОВЕК:

(23)...герой – плохой, циничный, крутой такой мальчик, обижавший, обхитрявший, умело воровавший и беззастенчиво оскорблявший всю добропорядочную компанию – больно за все поплатился. Можно сказать, был *размазан* по асфальту (МК 28.04.94).

### ПОСТРОИТЬ

Правильность предположения о том, что отличие сленговой семантической деривации от литературной - не в направлении деривации, а в дополнительных изменениях характеристики Объекта, убедительно подтверждает глагол *построить*. Рассмотрим деривационные отношения между некоторыми из его значений.

В основном значении *построить* описывает ситуацию создания целого предмета из массы однородных частиц или множества однородных предметов, причем целый предмет имеет семантическую роль Результат и выражен Объектом, а у массы или множества – роль Средство и ранг периферийного участника, ср.:

(24) Поросенок *построил* себе дом из соломы (из сказки).

В производном литературном значении ‘ставить в строй, организовывать в пространстве’ у *строить* две диатезы – с Объектом–Результатом (25а) и с Объектом–Пациентом (25б):

(25) а. ...командир полка не обязан сам *строить* походную колонну (Симонов).

б. «Этот мой!» повторял, держа руку на его плече, Рубахин в общем шуме и гаме в той последней суете, когда пленных пытаются *построить*, чтобы вести в часть (Маканин).

Таксономический класс Объекта в (25а) – объединение людей (войсковое подразделение), а в (25б) – множество людей. Последняя диатеза мотивирует недавно возникшее сленговое значение *построить* = ‘пытаться влиять на чьи-то действия и поведение в соответствии со своими желаниями’, например:

(26) Жена его каждое утро *строит* (из разг. речи, 2001).

Объект глагола *строить* в этом значении остается в классе ЧЕЛОВЕК, но из множественного становится единичным.

Можно предположить, что суть различия между сленговой и литературной деривацией - в более свободном обращении с мотивирующим значением в сленге. Объекты мотивирующего и производного значения в литературном языке обладают сопоставимыми свойствами. Так,

например, в литературном языке Объект мотивирующего значения глаголов *разбить*, *расколоть* и *раздробить* – твердый предмет, который легко дробится на части, а Объект производного значения – множество людей (*партия*, *сторонники реформы*, *враг*), которое также легко делится на части. При деривации сленгового значения глагола *расколоть* эта сопоставимость свойств Объекта мотивирующего и производного значения отсутствует. Объект мотивирующего значения – орех, который при ударе делится на части так, что можно достать его ядро, а у сленгового значения *расколоть* Объект – человек, которого нельзя разделить на части, не вызвав его гибели; но сленговое значение *расколоть* и не предполагает этого.

К такому же выводу приводит и исследование деривации метафорических значений по противоположно направленной модели изменения класса Объекта от человека на предмет, которая используется только литературным языком. Подобие свойств человека и Объекта – обязательное условие, которое определяет возможность образования литературного метафорического значения по этой модели [Розина, в печати].

### РАССЕКАТЬ

В своем основном значении *рассекать*, так же *разрезать* и *перерезать* описывает ситуацию разделения предмета на части с помощью чего-то острого, ср.:

- (27) ...он работал, не помня времени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он *рассекал* (Платонов).
- (28) ... я подумал, если кто-то газету *разрезал*, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне (Войнович).
- (29) Вспомнил, как он попросился в уборную, как *перерезал* веревки и привязал вместо себя кабана (Войнович).

В производном значении все перечисленные глаголы описывают ситуацию движения, ср.:

- (30) Толчок. Узкий нос *рассекает* течение... (Ермаков).
- (31) Каботажный пароход *разрезает* волны (Розенбаум).
- (32) За мысом дорогу *перерезал* колесный пакетбот, переполненный фесками, и, мелькнув, обдал теплым дымом (Бунин).

Кроме того, у *рассекать*, так же, как у всех остальных перечисленных глаголов, есть производное значение расположения в пространстве, например:

- (33) За окном далеко внизу раскинулся город, улицы, точно шрамы, *рассекали* скопище бетонных людских муравейников (Табб).
- (34) Вместо него одного под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, под углами *перерезанное* сверкающими дорожками (Булг.).

(35) ... одна из скал в красноярском заповеднике "Столбы" / Вот она, ну вот она Небо *разрезает* ... (Альшанский).

И в значении движения, и в значении расположения в пространстве глаголы *рассекать*, *разрезать* и *перерезать* меняют таксономический класс Объекта; новый класс — ПРОСТРАНСТВО.

Между тем, глагол *рассекать* (в отличие от *перерезать*, *разрезать* и *пересекать*) имеет еще одно производное значение в сленге - 'перемещаться' (о человеке), ср.:

(36) Смотри, вон Петя *рассекает* (разг. речь, 2002).

Это значение мотивировано литературным производным значением глагола *рассекать*, проиллюстрированным примером (30) <Субъект - корабль>. Объект сленгового значения *рассекать* также пространство, но по сравнению с литературным значением, сленговое *рассекать* подвергнуто дополнительным преобразованиям: по общему правилу деривации сленга таксономический класс Субъекта глагола меняется на ЧЕЛОВЕК [Розина 2002]<sup>9</sup>, например, (6) и (36), а Объект может инкорпорироваться (36).

Инкорпорирование<sup>10</sup> Объекта при деривации сленгового значения – явление весьма распространенное. Примерами могут служить сленговые глаголы нанесения удара *вмазать*, *врезать*, *дать (кому-то в морду)* <инкорпорированный участник - УДАР>, глаголы выпивки *дернуть*, *закладывать*, *поддать*, *принять на грудь* <инкорпорированный участник – АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК>, глагол зарабатывания денег *ловить* <инкорпорированный участник - ДЕНЬГИ> и многие другие. Инкорпорирование участника достаточно часто встречается и в рамках литературного языка, но имеет другой характер. При инкорпорировании Объекта в литературном языке его единственное изменение - генерализация, например, *Он поел кашу* – *Он поел* [пищу]; *Он выпил вина* – *выпил* [алкогольный напиток]. Между тем, в сленге происходит переход в другой таксономический класс, отличный от класса, который был у Объекта в мотивирующем значении, например, *Он врезал замок в дверь* – *Он врезал* [удар] *противнику*; *Он дернул шнурок* – *Он дернул* [алкогольный напиток] и т.п. Другое отличие инкорпорирования в литературном языке от сленгового заключается в том, что оно не сопровождается никакими дополнительными преобразованиями. В частности при инкорпорировании Объекта класс Субъекта остается неизменным.

Объект *рассекать* может также понижаться в ранге, становясь периферийным участником, ср.:

<sup>9</sup> «Личный» характер метафорических переносов в разговорной речи отмечен в [Земская и др. 1981:160-161].

<sup>10</sup> Имеется в виду семантическое инкорпорирование, отличное от морфологической инкорпорации в инкорпорирующих языках (см. употребление термина в [Скорик 1990:193]).

(37) Если женщина очень красива, она сначала выйдет замуж за всемирно известного олигарха, а потом уже будет *рассекать по Москве* на лэндкрузере, направляясь в «Табакерку», и там, замирая от восторга, беседовать с Евгением Мироновым (Н.Изв.).

Другой пример сочетания изменения таксономического класса Объекта с его понижением в ранге - деривация сленгового значения глагола *завязать* 'прекратить привычную деятельность', ср.:

(38) а. - Извините, ребята, *завязал*. Сам не пью и вам не советую (Войнович).

б. Мне не наливай, я *завязал*, - сказал он. - Да я, по сути дела, тоже *завязал*. Надоело это наше свинство, - сказал «блейзер» (Аксенов).

Литературное значение *завязать*, мотивирующее сленговое, описывает действие Субъекта, в результате которого возникает преграда для доступа к предмету из внешнего мира или для его контакта с внешним миром, ср.:

(39) а. Женщина, стоя на коленях, бинтом *завязала* раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки (Булгаков).

б. Козонков снова тщательно *завязал* «Альбом» веревочкой и ушел (Белов).

Объект *завязать* в этом значении – предмет.

Объект сленгового значения *завязать* – привычная деятельность, например, выпивка, как в примерах (38а) и (38б), где это следует из контекста. В примере (40) Объект понижается в ранге до уровня периферийного участника, причем изменяется семантическая роль участника, имевшего роль Объекта: вместо Пациенса он становится Аспектом.

(40) Тамарка, нежная дочь Днепра, *завязала с постыдной службой* в валютном баре (Аксенов).

Инкорпорирование Объекта в сленге может быть вызвано как минимум двумя разными причинами. Во-первых, желанием не называть или скрыть 'плохой' Объект, т.е. тенденцией эвфемизации [Крысин 1994:33-34]. Именно поэтому происходит инкорпорирование Объектов таких таксономических классов, как УДАР, АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК, ВЫГОВОР у глаголов *врезать*, *поддать*, *вставить* и др. Во-вторых, тем, что в сленговом значении глагол меняет модель управления по образцу синонимичного литературного глагола<sup>11</sup>, как это происходит, например, с глаголом *завязать*, в сленге синонимичном литературному глаголу *прекратить*.

<sup>11</sup> В [Земская и др. 1981:155 –157] со ссылкой на [Апресян 1967:30] рассматривается противоположная сторона этого явления – приобретение глаголом, при погружении в конструкцию, характерную для другого глагола, значения этого глагола.

Этой же причиной может быть вызвано понижение ранга Объекта глагола в сленговом значении до уровня периферийного актанта – например, глагол *рассекать* в сленговом значении синонимичен литературным глаголам *идти / ехать (по улице)*, и соответственно меняет свою модель управления, ср. *рассекать по улице*. Глагол *завязать* в сленге синонимичен не только литературному *прекратить*, но и литературному *покончить (с курением)*, и для него возможна и такая модель управления - например, *завязал с курением*.

Иногда в сленге возникает конкуренция между «своей» и «чужой» моделью управления, т.е. моделью управления глагола, мотивирующего сленговое значение, и моделью управления другого литературного глагола, синонимичного сленговому. У глагола *рассекать* в сленговом значении ‘перемещаться’, как показывают примеры (6) и (36), две модели управления – с прямым дополнением по образцу литературного *рассекать (водную гладь)*, и по образцу синонимичного *идти / ехать (по улице)*. Ориентация на модель управления мотивирующего глагола характерна для более ранних употреблений, на модель управления синонимичного глагола – для более поздних и «устоявшихся».

### СЕЧЬ

В своем основном значении этот глагол, так же как *рубить* описывает ситуацию разделения предмета на мелкие части с помощью ударов по нему чем-то острым, например:

(41) ...император, надо думать, надеялся, что в свободное от врачевания время дед будет ходить в казачьей лаве в конные атаки и будет *сечь* клинком, как капусту, врагов престол-отечества... (Кураев).

В литературном языке у этого глагола есть производное значение ‘ударять с целью причинить боль’ с Объектом-человеком, ср.:

(42) Хотела Нуся спросить, *секли* ли полковника самого в детстве, и есть ли у него свои дети (Солженицын).

При образовании сленгового значения ‘понимать, знать толк в чем-то’ Объект глагола *сечь* становится абстрактным и легко понижает свой коммуникативный ранг. Таким образом, вместо Объекта появляется периферийный участник, семантическая роль которого уже не Пациент, а Аспект. При этом модель управления сленгового глагола *сечь* строится по образцу литературных глаголов *понимать* и *разбираться (в математике)*, например:

(43) ... Я вообще не *секу* в этом [в компьютерах], но хотелось бы научиться! Чайник я в общем (сообщение пользователя на сайте «Домашний компьютер», 2002).

Так же образовано сленговое значение *волочить* 'разбираться в чем-то', ср.:

(44) а. Беру его под мышку, *волоку* коляску по лестнице с четвертого этажа (Сенчин).

б. Я в английском только со словарем *волоку* (разг. речь 2000).

В тех случаях, когда изменение таксономического класса Объекта не сопровождается понижением его коммуникативного ранга, деривация сленгового значения часто сопровождается появлением еще одного участника ситуации, имеющего периферийный коммуникативный ранг и семантическую роль Аспекта, ср. *пробить на измену* 'вызвать галлюцинации', *развести на деньги* 'вынудить заплатить', *раскрутить на что-то* 'заставить дать', *закрыть на тюрьму* 'лишить свободы', ср.:

(45) В буржуазных странах, когда куришь гашиш, почему-то на измену совершенно *не пробивает* (Нов. Изв. 18.10.2000).

(46)...Неизвестного начинают банально «разводить на деньги». <...> «Развести» его почти на миллион долларов уже удалось, а если немного дожать, то и оставшуюся сумму Неизвестный выложит сам (Нов.Изв. 6.10.2000).

(47) Естественно, я вынужден *раскручивать пациентов на подарки*, благодарности, которые взятками, как мне кажется, не считают ни больные, ни врачи (Знамя 2000, N 38).

(48) Пришлось, как говорят зеки, «*закрывать его на тюрьму*», то есть лишать свободы (Нов.Изв. 2.03.2001).

Интересно, что в случае образования сленгового значения *закрывать* участник Аспект избыточен: *закрыть* и без этого уточнения значит 'лишить свободы', ср.:

(49) а. Большинство из них [подростков-заключенных] вспоминает с ужасом время, проведенное в СИЗО. Особенно первые дни, «когда *закрыли*» (Нов. Изв. 2.03.2001).

б. Очевидно, главной задачей той стороны было «*закрыть*» Юлию в тюрьме (Нов. Изв. 14.01.2003).

Тем самым подтверждается существование общей тенденции появления при образовании сленговых значений глаголов нового участника Аспект, под которую подстраивается *закрыть*<sup>12</sup>.

Приписывание аспекта, по которому осуществляется действие, - иное по своей сути явление, чем понижение Объекта до уровня периферийного участника с ролью Аспект.

<sup>12</sup> Тенденция разговорной речи к устранению прямого дополнения и появления косвенного, уточняющего, на что направлено действие, например, *внести за свет*, отмечается в работе [Чурилова 1974].

Существенно, что в случае выражения аспекта конструкцией с *na* модель управления сленгового глагола не имеет литературного образца. Распространение этой конструкции – явление недавнего времени. Словарь [Елистратов 1994] отмечает модель управления с *na* только у двух глаголов – *расколоть* и *раскрутить*. Можно высказать очень осторожное предположение, что бурное образование сленга вызвало активизацию конструкции, давно существующей в уголовном жаргоне. Аргумент в пользу этого предположения – пример *расколоть на выпивон* ‘вынудить угостить спиртным’ в словаре уголовного жаргона [Балдаев и др. 1992]<sup>13</sup>.

#### 4. Выводы

Таким образом, преобразования Объекта при деривации сленговых значений всегда более масштабны, чем его преобразования при семантической деривации в рамках литературного языка. Помимо изменения таксономического класса Объекта, образование сленгового значения включает еще какие-то шаги – понижение коммуникативного ранга Объекта, сопровождающееся изменением семантической роли с Пациенса на Параметр или Аспект, и одновременное с этим изменение таксономического класса Субъекта или появление нового периферийного участника с ролью Параметр или Аспект.

#### Литература

- Апресян 1967 – Ю.Д. Апресян. Экспериментальное исследование русского глагола. М., 1967.
- Апресян 1995 – Ю.Д. Апресян. Лексическая семантика // Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т.1. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Апресян и др. 2000 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск. Под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2000.
- Балдаев и др. 1992 – Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. М., 1992.
- Елистратов 1994 – В.С. Елистратов. Словарь московского арга. М., 1994.
- Ермакова и др. 1999 – О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего сленга. М., 1999.
- Земская и др. 1981 – Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Е.Н. Ширяев. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.

---

<sup>13</sup> Возможно, эта конструкция была в свое время заимствована из польского, ср. *chorować na astmę* ‘болеть астмой’, *cierpieć na astmę* ‘страдать астмой’, *leczyć się na wątrobę* ‘лечиться от печени’, *namawiać na spacer* ‘уговаривать погулять’, *pozwalać na co* ‘позволять что-то’ (примеры предоставлены М.Рудерман и О.Катречко).

Крысин 1994 – Л.П. Крысин. Эвфемизмы в современной русской речи // Russistik / Русистика. 1994. № 1-2 (11-12). С. 28-49.

Кустова 2000 – Г.И. Кустова. Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений // ВЯ. 2000. N 4. С.85-109.

Падучева 2001 – Е.В. Падучева. К структуре семантического поля «восприятие» (на материале глаголов восприятия в русском языке) // ВЯ. 2001. N 4. С.23-44.

Падучева 2002 – Е.В. Падучева. Диатеза и диатетический сдвиг // Russian linguistics. 2002. Vol. 26. No 2. С. 179-215.

Розина 2002 – Р.И. Розина. Категориальный сдвиг актантов в семантической деривации // ВЯ. 2002. N 2. С.3-15.

Розина, в печати – Р.И. Розина. Глаголы с Объектом ЧЕЛОВЕК (в печати).

Скорик 1990 – П.Я. Скорик. Инкорпорация // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С.193.

Чурилова 1974 – Н.Н. Чурилова. Из наблюдений над конструкциями с отсутствующим прямым дополнением // Синтаксис и норма. М., 1974. С.196-203.

Pustejovsky 1995 – J. Pustejovsky. The generative lexicon. Cambridge (Mass.); London: MIT Press, 1995.

**СЧАСТЬЕ И НАСЛАЖДЕНИЕ  
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА \***

**1. Предварительные замечания**

Исследование языковой картины мира находится, очевидно, на границе лингвистики и других наук: культурной антропологии, психологии, поэтики. Однако, как хотелось бы думать, это не означает, что границы лингвистики в этом месте расплываются. Наоборот, именно в силу пограничности данной проблематики здесь должны быть проведены четкие разграничения: между информацией, содержащейся в самом языке и из него извлекаемой, и информацией, полученной путем анализа других объектов – прежде всего, текстов на этом языке (т.е. поэтических метафор, мотивов и идей, содержащихся в произведениях литературы, фольклора и т.д.), а также информацией, полученной из тех наук, объектом которых является (говорящий на данном языке) человек, особенности его мышления, поведения и т.д. – использующих, в свою очередь, любые свидетельства. Все эти объекты должны исследоваться отдельно и независимо; языковую картину мира образуют при этом лишь те смыслы, которые входят в значения языковых единиц; если же между собственно лингвистическими и прочими данными обнаруживаются какие-то систематические схождения, то это, очевидно, является лишь подтверждением правильности полученных результатов<sup>1</sup>. Соответственно, пословицы, поговорки и другие

---

\* Работа выполнена при поддержке фондов Research Support Scheme of the OSI/HESP, грант № 797/1997; РФФИ, грант № 01-04-00201а; РФФИ, грант № 01-06-80401. Данная работа докладывалась на семинаре «Логический анализ языка» (ИЯ РАН, рук. член-корр. РАН Н. Д. Арутюнова) в октябре 2001 и на семинаре «Образы России: лингвистика и поэтика культурных стереотипов» (Институт славянской филологии Мюнхенского университета, рук. проф. О. Ханзен-Лёве и проф. У. Шваер) в ноябре 2001. Я благодарна всем, принимавшим участие в обсуждении работы на разных ее этапах, в особенности О. Меерсон, А. Б. Пеньковскому и А. Д. Шмелеву, прочитавшим работу в рукописи; высказанные замечания были мною по возможности учтены в окончательной версии статьи.

<sup>1</sup> Ср., например, работу [Юревич 1999], в которой особенности российской науки анализируются на основе данных психологии, культурной антропологии и социологии, а выводы поразительным образом совпадают с результатами анализа языковых данных.

вошедшие в язык тексты, в том числе авторские (ср. *ум с сердцем не в ладу; на свете счастья нет; широка страна моя родная* и т.п.), могут привлекаться к рассмотрению лишь в той мере, в какой они выражают те же идеи, которые были выявлены при анализе собственно языковых данных.

Языковая картина мира формируется системой ключевых культурных концептов и связывающих их инвариантных ключевых идей – ср. [Степанов 1997; Wierzbicka 1992а, 1997; Шмелев 2002]. Так, одной из ключевых для русской языковой картины мира идей является представление о **непредсказуемости мира**: человек не может ни предвидеть будущее, ни повлиять на него. Эта идея реализуется в нескольких вариантах. С одной стороны, она входит в значение ряда специфических слов и выражений, связанных с идеей вероятности, – таких, как *а вдруг, на всякий случай, если что, авось* (см. [Шмелев 2001]). Все эти слова опираются на представление о том, что будущее предвидеть нельзя; поэтому нельзя ни полностью застраховаться от неприятностей, ни исключить, что вопреки всякому вероятию произойдет что-то хорошее. С другой стороны, идея непредсказуемости мира оборачивается неопределенностью результата – в том числе, собственных действий. Русский язык обладает удивительным богатством средств, обеспечивающих говорящему на нем возможность снять с себя ответственность за собственные действия. В русском языке имеется целый пласт слов и ряд синтаксических конструкций, в значение которых входит идея, что то, что происходит с человеком, происходит как бы само собой (см. [Зализняк, Левонтина 1996]). Употребление таких слов выполняет двоякую функцию: с одной стороны, происходит устранение действующего и ответственного за свои действия лица там, где оно реально есть: для этого достаточно сказать *мне не работается* вместо *я не работаю, меня не будет завтра на работе* вместо *я не пойду завтра на работу, постараюсь* вместо *сделаю и не успел* вместо *не сделал*. С другой стороны, наоборот, некоей квазиактивностью, квазиответственностью наделяются вещи и обстоятельства – ср. конструкцию предложения типа *у меня появилась стиральная машина* (с семантическим объектом в позиции подлежащего), а также выражения *образуется, обойдется, успеется* и т.п.

В области культурной антропологии данная концептуальная конфигурация находит соответствие в таких традиционно отмечаемых исследователями свойствах русского характера, как лень, пассивность, созерцательность, безразличие к результату и вера в чудо; в области вторичных моделирующих систем – например, в сказке «По щучьему веленью», где, как известно, из всех возможных желаний Емеля выбирает, «чтобы ведра домой сами пошли». Другое дело, что Емеля – дурак, и желания у него дурацкие, но ведь дурак в русских сказках – одна из центральных

фигур, причем вовсе не отрицательная, а «дурацкое поведение оказывается необходимым условием счастья – условием пришествия божественных или магических сил» [Синявский 2001: 39]. Действительно, ключевая для русской языковой картины мира идея непредсказуемости мира охватывает также и концепт *счастья*.

## 2. Радость и удовольствие

Для русской языковой картины мира, как отмечают многие исследователи (см., напр. [Толстой 1995: 314; Шмелев 1997а: 481]), характерно противопоставление «высокого» и «низкого», «небесного» и «земного», «внутреннего» и «внешнего» – одновременно с отчетливым предпочтением первого, т.е. своего рода аксиологическая поляризация, которая распространяется на структуру многих концептов<sup>2</sup>. Целый ряд важных понятий существует в русском языке в таких двух ипостасях: ср. следующие пары слов, противопоставленных, в частности, по признаку «высокий» – «низкий»: *истина* и *правда*, *долг* и *обязанность*, *добро* и *благо*. Ярким примером такой ценностной поляризации может служить пара *радость* – *удовольствие*.

Слова *радость* и *удовольствие* были подробно и проницательно проанализированы в работе [Пеньковский 1991]. Среди различий, отмечаемых в этой статье, как кажется, два являются главными, определяющими все остальные. Первое состоит в том, что *радость* – это чувство, а *удовольствие* – всего лишь «положительная чувственно-физиологическая реакция». Второе, и в некотором смысле самое главное – в том, что *радость* относится к «высокому», духовному миру, в то время как *удовольствие* относится к «низкому», телесному. Другими словами, аксиологическая поляризация внутри пары *радость* – *удовольствие* обусловлена тем, что *радость* связывается со способностями *души* или *духа*, а *удовольствие* является атрибутом *тела* или *плоти*<sup>3</sup>, ср.: *душа радуется, радоваться душой, душевно рад* (но не \**душевно доволен*), и *плотские удовольствия* (но не \**плотские радости*)<sup>4</sup>. Эти фундаментальные различия влекут за собой некоторые более частные, что отражается, в том числе, в способах метафоризации *радости* и *удовольствия*. Как пишет А. Б. Пеньковский [1991: 150-151], «...чтобы *искать, находить, извлекать, получать* и *испытывать удовольствие*, необходимо еще «владеть технологией» всех этих действий, знать способы и приемы их применения, иметь соответствующие навыки и умения. [...] УДОВОЛЬСТВИЕ, таким образом, «механично» и «технично» в отличие от РАДОСТИ, которая «органична». Не случайно, что удовольствие *портят* [...], как портят вещь или механизм, тогда как радость *омрачают, отравляют* или *убивают*» – как живое существо.

Оппозиция *радости* и *удовольствия* как «высокого» и «низкого» может быть

<sup>2</sup> Этот дуализм коренится, в конечном счете, в некоторых особенностях православия, определивших черты русской культуры в целом (см. [Лотман, Успенский 1994]).

<sup>3</sup> О соотношении пар *душа – тело* и *дух – плоть* см. [Шмелев 1997б].

<sup>4</sup> Выражение *плотские радости* (также во множ. числе) лишь подтверждает этот тезис, так как здесь, очевидно, происходит определенный сдвиг в значении обоих компонентов, делающий допустимым их соединение.

проиллюстрирована следующей цитатой из дневника М. М. Пришвина, которая, как кажется, выражает установку, разделяемую многими русскими людьми:

Подозреваю, что та редкая *радость* (будто разыгрывается что-то в душе), *радость*, не забиваемая ни годами, ни нуждой, ни оскорблениями, – эта радость у нас с ней общая, она и соединила нас. И отсюда наша общая с нею *ненависть к удовольствию, заменяющему радость* [Пришвин, Пришвина 1996: 120]<sup>5</sup>.

Таким образом, *удовольствие*, будучи само по себе аксиологически по меньшей мере нейтральным, в русской языковой картине мира сдвигается в область отрицательной оценки: человек, одолеваемый *жаждой удовольствий* и проводящий свою жизнь *в погоне за удовольствиями*, представляется жалким, бездуховным существом. Такое отношение к удовольствию естественно связать с *русским аскетизмом*, который, по мнению Н. Бердяева (см. [Бердяев 1994]), был унаследован большевиками и инкорпорирован в коммунистическую идеологию. Ср. характерный пример из А. Платонова, где при всей аномальности словосочетаний и сдвинутости значения слов, столь характерных для этого автора, полностью сохраняется оппозиция «высокой» *радости* «низкому» *удовольствию*, коррелирующая, кроме того, с оппозицией «общественного» (со знаком «плюс») и «личного» (со знаком «минус»), привнесенной коммунистической идеологией:

Профулномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных *радостей* для рабочих он не помнил про удовлетворение *удовольствиями* личной жизни, худел и спал глубоко по ночам (А. Платонов. «Котлован»).

### 3. Ум

Противопоставление души и тела как «высокого» и «низкого» не является специфическим именно для русской картины мира: это – одна из констант христианской культуры в целом. Но здесь не хватает еще одного существенного атрибута человека – его умственных способностей,

---

<sup>5</sup> В примерах здесь и далее курсив мой. – А.З.

интеллекта<sup>6</sup>. Какое же место занимает этот третий элемент в системе бинарных оппозиций? Так, в английском языке имеется слово *mind* (являющееся, по мнению А. Вежбицкой, столь же ключевым для англосаксонского языкового сознания, как *душа* – для русского), которое, обозначая, прежде всего, интеллектуальные способности, входит в оппозицию с телом: *mind VS. body*<sup>7</sup>. Во французском языке слово *esprit*, объединяющее дух и интеллект (и, кроме того, остроумие), выражает один из ключевых для французской культуры концептов<sup>8</sup>. Что же касается русского языка, то, как оказывается, при необходимости вписать *ум* в рамки бинарной оппозиции «душа – тело», русский язык отводит ему место в «низкой» сфере, объединяя интеллектуальное с телесным и противопоставляя его душевному и духовному<sup>9</sup>. Согласно представлению русского языка, красивое доказательство теоремы или остроумная шутка доставляет нам именно *удовольствие*, а не *радость*: *интеллектуальные удовольствия* стоят в русском языке в одном ряду с *физиологическими* и *моторными удовольствиями* и не пересекаются с тем рядом, где находятся *радости*. Языковым свидетельством являются также примеры типа приводимой ниже фразы из «Записок» Ф. Ф. Вигеля, где – независимо от того, что здесь явно утверждается – имеется

---

<sup>6</sup> Ср. трихотомию «душа – тело – ум» в [Шатуновский 1996: 295], где различаются: желания тела (физиологические), желания души (напр., желание победить, желание счастья любимому человеку) и интеллектуальные желания (желание знать, понять, найти разгадку).

<sup>7</sup> Как считает А. Вежбицкая, экспансия слова *mind* (в ущерб *soul*) и формирование свободной от религиозных или моральных коннотаций оппозиции *mind VS. body*, произошедшие в истории английского языка, свидетельствует о возникновении нового типа «обыденного сознания», в котором рациональное мышление рассматривается как главная способность человека [Wierzbicka 1992a: 46].

<sup>8</sup> По мысли Ольги Меерсон (устное сообщение), французское слово *esprit* и навязываемая им концептуализация внутренней жизни человека – один из источников воплощенного в «Войне и мире» представления Л. Толстого о том, что интеллект – это типично западный, «галльский» суррогат духа. В романе имеется три семьи, воспроизводящие Платоновскую триаду «тело – душа – дух»: соответственно, Курагины – Ростовы – Болконские. Но внутри (духовного) семейства Болконских происходит непонимание между стариком, приятелем императрицы Екатерины, и внешне похожим на Вольтера – представителем ума-остроумия, и его нежно любимой дочерью, крайне одухотворенной, но, на его взгляд, не умной, поскольку она лишена чувства юмора. Это непонимание семиотически обусловлено неразличением категорий духа и интеллекта, заключенным во французском слове *esprit*.

<sup>9</sup> Данный тезис касается слова *ум*. Иной концепт заключен в русском слове *разум*, который «предстает как высшая способность человека, ставящая его над остальным миром (в этом отношении разум сближается с душой)» [Урысон 1997: 448].

пресуппозиция<sup>10</sup>, на основании которой *ум* и *тело* объединяются и противопоставляются *душе*.

Свет наук <к началу 1820 г.> стал быстрее распространяться; но по мере того, как новые изобретения с каждым днем создавали для человека новые удобства, новые наслаждения в жизни, законы нравственности все более теряли силу. Все *для ума, для тела, ничего для души*, которой и в существовании скоро стали отказывать<sup>11</sup>.

Косвенным аргументом в пользу невысокой оценки *ума* в русской языковой картине мира может служить также тот факт, что оценка, содержащаяся в словах *безумный* и *безрассудный*, вовсе не является однозначно отрицательной (в отличие, например, от слова *бездушный*). *Безрассудство* сродни *удали* (см. [Шмелев 1997а: 489]), а *безумие* «уводит человека из нормального мира и в некотором смысле возвышает над ним» [Плунгян, Рахилина 1993: 121]<sup>12</sup>. Безусловно положительная оценка заключена в выражении *без ума* <от кого-то/чего-то>, а также в слове *изумительный*<sup>13</sup>; наоборот, отрицательная оценка – в словах *умствовать* и *умничать* (примеры А. Б. Пеньковского, устное сообщение).

Действительно, поскольку *ум* состоит, в частности, в способности правильно предсказывать ход развития событий (а согласно некоторым концепциям, к ней и сводится), трудно ожидать, чтобы эта способность высоко ценилась в рамках идеологии непредсказуемости мира, о которой шла речь выше.

Отношение теоретиков «русской идеи» (таких, как А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, И. А. Ильин и др.) к рациональному, «отвлеченно-логическому» мышлению известно, т.е. данные культурной антропологии здесь вполне однозначны. Приведем некоторые данные из области литературы и фольклора.

В известном стихотворении Тютчева  
Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить.  
У ней особенная стать,  
В Россию можно только верить

<sup>10</sup> О том, что картину мира формируют смыслы, входящие в презумптивную (но не ассертивную) зону значения языковых единиц, см. [Шмелев 2002: 11].

<sup>11</sup> Ф.Ф. Вигель. Записки. М., 2000. С. 411. Этим примером я обязана А. Б. Пеньковскому.

<sup>12</sup> Подобное ценностное распределение в паре «ум VS. чувство (душа, сердце)» характерно для романтического мировосприятия, независимо от языка (ср., например, сказку Андерсена «Снежная королева»).

<sup>13</sup> *Изумиться* имеет исходное значение 'лишиться ума' (см. [СРЯ XVIII: 66]). Ср. образованное по той же модели *извиниться* = 'избавиться от вины' и нем. *entschuldigen* (от *Schuld* 'вина').

содержится не только множество соответствующих явных утверждений, но еще и ряд импликаций, вытекающих из структуры текста. Так, слово *особенный* в 3-ей строке, очевидно, входит в оппозицию со словом *общий* во 2-й, но по смыслу 3-ья строка вместе с 4-й образует оппозицию с первыми двумя – и тем самым возникает аналогия между *умом* и *общим аршином*, которая говорит о трактовке *ума* как некоего инструмента, позволяющего с его помощью совершать алгоритмические действия; ср. об уме как органе в [Урысон 1997: 448]. Одновременно здесь имеется хиастическая структура, связывающая в оппозиции 1-ю и 4-ю строки (*умом не понять – верить*) и 2-ю с 3-ей (*аршином общим – особенная статья*), в результате чего возникает импликация, что то знание, которое является истинно ценным, *умом* (т.е. общедоступным, одинаковым для всех инструментом) и не может быть достигнуто.

Второе свидетельство – фигура сказочного Иванушки-дурачка, самого популярного персонажа русской сказки. А. Синявский в очерке под названием «Иван-дурак» пишет, что сказка оказывает предпочтение дураку – «человеку, пребывающему в глубочайшем состоянии неразумной пассивности, которому все блага сами валятся в рот, тогда как лично они пальцем не пошевелят ради их приобретения. В этом усматривали иногда специфически русское народное мирозерцание – пассивность, леность ума, надежду на «авось», расчет на то, что кто-то придет со стороны и все за нас сделает. [...] Евг. Трубецкой писал: «В ней (в русской сказке о дураке. – А.С.) сказывается настроение человека, который ждет всех благ свыше и при этом совершенно забывает о своей личной ответственности» [Синявский 2001: 40]. Синявский добавляет, что, вообще говоря, сказочного дурака знают не одни только русские. Но в России он попал на благоприятную почву и поэтому приобрел такую известность. «Назначение дурака [...] – это апофеоз незнания, неумения, неделания и полнейшей бесхитростности<sup>14</sup>. Именно потому, что Дурак бесхитростен, он так привлекателен». «Назначение дурака – [...] всем своим поведением, и обликом, и судьбой доказать [...], что от человеческого ума, учености, стараний, воли – ничего не зависит. Все это вторично и не самое главное в жизни» [Синявский 2001: 42].

Сказанное, конечно же, не означает, что *ум* в русской языковой картине мира всегда принадлежит к сфере «низкого» и оценивается однозначно отрицательно: речь идет лишь о некой тенденции. Полная картина, безусловно, сложнее.

---

<sup>14</sup> Соответственно, ум может отождествляться с хитростью – как, например, в сказке П. П. Ершова «Конек-Горбунук», построенной на оппозиции внешних, мнимых достоинств и недостатков (ум (старшие братья), красота (кони) VS. глупость (Иван-дурак), безобразия (Горбунук)) и настоящих, внутренних (хитрость и предательство старших братьев VS. душевная прямота Ивана, любовь и преданность Горбунка).

#### 4. *Счастье*

Сопоставление пары *радость* – *удовольствие* с парой *счастье* – *наслаждение* наводит на мысль, что они составляют «пропорцию»: *счастье* – это очень большая *радость*, а *наслаждение* – очень большое *удовольствие*. *Радость* и *счастье* объединяются тем, что и то и другое относится к категории «высокого», ср.: *Слушай, Дарья: нет выше счастья, как собою пожертвовать*. (Достоевский. «Бесы»). Выражение *нет выше счастья* указывает на то, что счастье бывает высокое и еще выше, причем этот смысл находится в презумпции и тем самым принадлежит картине мира (см. прим. 11). *Радость* и *счастье* часто появляются вместе в тексте, оба состояния могут не иметь никакой причины. Кроме того, имеется очевидное сходство в характере метафоризации: *счастье*, как и *радость*, может *переполнять* человека, может быть *незамутненным*, бывает *прилив счастья* (и *радости*), человек может *светиться счастьем* (и *радостью*) и т.д. – ср. о радости [Арутюнова 1976: 100; Пеньковский 1991: 151].

Однако все же неверно, что *счастье* – это просто очень большая *радость*. *Счастье* представляет собой самостоятельный и очень важный для русской языковой картины мира концепт.

##### 4.1. *Счастье: значение и семантическая эволюция*

В современном русском языке слово *счастье* имеет два основных класса употреблений.

1. [диахронически первичное, уходящее]: ‘удачное стечение обстоятельств, везение’: *счастье ему изменило, счастье в игре, Какое счастье, что...; К счастью, По счастью; Твое счастье, что... и т.п.* Здесь слово *счастье* эквивалентно глаголу *везет/повезло*, который постепенно его вытесняет (ср. *дуракам везет* и более старое *дуракам счастье, не везет в картах, повезет в любви* и *Кому счастье в игре, тому несчастье в женитьбе* у Даля [Даль IV: 666]).

2. [основное, «высокое», лингвоспецифичное] ‘высшее удовлетворение, земное блаженство’: *Истинное счастье человека – в науке и труде* (Горький); *Человек создан для счастья* (Короленко); *счастье материнства, семейное счастье*.

Эти два значения могут быть отчетливо противопоставлены, но могут и выражаться синкретично (ср. *Посуда бьется к счастью; повесить подкову на счастье, это приносит счастье и т.п.*).

Слово *счастливый* может соотноситься и с тем и с другим значением, ср. *счастливый случай, стечение обстоятельств, исход; счастливый билет, счастливый соперник* (значение 1) и *счастливый отец, счастливая улыбка, счастливое детство, счастливый брак* (значение 2). Краткая форма *счастлив* в современном русском языке соотносится только со значением (2) и является средством *par excellence* для предикции соответствующего состояния

субъекту (в отличие от существительного *счастье*, которое в этой функции практически не употребляется, см. ниже).

У Даля [Даль IV: 666-667] этимологическое значение является основным; он дает это слово с вариантом *со-частье*, т.е. для него была очевидна внутренняя форма «совпадение», «общая часть», подкрепляемая живыми эпидигматическими связями (*счасть, счастки, счас*). Это значение было более разработанным: Даль разделяет дополнительно 1.а) «судьба»<sup>15</sup>: *Всякому свое счастье* и б) «случайность, желанная неожиданность, удача, успех». Вторым он называет: 2. «Благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь без горя, смут, тревоги; покой и довольство, вообще все желанное, все то, что покоит и доводит человека. по убеждениям, вкусам и привычкам его» (другими словами – совпадение того, что есть, с тем, чего человек хочет).

Обращает на себя внимание то, что эта удивительно точная и тонкая формула не содержит идеи «высокого» (более того, по крайней мере первая ее часть – «желанная насущная жизнь без горя, смут, тревоги» – ближе всего к тому, что впоследствии стало обозначаться выражением *мещанское счастье*). По-видимому, в том русском языке, который отражен в словаре Даля, лингвоспецифичный концепт «высокого» счастья еще не сформировался (по крайней мере, в том виде, в котором он существует в современном русском языке – возможно, отчасти под влиянием советского идеологического дискурса, см. ниже).

Общая тенденция семантической эволюции состоит в продолжающемся движении от значения 1 к значению 2, т.е. в сужении сферы употребления слова *счастье* в значении ‘удача, везение’ и расширении сферы употребления этого слова в значении ‘благоденствие, земное блаженство’. Содержание семантической деривации слова *счастье* может быть представлено следующим образом: ‘удачное совпадение’ (наше значение 1, значение 1б по Далю) → ‘совпадение того, что есть, с тем, чего человек хочет (= удовлетворение потребностей)’ (значение 2 по Далю) → ‘состояние высшей удовлетворенности’ (наше значение 2).

Интересно отметить, что около половины примеров, приводимых Далем на 2-е значение, мы бы сейчас отнесли к 1-му, ср.: *Счастье, что вешнее ведро* (ненадежно); *Со счастьем на клад набредешь, без счастья и гриба не найдешь; Дураку везде счастье* и т.п. Дело, видимо, в том, что в языке начала XIX в. значения ‘удача’ и ‘благоденствие’ были ближе друг к другу из-за того, что идея «высокого» в концепте *счастья* в ту эпоху еще не обнаруживала себя столь явно. В современном языке, похоже, именно представление о «высоком» и составляет главный признак, различающий два значения слова *счастье*. Приведем в этой связи еще одно высказывание М. М. Пришвина, свидетельствующее об обсуждаемой аксиологической поляризации (обращает на себя внимание, в частности, замена слова

<sup>15</sup> О концепте «счастья-судьбы» см. [Sanders 1965].

*счастливый* на *хороший* в кавычках в устойчивом словосочетании *счастливый конец*, где реализуется «низкое» значение):

Это мое счастье – радоваться солнцу так сильно. А что есть счастье вообще? Конечно, та же радость бытию (про себя) при всяких даже условиях до того, чтобы улыбнуться солнцу при последнем вздохе. [...] Это *счастье* никак не связано с *удачей* [...]; даже напротив, только измерив жизнь в глубину своей неудачей, страданием, иной бывает способен радоваться жизни и быть счастливым [...]. Кстати, в *мещанских романах* с «хорошим» концом описывается всегда *удача*, а не *счастье*, и *омерзительны* они именно тем, что ставят *счастье* в зависимость от *удачи* [Пришвин 1995: 28].

#### 4.2. Счастье: сочетаемость и употребление

Важной отличительной чертой русского слова *счастье* является отсутствие у него таксономической категории. В статье [Булыгина, Шмелев 2000: 280] было предложено деление явлений внутренней жизни на «чувства», которые *охватывают*, «состояния», в которые человек *приходит*, и «впечатления», которые нам что-то *приносит* или *доставляет*. Радость, удовольствие, наслаждение – это впечатления; горе может быть как событием, так и его переживанием (горе может *случиться* и горе можно *чувствовать*), несчастье – только событием (оно может только *случиться*). В этой связи обращает на себя внимание то, что слово *счастье* не может обозначать ни событие (оно не может *наступить*, *произойти*, *случиться* и т.п.), ни его переживание. Невозможна и предикативная структура с *у* + род. п.; фраза из романа Набокова «Машенька» *У меня, знаете, большое счастье: жена из России приезжает* содержит намеренное нарушение<sup>16</sup>

В словаре [Денисов, Морковкин 1983] отмечается сочетаемость с глаголами *чувствовать*, *ощущать*, *испытывать* и с классификаторами *чувство* и *ощущение*. По-видимому, однако, в реальности в стандартном русском языке единственное допустимое из этих сочетаний – *ощущение счастья*, ср.:

Скалы и море, и косые лучи заходящего солнца – все это я как будто еще видел, когда проснулся... Помню, что я был рад. *Ощущение счастья*, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое (Достоевский. «Подросток»).

Вот и смерть задела меня, а я все не могу утратить *ощущения* какого-то постоянного своего *счастья*. Бог знает, откуда оно во мне, чем оно кончится?.. (Н. Берберова. «Аккомпаниаторша»).

А главное – мне было действительно приятно заниматься и тем самым продолжить *ощущение счастья*, переживаемое на семинарах в МГУ (И. И. Ревзин. Воспоминания).

<sup>16</sup> Иронический эффект этой фразы обусловлен структурой сюжета романа «Машенька» (первоначальным названием которого было «Счастье»).

Более периферийна сочетаемость с существительными *чувство* и *состояние*, ср.:

И надо было осмыслить то широкое *чувство* свободы, гордости, *счастья*, которое не покидало его (Набоков. «Картофельный Эльф»).

...и я думал [...] о том, что как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь и какие бы события ни случились, я запомню навсегда эту ночь, голову женщины на моих коленях, этот дождь и то *состояние* полусонного *счастья*, которое я *ощущал* тогда (Г. Газданов. «Призрак Александра Вольфа»).

Что касается сочетаемости с глаголами *испытывать* или *ощущать*, в моем распоряжении имеется единственный пример:

Зато потом, сидя на его коленях и взглядывая по временам на спокойное лицо матери, находившейся обычно тут же, я *испытывал* настоящее *счастье*, такое, которое доступно только ребенку или человеку, награжденному необычайной душевной силой (Г. Газданов. «Вечер у Клэр») <sup>17</sup>.

У Г. Газданова имеются, кроме того, выражения *испытывал ощущение счастья*, *почувствовал состояние счастья*, ср. также выше *ощущал состояние счастья*. Однако примеры такого типа крайне редки: так, в просмотренных мною текстах рассказов и двух романов Набокова из 102 употреблений слова *счастье* нет ни одного, где это слово было бы подчинено глаголу *испытывать* или *чувствовать* (или какому-либо другому глаголу в аналогичной лексической функции).

Как известно, тема счастья – одна из ключевых у Набокова. Слово *счастье* обладает высокой частотностью в текстах Набокова <sup>18</sup>, при этом, как показал просмотр всех его употреблений в рассказах (оно встретилось 61 раз) и в романах («Машенька» (18), «Король, дама, валет» (24) и «Защита Лужина» (17)), оно ни разу – за исключением одного полуиронического *Василий Иванович был преисполнен какого-то неприличного счастья* в рассказе «Набор», а также метафорических моделей (типа *счастье наполняло ее душу; ее душа была переполнена счастьем*;

---

<sup>17</sup> Некоторая необычность сочетания *испытывать счастье* коррелирует здесь с также едва заметной, но безусловной нестандартностью (на которую обратила мое внимание Ольга Меерсон) сочетания *награжденный душевной силой*, где слово *награжденный* (употребленное вместо стандартного в этом контексте *наделенный*) актуализует идею *одаренности*.

<sup>18</sup> А именно, частотность этого слова у Набокова втрое выше, чем в целом в русском языке и вдвое – чем в художественной прозе (данные на основании сопоставления с данными словаря [Засорина 1977]). При этом в романе «Машенька» частотность этого слова приблизительно вдвое выше, чем в остальных текстах. Проведенные подсчеты показали также, что по сравнению с романами Толстого в романах Набокова частотность употребления слова *счастье* приблизительно в три раза выше.

*счастье нахлынуло; счастье заполняло его всего; нечто наполняло счастьем его душу* и т.п.) и каузальных (типа *не могу прийти в себя от счастья, улыбка счастья* и т.п.) – не встречается в составе конструкции, предидирующей данное состояние субъекту. Приведем некоторые характерные контексты употребления слова *счастье* у Набокова:

И этот случайный запах помог Ганину вспомнить еще живее тот русский, дождливый август, тот поток *счастья*, который тени его берлинской жизни все утро так назойливо прерывали («Машенька»).

*Счастье* мое – вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, – рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, – я с гордостью несу свое необъяснимое *счастье*. Прокатят века, – школьники будут скучать над историей наших потрясений, – все пройдет, все пройдет, но *счастье* мое, милый друг, *счастье* мое останется, – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество («Письмо в Россию»).

...он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного *счастья*: *счастье* заключалось в том, чтобы самому, вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому, самому, ловить редчайших бабочек далеких стран [...]. Деньги на это *счастье* он собирал, как человек, который подставляет чашу под драгоценную, скупое капающую влагу («Пильграм»).

Вообще, по-видимому, самый характерный тип употребления слова *счастье* в русском языке – это формулировка, в чем оно состоит, ср.:

*Счастье* – это когда тебя понимают.

И помни, что самое большое *счастье* на земле – это думать, что ты хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни (Г. Газданов. «Вечер у Клэр»).

Аналогичным образом (т.е. вне прямой предикации за исключением метафорических моделей) употребляется слово *счастье*, например, в романах Л. Толстого.

Таким образом, особенность русского слова *счастье* состоит в том, что приписывание выражаемого им признака субъекту возможно либо в неутверждаемой форме, т.е. при помощи притяжательного местоимения (и иногда еще каких-то детерминантов, ср. *ее давешнее счастье*) – либо путем использования разного рода метафорических моделей (ср. выше). В прочих случаях слово *счастье* может обозначать лишь ситуацию в возможном мире, не совпадающем с действительным, т.е. либо в прошлом (*воспоминание о былом счастье*; ср. также *воспоминание счастья* у Набокова; *ушедшее счастье, быстро промелькнувшее счастье* и т. п.), либо в будущем

(мечты о счастье, ожидание счастья, предвкушение счастья), либо в нереализовавшемся альтернативном мире (*А счастье было так возможно, Так близко!...*).

Таким образом оказывается, что представление о том, что *на свете счастья нет*, отражено в русском языке в невозможности высказать утверждение, что оно *есть*<sup>19</sup>.

### 4.3. Русская мифология счастья

Излагаемая модель построена на основании свидетельств разного рода; соответствующий фрагмент языковой картины мира входит сюда как составная часть. Как представляется, «русская мифология счастья» включает следующие идеи:

- (i) счастье – это *земное блаженство*;
- (ii) счастье где-то есть, но ему нет места в жизни *здесь и сейчас*;
- (iii) счастье нельзя приобрести каким-либо алгоритмическим образом (заслужить, заработать и т.п.), его можно либо случайно *найти*, либо оно может на человека *свалиться* или *выпасть* ему;
- (iv) счастье – это немного стыдно.

Одновременно категория счастья оказалась одной из центральных в советской коммунистической мифологии (вобравшей в себя многие элементы русской мифологии, несколько преобразовав их): именно *всеобщее счастье*, а не, например, благополучие, провозглашалось целью проводимой коммунистами политики<sup>20</sup>. Для достижения счастья есть рациональные пути: его надо *строить, ковать* (*кузнецы своего счастья*), и одновременно это и есть единственное *нестыдное* счастье в настоящем – в обеспечении *счастья будущих поколений*<sup>21</sup>, за которое надо *бороться*; *высшее счастье – умереть в борьбе за счастье народа* и т.д. Счастье не падает с неба, а дается трудом (*трудное счастье*).

Необычайно интересна и детально разработана мифология счастья у А. Платонова, тексты которого обнажают механизмы взаимодействия русской мифологии с коммунистической. Приведем без комментариев лишь некоторые из многочисленных примеров такого рода (из повести «Котлован» и романа «Чевенгур»).

<sup>19</sup> Тем самым принципиальная недостижимость счастья в поэтическом мире Набокова (см. [Левин 1998; Дмитровская 2000; Русаков 2000]) соответствует месту этого концепта в русской языковой картине мира.

<sup>20</sup> Ср. [Сарнов 2002: 392] о категории *счастья* как «постоянного состояния общества» в языке советской эпохи.

<sup>21</sup> Ср. высказывание Г. Г. Шпета о том, что русским свойственны, среди прочего, «ответственность перед призраком будущих поколений, иллюзионизм, неумение и нелюбовь жить в настоящем, суетливое беспокойство о вечном» (Сочинения. М., 1989. С. 53. Цит. по [Юревич 1999]).

Захар Павлович проверял партии на свой разум – он искал ту, в которой не было бы непонятной программы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит *земное блаженство*. Одни отвечали, что *счастье* – это сложное изделие, и не в нем цель человека, а *в исполнении исторических законов*. А другие говорили, что *счастье состоит в сплошной борьбе*, которая будет длиться вечно.

...он слушал молву реки и думал о мирной жизни, *о счастье за горизонтом земли*, куда плывут реки, а его не берут, и постепенно опускал сухую голову во влажные травы, переходя из своего мысленного покоя в сон.

Прушевский ничему не возражал своим чувством. *Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо* и о нем лишь шелестят деревья и поет духовая музыка в профсоюзном саду.

Воцев заволновался от дружбы к Козлову.

– Грусть – это ничего, товарищ Козлов, – сказал он, – это значит, наш класс весь мир чувствует, а *счастье все равно далекое дело... От счастья только стыд* начнется!

Ему уютней было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде; чужое и дальнее *счастье* возбуждало в нем *стыд* и тревогу – он бы хотел, не сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь.

...тех средних людей, какие ему нравятся, какие молча делают полезное вещество и чувствуют частичное счастье: весь же точный *смысл жизни* и *всемирное счастье* должны томиться в груди роющего землю пролетарского класса.

...но она не может сейчас жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране *трудного счастья*.

#### 4.4. Межъязыковые сопоставления

Расхождения между русским *счастлив*, *счастье* и англ. *happy*, *happiness* столь существенны, что вызывает сомнение правомерность установления между этими словами отношения переводной эквивалентности. Согласно А. Вежбицкой, слово *happy* является «повседневным словом» в английском языке, а *happiness* обозначает «эмоцию, которая ассоциируется с “настоящей” улыбкой» [Wierzbicka 1992с: 297-298]. По мнению сторонников теории «базовых эмоций», выделяемых на основании соответствующих им универсальных особенностей мимики, к их числу относится и эмоция, обозначаемая в английском языке словом *happiness* (см., напр., [Johnson-Laird, Oatley 1989; Russell 1991]).

Русское *счастье*, очевидно, ни в коей мере не является «повседневным словом»: как уже говорилось, оно однозначно принадлежит к «высокому» регистру и несет в себе очень сильный эмоциональный заряд, следствием чего являются две противоположные тенденции в его

употреблении. Одна вытекает из установки на аскетизм (ср. выше), анти-гедонизм и некоторую скромность, или стыдливость, которая заставляет избегать произнесения «высоких» слов, относящихся к разряду «неприличных», непроизносимых. Одновременно имеется другая, противоположная тенденция, соответствующая русскому стремлению говорить «о главном» и *выворачивать душу наизнанку*<sup>22</sup>.

Далее, ни в каком смысле *счастье* не относится в русском языке к числу «базовых эмоций». В отличие от англ. *happy*, констатирующего, что состояние человека соответствует некоторой норме эмоционального благополучия, русское слово *счастлив* описывает состояние, безусловно отклоняющееся от нормы. *Счастье* относится к сфере идеального и в реальности недостижимого; находится где-то рядом со «смыслом жизни» и другими фундаментальными и непостижимыми категориями бытия (ср. выше).

Англ. *happy*, очевидно, соотносится скорее с рядом *доволен, удовольствие*, а иногда даже оказывается близко к *удовлетворен*, ср. следующие примеры (первые два – из [Wierzbicka 1992c]):

- a. – Are you thinking of applying for a transfer? – No, I am quite *happy* where I am;
- b. I am *happy* with the present arrangement;
- c. Over ten years ago, when I first stumbled on the problem of Latin prefixes, I found that I was not *happy* with the description provided by the dictionaries.

Таким образом, русские слова *счастлив, счастье*, по-видимому, не имеют эквивалента в английском языке<sup>23</sup>. Что касается других европейских языков, А. Вежбицкая считает, что в противоположность «более слабому» англ. *happiness*, франц. *bonheur* и нем. *Glück* выражают «общеευропейский концепт» чувства, которое «переполняет человека, не оставляя в нем места ни для каких других желаний» [Wierzbicka 1992c: 299].

Толкование Вежбицкой для англ. *happy* состоит из следующих компонентов (см. [Wierzbicka 1992b: 251-252] и [Wierzbicka 1992c: 298-300]):

*happy, happiness*

- нечто хорошее произошло (происходит) со мной
- я этого хотел
- я не хочу ничего другого.

<sup>22</sup> Согласно данным, приводимым в работе [Уфимцева 1996], слово *счастье* является высоко частотным и вообще весьма характерным для русского дискурса. Это показательно, хотя частотность данного слова обусловлена употребительностью таких выражений, как *к счастью; какое счастье, что*.

<sup>23</sup> В качестве наиболее близких эквивалентов, по-видимому, можно назвать, соответственно, слова *elated* и *bliss*, но они периферийны для английского языка и тем самым несопоставимы по значимости в языковой картине мира с русскими *счастлив, счастье*.

Толкование для «общеευропейского концепта» *heureux, glücklich, счастлив* etc. состоит из компонентов (отличающиеся элементы выделены жирным):

*heureux, glücklich, счастлив*

– нечто **очень** хорошее произошло (происходит) со мной

– я этого хотел

– **все хорошо**

– я **не могу** хотеть больше (другого).

Действительно, слова франц. *bonheur, heureux* и нем. *Glück, glücklich* и по значению, и по употреблению значительно ближе к русскому *счастье, счастлив*, чем к англ. *happiness, happy*, хотя и здесь имеются некоторые весьма существенные различия. Главное из них состоит в отсутствии такого сильного эмоционального заряда и его последствий. Так, по-французски совершенно нормально звучат фразы типа *Est-il heureux en France? Est-il heureux avec son père?* (например, в ситуации, когда обсуждается внутреннее состояние ребенка, родители которого живут в разных странах). Буквальный перевод подобных фраз на русский язык *Он счастлив во Франции? Он счастлив с отцом?* звучит по меньшей мере странно; более точным переводом – и более уместным выражением в данной ситуации – было бы что-то вроде *Ему хорошо (во Франции, с отцом и т.д.)?*<sup>24</sup>

Следует упомянуть также различия в употреблении франц. *heureux* и русского *счастлив*, обусловленные тем, что во французском языке отсутствует эквивалент русскому *рад* (и тем самым область, обслуживаемая в русском языке тремя словами – *счастлив, рад, доволен*, – распределяется между двумя: *heureux* и *content*). Значение русского предикатива *рад* в целом соответствует существительному *радость*, хотя и является несколько ослабленным за счет употребления в этикетных формулах вроде *рад тебя видеть*. Слово *доволен* отстоит несколько дальше от существительного *удовольствие*, так как обозначает состояние, в большей степени «рациональное»: *доволен* связано не только с *удовольствием*, но также и с *удовлетворением*. В конструкции с изъяснительным придаточным (*Я рад/доволен, что...*) оба предикатива приобретают ментальную составляющую, и их смысловая оппозиция оказывается несколько слабее, чем у существительных *радость* и *удовольствие*. Сохраняется лишь общая идея противопоставления «высокого» и «альтруистического» в *рад* – «гедонистическому» и «низкому» в *доволен*. Но так или иначе, поскольку эквивалент русскому *рад* во французском языке отсутствует, фразы типа *Я рад, что у тебя все в порядке, что твой сын поступил в университет, что ты к нам приедешь* и т.п. могут быть переданы по-французски либо с использованием слова *content* (= ‘доволен’), что неточно семантически, либо слова *heureux* в несколько «сниженном», «ослабленном» значении.

<sup>24</sup> Вообще, по-видимому, конструкция *X счастлив с Y-ом* в русском языке возможна лишь в том случае, когда речь идет о любовных отношениях.

## 5. Наслаждение

То, что *наслаждение* есть очень большое *удовольствие*, кажется интуитивно очевидным (например, в Толковом словаре русского языка [Ожегов, Шведова 1998] *наслаждение* определяется как «высшая степень удовольствия»). Действительно, соответствующие слова обнаруживают существенное сходство в значении и сочетаемости. Так, *наслаждение* и *удовольствие* имеют одни и те же источники, – находящиеся в области физиологического и интеллектуального (в противоположность душевному и духовному, относящимся к сфере *радость* – *счастье*): можно испытывать *удовольствие* или *наслаждение* от купания в холодной воде, от быстрой езды или от увлекательной беседы<sup>25</sup>. Несколько сложнее обстоит дело с эстетическими впечатлениями, так как в этой области различие между *удовольствием* и *наслаждением* состоит не только в силе ощущения, но также и в его качестве: если мы получаем *удовольствие* от произведения искусства (например, от выставки или театральной постановки), то это ощущение более рационально, обусловлено положительной оценкой объекта – в то время как испытываемое нами *наслаждение* (например, от музыки или поэзии) является впечатлением совершенно непосредственным, почти не имеющим оценочной основы. И такое наслаждение, в отличие от удовольствия, относится к области «высокого» – ср. сочетание *эстетическое наслаждение*, а также *истинное наслаждение* (само слово *истинный* относится к области «высокого» – см. [Шмелев 1997а]); при этом граница здесь довольно зыбкая, ср. выше, раздел 3. Можно привести также другие примеры «высокого» наслаждения, соседствующего со счастьем:

Слава

Мне улыбнулась; я в сердцах людей  
Нашел созвучия своим созданьям.  
Я *счастлив* был: я *наслаждался* мирно  
Своим трудом, успехом, славой; также  
Трудами и успехами друзей,  
Товарищей моих в искусстве дивном.

(Пушкин. «Моцарт и Сальери»)

В той же мере, в какой русское *счастье* не соответствует английскому *happy*, русское *наслаждение* не соответствует англ. *to enjoy* (если *happy* следует переводить как *доволен*, то глагол *to enjoy* – как *получать удовольствие от чего-то*)<sup>26</sup>.

Приведем в этой связи отрывок из статьи С. Кружкова, весьма красноречиво свидетельствующий о месте *наслаждения* в актуальном русском языковом сознании

<sup>25</sup> В словаре Даля глагол *наслаждаться* определяется как «доставлять высшее удовольствие, чувственное или нравственное» [Даль II: 1222].

<sup>26</sup> Другие английские слова, которые могут служить эквивалентами для русского *наслаждение* (в частности, *delight*), мы здесь не рассматриваем.

(Заграница как личный опыт // Знамя. 1999. №2. С.131-132):

Скажем, американский официант, принося блюдо, говорит: «Enjoy your meal» - наслаждайтесь вашей пищей, или просто «enjoy» – наслаждайтесь. Если бы он знал, какую бурю чувств рождает это слово в русской душе! –

Наслаждайтесь, все проходит!  
То благой, то злобный к нам,  
Своенравно Рок приводит  
Нас к утехам и бедам.

Коллега-переводчик скажет мне, что «enjoy» означает просто «приятного аппетита», и незачем копыя ломать. Да, но поглядите, как по-разному выражают эту мысль народы. Французы говорят: «Bon appétit» – хорошего аппетита, съешьте побольше, все перепробуйте, американцы: «Enjoy your meal» – получите свое удовольствие, а русские: «Кушайте на здоровье». Потому что сама идея удовольствия чужда русской жизни, выживание ей сродственной. Недавно Британский совет провел эксперимент по вывешиванию стихов в поездах московского метро. Рекламный плакат звучал так: «Наслаждайтесь стихами в пути». Если бы переводчик понимал дело, он написал бы «Запасайтесь стихами в пути» (как сухарями) или в крайнем случае: «Читайте на здоровье». *А наслаждаться, извините, мы как-то не привыкли – тем более в метро.*

Приведенное рассуждение требует некоторого комментария. В частности, интерпретация формулы типа *Bon appétit!* представляется неточной: французское *Bon appétit!* – это не значит «Съешьте побольше», а значит примерно то же самое, что английское *Enjoy your meal!*, а именно, пожелание получить максимум удовольствия от еды – в отличие от русского *Ешьте на здоровье!* Соответственно, в русском языке слово *аппетит* ощущается как «иностранное», так как оно означает именно залог получения удовольствия от еды, т.е. отражает несвойственную русской языковой картине мира установку. Обратим внимание также на то, что, наоборот, идея *здоровья* появляется также в одной из основных русских этикетных формул – *Здравствуй!*, в отличие от пожелания «хорошего (т.е. приятного и/или удачного) дня», выступающего в той же функции во многих европейских языках – ср. франц *Bonjour!* или нем. *Guten Tag!*. Русское приветствие представляет собой пожелание оставаться в рамках нормы, не выходить за «нижний» ее край: здоровье – залог нормального существования и вообще жизни; *здравствовать* значит, вообще говоря, просто «жить, быть живым, существовать», ср. *Да здравствует!*, *ныне здравствующий* и т.п.

Возвращаясь к слову *наслаждение*, надо отметить следующее. Оно связано со словом *сладкий* в переносном значении ‘приятный, доставляющий удовольствие’. Этот семантический переход достаточно широко представлен в разных языках; специфическим для русского языка является следующий шаг семантической деривации, а именно, смещение в отрицательную

аксиологическую зону (т.е. со словом *сладкий* в значении ‘доставляющий удовольствие’ происходит то же, что со словом *удовольствие*), ср. слова *сладострастие*<sup>27</sup>, *сластолюбие*, указывающие на морально осуждаемую погоню за удовольствиями<sup>28</sup>.

Франц. *jouir, jouissance* ‘наслаждаться, наслаждение’, также как и итал. *godere*, происходят от лат. *gaudere*, имевшего значения ‘радоваться’ и ‘находить удовольствие в чем-либо’. К существительному от того же глагола (*gaudia*) восходит и франц. слово *joie* ‘радость’ (от которого англ. *joy* и *enjoy*); в немецком языке глагол *geniessen* имеет первое значение ‘вкусать пищу’ (ср. *geniessbar* ‘съедобный’). Во всех четырех языках структура полисемии приблизительно одинакова; она включает значения: 1) ‘получать удовольствие от чего-то, делать это с удовольствием’ (*enjoy the music, jouir de la vie*); 2) ‘пользоваться, обладать чем-то’ (квартирой, свободой). В русском языке нейтральное значение ‘пользоваться’ отсутствует; во всех типах употребления глагол *наслаждаться*, как и существительное *наслаждение* обозначает сильное (а иногда также «высокое», т.е. так или иначе не совсем «приличное») чувство.

Таким образом, соотношение в паре *наслаждаться – to enjoy* аналогично соотношению *счастлив – happy*; эти расхождения имеют системный характер и коренятся в устройстве соответствующих языковых картин мира.

### *Литература*

Арутюнова 1976 – Н. Д. Арутюнова. Предложение и его смысл. М., 1976.

Бердяев 1994 – Н. А. Бердяев. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1994.

Булыгина, Шмелев 2000 – Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Перемещение в пространстве как метафора эмоций // Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000. С. 277-288.

Даль – В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х тт. М., 1994.

Денисов, Морковкин 1983 – Словарь сочетаемости слов русского языка. Под ред. Н. П. Денисова и В. В. Морковкина. М., 1983.

Дмитровская 2000 – М. А. Дмитровская. «Стрела, попавшая в цель» (телеология Набокова и Газданова) // Газданов и мировая культура. Калининград, 2000. С. 103-116.

Зализняк, Левонтина 1996 – Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина. Отражение национального характера в лексике русского языка (Размышления по поводу книги: A. Wierzbicka. Semantics, Culture, and Cognition. Universal human Concepts in Culture-Specific Configurations. N.Y.:

<sup>27</sup> *Сладострастие*, так же, как и *сластотерние*, – калька с греч. ἡδονή (букв. ‘испытывание удовольствия’).

<sup>28</sup> Связь между идеей ‘сладкого’ и ‘морально осуждаемого’ обнаруживается также в употреблении слова *разврат*, см. [Зализняк, Шмелев (в печати)].

Oxford, Oxford Univ. Press, 1992) // Russian Linguistics. 1996. Vol. XX. С. 237-264.

Зализняк, Шмелев (в печати) – Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Компактность VS. рассеяние в метафорическом пространстве русского языка // Логический анализ языка. Космос и хаос. М. (в печати).

Засорина 1977 – Л. Н. Засорина (ред.). Частотный словарь русского языка. М., 1977.

Левин 1998 – Ю. И. Левин. О «Машеньке» Вл. Набокова // Левин Ю. И. Избранные труды. М., 1998. С. 279-287.

Лотман, Успенский 1994 – Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Б. А. Успенский. Избранные труды. Т. 1. М., 1994. С. 219-253.

Ожегов, Шведова 1998 – С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1998.

Пеньковский 1991 – А. Б. Пеньковский. *Радость и удовольствие* в представлении русского языка // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991. С. 148-155.

Плунгян, Рахилина 1993 – В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина. БЕЗУМИЕ как лексикографическая проблема // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993. С. 120-126.

Пришвин 1995 – М. М. Пришвин. Дневники 1920-1922 гг. М., 1995.

Пришвин, Пришвина 1996 – М. М. Пришвин, В. Д. Пришвина. Мы с тобой. Дневник любви. М., 1996.

Русаков 2000 – В. Г. Русаков. Концепт счастья в романах «Машенька» Набокова и «Вечер у Клэр» Газданова // Газданов и мировая культура. Калининград, 2000. С. 117-134.

Сарнов 2002 – Б. Сарнов. Наш советский новояз. М., 2002.

Синявский 2001 – А. Д. Синявский. Иван-дурак. М., 2001.

СРЯ XVIII – Словарь русского языка XVIII в. Вып. 9. СПб., 1997.

Степанов 1997 – Ю. С. Степанов. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.

Толстой 1995 – Н. И. Толстой. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Урысон 1997 – Е. В. Урысон. Ум, разум, рассудок, интеллект // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М., 1997. С. 447-450.

Уфимцева 1996 – Н. В. Уфимцева. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996. С. 139-162.

Шатуновский 1996 – И. Б. Шатуновский. Семантика предложения и нерелевантные слова. М., 1996.

Шмелев 1997а – А. Д. Шмелев. Лексический состав русского языка как отражение «русской души» // Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997. С. 481-495.

Шмелев 1997б – А. Д. Шмелев. *Дух, душа и тело* в свете данных русского языка // Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997. С. 523-539.

Шмелев 2001 – А. Д. Шмелев. Некоторые тенденции семантического развития русских дискурсивных слов (*на всякий случай, если что, вдруг*) // Русский язык: пересекая границы. Дубна, 2001. С. 266-279.

Шмелев 2002 – А. Д. Шмелев. Русская языковая модель мира. Опыт словаря. М., 2002.

Юревич 1999 – А. В. Юревич. Психологические особенности российской науки // Вопросы философии. 1999. №4. С. 11-23.

Johnson-Laird, Oatley 1989 – P. N. Johnson-Laird, K. Oatley. The Language of Emotions: an Analysis of a Semantic Field // Cognition and Emotion. 1989. 3 (2).

Russell 1991 – J. A. Russell. Culture and the Categorization of Emotions // Psychological Bulletin. 1991. Vol. 110. P. 426-450.

Sanders 1965 – W. Sanders. Glück. Zur Herkunft und Bedeutungsentwicklung eines mittelalterlichen Schicksalsbegriffs. Köln - Graz, 1965.

Wierzbicka 1992a – A. Wierzbicka. Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. N.Y., Oxford, 1992.

Wierzbicka 1992b – A. Wierzbicka. Defining Emotion Concepts. – Cognitive Science. 1992. Vol. 16. P. 539-581.

Wierzbicka 1992c – A. Wierzbicka. Talking about Emotions: Semantics, Culture, and Cognition // Cognition and Emotion. 1992. 6 (3/4). P. 285-319.

Wierzbicka 1997 – A. Wierzbicka. Understanding Cultures through their Key Words. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1997.

**ВУЛЬГАРНЫЙ ИЛИ ПОШЛЫЙ**

Роман «Евгений Онегин» был для автора своеобразным экспериментальным текстом, в частности, в употреблении иноязычных слов. Одно из них, *вульгарный*, прочно вошло в русский язык<sup>1</sup>.

В 15 и 16 строфах 8 главы Пушкин заставил своего читателя решать скрытые загадки.

Никто б не мог ее прекрасной  
Назвать; но с головы до ног  
Никто бы в ней найти не мог  
Того, что модой самовластной  
В высоком лондонском кругу  
Зовется *vulgar*. (Не могу...  
Люблю я очень это слово,  
Но не могу перевести;  
Оно у нас покамест ново,  
И вряд ли быть ему в чести.  
Оно б годилось в эпиграмме...)  
(8: 15, 16)<sup>2</sup>.

Интересующее нас слово не зафиксировано САР. В значении «Рустический или Романский язык» это слово присутствует в «Энциклопедическом лексиконе» и толкуется в специальном значении: «так назывался простонародный латинский язык средних веков, от которого произошли все латинно-франские диалекты юго-западной Европы» [Плюшар 12: 194-195]. Однако нас такое толкование не устраивает.

Первая загадка — смысловая (морфологическая) неоднозначность иноязычного слова в русском контексте: неясно, о какой части речи идет речь, о существительном или прилагательном. Слово *vulgar* заимствовали из латыни и французский, и английский языки, и в обоих принадлежность к части речи опознается по позиции слова и артиклю, одна и та же форма может означать и существительное, и прилагательное. Без артиклей в изолированной позиции решить

<sup>1</sup> Данная статья представляет собой часть исследования, посвященного роли иностранных языков в романе «Евгений Онегин».

<sup>2</sup> Текст «Евгения Онегина» цитируется с указанием в скобках главы и строф.

этот вопрос применительно к пушкинскому тексту нельзя.

Если же понимать слово *vulgar* как существительное, в этом качестве и англо-русский и французско-русский словари переводят *vulgar s. / vulgaire m.* как «простой народ, чернь, простолюдинство» [Гейм 1809, 2: 312; Татищев 1816, 2: стлб. 1190; Татищев 1824, 4: стлб. 1351; Пареного 1809-1817, 4: 250].

Существительное *чернь*, приводимое в двуязычных словарях пушкинского времени, в правой части словарной статьи было лишено отрицательных коннотаций и понималось в это время как *простой народ* [САР 6: стлб. 1274]. И в этом смысле английское слово перекликается с русским словом *чернь*, употребленным несколько раньше в той же восьмой главе.

Блажен, кто смолоду был молод,  
...  
Кто странным снам не предавался,  
Кто черни светской не чуждался,  
...  
О ком твердили целый век:  
N.N. прекрасный человек  
(8:10).

Видимо, можно говорить о переключке английского *vulgar* с русским *чернь*.

В пушкинское время словосочетание *светская чернь* могло восприниматься как оксюморон (ср. толкование пушкинского употребления в СЯП). «Чернь — простонародье, городские низы, уличная толпа, сброд; благородная чернь — о родовитом, но обедневшем дворянстве в противопоставлении неродовитой придворной аристократии; презрительно о совокупности рядовых представителей какой-н. среды о невежественной, духовно ограниченной среде, толпе» [СЯП 4: 903].

Вторая загадка — почему же Пушкину было важно не только выбрать именно английское слово, но и подчеркнуть это в тексте? Обращение к двуязычным словарям пушкинского времени помогает ответить на этот вопрос.

Французско-русские словари толкуют слово «*vulgaire a* — общепринятый, народный, простонародный, простой» [Гейм 1809, 2: 312; Татищев 1816, 2: стлб. 1190; Татищев 1824, 4: стлб. 1351; Татищев 1827-1828, 2: 308; Татищев 1839-1841, 2: 766].

Англо-русский словарь М. Пареного дает такое толкование слова: «*vulgar adj. (plebian, suiting to common people)* — простонародный, подлomu народу приличный; (*vernacular, national*) — национальный, общенародный, природный, отечественный, простой; (*mean, low*) — подлый, низкий, площадный, пресмыкающийся, *vulgar soul* — подлая душа, *vulgar style* — низкий слог; (*common, public, commonly bruited*) — всеобщий, публичный, всем известный» [Пареного 1808-1817, 4: 250].

Различие в объеме значений — в отсутствующем во французском языке значении ‘подлый, низкий, площадный, пресмыкающийся’.

В качестве дополнительной подсказки можно рассматривать употребление Пушкиным в предыдущей строке прилагательного *высокий*:

В высоком лондонском кругу

Зовется *vulgar*

(8:15).

Парадоксально, но двух своих главных персонажей, Онегина и Татьяну, Пушкин выделяет, определяя их манеры и поведение, ориентируясь на нормы и вкусы Лондона. Евгений «как dandy лондонский одет» [см. Лотман 1980: 124-125; 1994]. Дендизм в первой половине XIX века связывался, прежде всего, с мужским поведением и проявлялся в «грубости романтика» и «утонченности индивидуалиста» [Лотман 1994: 124]. Кроме того, денди можно было опознать по костюму: фраку, затянутой талии, очкам. Подробный анализ этого культурного явления не входит в наши задачи. В Татьяне нет ничего, что «в высоком лондонском кругу зовется *vulgar*». Несмотря на разность мужской и женской моды и типов поведения, Пушкин прибегнул именно к английскому языку, говоря об индивидуальности, вкусе и высоких манерах своих главных героев.

Современные словари иностранных слов в качестве источника заимствования прилагательного *вульгарный* указывают латинский [СИС 1984: 106] и французский языки [Крысин 1998: 156]. Выскажем предположение, что в заимствовании слова *вульгарный* в русский язык в значении ‘низкий, пошлый’ могло быть англоязычное посредничество.

Очевидны семантические сдвиги, произошедшие в значении слова в английском и французском языках с пушкинского времени до наших дней. Авторы современного «Словаря иноязычных слов и выражений» фиксируют семантические различия между латинским, французским и английским словами со значением ‘вульгарный’: для латинского слова это — «обычный, обыкновенный, пошлый»; для французского — «1. пошлый, тривиальный, 2. пошло, тривиально»; для английского — «1. простонародный, простонароден, 2. пошлый, тривиальный» [Бабкин, Шендецов 1981: 581].

Заметим, что и французский, и английский языки, заимствуя прилагательное *vulgaire/vulgar* из латыни, подвергают семантику этого слова изменениям. Современный латинско-русский словарь дает четыре значения прилагательного *vulgaris* «1) обычный, обыкновенный, привычный, общепринятый; 2) общедоступный, публичный; 3) простой дешевый; 4) (просто)народный» [Дворецкий 1976: 1093].

О слове *vulgar* В.В.Набоков прозорливо заметил: «русскому прилагательному «вульгарный» вскоре было суждено стать общеупотребительным» [Набоков 1998а: 549]. Действительно, это слово вошло в толковые словари русского языка. Большинство лексикографов [Даль, Михельсон, Ушаков, БАС, МАС, Крысин 1998], толкуя значение прилагательного

*вульгарный*, прибегает к слову *пошлый*. Важная черта толкований заимствованного слова *вульгарный*, восходящая к В.И. Далю, — попытка словарей сопоставить иноязычное со своим: *вульгарность с пошлостью*.

И здесь мы сталкиваемся с третьей загадкой: почему Пушкин обратился к иноязычному слову, к тому же дав его в латинском написании, и не прибегнул к русскому. Дело в том, что в пушкинское время значение прилагательного *пошлый* было иным. В САР слово *пошлый* отсутствует. БАС указывает, что впервые оно было включено в СЦСРЯ 1847 г. Второе издание СЦСРЯ дает такое толкование слова *пошлый*: «1. низкий качеством, весьма обыкновенный, маловажный, 2. низкий, простоватый, 3. *стар.* бывший издавна в обычае, или в употреблении, 4. *стар.* стародавний, исконный, принадлежащий издавна кому-л.» [СЦСРЯ, 2 изд. 3: 884].

В «Евгении Онегине» слово *пошлый* встречается трижды: в 43-44 строках 4 главы, в 48 строфе 7 главы и в 23 строфе 8 главы.

проворно

Онегин с Ольгою пошел;  
Ведет ее, скользя небрежно,  
И наклонясь ей шепчет нежно  
Какой-то *пошлый* мадригал,  
(4: 43-44);

Татьяна вслушаться желает  
В беседы, в общий разговор;  
Но всех в гостинной занимает  
Такой бессвязный, *пошлый* вздор;  
Всё в них так бледно равнодушно;  
Они клеветают даже скучно;  
(7: 48);

Входят гости.

Вот крупной солью светской злости  
Стал оживляться разговор;  
Перед хозяйкой легкий вздор  
Сверкал без глупого жеманства,  
И прерывал его меж тем  
Разумный толк без *пошлых* тем,  
Без вечных истин, без педанства,  
И не пугал ничьих ушей  
Свободной живостью своей.  
(8:23).

СЯП дает такое толкование этого слова: «весьма распространенный, ставший привычным, всем известный, ходячий; обыкновенный, ничем не примечательный, заурядный; свидетельствующий о дурном вкусе, низкопробный», внося существенное дополнение по сравнению с СЦСРЯ [СЯП 3: 626]. В качестве иллюстрации к первому значению приводится цитата из 8-ой, а ко второму значению — из 4-ой и 7-ой глав «Евгения Онегина». Ясно,

что для Пушкина прилагательные *вульгарный* и *пошлый* не были взаимозаменяемы.

Динамику изменения значения прилагательного *пошлый* показал В.В. Виноградов [Виноградов 1999: 531-533]. Он полагал, что первоначальный сдвиг в семантике произошел в конце XVII — начале XVIII века, и писал, что «складывается значение: ‘низкий качеством, весьма обыкновенный, маловажный’» [Виноградов 1999: 532]. Однако словари фиксируют это значение только в середине XIX века [СЦСРЯ].

В.И. Даль приводит толкование слова *пошлый* в статье *пошлина* и отмечает относительно новое значение пометой «ныне»: «избитый, общеизвестный и надокучивший, вышедший из обычая; неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, подлым, площадным: вульгарный, тривиальный» [Даль 3: 374]. Таким образом, Даль не выделяет специально значение, которое современные словари, например МАС, ставят первым: «низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении» [МАС 3: 348].

В.И. Далю принадлежит своеобразное «первенство» в создании круга в толкованиях слов *пошлый* и *вульгарный*: впервые в русской лексикографической практике, приведя прилагательное *вульгарный*, он толкует его как «пошлый, тривиальный, простой, грубоватый, дурного вкуса» [Даль 1: 275]. Так *вульгарный* толкуется через *пошлый*, а *пошлый* — через *вульгарный*. Этот круг сохраняется и в МАС.

М.И. Михельсон толкует значение существительного *вульгарность* как «пошлость, грубость, дурные манеры — свойственные черни», значение прилагательного объясняется так же: «пошлый, тривиальный, — грубого дурного вкуса» [Михельсон 1: 143]. В трактовке Михельсона слово *вульгарный* теряет семы ‘простой’ и ‘грубоватый’. Словарь Д.Н.Ушакова дает три значения прилагательного *вульгарный*: «1. пошлый, лишенный тонкости, изящества; 2. грубый, слишком развязный, противоречащий нормам развитой общественности, 3. *только полн. формы* упрощенный до искажения» [Ушаков 1: стлб. 424]. Таким образом, у Д.Н.Ушакова, по сравнению с предшественниками, теряется сема *дурного вкуса*. МАС толкует значение слова *вульгарный* иначе, чем Д.Н. Ушаков: «1. пошлый, грубый, 2. *только полн. ф.* упрощенный до крайности, до искажения смысла» [МАС 1: 242]. Можно сказать, что МАС идет вслед за Д.Н.Ушаковым, не выделяя сему *дурного вкуса* в соединении с *низостью* и *грубостью*. В прилагательном *вульгарный* БАС также выделяет два значения: «1. пошлый, грубый, 2. упрощенный до крайности, до искажения смысла» [БАС 2: стлб. 922-923]. В «Толковом словаре иноязычных слов» у интересующего нас слова *вульгарный* выделены три значения: «1. пошлый и грубый, 2. непристойный, 3. *полн. форм.* упрощенный до искажения» [Крысин 1998: 154]. Таким образом, можно сказать, что этот современный словарь расширяет спектр значений слова *вульгарный*, в каком-то смысле возвращаясь к В.И.Далю, однако Л.П.Крысин не выделяет характеристику вкуса.

Очевидно, что в пушкинское время значение слова *вульгарный* было специальным и относилось к «молодой» упрощенной латыни и к переводам Библии. Пытаясь показать динамику толкований слова в различных словарях, мы склоняемся к тому, что В.И. Даль как пушкинский современник дает наиболее полное лексикографическое описание значения слова. В.И. Даль описал только «приращенное», новое, «пушкинское» значение слова. Среди более поздних лексикографов о *дурных манерах* упомянул только М.И. Михельсон. Словари XX века объединили специальное и неспециальные значения, выделив в качестве первого неспециальное. В толкованиях не отражены семы 'тривиальность', 'простота', 'дурной вкус' и 'дурные манеры'. Специальное значение трансформировалось в оценочное — «упрощенный до искажения».

Обратимся к современному словоупотреблению.

Толковые словари XX века фиксируют словообразовательные гнезда, центрами которых стали интересующие нас прилагательные: а) *вульгарный*, *вульгарно*, *вульгарность* *вульгаризатор*, *вульгаризация*, *вульгаризировать*, *вульгаризироваться*; б) *пошлый*, *пошло*, *пошлость*, *пошляк*, *пошлец*, *пошлятина*, *пошлеть*, *опошлить*, *опошлиться*, *опошлять*, *опошляться* [МАС].

Различия очевидны уже по тому, что глагол *вульгаризировать* и существительное *вульгаризатор* имеют ограниченную сферу употребления, «восходящую» к заимствованному в специальном значении прилагательному.

Существительное *пошляк* называет носителя данного качества. Словообразовательное гнездо прилагательного *вульгарный* не дает подобного производного. *Пошляк* — это «комплексная» характеристика человека, это пошлый человек [МАС 3: 348], т.е. *пошлый* в первом значении — «низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении» [там же]. Существительное *вульгаризатор* не обозначает вульгарного человека. *Вульгаризатор* — это тот, кто «представляет что-л. в грубо упрощенном виде, опошляя и искажая этим сущность представляемого» [МАС 1: 242]. Кроме того, данное существительное тяготеет к научному стилю речи. *Вульгаризировать* можно чьи-л. взгляды, идеи, концепции, теории. Различия в семантике существенны: если мы говорим о существительном *пошляк*, это отношения субъекта и качества, носителем которого является субъект, в семантике слова *вульгаризатор* — присутствие «акциональной» составляющей. Отадъективные существительные существенно различаются в семантике: *вульгаризатор* искажает чужие идеи, *пошляк* сам является носителем пошлости.

Существительное *пошлость* означает и название некоторого качества, и содержания, в частности, языкового сообщения. У существительного *вульгарность* нет второго значения (см. о словах *пошлый* и *вульгарный* [МАС 3: 348; 1: 242]). Поэтому первое существительное может принимать множественное число и можно *говорить пошлости*, но не *\*говорить вульгарности*. Показательно, что и в пушкинских контекстах прилагательное *пошлый* во всех трех случаях

касается содержания разговора. Невозможно также употребить существительное *вульгарность* применительно к оценке ситуации в целом, в то время как отадекватное имя *пошлость* допускает подобное употребление.

Кроме того, только прилагательное *пошлый* способно словообразовательными средствами градуировать называемое качество: *пошленький*, *пошоватый*. Градуировать количество вульгарности можно только аналитически с помощью наречия: *слегка вульгарный*, но не \**вульгарненький* и не \**вульгарноватый*.

Анализ употребления слов *пошлый* и *вульгарный* и их дериватов также показывает их семантические отличия. Оговоримся, что мы сознательно не искали литературных цитат, а стремились показать запрет на сочетаемость, диктуемый семантикой языковых единиц.

*Пошлый* — это не внешняя, а внутренняя содержательная характеристика поведения человека, а *вульгарный* — внешняя.

Применительно к наречиям *пошло* и *вульгарно* можно отметить различия в современном употреблении: с глаголом *одеваться* лучше сочетается второе наречие. Хуже звучит *она одевалась пошло*, чем *она одевалась вульгарно*. Если же мы сопоставим предложения с глаголом совершенного вида, картина меняется: нормативно *Она оделась вульгарно*, но невозможно \**Она оделась пошло*. Последнее обстоятельство позволяет говорить о наличии некоей воли субъекта применительно к своему поведению, которое воспринимается как *вульгарное*, что касается *пошлости*, здесь такой выбор, по-видимому, исключен. То есть у человека есть некий выбор, быть *вульгарным* или нет, но нет выбора, быть или не быть *пошлым*. Допустим даже такой контекст: *Она специально оделась вульгарно*. С наречием *пошло* такой контекст невозможен. Кроме того, сочетаемость с наречием *вульгарно* предполагает расчет субъекта на зрительное восприятие со стороны. Слово *вульгарно*, в отличие от *пошло*, легко сочетается с акциональными предикатами: *вести себя вульгарно*, *вульгарно петь*, *вульгарно танцевать*, *вульгарно говорить*. Но не \**вести себя пошло*, \**пошло танцевать*, \**пошло говорить*. Соответственно, прилагательное *вульгарный* сочетается с отглагольными прилагательными: *вульгарное пение*, *вульгарная походка*.

Можно высказать предположение о том, что частотное употребление слова *вульгарный* по отношению к женщине объясняется тем, что именно ее облик в большей степени воспринимается дискретно. «Броские» краски «бросаются» нам в глаза. Наденьте красный костюм — и вы окажетесь более чем голым, станете чистым объектом, лишенным внутренней жизни. Если женский костюм особенно тяготеет к ярким краскам, то это связано с *объектным социальным статусом женщины»* (курсив мой. — О.Ф.) [Бодрийяр 2001: 36]. То, что часто носитель оценки в этих случаях — тоже женщина, объясняется ее способностью к дискретному, детализированному восприятию окружающего.

В толкование слова *вульгарный* можно включить наблюдателя. Поэтому восприятие может расчленять внешне наблюдаемый объект: можно сказать *вульгарные туфли, вульгарный костюм*, но не *\*пошлые туфли, \*пошлый костюм*. И наоборот — *пошлый роман*, но не *\*вульгарный роман*. *Вульгарность*, будучи чем-то внешним, легко отчуждается от своего носителя, а *пошлость* — нет. Последнее обстоятельство позволяет выделить и еще одну характеристику пары *пошлый/вульгарный*: первое прилагательное недискретно, второе — дискретно.

Попытаемся проследить, как сочетаются прилагательные *пошлый* и *вульгарный* с разными семантическими классами имен существительных. Для этого обратимся к анализу «Дерева Порфирия» и его интерпретации Ю.С. Степановым [Степанов 1981: 74, 76].

Оба прилагательных не могут сочетаться с неодушевленными существительными, называющими природные объекты: не могут быть ни *пошлыми*, ни *вульгарными* камни (не драгоценные, а лежащие на дороге или на берегу реки), река, гора, дерево, листья, ветки, корни и проч. То же ограничение на сочетаемость распространяется и на одушевленные существительные, называющие животных и птиц. Данное ограничение затрагивает как диких, так и домашних животных: *\*пошлая/ \*вульгарная лошадь, \*пошлый/ \*вульгарный орел, \*пошлая/ \*вульгарная кошка, \*пошлая/ \*вульгарная собака*. Если допустить в этом случае сочетания с прилагательным *вульгарный*, то они могут восприниматься скорее как терминологические, а не оценочные. В предложении *Она — пошлая курица* именная группа не референтна, т.к. находится в позиции предиката. Метафорический перенос снимает ограничение на сочетаемость с прилагательным *пошлый*, но не делает возможной замену на *вульгарный*: *\*Она — вульгарная курица*.

Оба прилагательных сочетаются только с именами, называющими людей, но *пошлый* характеризует человека с «внутренней» — интеллектуальной, духовной стороны, а *вульгарный* — с «внешней», поведенческой стороны, доступной зрительному наблюдению.

Неодушевленные предметные имена, называющие артефакты, сочетаются с прилагательным *вульгарный* и не сочетаются с *пошлый*: *вульгарный галстук, вульгарная шляпка, вульгарная бижутерия*. Заметим, что вещи, обозначаемые предметными существительными, называющими аксессуары костюма, становятся *вульгарными* скорее не сами по себе, а будучи надеты на человека или мысленно примерены на него, соотнесены с его обликом. Однако и здесь приходится говорить об определенных ограничениях. По-видимому, для носителей русского языка *вульгарными* не могут быть ценные, очень дорогие вещи, например, проблематично: *\*вульгарные бриллиантовые серьги, \*вульгарная норковая (соболья) шуба*. Если речь идет о предметах роскоши, то возможно скорее говорить не о *вульгарных*, а о *некрасивых, безвкусных (дурного вкуса), кричащих, вычурных* вещах.

Говоря о зрительно воспринимаемых предметах, заметим, что цвет предметов одежды вряд ли может быть *вульгарным*, а расцветка может. *\*Вульгарный орнамент невозможен, но вульгарный узор допустим*.

Для того чтобы вещь опознавалась как *вульгарная*, она должна быть соразмерной человеку, поэтому те же ограничения на сочетаемость в определениях, о которых говорилось выше применительно к очень дорогим вещам, касаются предметов, значительно превосходящих человека по размерам: мебели и архитектуры. Лампа еще может быть *вульгарной*, но не стол, кресло, диван, шкаф, особняк. Они могут быть *вычурными*. Архитектура может быть *помпезной*, но не *пошлой* и не *вульгарной*. *Вульгарной* может быть обстановка (интерьер), но в этом случае говорящий акцентирует свое внимание на безвкусных и вычурных или не совпадающих по стилю предметах мебели. Когда же говорят о *пошлой* обстановке, имеют в виду не столько мебель, сколько стиль и уклад жизни, привычки, находящие отражение в предметной среде.

Что касается внешности человека, то предметные имена, называющие части лица и тела, в современном употреблении не сочетаются с обоими прилагательными: *\*пошлый нос/ \*вульгарный нос*, *\*пошлые ноги/ \*вульгарные ноги*, *\*пошлые губы/ \*вульгарные губы*. В художественных текстах XIX века можно встретить словосочетание *пошное лицо* в значении ‘вульгарный, содержащий что-л. неприличное, непристойное’, но в современном языке оно употребляется значительно реже ([БАС 16: 1755], см. также пример из БАС *пошлая рожка*). Органически присущие человеку части его лица и тела могут быть красивыми, некрасивыми или даже уродливыми. Но при том, что они наблюдаемы, они не могут быть *вульгарными*.

*Вульгарным* становится то, к чему человек прикладывает некоторые усилия, нарушая меру и правила хорошего вкуса: *\*вульгарные губы*, но *вульгарная помада* (на губах), *\*вульгарный румянец* (даже если чересчур яркий, но природный), но *вульгарно покрашенные щеки*, *вульгарный макияж*, *грим*. Применительно к лицу можно, пожалуй, говорить только о *вульгарной ухмылке*, *усмешке*, при этом прилагательное сочетается с существительным, содержащим дескриптивную оценку. Хуже звучит: *вульгарная улыбка*. Что же касается словосочетания *выражение лица*, здесь язык очень изобретателен в описании малейших оттенков, поэтому, на наш взгляд, сложная по семантике оценка, содержащаяся в интересующих нас прилагательных, вряд ли позволяет говорить о *пошлом/ вульгарном выражении лица*. Ноги кривые, но не *вульгарные*, а чулки на них — *вульгарные*, и походка тоже *вульгарная*. Заметим, что *вульгарная походка* — вполне приемлемое словосочетание в отличие от связанного с природной способностью ходить *\*вульгарная/ \*пошлая ходьба*. Голос может быть грубым, резким, однако *\*вульгарный* голос вряд ли допустимо, но возможно — *вульгарная манера говорить*, *вульгарный смех*. Когда говорят *вульгарный* цвет волос, имеют в виду не естественный, природный цвет, а окрашенные волосы. Сами волосы не могут быть *вульгарными*, а прическа может.

С обоими прилагательными не сочетаются метаслова (в терминологии Ю.С. Степанова) и слова онтологического плана *количество*, *явление*, *факт* и под. Однако возможно *чь-л. Пошлая*

сущность, но недопустимо \**вульгарная сущность*. Заметим, что словосочетание *чья-л. \*вульгарная/ пошлая природа (натура)* вряд ли можно считать допустимым, т.к. в этом случае речь идет о том, что человек получил свыше, но не преобразовал в ходе социализации. Видимо, запрет идет в этом случае от семантики слов *природа/ натура*.

Оценочный признак, обозначаемый прилагательным *вульгарный*, свидетельствует о социализации человека. *Вульгарным* человек делает себя сам, определенным образом ходя, говоря, одеваясь, накладывая грим, причесываясь. При этом *вульгарность* вещей и поведения человека связана с его желанием выделиться, быть не таким, как все. Вульгарные проявления человека, главным образом, воспринимаются зрительно и на слух. В этом смысле современное употребление слова *вульгарный* отражено в толковании М.И. Михельсона, потому что в его словаре говорится о дурных манерах.

Ясно, что сближение значений слов *вульгарный* и *пошлый* произошло уже в более позднее время, видимо, в середине — второй половине XIX века. МАС фиксирует как более сложное значение прилагательного *пошлый*: «1. низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении; свойственный низкому в нравственном отношении человеку; содержащий в себе что-л. неприличное, непристойное; 2. неоригинальный, надоевший, избитый, банальный; безвкусно-грубый, вульгарный» [МАС 3: 348]. Толкование слова *вульгарный* проще: «1. пошлый, грубый; 2. *только полн. ф.* упрощенный до крайности, до искажения смысла» [МАС 1: 242].

Что касается прилагательного *пошлый*, толкования в словарях XX века различаются по количеству выделяемых значений. БАС толкует значения данного слова так: «1. *устар.* бывший издавна, стародавний; обычный, ничем не выделяющийся; 2. низкий в духовном, нравственном отношении; вульгарный, содержащий что-либо неприличное, непристойное; выражающий, обнаруживающий такие качества» [БАС 10: 1754-1755]. Другие словари не дают устаревшего значения. *Пошлый* — «заурядный, низкопробный в духовном, нравственном отношении, чуждый высших интересов и запросов; безвкусно-грубый, избитый, тривиальный» [Ушаков 1996, 3: 686]. *Пошлый* — «низкий в нравственном отношении; безвкусно-грубый» [Ожегов 1999: 575]. Ср. *пошлый* — «1. низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении; выражающий, обнаруживающий такие качества; 2. содержащий в себе что-л. неприличное, непристойное; 3. неоригинальный, избитый; безвкусно грубый» [Кузнецов 2001: 593]. Ср. приведенное выше толкование *пошлый* в МАС. Д.Н. Ушаков и С.И. Ожегов выделяют одно значение, обнаруживающее семантическую неоднородность. БАС также объединяет в одном «духовную» составляющую и значение ‘содержащий в себе что-л. неприличное, непристойное’. МАС выделяет два значения, С.А. Кузнецов — три. По нашему мнению, именно толкование семантики слова *пошлый* в словаре С.А. Кузнецова точнее, чем в других словарях, отражает его многозначность. На

наш взгляд, третье из выделенных Кузнецовым значений является центральным, определяющим первые два.

Прилагательное *пошлый* может сочетаться с существительными, называющими произведения искусства: *пошлый* роман, фильм, романс, пейзаж. Дело в том, что для произведения искусства важна оценка с содержательной стороны. Если же речь идет об исполнительском мастерстве, тут вступает прилагательное *вульгарный*: *вульгарная* манера пения или актерской игры. Поэтому можно говорить и о *пошлой* и *вульгарной* музыке.

Сфера сочетаемости прилагательного *пошлый* достаточно жестко «привязана» еще и к произведениям, в грубой форме отражающим сексуальные отношения. Примеры из [Ушаков 1996; МАС; Кузнецов 2001; Ожегов 1999] подтверждают это наблюдение: *пошлый анекдот*, *пошлые картинки*. Таким образом, как *пошлое* определяется, с одной стороны, что-л. избитое и банальное, а с другой — нечто грубое и непристойное. В этом смысле словосочетание *говорить пошлости* также может быть интерпретировано в двух смыслах: ‘говорить избитые банальные вещи’ и ‘говорить непристойные вещи’.

Наблюдения показывают, что в современном языке слова *пошло*, *пошлый*, *пошлость* употребляются не часто. Семантика этого слова трудно уловима. А. Вежбицка в докладе «Русские культурные сценарии и их отражение в языке» на конференции «Языкознание sub specie русистики: итоги и перспективы» в июне 2001 г. предложила такое толкование слова *пошлость*: «многие люди думают о многих вещах, что эти вещи хороши, это неправда, эти вещи не хороши, они похожи на некоторые другие вещи, эти другие вещи хороши, эти люди этого не знают». Для прояснения толкования значения слова *пошлость* обратимся к литературным примерам.

Предварительный и далеко не полный анализ художественных текстов XIX и начала XX века показывает, что слова *пошлость*, *пошло*, *пошлый* значительно более частотны по сравнению с *вульгарность*, *вульгарно*, *вульгарный*.

И в художественных текстах существительное *пошлость* связано с оценкой содержания речи и произведения искусства. *С одной стороны, публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость!* (А.П. Чехов «Душечка») при невозможности *\*Ей подавай вульгарность*.

*Редко встречая Анну, он не мог ничего ей сказать, кроме пошлостей, но он говорил эти пошлости, о том, когда она переезжает в Петербург, о том, как ее любит графиня Лидия Ивановна, — с таким выражением, которое показывало, что он от всей души желает быть ей приятным и показать свое уважение и даже более.* (Л.Н. Толстой «Анна Каренина»).

Елена Андреевна. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна, слышатся одни *пошлости*, когда только и знают, что едят, пьют, спят, иногда

*приезжает он, не похожий на других, красивый, интересный, увлекательный, точно среди потемок восходит месяц ясный...* (А.П. Чехов «Дядя Ваня»). Однако невозможно \**Слышатся одни вульгарности*.

*Пошлость* — некая неотъемлемая содержательная характеристика человека, не осознаваемая им самим. Поэтому слово *пошлый* в позиции предиката с трудом сочетается с перволичным субъектом<sup>3</sup>. Кажущийся контрпример из «Дуэли» А.П.Чехова: *Да, я делаю долги, пью, живу с чужой женой, у меня истерика, я пошел, не так глубокомыслен, как некоторые, но кому какое дело до этого? Уважайте личность* можно объяснить психологическим состоянием Лаевского и тем, что именно с этого момента персонаж предпринимает сознательные действия к тому, чтобы внутренне измениться.

Напомним, *пошляк* по МАС — пошлый человек [МАС 3: 348], то есть пошлый в первом значении — низкий, ничтожный в духовном и нравственном отношении [там же].

Подобное сочетание перволичного субъекта с предикатом, выраженным именной группой с существительным *пошляк*, находим также в пьесе «Дядя Ваня». Лаевского и Астрова как субъектов речи сближает способность к саморефлексии и внутренним изменениям.

Астров. *Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг.*

Войницкий. *Пошляческая философия.*

Астров. *Как? Да... Надо сознаться — становлюсь пошляком.* <...> *Постарел, заработался, испошился, притупились все чувства, и, кажется, я уже не мог бы привязаться к человеку* (А.П.Чехов «Дядя Ваня»).

Именно в этом примере определение *пошляческая* относится к сфере взаимоотношений мужчины и женщины, которые в вышеприведенной фразе Астров сводит только к интимной сфере. Что же касается сочетания существительного *пошляк* с субъектом в 1 л. ед. ч., оба персонажа, и Лаевский, и Астров объединяются в этом случае по способности к саморефлексии.

Как мы и указывали, существительное *пошлость* связано с содержанием речи. Данное существительное сочетается с глаголами *говорить* и *слышать(ся)*. Посмотрим, на что еще кроме грубоватых шуток персонажи Чехова реагируют как на *пошлость*.

В примерах из произведений А.П. Чехова герои говорят общеизвестные вещи, которые можно было бы назвать *банальными*, т.е. «общеизвестными, утратившими выразительность вследствие частого употребления; избитыми, пошлыми» [МАС 1: 59]. В МАС *банальный* толкуется через *пошлый*. В [Ожегов 1999] *банальный* толкуется несколько иначе: «лишенный оригинальности, избитый, тривиальный» [Ожегов 1999: 35]. Слова *банальность*, *банальный* в современном языке сочетаются главным образом с глаголами и существительными речи: *говорить банальности*, *банальная фраза*, *история*, хотя возможно сочетание *банальный сюжет*. Хотя,

<sup>3</sup> Данное замечание было высказано Н.К.Онипенко.

как свидетельствуют примеры из [Михельсон 1994], в XIX веке сочетаемость с этими словами была шире: *банальные вкусы, первый оттиск банальности (М. Горький), банальность ответа* [Михельсон 1994: 40].

Для того чтобы быть *банальным*, что-то (главным образом, содержание речи) должно часто повторяться и быть общеизвестным. Несмотря на близость в толкованиях, на наш взгляд, слова *пошлый* и *банальный* не могут быть признаны полными синонимами. *Пошлость* обладает «более широким охватом», сочетаясь не только с существительными и глаголами речи, но и со словами, обозначающими поведение и стиль жизни человека. Какая же дополнительная сема или семы позволяют говорить о чем-то не как о *банальном*, а о *пошлом*? Чтобы стать *пошлой*, вещь должна быть не только общеизвестной, общим местом, но и должна быть продемонстрирована (сказана) с претензией на значительность. Различие в значениях между словами *пошло* и *банально* делает возможной фразу: *Это банально, но еще не пошло*. Однако перестановка слов дает предложение, которое аномально: *\*Это пошло, но не банально*. Именно эта «прагматическая добавка», как нам кажется, не учтена А.Вежбицкой в ее толковании *пошлости*. И именно в качестве реакции на эту претензию и появляется в диалоге слово *пошлость*, разводя субъект и объект оценки.

Второе ограничение — семантического плана: не всякая *банальная* фраза может стать *пошлой*, даже будучи сказанной с претензией на значительность. Содержание фраз: *Дважды два — четыре, Железо — металл, Осенью идет дождь* общеизвестно, и сами фразы банальны, но даже с претензией вряд ли становятся *пошлыми*.

Например: *Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал "горчайшую" любовь к России, — есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя (В.В. Набоков «Дар»); Это был банальный треугольник трагедии, родившийся в идиллическом кольце, и одна уж наличность такой подозрительной ладности построения, не говоря о модной комбинационности его развития, — никогда бы мне не позволила сделать из всего этого рассказ, повесть, книгу (В.В. Набоков «Дар»).*

Чтобы стать *пошлым*, содержание фразы должно быть эксплицитно или имплицитно связано с жизнью человека.

— Да, — сказала Нина Ивановна, ... — Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.

— Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна, — сказала Надя, — ты очень несчастна, — зачем же ты говоришь *пошлости*? (А.П. Чехов «Невеста»). Ср. *\*Зачем ты говоришь вульгарности*.

Третьей важной семантической характеристикой слова *пошлость* является уверенность человека в важности и значительности того, что он делает или говорит.

*Перо скрипело, выделявая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама **пошлость**, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно (А.П. Чехов «На святках»).*

Как *пошлость* воспринимается повторение уже сделанного и высказанного ранее другими.

*Самое дорогое ему лицо, лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии, все было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он видел хорошо написанное (и то даже не хорошо, - он ясно видел теперь кучу недостатков) повторение тех бесконечных Христов Тициана, Рафаэля, Рубенса и тех же воинов и Пилата. Все это было **пошло**, бедно и старо и даже дурно написано — пестро и слабо (Л.Н. Толстой «Анна Каренина»).*

Ориентация человека в его поведении и речи на общеизвестные вещи (общие места) и некий усредненный образец позволяет понимать *пошлость* не только как что-то общепринятое, но и как однообразное.

*Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди, — живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная и ни один час ее непохож на другой, тогда как уныла и до **пошлости** однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, - а уж в тоске, какая фантазия! (Ф.М. Достоевский «Белые ночи»).*

Таким образом, тяготение к уже принятым и «растиражированным» словам и жестам делает человека *пошлым*, если эти слова и жесты наделены у него претензией на значительность.

*Француз редко натурально любезен; он любезен всегда как бы по приказу, из расчета. Если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным, по-необыденнее, то фантазия его, самая глупая и неестественная, слагается из заранее принятых и давно уже **опошлившихся** форм (Ф.М.Достоевский «Игрок»).*

Нежелание персонажа поступать так, как ведут себя все, заставляет его также обращаться к слову *пошлость*.

*Трофимов. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от **пошлости**. Мы выше любви! (А.П.Чехов «Вишневый сад»).* Невозможно \*Я далек от вульгарности.

В текстах XIX века представлен и отаждективный глагол *опошливать*.

*Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую жизнь и не хотела говорить об этом, **опошливать** это чувство неточными словами. (Л.Н. Толстой «Анна Каренина»).*

Ситуация *опошливания*, видимо, связана для персонажа с необходимостью употреблять те слова, к которым обычно прибегают люди в подобных случаях.

— *А я знаю, я знаю!* — повторил я в ярости, — *он тоже ждет наследства, потому что Полина получит приданое, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы! И самые гордые из них - самыми-то **пошлыми** рабами и выходят!* (Ф.М. Достоевский «Игрок»). В данном примере речь идет об оценке нравственных качеств человека, которые коренятся в следовании общему закону (*все женщины таковы*), поэтому невозможна замена прилагательного *пошлый* на *вульгарный*.

Попытка описать семантику слов *пошлость*, *пошлый*, *пошло* заставляет нас отметить несколько важных, с нашей точки зрения, черт: а) обращение в оценке к содержательной стороне речи и поведения человека, б) комплексный (недискретный) характер оценки, в) ориентация человека в своем поведении и речи на общеизвестные вещи, с точки зрения субъекта оценки, г) ограничения на тематику высказываний, эксплицитная или имплицитная связь высказывания с жизнью людей, в частности, обращение к сфере интимных отношений людей, д) оценка самим человеком содержания своей речи и поведения как чего-то значительного, е) в большинстве случаев расхождение в оценке объекта и субъекта оценки. Таким образом, в *пошлости* сочетаются стремление человека к значительности и обращение его при этом к общеизвестным вещам.

*Пошлым* человек становится, когда сводит свою жизнь и свой образ мыслей к определенному шаблону: говорит со значительностью банальные вещи и тем самым лишает себя индивидуальности.

Если обратиться к литературным примерам со словом *вульгарный*, они подтверждают как присутствие наблюдателя в семантике прилагательного *вульгарный*, так и «дискретность» семантики данного слова, выражающуюся в сочетаемости с предметными существительными, называющими аксессуары мужского и дамского туалета.

*Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с **вульгарною** лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша (А.П. Чехов «Дама с собачкой»).*

Он никогда не обращал на нее внимания и не запомнил ее лица. Но, вероятно, это была она — с накрашенными губами, **вульгарная** и неприятная особа с вихляющимися бедрами. (М.М. Зощенко «Возвращенная молодость»). В последнем примере речь идет о внешности, манерах и поведении женщины, поэтому уместно употребление прилагательного **вульгарный**.

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5 часов дня из смотровой, где рассказывает это существо, слышится явственно **вульгарная** ругань и слова «Еще парочку». (М.А. Булгаков «Собачье сердце»).

Вернемся к В.В. Набокову. Переводя русскую классику на английский язык, он интересовался проблемой пошлости. В статьях о Н.В. Гоголе (1944 года) и «Поляки и пошлость» этому качеству уделено много внимания.

Набокову принадлежит и еще одно пронизательное замечание, которое можно было бы интерпретировать так: пошлость — своеобразное «метаслово», его появление свидетельствует об определенном уровне развития общества: «Буржуа — это самодовольный мещанин, величественный обыватель. Маловероятно, чтобы этот тип существовал в первобытном обществе, хотя элементы мещанства можно обнаружить и там. <...> Я утверждаю, что простой, не тронутый цивилизацией человек редко бывает пошляком, поскольку пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний лоск» [Набоков 1998б: 384, 388]. Кроме того, Набоков предположил, что носителем пошлости может быть взрослый городской житель, ребенок несознательно репродуцирует поведение взрослых, для того же, «чтобы крестьянину стать пошлым, он должен переехать в город» [Набоков 1998б: 388].

По мнению писателя, трудности перевода этого слова связаны с его безэквивалентностью.

«У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанства — пошлость. Пошлость — это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Припечатывая что-то словом «пошлость», мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд. Все подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым» [Набоков 1998б: 388].

Итак, пошлость — содержательная, внутренняя, неотъемлемая характеристика человека, выражающаяся в его поведении, над которым человек не властен, поэтому эта характеристика и качество недискретны. Что касается вульгарности — это внешняя (наблюдаемая) характеристика человека, выражающаяся в поведении (внешних проявлениях), отражающая как дурной вкус, так и волю человека, поэтому дискретная и применимая к различным предметам. При семантической близости слов *пошлый* и *вульгарный* они различны по тому, как сам человек (объект оценки) определяет свой статус в отношении социума (определенной страты): в первом случае человек

ориентируется на принятые образцы, модели поведения, стремясь быть как все, во втором — человек, наоборот, не обладая вкусом, стремится сделаться заметным, выделиться из массы.

### Литература

Бабкин, Шендецов 1981, 1987 — А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. Словарь иноязычных выражений и слов. Т. 1 - 2. Л., Т. 1 1981, Т. 2, 1987.

БАС — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1 – 17. М.;Л., 1948-1968.

Бодрийяр 2001 — Ж. Бодрийяр. Система вещей. М., 2001.

Виноградов 1999 — В.В. Виноградов. История слов. М., 1999.

Гейм 1809 — И. Гейм. Французский и российский словарь, сочиненный по лучшим и новейшим французским словарям в пользу Российского юношества и иностранцев, а особливо французской нации Иваном Геймом. Т. 1 – 2. М., 1809.

Даль — В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 – 4. М., 1978-1980.

Дворецкий 1976 — И.Х. Дворецкий. Латинско-русский словарь. М., 1976.

Крысин 1998 — Л.П. Крысин. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.

Кузнецов 2001 — Современный толковый словарь русского языка / Авт. проекта и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 2001.

Лотман 1980 — Ю.М. Лотман. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1980.

Лотман 1994 — Ю.М. Лотман. Русский дендизм // Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начала XIX века). СПб., 1994. С. 123-135.

МАС — Словарь русского языка. Т. 1 - 4. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд. М., 1981-1984.

Михельсон — М.И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Т. 1 - 2. М., 1994.

Набоков 1998а — В.В. Набоков. Комментарий к роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Пер. с англ. СПб., 1998.

Набоков 1998б — В.В. Набоков. Пошляки и пошлость // В.В. Набоков. Лекции по русской литературе. М., 1998. С. 384-388.

Ожегов — С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е. М., 1999.

Паренного 1808–1817 — М. Паренного. Новый английско-русский словарь, составленный по английским словарям гг. Джонсона, Еберса и Робинета надворным советником Михаилом Паренного. Ч. 1 - 4. М., 1808-1817.

Плюшар — А. Плюшар. Энциклопедический лексикон. Т. 1 - 17. СПб., 1835-1841.

САР — Словарь Академии Российской по азбучному порядку. Т. 1 - 6. СПб, 1806-1822.

СИС — Словарь иностранных слов. 11-е изд. М., 1984.

Степанов 1981 — Ю.С. Степанов. Имена, предикаты, предложения (Семиотическая грамматика). М., 1981.

СЦСРЯ 1847/1867 — Словарь церковно-славянского и русского языка. / Сост. Вторым отд. Академии наук. Т. 1- 4. 1-е изд. СПб., 1847; 2-е изд. СПб, 1867.

СЯП — Словарь языка Пушкина. Т. 1 - 4. М., 1956-1961.

Татищев 1816 — И. Татищев. Полный французско-русский словарь, составленный по новейшему изданию Французской академии и умноженный вновь введенными словами, также техническими терминами надворным советником Иваном Татищевым. Ч. 1 – 2. М., 1816.

Татищев 1824 — [И. Татищев]. Полный французско-русский словарь, сочиненный по пятому изданию словаря Академии Французской. Изд. 3-е, противу второго издания Французско-Российского г-на Статского Советника И. Татищева, исправленное и во многом дополненное. Т. 1–4. СПб., 1924.

Татищев 1827-1828 — [И. Татищев]. Полный французско-русский словарь, составленный по новейшему изданию Французского лексикона Вальи и некоторых других статским советником Иваном Татищевым. Ч. 1 - 2. Изд. 2-е. М., 1827-1828.

Татищев 1839-1841 — И. Татищев. Всеобщий французско-русский словарь, составленный Иваном Татищевым. Ч. 1 – 2. М., 1839-1941.

Ушаков — Толковый словарь русского языка / Под. ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1–4 . М., 1996.

Т.В. ПЕНТКОВСКАЯ  
**ЛЕКСИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ В ИЗУЧЕНИИ  
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ:  
ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ГРУППИРОВКИ**

В настоящее время уже никто не сомневается в том, что переводческая деятельность осуществлялась не только у южных, но также и у восточных славян, и что эта деятельность началась еще в древнейший период развития книжного языка на Руси. Однако восточнославянские и южнославянские переводы византийских текстов во многом близки между собой, что было обусловлено общностью книжного языка южных и восточных славян. Для различения этих переводов еще в конце XIX в. русскими учеными (И.И. Срезневским, А.И. Соболевским) был предложен лексический критерий: в словарном составе рассматриваемого текста выявлялись специфические лексические единицы, имевшие регионально ограниченное распространение, что служило основанием для его локализации. На основании наличия такой лексики был составлен список переводов, выполненных на Руси в “домонгольский” период [Соболевский 1980: 134-137; Дурново 1969: 105-111].

Некоторая ограниченность этой методики изучения языка переводных памятников вызвала необходимость как в дополнении и уточнении принципов исследования лексики, так и в выработке новых методов исследования. Так, понятие лексического регионализма было расширено, и в него были включены не только слова, имеющие корень, распространенный только в одном или нескольких славянских языках, но и словообразовательные и семантические регионализмы [Пичхадзе 1998: 477-484]. Важное место при локализации переводов уделяется в настоящее время исследованию текстологической традиции, которое позволяет доказать принадлежность регионализма архетипу перевода [Молдован 1994: 71-73], а также изучению рукописной традиции греческого оригинала, в случае, если сохранившиеся греческие списки близки ко времени возникновения перевода [Максимович 1998: 400]. Принимаются во внимание и синтаксические особенности переводов, которые рассматриваются в региональном аспекте [Bräuer 1957; Bräuer 1959; Бройер 1962; Молдован 1994 а; Пичхадзе 1998: 484-486]. На основании результатов проведенных исследований уточняется и сам список переводов, выполненных в Древней Руси, из которого к настоящему времени исключены некоторые переводные тексты,

содержащие отдельные лексические восточнославянизмы (например, Житие Феодора Студита, Повесть об Акире).

Но неизменным остается избирательный подход к лексике славянского перевода, при котором вся лексика делится на общую (общеславянскую) и региональную, и при локализации переводов рассматривается только региональная лексика, которая во всех случаях составляет менее одного процента от всего лексического состава текста. В свою очередь, на основании наличия общих регионализмов производится группировка переводных текстов. Таким образом, именно исключения-регионализмы определяют лексический метод исследования переводных текстов.

Однако к настоящему времени накоплен большой материал по словарному составу древнеславянских переводов, который позволяет установить, как в разных текстах переводилась одна и та же лексическая единица, имевшая одно и то же значение. В значительной степени этому способствуют составленные славяно-греческие и греческо-славянские словоуказатели к переводам Хроники Георгия Амартола (далее - ХГА)<sup>1</sup>, Повести о Варлааме и Иоасафе [Лебедева 1988], Жития Андрея Юродивого (далее - ЖАЮ)<sup>2</sup>, к юридическим текстам Пандект Никона Черногорца (далее - ПНЧ) [Максимович 1998а], к переводу Истории Иудейской войны, Пчеле<sup>3</sup>, древнейшему переводу Житию Василия Нового (далее - ЖВН)<sup>4</sup>, Декабрьской минее [Christians 2001] и др.

Эти материалы позволяют по-иному взглянуть на те переводы раннего периода, происхождение которых традиционно связывается с восточнославянским языковым ареалом. Так, например, в конце XI - начале XII века в Древней Руси были переведены два константинопольских жития X в., обнаруживающие значительное содержательное сходство, - ЖАЮ и ЖВН. Сопоставление словарного состава ЖАЮ<sup>5</sup> и ЖВН<sup>6</sup> показало, что эти переводы объединяет наличие некоторых общих северо- и восточнославянских лексических регионализмов:

**корстица (керстица)** - κιβώτιον, σκευάριον; βαλάντιον 'мешок, кошелек' (ЖВН), ср. **кърста** (θήκη) 'гроб' (ЖАЮ)<sup>7</sup>;

<sup>1</sup> Примеры из ХГА приводятся по изданию [Истрин 1930].

<sup>2</sup> Примеры из ЖАЮ приводятся по изданию [Молдован 2000].

<sup>3</sup> Древнейшие переводы Истории Иудейской войны и Пчелы в настоящее время готовятся к публикации Институтом русского языка РАН.

<sup>4</sup> В работе используются материалы славяно-греческого указателя к древнейшему переводу ЖВН, который в настоящее время готовится к публикации автором.

<sup>5</sup> Подробнее о лексических регионализмах ЖАЮ см. [Молдован 2000];

<sup>6</sup> О лексических регионализмах ЖВН см. [Михайлычева 1998].

<sup>7</sup> Регионализм **кърстица** зафиксирован также в Истории Иудейской войны, Александрии первой редакции [Соболевский 1980: 139-140]. Регионализм **кърста** имеется и в древнейшем переводе ХГА (здесь словом **кърста** переводится *λάριναξ* и *σορός*). Однако для перевода *λάριναξ* используется также общецерковнославянское **рака**, а для перевода *σορός* - **ковъчегъ** и **рака**).

**москолоудьникъ** (μελωτοποιός) ‘шут’ (ЖВН), ср. **москолоудити** (μιμολογέομαι) ‘кривляться, насмешничать’, **москолоудик** (μιμολογία) ‘кривляние, шутство’, **москолоудъ** (μελοιαστής) ‘насмешник’ (ЖАЮ);

**осладъ** (φούρκα) ‘виселица’ (ЖВН), ср. **осладнице** (φούρκα) ‘то же’ (ЖАЮ);

**трьпастъкъ** (πιθήκιον) ‘обезьяна’ (ЖВН и ЖАЮ)<sup>8</sup>;

**синь** ‘черный’ (ЖВН и ЖАЮ)<sup>9</sup>; **синьць** (αἰθίοψ) ‘дьявол’ (ЖВН и ЖАЮ)<sup>10</sup>, в ЖАЮ имеется еще **посинильць** ‘то же’ (ЖАЮ).

Кроме того, общим для этих двух переводов является гапакс **отродъ** (ἡλιακός) ‘аркада, портик (?)’<sup>11</sup>, одинаково переводится в них и константинопольский топоним Βοῦς - **волоуи** **търгъ**<sup>12</sup>.

Имеется в каждом из переводов и грецизм **грамота** ‘буква’ (ср. греч. τὰ γράμματα), использование которого в указанном значении принято рассматривать как характерный русизм [Львов 1966; Молдован 2000: 92]. Однако слово **грамота** в значении ‘буква’ встречается в Изборнике 1073 г. [Срз. III: 78 доп.] и в Рязанской Кормчей 1284 г. [СДРЯ XI-XIV I: 381-382]. Более того, во втором, южнославянском переводе ЖВН<sup>13</sup> лексема **грамота** (‘буква’)<sup>14</sup> в соответствии с греческим τὰ γράμματα употребляется чаще, чем в первом переводе: ср. **грамота** **мльнииѡбразна** (второй перевод, с. 675, 12)<sup>15</sup>, **грамотоу ѿ мльниѡ** (первый перевод, 102 в)<sup>16</sup> -

<sup>8</sup> Данный регионализм отмечается также в древнейшем переводе Пандект Никона Черногорца, Хроники Георгия Амартола, в переводе Христианской Топографии Козьмы Индикоплова (в форме **трапѡтски**), в Пчеле [Срз. III: 1017-1018; 987; Соболевский 1980: 141], существует еще вариант **трипѣскъ** [Срз. III: 998].

<sup>9</sup> Встречается также в древнейшем переводе Пандект Никона Черногорца [Срз. III: 356].

<sup>10</sup> Кроме этих текстов, встречается в древнейшем переводе Пандект Никона Черногорца, в Сказании об Акире Премудром, апокрифическом Исходе Моисея [Срз. III: 358; Соболевский 1980: 144-145].

<sup>11</sup> Ср. в древнейшем переводе Хроники Георгия Амартола ἡλιακός ‘портик’ передается русизмом **сѣни** [Пичхадзе 2002].

<sup>12</sup> Такой же перевод встречается в Нестишном прологе краткой редакции: **па(̅м̅). тѡ(̅ѡ)римь... ѡбразѡ гѡ нѣего нѣ х(̅с̅)а: и ѡхѡж(д)ашѣ враты. оу волоуѡга трьга на кони** (16 августа, Лесновский пролог, 303 а), ср. ἐρχεται ἔφιππος εἰς τὸ Βοσπόριον (р. 903), а также в ХГА: **глаголемѡе на волуи торгѡ** - κατὰ τὴν βοῶς λεγομένην ἀγοράν [Срз. I: 296].

<sup>13</sup> Перевод был создан, как полагают, в к. XIII-нач. XIV вв. в южнославянских землях [Вилинский 1913: 227-231].

<sup>14</sup> В русских списках второго перевода ЖВН отмечается также вариант **грамота**.

<sup>15</sup> Примеры из второго перевода ЖВН приводятся по изданию [Вилинский 1911: 624-742].

<sup>16</sup> Примеры из первого перевода ЖВН приводятся по рукописи Егор. 162.

γράμματα ἐξ ἀστραπῆς (с. 53, 21)<sup>17</sup>; но **єдиномоу комоуждо ихъ гавлѣхочесе на тѣмени граматами чрьвлен'нами дѣбаниа кокоуждо** (второй перевод, с. 678, 11) - γράμμασιν ἀληθινοῖς (с. 55, 38), ср. **писаніємъ чернилнымъ** (первый перевод, л. 105 а).

Тем не менее, наличие общих лексических регионализмов не является достаточным для установления особых связей между древнейшими переводами ЖАЮ и ЖВН. Систематическое сопоставление их лексического состава позволяет выявить существенные различия в передаче слов, общих для их греческих оригиналов. Так, некоторым регионализмам ЖАЮ соответствуют общеславянские слова в ЖВН: μαργαρίτης - **жьмьчюггъ** (ЖАЮ), ср. **висьръ** (ЖВН); ἰατρός - **лѣчьць** (ЖАЮ), ср. **врачь** (ЖВН); κυθρίδιον - **горшокъ, горшьчкъ** (ЖАЮ), ср. χύτρα (κύτρα) **гърньць** (ЖВН); ἀγοράζω, ὠνέομαι - **крити** (ЖАЮ), ср. **коупити** (ЖВН)<sup>18</sup>. Древнейшие переводы ЖАЮ и ЖВН расходятся и при выборе общеславянского эквивалента для передачи одного и того же греческого слова:

1. εὐκτήριον: **цьрки, цьрки малы, цьркъвътка**, регионализмы **божьница** и **божьнъка** (ЖАЮ) - ср. **цьркъвица** (ЖВН). Вариант ЖАЮ с суффиксом **-тък** может рассматриваться как региональный (об этом суффиксе см. [Пичхадзе 1998: 480-481]), тогда как вариант **цьркъвица**, выбранный переводчиком ЖВН, является стандартным церковнославянским и характеризует такие памятники, как Супрасльская рукопись [Цейтлин и др. 1994: 771], Синайский Патерик; Ефремовская кормчая [Срз. II: 1442].

2. ῥάβδος: **палица, батогъ** (ЖАЮ) - ср. **жьзль, жьзлик** (ЖВН); ῥάβδος πύρινος (πυρίνη): **палица пламна** (ЖАЮ) - **жезль огненыи** (ЖВН). Однако слово **палица** встречается и в ЖВН, где оно используется для перевода греческих слов ῥομφαία, ῥόπαλον, ξύλον, тогда как слово **жьзль** (и **жьзлик**) в древнейшем переводе ЖАЮ не зафиксировано, в отличие от южнославянского перевода этого текста, выполненного в XIV в. [Молдован 2000: 79].

3. Принципиально различаются переводы ЖАЮ и ЖВН при передаче сложений, в большом количестве присутствующих в греческих оригиналах, - если переводчик ЖАЮ предпочитал словосочетания, то переводчик ЖВН систематически использовал сложения: μελίρροτος – **медъ**

<sup>17</sup> Греческий текст ЖВН приводится по изданию [Вилинский 1911].

<sup>18</sup> Следует обратить внимание на то, что в переводе ЖАЮ наряду с региональными вариантами используются и их стандартные синонимы: чаще, чем регионализм **крити** (3 раза), в ЖАЮ употребляется стандартный глагол **коупити** (6 раз); наряду с локальным **горшокъ** (2 раза), **горшьчкъ** (1 раз) используется трижды и стандартное **гърньць** (**гроньць**). Характерно, что при редактировании древнейшего перевода ЖАЮ некоторые локальные слова заменяются на стандартные церковнославянские: **лница** исправляется в рукописях на стандартное **мѣдлница** и **мѣдъница** [Молдован 2000: 64], в некоторых списках **божьница** заменена на **црѣвца** [Срз. III: 1444]. Направление замен демонстрирует очевидное стремление редакторов ЖАЮ выровнять язык этого перевода и устранить его расхождение с другими переводными текстами.

капла (ЖАЮ), ср. медоточныи (ЖВН), ἀστραπομόρφος - молъ[ни]инъ образъ (ЖАЮ), ср. мълникообразънъ (ЖВН), γαληνομόρφως - доброю тихостью (ЖАЮ), ср. тихообразно, тихимъ образомъ, γαληνόμορφος - тихообразънъ (ЖВН).

4. Слово χλαίνα ‘род верхней одежды, зимний плащ, покрывало’ в ЖАЮ оставлено без перевода:<sup>19</sup> авьк оузри оцивѣсть м(ч)ка х(с)ва. одѣна хленою чер[ва]еною - θεωρεῖ καὶ αὐθις ὀφθαλμοφανῶς τὸν τοῦ Χριστοῦ ἀθλοφόρον χλαῖναν κοκκίνην ἡμφιεσμένον [Молдован 2000: 397; 594]. Ср. перевод сложения в ЖАЮ: и нѣкто оуноша одѣнъ в баграницю - καὶ τις χλαινηφόρος νεανίας (922); одѣни (в др. списках одѣ(а)нъ, одѣныи) багромъ - χλαινηφόρος (937). В ЖВН, напротив, слово χλαίνα переводится как браница: Ѹньшѣ браници (176 а) - ср. χλαίνας θεοῦφάντους (332 г), причем слово браница является гапаксом, производным от брати ‘ткать узорами’ (ср. словен. *brânja* ‘складка’, рус. диал. *брань* ‘узорчатая ткань’, *бранина* ‘род тканья’, *бранный* ‘тканый узорами, узорчатый’).

5. При сказуемом с отрицанием (на месте греческого οὐκέτι и др.) в древнерусском переводе ЖАЮ несколько раз употребляется наречие **боле** и наречное сочетание **боле того** ‘уже не, больше не’, которым в южнославянском переводе ЖАЮ соответствует стандартное сочетание **къ томоу** [Молдован 2000: 91-92]. В древнейшем переводе ЖВН в соответствующих случаях систематически используется сочетание **къ томоу**, что свидетельствует о применении переводчиком стандартных церковнославянских средств.

Переводы ЖВН и ЖАЮ различаются между собой не только выбором славянского эквивалента, но и частотностью употребления некоторых лексических единиц:

а) **дънѣ** - **дъноу** (ἐνδον) ‘внутри’: на 4 случая употребления **дънѣ** в ЖАЮ приходится 10 случаев употребления **дъноу** с тем же значением, тогда как в ЖВН используется только **дънѣ** (4 случая), а вариант **дъноу** не встречается;

б) **около** – **окръстъ** (κύκλω) ‘вокруг’: В ЖАЮ систематически употребляется лексема **около** (15 раз), регулярное использование которой в качестве основного средства для выражения значения

<sup>19</sup> Оставленные без перевода грецизмы, которые имеют устойчивые славянские эквиваленты, характерны для переводов, выполненных в славяно-греческой контактной зоне [Соболевский 1910: 126]. Помимо транслитерированного слова **хлена**, в древнейшем переводе ЖАЮ интерес в этом отношении представляет также грецизм **салось** (σαλός), который отмечается трижды на фоне его регулярного славянского эквивалента **похабъ** (это слово употреблено в переводе 37 раз), а также восходящее к архетипу транслитерированное прилагательное **ѣзихось** (ἐξίχος), которое в этом переводе обычно передается регионализмом **боголишь**, представленным десятком словоупотреблений [Молдован 2000: 41; Срз. I: 822]. В связи с этим следует обратить особое внимание на предположение А.М. Молдована о том, что русский переводчик ЖАЮ мог выполнять свою работу в Константинополе [Молдован 2000: 104].

‘вокруг’ характерно для древнерусских памятников [Павлова 1977: 74-92]<sup>20</sup>. Эта лексема 6 раз встречается и в ЖВН, но здесь с высокой частотностью (33 раза) использовано слово **окръсть**. Такое соотношение **около** и **окръсть** показательно для описания общей нормы древнейшего перевода ЖВН, ориентированного на образцы стандартного церковнославянского языка.

И последнее: два рассматриваемых перевода различаются между собой в отношении использования частиц. Язык перевода ЖАЮ отличает обилие частиц, в частности, здесь широко представлено использование частицы **ти**, немотивированное греческим оригиналом. Частота использования **ти** в ЖАЮ (эта частица встречается в тексте 17 раз) сопоставима с частотой ее использования в древненовгородских текстах [Молдован 1994 а: 194]. Напротив, в переводе ЖВН частица **ти** встречается лишь один раз в соответствии с греческим ἀκρίῃ (во втором переводе ЖВН в данном случае употреблено наречие **кщѣ**) [Михайлычева 1998: 132].

Как свидетельствует рассмотренный материал, и в ЖАЮ, и в ЖВН имеется совокупность таких лингвистических особенностей, которые неизвестны за пределами восточнославянских языков, причем в некоторых случаях эти лингвистические особенности являются общими для двух переводов. Однако между этими переводами не наблюдается единства в области языка и переводческой техники, что не позволяет считать их продукцией одного переводческого центра или же одной переводческой школы. В своей деятельности переводчик ЖВН строго следовал образцам стандартного церковнославянского языка, и ориентировался, прежде всего, на корпус древнеболгарских переводов. Напротив, все особенности языка перевода ЖАЮ были обусловлены существенной адаптацией церковнославянского языка переводчика к восточнославянской языковой среде.

Судя по всему, два рассматриваемые перевода не были выполнены одновременно. Перевод ЖВН представляется более ранним по отношению к переводу ЖАЮ, в котором зафиксированы процессы адаптации церковнославянского языка русского извода в области лексики и синтаксиса, аналогичные процессам адаптации в области орфографии и морфологии, и отражена локальная норма церковнославянского языка, характерная для одного из древнерусских центров в начале XII века. Лексические данные перевода ЖАЮ позволяют связать этот центр с северо-западом Древней

---

<sup>20</sup> Праславянское *\*okolo* имеет продолжение во всех современных славянских языках [Фасмер III: 129], однако оно не встречается в старославянских памятниках, в которых данное значение выражалось с помощью лексем **окръжъ** и **окръсть**. Однако лексема **около** встречается и в среднеболгарских памятниках. См., в частности, Мучение св. Петки и распаніе коновное и каль иже бѣше въ нѣмь. иж(д)же все прѣ(д)стоукцею около елини. и измрѣше (Бдинский сб., л. 69 v). В качестве варианта **около** отмечается в русских списках Восьмикнижия, представляющих собой редакцию древнеболгарского происхождения, а также в списках русской редакции в книге Бытия XXIII, 17 (в южнославянских списках **овило**) и в книге Исход XL: 18 (в южнославянских списках **окръсть**) [Пичхадзе 1998: 476-477].

Руси [Молдован 2000: 100]. Применительно к переводу ЖВН аналогичный вопрос остается открытым.

Следует отметить, что некоторые совпадения общего характера, находящиеся за пределами региональной лексики, сближают перевод ЖВН с ХГА: τὰ βούετρα - **волоута жилы** (ХГА и ЖВН); ХГА **вои лодинни** - ναύμαχος; **вои въ лодинахъ** - στόλος; ср. ЖВН **вѡм лодїинымъ црѣвы** - τοῦ βασιλικοῦ στόλου; ХГА **лодинница** (πλοιάριον, πλώϊμος), **лодница** (πλοῖον), ср. ЖВН **ладница** (εἰς πλοῖον; **градъ** - τὸ κάστρον (ХГА и ЖВН); ХГА **жьзлъ** (ὁ ράβδος); **жьзльникъ** (ὁ ράβδουχος); **предъпоставити** - παριστάναι (ХГА и ЖВН). Тем не менее, объединению этих переводов препятствуют следующие различия при передаче лексики, общей их греческим оригиналам: ἐγγαστρίμυθος: **влъшьвеникъ оутробою, оутробоу влъшьвеникъ; чрѣвовлъшвеникъ; чрѣвовлшвеница, чрѣвовлшвенъ** (ХГА) - ѿ **чрева лжекощенници (!)** (ЖВН); ἡ παιδοφθορία: **отроковиць тлѣникъ; ὁ παιδοφθόρος: отроковиць тлѣнникъ** (ХГА) - **дѣтопогоуьникъ** (ЖВН); ἡ γαστριμαργία: **велеаденик, мъногообъаденик** (ХГА) - **чревоуобъаденик, чревоунесытьство** (ЖВН)<sup>21</sup>; γαστριμαργίος: **велеадень** (ХГА) - **чревоугодьникъ** (ЖВН); ἐργαστήριον: **дѣлательница, храмнина** (ХГА) - **кргастырь** (ЖВН); ἐργάτης: **дѣлатель** (ХГА) - ὁ ἐργαστικός: **кргастырьникъ, аргастырьникъ** (ЖВН); εὐκτήριον: **молитвѣница** (ХГА) - **цркѣвица** (ЖВН).

В ХГА словосочетание τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττειν ‘выколоть глаза, ослепить’ передается как **извѣртѣти очи**<sup>22</sup>, а в ЖВН используется сочетание **очи выати** - [Михайлычева 1998: 30].

Принципы перевода сложений в ЖВН и ХГА также существенно различаются: κοκκοβαφής: **въ чермно мочень, чрѣвленъ, чрѣвию очервленъ** (ХГА) - κοκκινοβαφής: **чрвленообразень** (ЖВН); μελανόχρους: **чрънь образомъ** (ХГА) - μελάγχρους: **чрнообразный** (ЖВН). В данном случае в переводе ХГА используется тот же принцип передачи сложений, что и в ЖАЮ, однако переводы лексических единиц, общих греческим оригиналам ЖАЮ и ХГА, не совпадают: ἡ λεκάνη - **мѣданица**; λεκανομαντεία - **въ мѣдници влъшвеник, мѣдницеу влъшвеник; λεκανομάντις - въ мѣдници влъхвогта** (ХГА); ср. ἡ λεκάνη - русизм **ланица** (ЖАЮ).

Таким образом, наличие общих лексических регионализмов (русизмов – случай ЖВН и ЖАЮ) или же наличие изолированных лексических совпадений в области общецерковнославянской лексики (случай ЖВН и ХГА) не является достаточным условием для объединения переводов. Здесь необходимо подчеркнуть, что между переводами, связанными с Древней Русью, имеются значительные расхождения и в области синтаксиса. Например, в переводе ЖВН при передаче различных греческих конструкций со значением цели, желания и

<sup>21</sup> Ср. в древнейшем переводе ЖАЮ ἡ γαστριμαργία - **объаденьк**.

<sup>22</sup> Это совпадает с вариантом, имеющимся в переводе Повести о Варлааме и Иоасафе [Пичхадзе 2002].

просьбы регулярно используется стандартная церковнославянская модель **да** с презенсом: на 56 случаев употребления этой модели приходится всего 7 случаев использования “севернославянской” модели **да** с конъюнктивом (общее соотношение 8:1). При этом в переводе ЖВН сравнительно часто фиксируются союзные сочетания **такъ да** и **да некъли**, которые используются в придаточных цели в старославянских и древнеболгарских текстах [Михайлычева 1998: 150-151]. Сходное с ЖВН соотношение стандартных и региональных синтаксических конструкций демонстрирует древнейший перевод Хроники Георгия Амартола, в котором на 90 косвенно-побудительных придаточных предложений, содержащих модель **да** с презенсом, приходится 11 предложений с конъюнктивом (общее соотношение 8:1) [Bräuer 1959: 332]. Аналогичное соотношение имеется и в переводе Истории Иудейской войны, где на 121 предложение, содержащее модель **да** с презенсом, приходится всего 14 предложений с конъюнктивом [Bräuer 1957: 211]. От этих переводов резко отличается по аналогичным характеристикам ЖАЮ: на 13 косвенно-побудительных придаточных предложений, содержащих конструкцию **да** с презенсом, приходится 43 случая конъюнктива, а союзные сочетания **такъ да** и **да некъли** не встречаются ни разу [Молдован 1994 а: 231 и 251]. Эти данные показывают, что переводы, объединяемые на основании наличия региональных лексем восточнославянского происхождения, не составляют единой группы в синтаксическом аспекте, причем в данном случае переводы ЖВН, Истории Иудейской войны, Хроники Георгия Амартола сближаются с переводами, выполненными в I Болгарском царстве.

Существенные осложнения при локализации перевода и последующей группировке возникают в таких случаях, когда в рассматриваемом тексте одновременно встречаются лексические регионализмы южнославянского и восточнославянского происхождения, которые принадлежат архетипу. Например, в древнейшем переводе Повести о Варлааме и Иоасафе фиксируются принадлежащие архетипу и лексические русизмы (**кънорозъ** ‘кабан’, **скотъница** ‘сокровищница’, **волога** ‘вид кушанья’), и болгаризмы (**котыникъ** ‘название колючего растения’, **оунырити** ‘присвоить, похитить, украсть’, **гърныльствовати(сѧ)** ‘отливать(ся) в печи’) [Пичхадзе 2000: 104-109]. Причины, обусловившие данную ситуацию, недостаточно ясны: с одной стороны, перевод мог быть выполнен в Древней Руси носителем болгарского языка, с другой стороны, болгаризмы могли быть принадлежностью книжного языка восточнославянского переводчика, знакомого с живым болгарским языком [Пичхадзе 2000: 109]. Сочетанием регионализмов разного происхождения характеризуется и перевод ХГА. Но здесь распределение болгаризмов и русизмов подчиняется определенным закономерностям: к болгаризмам принадлежат слова с абстрактным значением, тогда как русизмы отмечаются в сфере конкретной лексики [Пичхадзе 2002].

Особая ситуация лексического варьирования отмечена в славянском переводе византийского Синаксаря (этот перевод известен под названием

Нестишной Пролог краткой редакции – далее НСП), который содержит ряд русизмов, принадлежащих архетипу [Соболевский 1980: 146]. Однако одно и то же греческое слово в различных проложных статьях иногда переводится с использованием нескольких славянских эквивалентов, один из которых может быть характерным регионализмом.

1. Например, и болгарские, и русские списки XIV в. содержат русизм **вьрста** (τὸ μίλιον) в тексте статьи о св. Дионисии Ареопагите (3 октября): Лесн. **и иде вьрстѣ двѣ** (29 б)<sup>23</sup>; Пог. № 58 **вьрстѣ двѣ** (с. 73)<sup>24</sup>; РГАДА, ф. 381, № 155 **верьстѣ двѣ** (л. 17 в); РГАДА, ф. 381, № 158 **веръсты двѣ** (л. 39); РГАДА, ф. 381, № 160 **.ѡ. вѣрстѣ** (л. 37 об.) - μέχρι δύο μιλίων ἐβάδισε (р. 102)<sup>25</sup>.

Однако в других статьях НСП для перевода греческого τὸ μίλιον используется слово **попрыще**, которое, в частности, фиксируется в статьях:

о мученике Аресте (9 ноября): Лесн. **влѣчень вывь попрыщѣ .ѡ. ѡ гра(д) тоугана** (59 б) = Пог. № 58 (с. 163-164) = РГАДА, ф. 381, № 158 (л. 47 об.) = РГАДА, ф. 381, № 160 (л. 80) - ἐλαύνεται μίλια κδ' (р. 210);

о пророке Аввакуме (2 декабря): Лесн. **съ аггломь иде въ вавилонь. попрыщѣ .ѡ.ѡ.ѡ.** (77 б) = Пог. № 58 (с. 208-209) = РГАДА, ф. 381, № 158 (л. 97 об.) = РГАДА, ф. 381, № 155 (л. 88 а) - ἀπήχθη εἰς Βαβυλῶνα μίλια διακόσια ἐξήκοντα πέντε (р. 271);

об Иоанне Молчальнике (9 декабря): Лесн. **меж(д)оу пжтемь имжцимь .ѡ. попрыщѣ** (82 а) = Пог. № 58 (с. 220-221) = РГАДА, ф. 381, № 158 (л. 103 об.) = РГАДА, ф. 381 № 160 (л. 110) = РГАДА, ф. 381, № 155 (л. 96 в) - ἐν μέσῳ ὁδοῦ ἐχούσης μίλια πέντε (7 дек., р. 287);

о Данакте чтеце (16 января): Лесн. **и съкры на мѣстѣ тврьдѣ. ѡстоиши ѡ аглона .ѡ. попрыщѣ къ морю** (116 б) = Пог. № 58 (с. 326) = РГАДА, ф. 381, № 155 (л. 147 а) - ἀπέχοντα ἀπὸ Ἀυλῶς μίλια πέντε πρὸς θάλασσαν (р. 398).

2. По различным статьям НСП распределяется пара **пожаръ - запаленик** (ὁ ἐμπρησμός):<sup>26</sup>

воспоминание константинопольского пожара 468 года (1 сентября):

Лесн. **и паме(т) великааго пожара... и паме(т) пожарѣ ꙗ(с) зане сключивь. сии(х) ради нѣихъ вытени пожароу великоу коста(н)тина гра(д) при лвѣ велицѣмь ц(с)ри** (2 а); Пог. № 58 **пожару** (с. 4-5); РГАДА, ф. 381, № 158 **пожару** (1 об.-2) - καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου

<sup>23</sup> Примеры из Лесновского пролога приводятся по изданию [Павлова-Желязкова 1999].

<sup>24</sup> Примеры из Погодинского пролога приводятся по изданию [Абрамович 1916; 1917].

<sup>25</sup> Здесь и далее греческий текст цитируется по изданию [Delehaeye 1902].

<sup>26</sup> Памяти различных бедствий - пожаров (ὁ ἐμπρησμός), землетрясений (τὸ σεισμόν), солнечных затмений (ἡ ἔκλειψις τοῦ ἡλίου) - имелись в греческих Синаксарях [Давыдова 1999: 63] и входили в состав основного корпуса чтений НСП.

ἐμπρησμοῦ. Ἡ μνήμη ἐμπρησμοῦ ἐστὶ διὰ τὸ συμβῆναι διὰ τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν γενέσθαι ἐμπρησμόν μέγαν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ Λέοντος τοῦ μεγάλου βασιλέως (p. 3)<sup>27</sup>;

память преп. Маркиана, пресвитера Великой церкви (10 января): Лесн. **ТАКОВЫНА ЖЕ ИЗБАВИ МЛѢТВОУА. И ПОЖАРА** (110 а); Пог. № 58 **Ѡ ПОЖАРА** (с. 313); РГАДА, ф. 381, № 155 **Ѡ ПОЖАРА** (л. 140 г) - ἀπὸ τοῦ μεγάλου διέσωσεν ἐμπρησμοῦ (9 дек., p. 380).

Ср., однако, память священномученика Анфима Никомидийского (3 сентября): Лесн. **ПО ЗАПАЛЕНИ ЖЕ ЦР(К)ВНѢМЪ** (4 б); ; Пог. № 58 **ПО ЗАПАЛЕНИИ** (с. 11-12); РГАДА ф. 381 № 158 **ПО ЗАПАЛЕНЬИ** (л. 5) = РГАДА ф. 381 № 160 (л. 4 об.) - μετὰ δὲ τὸν ἐμπρησμόν τῆς Νικομηδέων ἐκκλησίας (p. 10).

3. Два различных словосочетания используются в краткой редакции НСП в значении 'плеть' (τὰ βούευρα) - **ГОВАЖДА ЖИЛЫ** и **ВОЛОУГА ЖИЛЫ**:

память мученика Севериана (9 сентября): Лесн. **И БИКНЬ КРѢПЦА ЖИЛАМИ ГОВЕЖ(Д)ИМИ** (11 а); Пог. № 58 **ЖИЛАМИ ГОВАЖДЫМИ** (с. 26); РГАДА ф. 381 № 158 **ЖИЛАМИ ГОВАЖИМИ** (л. 12) - μετὰ βουεύρων (p. 30);

память мученика Садока (19 октября): Лесн. **БИКНЬ БЫ(С) ЖИЛАМИ ГОВЕЖ(Д)АМИ** (42 б); РГАДА ф. 381 № 158 **ЖИЛАМИ ГОВАЖАМИ** (л. 55) = РГАДА ф. 381 № 160 (л. 55) = РГАДА, ф. 381, № 155 (38 б); Пог. № 58 **ЖИЛАМИ ГОВАЖ(Д)ИМИ** (с. 113) - βουεύροις (p. 150);

память мучеников Атика, Евдоксия и Агапия (2 ноября): Лесн. **И БИКНЫ ВЫШЕ ПО ПЛЕЩЬМА И ПО ЧРѢВОУ ЖИЛАМИ ГОВЕЖ(Д)АМИ** (54 а); Пог. № 58 **ГОВАЖДИМИ ЖИЛАМИ** (с. 147); РГАДА, ф. 381, № 155 **ЖИЛАМИ ГОВАЖИМИ** (л. 55 г); РГАДА ф. 381 № 158 **ЖИЛАМИ ГОВАЖИМИ** (л. 69 об.) = РГАДА ф. 381 № 160 (л. 71 об.); - βουεύροις (p. 190);

память мученика Варлаама (16 ноября): Лесн. **И БИКНЬ БЫ(С) ЖИЛАМИ ГОВЕЖ(Д)ИМИ** (64 б); Пог. № 58 **ЖИЛАМИ ГОВАЖ(Д)ИМИ** (с. 177); **ЖИЛАМИ ГОВАЖИМИ** (РГАДА ф. 381 № 155, л. 90 г) = РГАДА ф. 381 № 158 (л. 83 об.) = РГАДА ф. 381 № 160 (л. 86) - βουεύροις (p. 227);

память мученика Феодота епископа (19 января): Лесн. **БИКНЬ БЫ(С) ЖИЛАМИ ГОВАЖ(Д)ИМИ** (119 а); Пог. № 58 **ЖИЛАМИ ГОВАЖДАМИ** (с. 332); РГАДА ф. 381 № 160 **ЖИЛАМИ ГОВАЖАМИ** (л. 154) - βουεύροις (p. 404).

Ср. память мученика и чудотворца Артемия (20 октября): Лесн. **БИК(Н) БЫ(С) Ѡ НЕГО ВОЛОУГАМИ ЖИЛАМИ** (43 б); Пог. № 58 **ВОЛОУГАМИ ЖИЛАМИ** (с. 116); РГАДА ф. 381 № 155 **ВОЛУГАМИ ЖИЛАМИ** (л. 39 а); РГАДА ф. 381 № 158 **ВОЛУГАМИ ЖИЛАМИ** (л. 55 об.) = РГАДА ф. 381 № 160 (л. 56) - βουεύροις (p. 151).

Выражение **ГОВАЖДА ЖИЛЫ** (βούευρα) дважды встречается в сходном контексте и в Супрасльском сборнике: **ПОВЕЛѢ... БИТИ Ї ГОВАЖДАМИ ЖИЛАМИ** (βουεύροις) **ПО ВЪСЕМОУ ТѢЛОУ** (Житие Кондрата, 113. 7); **ПОВЕЛѢ БИТИ А... ЖИЛАМИ ГОВАЖДАМИ** (μετὰ... βουεύρων) (Житие

<sup>27</sup> Данная память включена в календарь Ассеманиева Евангелия и содержит грецизм: **ВЕЛИКОУМОУ ПРИСМОУ** (112 б β), она зафиксирована также в календарной части Слепченского апостола XII в. **ПАМАТЪ... ВЕЛИКОМОУ ЕМПРИЗМОУ** (102 а 7) [SJS 305, 573].

Терентия, Африкана и Помпия, 178. 6-7) [Старобългарски речник I: 352; Цейтлин и др. 1994: 173]. Прилагательное же **волоуи** в собственно старославянских памятниках не зафиксировано, хотя в них встречается существительное **волъ** (βοῦς) и прилагательное **воловьнъ** (τῶν βοῶν) [Цейтлин и др. 1994: 120]. Однако выражение **волоуѣа жылы** встречается в Житии Варлаама и Иоасафа: **волуѣами жылами зѣло оуранивъ** - βουεύροις [СДРЯ XI-XIV, I: 471], в Мучении Георгия (по апрельской Минее четвѣй XVI в.): **волѣами жылами бити** - βουεύροις [Срз. I: 296], в древнейшем переводе ХГА **волуѣами жылами бивше** - βουεύροις [СлРЯ XI-XVII вв., 3: 12-13], а в древнейшем переводе ЖВН **волоуѣа жылы** в соответствии с τὰ βοῦνευρα встречается 4 раза.

4. Соотношение лексем **керамида** - **чрѣпица** (**чрепина**) (οἱ κέραμοι), где первый вариант является грецизмом, представляет особый интерес. Слово **керамида** встречается в памяти свящennomученика Евсевия (под 22 июня): Лесн. **женѣ зловѣрнѣ арикѣа зломѣдрьствоуѣащи. керамидоѣа с покрова спадшѣ** (251 б); Пог. № 58 **женѣ зловѣрнѣ арнеѣаа мѣдрьствоуѣащи керамидѣ съ покрова спадшѣ** (с. 331); РГАДА, ф. 381, № 168 **женѣ зловѣрнѣ арикѣа мѣдрьствоуѣаща керемидою съ высоты оударивъшю** (л. 87); РГАДА, ф. 381, № 169 **женѣ зловѣрнѣ и арнеѣа мѣдрьствоуѣащи керемидою с покрова оударившю** (л. 128 об.); РГАДА, ф. 381, № 172 (1383 г.) **керемидою с покрова оударшю и** (91 в) - γυναικὸς κακοδόξου καὶ τὰ Ἰαρείου φρονούσης κέραμον ἀπὸ τινος στέγνους ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀγίου βαλούσης (р. 763). Ср. сходный контекст в болгарском переводе Хроники Иоанна Малалы: **и вѣргши жена керемиду** (керамѣда) **на главѣ его, оуѣазви его** [Срз. I: 1206];

память перенесения Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа (16 августа): Лесн. **и въжегъ свѣтильникъ бж(с)твѣнѣи иконѣ. и керамидоѣа заложи плинтами же и пекломь. изъвноу въходъ затворивъ. на равьноѣ ѡбавлениѣ оуправивъ** (304 а-б) - θρυαλλίδα πρὸς τῆ θεία εἰκόλι ἀνάψας καὶ κέραμον ἐπιθεῖς τιτάνω τε καὶ πλίνθοις ἔξω τὸ ἐμβαδὸν ἀποφράξας εἰς ὀμαλὴν εἰπιφάνειαν τὸ τεῖχος ἀπηύθυνε· (р. 899); там же **и свѣтильникъ за толико вѣрѣма не оугашыши. на съхранениѣ же положенѣа керамидѣ** (304 б) - καὶ τὴν θρυαλλίδα ἐν τοσοῦτω χρόνῳ μὴ ἀποσβεσθεῖσαν, τὸν πρὸς φυλακὴν δὲ ἐπιτεθέντα κέραμον (р. 899);

Пог. № 58 **на съхранение божествьногоу образоу положенѣа керамидѣ** (с. 407); РГАДА, ф. 381, № 168 **свѣтильникъ бж(с)твѣнѣи иконѣ въжегъ и керемидою заложъ ... на съхранениѣ же положенѣю керемиду** (л. 126 об.); РГАДА, ф. 381, № 169 **свѣтильникъ бж(с)твѣнѣи иконѣ въжегъ и керемидою заложи ... на съхраненѣю же керемиду положенѣю** (л. 181 об.); РГАДА, ф. 381, № 172 **керемидою заложъ. плнстами же и пекломь замазавъ. изавнѣу въходъ заградивъ** (л. 143 г) ... **на съхраненѣе. положенѣю керемиду** (144 а).

Ср. воспоминание о падении вулканического пепла (5 ноября): Лесн. **иже и пожеже все садовник на чрѣпицахъ падын како педи моужьскыа кдиноу педию** (56 б); Пог. № 58 **иже пожеже**

**все садовие на чрѣпицахъ пади тако педи мѣжьскыа** (с. 155); РГАДА, ф. 381, № 158 **иже и пожьже садовык и на чрепинахъ падъ акы пади мѣжьскыа** (л. 73); РГАДА, ф. 381, № 155 **иже пожьже все садовик. на чрепинахъ падъ. тако и пади мѣжьскыа кдиноа** (л. 59 а) - ср. Ἀνάμιησις τῆς πεσοῦσης κόψεως ἦτοι στακτῆς. ср. ὡς εὔρεθῆναι ὑπεράνω τῆς γῆς καὶ τῶν κεράμων ἐπιτεθείσα ἀνδρείας σπιθαμῆς πλείον· ἥτις κατέκαυσε πάντα τὰ φυτά· (р. 198-199). Однако в болгарском переводе Хроники Иоанна Малалы при упоминании об этом же самом событии использован грецизм: **въ црѣствни его одожди в Коньстантинѣ градѣ попеломъ в дожда мѣсто и паде на керамидии** (εἰς τοὺς κεράμους) **пади вышши** [СлРЯ XI-XVII вв., 7: 114].

Как показывает анализ лексики старославянских текстов, в значении ‘черепица, черепичная кровля’ в этих текстах, в соответствии с греческим οἱ κέρατοι, использовалось слово **скждель** [Мирчев 1961: 247-249; Цейтлин и др. 1994: 608]. Однако уже в ХГА в близком значении ‘плита, кровельный материал’ встречается **керамида: керамиды же мѣданы льганы покры домъ** (κεραμίσι) [СДРЯ XI-XIV, 4: 209]. Это же словоупотребление зафиксировано в Истории Иудейской войны, Сказании об Акире Премудром, Евангелии от Фомы и более поздних памятниках; см. также собирательное **керамидие (керемидие)** [Сл. РЯ XI-XVII вв., 7: 114; Срз. I: 1206]. В Огласительных Поучениях Феодора Студита (по сп. XIV в.) и в Минее четвѣй зафиксировано слово **керемидьникъ** ‘горшечник’ (ὁ κεραμεύς) [СДРЯ XI-XIV, 4: 209; Срз. I: 1205], а в болгарском переводе Откровения Мефодия Патарского имеется слово **кераменникъ** ‘гончар’ (ὁ κεραμεύς) [СлРЯ XI-XVII вв., 7: 114]. Как свидетельствуют словарные данные, слово **керемида** было заимствовано из греческого языка в ранний период, о чем говорит его наличие в переводах, выполненных в XI веке. Заимствование это активно употреблялось в славяно-греческой контактной зоне и сохранилось в современном болгарском языке [Геров II: 361; Андрейчин и др. 1976: 332].

Как показывает анализ использования синонимичной лексики в НСП (пары **вьрста / попьрице, пожаръ / запаленик; говажда жылы / волоуѣ жылы; керамида / чрѣпица**), в различных проложных статьях синонимичные лексемы могут варьироваться, но они не заменяют одна другую в различных списках одной и той же статьи. Следовательно, синонимические лексемы принадлежат архетипу перевода соответствующих статей, а однотипность выражений, используемых в синаксарных текстах, исключает возможность синонимического варьирования в условиях контекста. В таком случае наличие лексических дублетов, каждый из которых принадлежит архетипу соответствующих статей НСП краткой редакции, не обусловлено «открытостью» его структуры и не указывает на поэтапное пополнение некоего первоначального текста при переходе из одной славянской среды в другую, а свидетельствует о работе нескольких переводчиков. Сходная ситуация наблюдается, например, в переводе Студийско-Алексеевского Устава, выполненном в Древней Руси на рубеже 60-70-х годов XI в., где слово

ιάρθηξ в одних разделах переводится с помощью севернославянского регионализма **прибожьнъкъ**, тогда как в других систематически используется общее для книжного языка южных и восточных славян слово **папъртъ** [Пентковский 2001: 169]. Предположение о работе нескольких переводчиков высказывалось и для Ефремовской Кормчей XII в., содержащей южнославянский перевод Синтагмы XIV титулов, так как в этом тексте отмечены несколько лексических дублетов в сфере специальной канонической терминологии: *πρεσβύτερος* - **попъ** и **прозвѣтеръ** (**презвитеръ**), *λαϊκός* - **простыць**, **люжанинъ**, **людинъ**, **бѣльць** [Максимович 1996: 172-173].

Обращение к НСП краткой редакции показывает, что переводные произведения сложного состава, несколько раз переводившиеся и редактировавшиеся, переходившие из одной славянской среды в другую, необходимо рассматривать постатейно. Это относится и к переводу Пролога, и к переводам Хроник, и, особенно, к древнейшему переводу Пандект Никона Черногорца, в котором отмечены значительные лексические расхождения между списками, принадлежащими к разным изводам церковнославянского языка<sup>28</sup>. Эти лексические дублеты и наличие значительного пласта региональной лексики (русизмов) стало причиной острой полемики о происхождении этого перевода [Pavlova - Bogdanova 2000; Богданова 2001; Максимович 2001]. Неоднозначную интерпретацию получили и грецизмы, находящиеся в списках древнейшего перевода ПНЧ. Например, в 12-ом слове грецизм **прахторъ**, имеющийся в сербском списке XIII в. из собрания Хиландарского монастыря на Афоне (лексические данные славянских списков древнейшего перевода ПНЧ приводятся по изданию [Pavlova - Bogdanova 2000]), противостоит русизму **посадникъ**, имеющемуся в русских списках<sup>29</sup>. Несмотря на использование грецизма **прахторъ** (из греч. *πράκτωρ*) в юридических текстах болгарского происхождения<sup>30</sup>, его принадлежность архетипу перевода ПНЧ требует дополнительных доказательств, так как в греческом оригинале имеется *ἑκδικός* 'судебный чиновник по делам церкви' [Максимович 2001: 204-205]. В свою очередь, в славянской традиции был известен и грецизм **екдикъ**, который встречается, в частности, в славянском переводе Синагоги L титулов, известном также как Номоканон Мефодия [Срз. 3, доп.: 102; СлРЯ XI-XVII вв., 5: 42].

<sup>28</sup> В частности, русизму **вѣверица**, содержащемуся в русских списках, соответствует стандартное церковнославянское слово **мѣдница** в сербском; слову **нѣкыи** в русских списках соответствует **етеръ** в сербском; в русских списках содержится регионализм **роскльчити**, а в сербском ему соответствует нейтральное **раздати** и т.д.

<sup>29</sup> В одном из русских списков в указанном месте читается нейтральное **властель** [Богданова 2001: 106].

<sup>30</sup> Он неоднократно отмечается в грамотах болгарских царей [Ильинский 1911: 144]. О значении термина **прахторъ** см. [Biliarsky 2001: 78; Obreshkov 2001: 104]. Кроме того, грецизм **прахторъ** в соответствии с *πράκτωρ* зафиксирован в чтении Лк. 12:58 в Никольском евангелии [Ягич 1883: 258] и редакции Чудовского Нового Завета (Чуд. л. 34 в; то же Ник. л. 125 б; Пог. 21 л. 130 об.; О.п.1.1 л. 116 об.).

Поэтому в рассматриваемом случае одинаково возможны два направления замен, независимых друг от друга и осуществленных в различных славянских традициях: ἔκδικος - **прахторъ** – **посадникъ** и ἔκδικος – **посадникъ/владыка** – **прахторъ**.

Напротив, другой грецизм, несколько раз встречающийся в 23 слове в сербском списке XIII в. из собрания Хиландарского монастыря на Афоне, - **кипоуръ** ‘сад, огород’ (в русских списках ему соответствует **оградъ** и **огородъ**) и его производное **кипоурникъ** ‘садовник’ (в русских списках на этом месте читается **оградникъ** и **огородникъ**) - следует признать первичным, а чтения русских списков – появившимися в результате систематического редактирования перевода. В пользу первичности грецизма свидетельствует греческий текст: в списке Coisl. gr. 122 слову **кипоуръ** соответствует ὁ κήπος (f. 139), а слову **кипоурникъ** - ὁ κηπουρός (f. 139). При этом словоупотребление, зафиксированное в сербском списке, опиралось на существующую традицию, так как грецизм **коуроуръ** ‘садовник’ в соответствии с ὁ κηπουρός зафиксирован еще в Синайском Патерике (223 слово) [Срз. I: 1372]. Однако форма заимствования в сербском списке скорее восходит к греческому τὸ κηπούρι, чем к ὁ κήπος. Поэтому не исключено, что в использованной для перевода греческой рукописи содержалось чтение τὸ κηπούρι. Кроме того, рассматриваемый грецизм в форме **кипоуръ** мог существовать и в живом языке переводчика, а наличие производного от этого корня, которое имеет славянский суффикс, указывает на освоенность данного заимствования, что, в свою очередь, еще раз подтверждает связь древнейшего перевода ПНЧ с византийско-славянской контактной зоной (ср. [Максимович 1998: 401-403]). Наличие систематических лексических расхождений между списками разных изводов указывает на редактуру, которая могла быть проведена, возможно, с привлечением греческого текста, при переходе этого перевода из одной славянской среды в другую.

Итак, рассмотренный материал показывает, что результаты локализации и группировки славянских переводов византийских текстов зависят от того, какой критерий положен в основу и группировки, и изучения. Однако при локализации перевода следует учитывать комплекс факторов, которые могут быть обусловлены 1) участием в работе одного или нескольких переводчиков, 2) выполнением перевода в контактной греческо-славянской зоне или же вне этой зоны, 3) редактированием перевода в разных славянских ареалах, которое могло осуществляться и с привлечением греческого текста, 4) изменением состава текста при редактировании. Наличие этих и других факторов, определяющих облик исследуемого текста, выявляется при реконструкции истории текста, предшествующей собственно лингвистическому анализу, в результате которого должен быть определен комплекс параметров, описывающих перевод на уровне лексики (общеславянской и региональной), морфологии и синтаксиса. В свою очередь, при объединении и группировке переводов следует исходить не только из наличия в них лексических

и иных регионализмов, но и принимать во внимание способы перевода лексических единиц, общих их греческим оригиналам, и передачу синтаксических конструкций, так как только совокупность параметров позволяет разделять или же объединять переводные тексты.

### **Рукописные источники**

Егор. 162 - РГБ, ф. 98 (собр. Е.Е. Егорова) № 162, XV в. Житие Василия Нового и Житие Андрея Юродивого.

Ник. - РГБ, ф. 304.III (собр. Троице-Сергиевой Лавры) № 6, к. XIV в. (четвероевангелие св. Никона Радонежского).

О.п. I.1 - РНБ, О.п. I.1, четвероевангелие XV в.

Пог. 21 - РНБ, собр. Погодина № 21, четвероевангелие 2 пол. XIV в.

РГАДА, ф. 381, № 155 - РГАДА, ф. 381 (Син. Тип.) № 155, Пролог 1-й (краткой) редакции, сентябрь-февраль, сер. XIV в.

РГАДА, ф. 381, № 158 - РГАДА, ф. 381 (Син. Тип.) № 158, Пролог 1-й (краткой) редакции, сентябрь-февраль, кон. XIV в.

РГАДА, ф. 381, № 160 - РГАДА, ф. 381 (Син. Тип.) № 160, Пролог 1 (краткой) редакции, сентябрь-февраль, вторая половина XIV в.

РГАДА, ф. 381, № 168 - РГАДА, ф. 381 (Син. Тип.) № 168, Пролог 1 (краткой) редакции, март-август, сер. XIV в.

РГАДА, ф. 381, № 169 - РГАДА, ф. 381 (Син. Тип.) № 169, Пролог 1 (краткой) редакции, март-август, вторая половина XIV в.

РГАДА, ф. 381, № 172 - РГАДА, ф. 381 (Син. Тип.) № 172, Пролог 1 (краткой) редакции, март-август, 1383 г.

Coisl. gr. 122 - Coislirianus graecus 122 (Bibliothèque Nationale, Paris), s.XIV, Пандекты Никона Черногорца, гл. 1-63.

### **Литература**

Абрамович 1916; 1917 - Пролог по рукописи Императорской Публичной библиотеки Погодинского Древлехранилища № 58. Под ред. Д.И. Абрамовича. Вып. 1 (сентябрь-октябрь). Спб., 1916. Вып. 2 (январь - апрель). Спб., 1917 / Общество любителей древней письменности. Т. 136.

Андрейчин и др. 1976 - Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров. Български тълковен речник. София, 1976.

Бдинский сб. - Bdinski Zbornik. Ghent Slavonic Ms 408 A.D. Fascimile edition with a presentation by Ivan Dujcev. London, 1972.

Богданова 2001 - С. Богданова. Об издании текстов из "Пандектов" Никона Черногорца и проблемах исследования этой средневековой книги // Старобългаристика. 2001. XXV. № 2. С. 98-107.

Бройер 1962 - Г. Бройер. Значение синтаксических наблюдений для определения оригиналов древнерусской переводной литературы // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 248-250.

Вилинский 1911 - С.Г. Вилинский. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2. Тексты. Одесса, 1911.

- Вилинский 1913 - С.Г. Вилинский. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 1. Исследование. Одесса, 1913.
- Геров - Н. Геровъ. Рѣчникъ на българский языкъ. Т. I-V. Пловдив, 1895-1904.
- Давыдова 1999 - С.А. Давыдова. Византийский Синаксарь и его судьба на Руси // ТОДРЛ. LI. СПб., 1999. С. 58-71.
- Дурново 1969 - Н.Н. Дурново. Введение в историю русского языка. М., 1969.
- Ильинский 1911 - Г.А. Ильинский. Грамоты болгарских царей // Древности. Труды славянской комиссии имп. московского археологического общества. Т. V. М., 1911.
- Истрин 1930 - В.М. Истрин. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. III. Греческо-славянский и славянско-греческий словари. Л., 1930.
- Лебедева 1988 - И.Н. Лебедева. Словоуказатель к тексту «Повести о Варлааме и Иоасафе», памятника древнерусской переводной литературы XI-XII вв. Л., 1988.
- Львов 1966 - А.С. Львов. К истории слова *грамота* в древнерусской письменности // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 88-103.
- Максимович 1996 - К.А. Максимович. Каноны Трулльского собора в древнейшем славянском переводе Пандектов Никона Черногорца: проблемы терминологии // Византийский временник. 1996. Т. 56. С. 170-175.
- Максимович 1998 - К.А. Максимович. К проблеме происхождения древнейшего славянского перевода «Пандектов» Никона Черногорца // XII международный съезд славистов. Славянское языкознание. М., 1998. С. 398-412.
- Максимович 1998 а - К.А. Максимович. Пандекты Никона Черногорца в древнерусском переводе XII в. (юридические тексты). М., 1998.
- Максимович 2001 - К.А. Максимович. Текстологические и языковые критерии локализации древнеславянских переводов (в связи с новым изданием «Пандектов» Никона Черногорца) // РЯ. 2001. № 2. С. 191-224.
- Мирчев 1961 - К. Мирчев. Към българската историческа лексикология // Български език. 1961. XI. С. 247-249.
- Михайлычева 1998 - Т.В. Михайлычева. Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Дисс. ... канд. филол. наук. М.: ИРЯ РАН, 1998.
- Молдован 1994 - А.М. Молдован. Критерии локализации древнерусских переводов // Славяноведение. 1994. № 2. С. 69-80.
- Молдован 1994а - А.М. Молдован. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. Дисс. ... д-ра филол. наук. М.: ИРЯ РАН, 1994.
- Молдован 2000 - А.М. Молдован. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.
- Павлова 1977 - Р. Павлова. Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским языком. София, 1977.
- Павлова - Желязкова 1999 - Р. Павлова, В. Желязкова. Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 година. Велико Търново, 1999.
- Пентковский 2001 - А.М. Пентковский. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.
- Пичхадзе 1998 - А.А. Пичхадзе. Языковые особенности древнерусских переводов с греческого // XII международный съезд славистов. Славянское языкознание. М., 1998. С. 475-488.

- Пичхадзе 2000 - А.А. Пичхадзе. Несколько редких древнеболгарских слов в древнейшем переводе “Повести о Варлааме и Иоасафе” // *Folia Slavistica*. М., 2000. С. 104-109.
- Пичхадзе 2002 - А.А. Пичхадзе. О происхождении славянского перевода Хроники Георгия Амартола // *Лингвистическое источниковедение и история русского языка*. 2001. М., 2002. С.232-249.
- СДРЯ XI-XIV вв. - Словарь древнерусского языка XI-XIV вв. Т. I-. М., 1988- .
- СлРЯ XI-XVII вв. - Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 1-. М., 1975 - .
- Соболевский 1910 - А.И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии // *СОРЯС*. Т. LXXXVIII. № 3. Спб., 1910.
- Соболевский 1980 - А.И. Соболевский. Особенности русских переводов домонгольского периода // А.И. Соболевский. *История русского литературного языка*. Л., 1980. С. 134-147.
- Срз. I-III - И.И. Срезневский. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I-III. Спб., 1893-1912.
- Старобългарски речник - Д. Иванова-Мирчева, А. Давидов, Ж. Икономова. Старобългарски речник. Т. 1. София, 1999.
- Фасмер I-IV - М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I-IV. М., 1986-1987.
- Цейтлин и др. 1994 - Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков). Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.
- Чуд. - Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексея, митрополита Московского и всея Руси. Фототипическое издание Леонтия, митрополита Московского. М., 1892.
- Ягич 1883 - И.В. Ягич. Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. Спб., 1883.
- Biliarsky 2001 - I. Biliarsky. Some observations on the administrative terminology of the second Bulgarian empire (13-th-14-th centuries) // *Byzantine and Modern Greek Studies*. 2001. 25. P. 69-89.
- Bräuer 1957 - H. Bräuer. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Teil 1: Die Final- und abhängigen Heischesätze (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin. Bd. 11). Wiesbaden, 1957.
- Bräuer 1959 - H. Bräuer. Zur Frage der altrussischen Übersetzungsliteratur (Der Wert syntaktischer Beobachtungen für die Bestimmung der altrussischen Übersetzungsliteratur) // *Zeitschrift für slavische Philologie*. 1959. Bd. 27. Hf. 2. S. 322-347.
- Christians 2001 - D. Christians. Wörterbuch zum Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember. Wiesbaden, 2001.
- Delehaye 1902 - H. Delehaye. *Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae*. Bruxelles, 1902.
- Obreshkov 2001 - V. Obreshkov. Administrative territorial division of Medieval Bulgaria in the 13-th-14-th century // *Études Balkaniques*. 2001. № 4. P. 100-115.
- Pavlova - Bogdanova 2000 - R. Pavlova, S. Bogdanova. Die Pandekten des Nikon vom Schwarzen Berge in der ältesten slavischen Übersetzung. Т. 1-2. Frankfurt am Main, 2000.
- SJS - J. Kurz (ed.). *Slovník jazyka staroslověnského*. D. 1-4. Praha, 1966-1997.

**АКЦЕНТНАЯ МИКРОСИСТЕМА  
АРХИВСКОГО ХРОНОГРАФА XV в.**

**(На материале «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия)**

«История иудейской войны» Иосифа Флавия является одним из ранних славянских переводов с греческого языка, сделанных на восточнославянской языковой территории, а именно в ее юго-западной части. Перевод датируется XII в.

«История иудейской войны» имеет две редакции: полную Хронографическую в составе Архивского хронографа в списке последней трети XV в. и в составе Виленского хронографа в списке XVI в. и известную в списках XVI-XVII вв. неполную Отдельную редакцию, в которой отсутствуют первые 25 глав Книги I. В статье на материале этого памятника рассматривается акцентная микросистема Архивского хронографа.

I

В Архивском хронографе (ркп. РГАДА, ф. 181 МГАМИД, № 279) «История иудейской войны» (далее История) занимает лл. 343г 13 - 478б 28<sup>1</sup>. За исключением двух небольших фрагментов л. 447г 11 - 25 и лл. 458в 14 - 458г 13 (далее они не рассматриваются), текст написан в два столбца одним почерком - полууставом. В графико-орфографической системе памятника нашло отражение второе южнославянское влияние. Писец употребляет следующие графемы: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, ї, і, к, л, м, н, о, п, р, с, т, оу, љ, њ, ф, х, ѿ, ц, ч, ш, щ, њ, ы, њ, ѣ, ю, ѿ, ѡ, ѣ, ѡ, ѡ. Ряд графем имеет графические варианты; например, графемы о и Ј имеют графический вариант о широкая и ѿ широкая.

Свободно варьируются графемы оу– љ с некоторым преобладанием в начале слова диграфа; употребление у ограничено единичными случаями.

Графема е употребляется в абсолютном начале слова и в его середине после гласной, включая њ (обычно в приставке) и ѡ, иногда варьируясь в этой позиции с е.

<sup>1</sup> О составе рукописи см. [Истрин 1893: 317-361].

Графема **ѡ** употребляется в начале слова, в слогe после гласной, включая **ъ** (обычно в приставке), и перед выносной буквой. В позиции начала слова представлено варьирование графемы **ѡ** с графическим вариантом графемы **о** – **о** широкой: **орѡжїемъ** 451б 34 - **ѡроужїемъ** 471в 22, **образо(м)** 460а 40 - **ѡбразомъ** 469в 16. Графический вариант графемы **ѡ** - **ѡ** широкая - обычно употребляется перед выносной: **слышаѡѡ(̄)** 473в 32, **пѡ(д)земныѡ** 462б 28, **нарѡ(д)** 462а 19. Возможно его варьирование с графемой **о**: **римланѡ(м)** 461г 36 - **римлано(̄)** 477б 1, **по(д)оучиваѡѡ** 477а 20. Кроме того, **ѡ** широкую писец пишет в словах **ѡѡннъ** и **ѡрданъ** и производных от них.

Графема **ї** употребляется перед гласной не в начале слова. Возможно варьирование в этой позиции графем **ї** и **и**: **зелїѡ** 446в 8 - **зѣлиѡ** 446в 3. Графема **і** употребляется в начале слова перед следующей гласной: **їерѣи** 440а 26, **ѡѡннъ** 441б 19, **їоудѣи** 441г 22. В этой же позиции возможно употребление графемы **и**: **иѡсифоѡ** 444г 6, **иѡсифъ** 453а 35, **їеремїю** 445б 36. Употребление **і** или **и** было закреплено, по-видимому, еще и лексически, хотя возможно варьирование графем: **исѣсъ** 453в 32, **исоѡсъ** 462г 19 (из 19 форм слова 13 с **и**) - **исѣсъ** 430б 12 (6 форм с **і**), **їоуда** 453а 6 - **їоуда** 454в 31, 472а 18 при последовательном написании **їюда**.

Графема **ѡ** употребляется после согласных, а также после гласных на конце слова. Графема **ѡ** употребляется в начале слова и в его середине после гласной. В позиции конца слова возможно варьирование **ѡ** и **ѡ**: **ѡѡ** 372б 12 - **ѡѡ** 360б 22 (+7), **ѡѡѡ** 458г 10 - **ѡѡѡ** 442а 3 (+3). Довольно многочисленны случаи употребления графемы **ѡ** вместо **ѡ** или **ѡ** после гласных соответственно на конце слова и в его середине: **ѡзаконїѡ** 344г 33, **ѡѡѡѡѡ** 346б 32, **їзрѡднаѡѡ** 347а 29, **ѡѡѡѡѡ** 435в 7, **їѡнїи** 456б 1.

Употребление графемы **ѡ** имеет лексико-морфологические ограничения, в том числе соответствующие этимологии: **ѡѡѡѡѡ**, **ѡѡѡѡѡ**, **ѡѡѡѡѡ**, **ѡѡѡѡѡ**, **ѡѡѡѡѡ**, форма мн. ч. мноси и др. Возможно варьирование графем **ѡ** и **ѡ**: **ѡѡїи** 377б 25 - **зѣлиѡ** 446в 3, **ѡѡ** 444в 35 - **ѡѡ** 444а 9.

Употребление графем **ѡ**, **ѡ** и **ѡ**, которые встречается довольно редко, также ограничено лексически: они пишутся в заимствованиях. Однако в одном и том же корне возможно варьирование **ѡ** и **ѡ**: **ѡѡѡѡѡ** 445б 7 - **ѡѡѡѡѡ** 448б 25 - **ѡѡѡѡѡ** 445г 10.

Употребление графемы **ѡ** ограничено несколькими случаями: **ѡѡѡѡѡ** 475б 30, **ѡѡѡѡѡ** 473г 31.

Писец использует выносные буквы под титлом и без титла. Под титлом выносятся графемы **ѡ**, **ѡ** (в слове *пророкъ* и однокоренных), **г**, **м**, **н**, **ч**, **к**. Без титла выносятся **ѡ**, **м** (редко), **д**, **ж**, **т**. Представлено несколько случаев употребления выносной **и**, в том числе в слогe **дн**, которая имеет вид кендемы "̄". Однако в целом количество написаний с выносной невелико. Есть случаи написания букв над строкой (очевидно, в результате пропуска).

В Истории смешиваются графемы **ѡ** и **ѡ** (прил. ср. ед. И. **ѡѡѡѡѡ** 475в 6 вместо **ѡѡѡѡѡ**), **ѡ** и **ѡ** (сущ. В. ед. **ѡѡѡѡѡ** 367а 25 вместо **ѡѡѡѡѡ**); есть случаи написания **ѡ** вместо **ѡ** и наоборот

(союз **акъ** 446г 17 вместо **акы**, мест. Д. мн. **имѣ** 446а 4 вместо **имъ**).

В памятнике представлено также смешение **ѣ** и **є**, мена **в** и **оу** в начале слова и отдельные примеры аканья.

Система надстрочных знаков, употребляемых основным писцом, включает четыре знака. Это **“** (кендема), **’** (спиритус), **`** (вария), **˘** (оксия).

Начертание спиритуса является традиционным. Кендема имеет вид двух наклонных черточек, иногда - точек. Вария обычно имеет вид небольшого наклонного штриха; иногда ее начертание близко к точке. Наклон знака может варьироваться до близкого к горизонтальному положению: **землю** 382г 39, **тѣ** 384в 22, **тоу** 426г 30 и др.

Оксия имеет наибольшее количество графических вариантов. Ее начертание варьируется по длине, толщине (нажиму пера), углу наклона, а также по месту постановки. При стандартном начертании оксия имеет среднюю длину и толщину, расположена под углом примерно в 45-55 градусов. Линия может быть несколько искривленной, с незначительным утолщением книзу (**грамотоу** 381г 8, **сеи** 389а 39). Графическим вариантом оксии является начертание, близкое к точке (**съкрѣшаѣте** 365в 18). Вторым графическим вариантом оксии является начертание, близкое к точке (**сташа** 382в 19, **тысащ** 360а 2). Третьим графическим вариантом - это волосяная линия вдвое короче стандартной (**битса** 360а 34, **мытса** 359г 9).

Наклон оксии варьируется от угла примерно в 30-35 градусов у длинной волосяной линии до 90-95 градусов в тех случаях, когда знак находится рядом с элементом буквы из расположенной выше строки. Вне зависимости от помехи оксия может иметь вид вертикального штриха.

Обычно оксия ставится в середине межстрочного пространства. Возможно ее написание выше, т.е. ближе к предыдущей строке. Расположение оксии над самой буквой встречается реже. Обычно это связано с имеющейся помехой - элементом буквы из верхней строки. На л. 360б 2 (**моужь римланъ сотникъ**) представлены все три уровня постановки знака.

Стандартное место постановки оксии - непосредственно над буквой. Возможен ее сдвиг влево или вправо (так что знак оказывается между буквами или над соседней буквой) из-за элемента буквы из предыдущей строки (**смысленъ** 468а 4, **толикою** 468г 19, **токло** 469а 35, **нродъ** 355а 22, **нга** 403б 22, **казаше** 354а 29).

В рукописи есть случаи постановки оксии в словах, написанных под титлом или имеющих выносную: **бы(с)** 367б24, **бити(с)** 453а 21, **двою** 452а 37, **днѣхъ** 448г 31, **потѣ(м)** 406б 11, **в нн(х)** 472в 37.

В целом не прослеживается зависимости постановки или непостановки оксии от графических вариантов букв. Вероятно, в какой-то степени влияет на непостановку знака над соседней буквой одномачтовая буква **т**.

Над буквой **ѣ** оксия ставится как с правой, так и с левой стороны мачты вне зависимости от конкретного начертания буквы. Преобладает, как кажется, ее постановка справа.

В конце строки знак обычно пишется справа и может быть несколько выдвинут на поле или в пространство между столбцами.

Над буквой Ѹ оксия обычно ставится над левой более короткой частью буквы: **ѸДЕТЬ** 426а 7, **ѸШИТИ** 429б 13 и др. При равной величине элементов знак ставится между ними или сдвигается в сторону.

В Истории есть случаи постановки оксии над буквой, написанной над строкой: **ТРОУДАТСА** 428б 14 (**ДА** написано рядом с первым знаком над строкой), **ВЕЛМИ** 441г 5 (**ВЕ** написано над строкой).

Спиритус ставится над гласными: в позиции начала слова над первой и второй гласной, в середине слова над второй из двух соседних гласных (**ІОУДАВОМЪ** 466г 3, **ЕОУСПАСІАНЪ** 467г 35, **ПРИАТИ** 468а 5). Встречаются случаи отсутствия спиритуса в обеих позициях. В конце слова при следующих друг за другом гласных спиритус не употребляется.

Вария ставится над конечной гласной слова, причем ее употребление ограничено лексически и грамматически: этот знак присутствует в некоторых служебных словах, местоимениях, наречиях, глагольных формах и существительных. Для описания употребления вариации в Истории важным является понятие последовательности, под которой понимается постановка именно данного знака. Соответственно, под непоследовательностью понимается постановка в одной и той же позиции не только вариации, но и других знаков - кендемы и/или оксии. Не учитываются случаи с последующими частицами *же* или *ли*, когда закономерно ставится оксия, поскольку эта позиция не является концом фонетического слова: **ЕГДА ЖЕ** 403а 29, **НИ ЖЕ** 452а 33, **ТИ ЖЕ** 462а 28, **ТА ЖЕ** 463б 29, **СЕ ЖЕ** 459в 9, **УНИ ЖЕ** 460в 16, **ТОГО ЖЕ** 465б 31, **УВЫ ЖЕ** 457а 34, **ВЫ ЛИ** 454а 3, **ВСИ ЖЕ** 405 а 15. Однако в этой же позиции может быть употреблена и вариация: **СИ ЖЕ** 446в 32, 439б 17, 473а 18, **ВСИ ЖЕ** 368г 35, **ТЫ ЖЕ** 369а 17, **ВЫ ЖЕ** 461б 34.

В служебных словах над конечной гласной вариация ставится<sup>2</sup>:

1) в союзе *но*; 2) во второй части *то* сложных союзов *аще... то*, *иже... то* и других (но: **АЩЕ... ТО** 451в 20-22, **АЩЕ... ТО** 427б 11-12); 3) в частице и союзе *егда* (но: **ЕГДА** 454г 8); 4) в союзе *ово* (но: **УВО** 370а 13); 5) в частице *бо*; случаи отсутствия знака над этим словом при его большой частотности немногочисленны (около 10); оксия над словом поставлена в конце листа (433в 40); 6) в частице *ни* (при большинстве неакцентуированных словоупотреблений); 7) в частице *ци*; 8) в частице *ли* (373а 16 при отсутствии надстрочных знаков в других случаях); 9) в союзе и частице *ибо*; 10) в союзе *почто*; 11) в частице *убо*; 12) в союзе *коли*; 13) в частице *да* (2 случая при **ДА** **РАСМОТРИТЬ** 402в 10, **ДА** **ТОИ** **БОУДЕТЬ** 417а 4, а также при **ДА** **СА** + 3 л. презенса; союз *да* не акцентуирован).

<sup>2</sup> Здесь ссылки на листы рукописи не приводятся. При последовательной постановке вариации комментарии отсутствуют; при ее непоследовательном употреблении приведены случаи использования других знаков (перечень неполный).

В знаменательных частях речи вариация ставится:

I. 1) в наречии *тогда*; 2) в наречии *здѣ* (но: **здѣ**" 432б 5); 3) в наречии *ту* (но: **тоу**" 346в 36, 357а 18, 21, **тѣ**" 406б 24); 4) в наречиях *одва*, *едва* (но: **ѡдва**" 456г 15, 457а 24, 458г 40, 459б 40; **ѣдва**" 449а 8, 452а 22); 5) в наречии *всегда* (но: **всѣгда**" 461б 25); 6) в наречии *езде*; 7) в наречии *где*; 8) в наречии *всегда*; 9) в малочастотных наречиях *внѣ*, *гавѣ*;

II. 1) в формах местоимений *тъ*, *сь* и *тъи*, *сьи*: *то*, *та*, *ту*, *ты*, *ти*, *се*, *сю*, *си* (но: **то**" 417б 29, 454в 21, **тѣ**" 366в 18, **то**" 433в 23, 439а1, **се**" 384б 25), *сега*, *того* (но: **тогѡ**" 430г 8, 32), *сея*, *тоя*, *тою*; 2) в формах местоимения *весь*: *все*, *всю*, *всего*, *вси*, *вся* (но: **всѣ**" 438а 26, 439б 14, 445б 28, 455б 12, 465а 22, **всѣ**" 450б 2)<sup>3</sup>; 3) в местоимениях *кто*, *что* (но: **кто**" 409б 7, 473б 37, **что**" 385б 22, 428в 2, 456б 2) и форме *чесо*, в местоимениях *нѣкто*, которое чуть чаще имеет оксию на первом слоге (ср.: **нѣкто**" 458а 12), и *никто*; 4) в формах местоимений *онѣ*, *овѣ* (но: **ѡвы**" 457а 33, **ѡви**" 457в 17); 5) в местоимениях *мнѣ*, *ты*, *тя*, *мы*, *ны*, *вы* (но: **вы**" 368а 25, 445в 23, 29, 461а 27, **ты**" 378в 34, **тѣ**" 371а 34, 384в 23, 456в 23), а также в некоторых других местоимениях: **въ нѡ**" 478а 1, **на нѣ**" 372г 37; 6) в местоимении И.мн. *мои* (при Зв.мн. *мои*);

III. В формах числительного *сто* (но: **стоу**" 366г 13);

IV. В формах аориста глаголов *быти*, *стати* (но: **бы**" 441г 9, 457б 29, 460г 6, **бѣ**" 465в 26, **стѣ**" 421б 35, 436в 2, 441г 36, 453а 19);

V. В формах существительных *земля*, *тьма*, *язва* (но: **тмы**" 472а 17, 409б 15, **тмѣ**" 382б 31, **язвы**" 427г 33). Варию имеют две формы существительного *язва*: **безѣ** **язвы**" 463в 8, **язвы**" И. 448в 7. Возможно, она является неиктусной, но какую-либо особую функцию этого знака предполагать нет оснований. О слове *земля* см. ниже. Здесь следует указать, что в форме Р. мн. *земль* вариация ставится над конечным *ь*: **земль**" 461а 16, **земль**" 433г 2, 465а 10 (но: **земль**" 348а 33). Еще один случай постановки вариации над конечным *ь*: **естѣ**" 404в 2;

VI. В предикативе *лзѣ* (но: **лзѣ**" 450в 19, 455г 26).

Вариация в тексте Истории ставится также в междометии *увы*.

Перечень слов с вариацией над конечной гласной может быть расширен за счет лексем разных частей речи, обычно представленных 1-2 словоупотреблениями. Для некоторых можно указать формы с оксией: **акы**" 477б 22, **ѡбѣ**" 369в 38, **чтѣ**" 371б 31, **лежѣ**" 379а 34, **мнѡ**" 368б 24, 407в 19 (но: **мнѡ**" 373в 21, 378в 18, 403а 5, 412г 35, 418г 22), **моглѣ**" 424г 26 (но: **моглѣ**" 451б 35), **хотѣ**" 356г 31, **ѡиѣ**" 356а 28 (ср. **ѡиѣ**" 463б 6), **приемлѣ**" 428в 38, **совѣ**" 461б 30 (сомнительный пример 416г 19);

<sup>3</sup> Постановка вариации в формах этого местоимения, пожалуй, наиболее непоследовательна. Ср.: **всѣ** **вѡ**" 465а 23 - **всѣ** **вѡ**" 445б 13. По-видимому, по ассоциации с ними (а иногда и в результате переосмысления; см. 432б 23) вариация ставится над конечной гласной в формах существительного *весь* 'деревня': **всѣ**" 462в 23, 432б 23, 396в 13, 405г 16.

ср. **сѣбѣ** Р.-В. 454г 38, 460б 22), **въ трѡубѣ** 464в 12, **рѹцѣ** 456в 20, **роуцѣ** 461г 33 (но: **роуцѣ** 452 а 26), **носѣ** 379г 29, **нощи** 454в 24, **сѣлїи** Т. 377б 25, **чтїи** 370в 17 (но: **чтїи** 371г), **оутрѡ** 476г 20, **гавалѡ** (топоним) 406г 38, **взлѣ** 419б 15, **днѣ** 369б 1, **прнстрои** аор. 366в 10, **кал** 455б 20, **негли** 475б 13 (при прочих написаниях с оксией), **сли** ‘послы’ И. 406а 6 (но: **сли** 380а 35, 382в 19, 434б 23). По-видимому, иногда имеет место ошибочное написание вари *и* вместо оксии.

Особо следует отметить позицию конца листа: **стрѣщїи**// 410а 40, **хотлѡ**// 412г 40, **мѣстѡ**// 419в 40 при обычной постановке оксии на первом слоге, **възвѡ**// 355г 40 (но: **възвѡ** 356г 9), **єдїногѡ**// 368а 40.

В Истории есть случаи постановки вари *и* не над конечной гласной слова. Иногда это просто ошибочное употребление знака: **прнвѣгѡста** 457б 16 (ср.: **прнвѣгѡста** 457б 21), **бѡдро** 456а 10, **бѡшимѣ** 389г 15, **вѣшедѣше** 357г 4, **полївѡеть** 411в 1, **тѡкмо** 410в 28 (ср.: **тѡкмо** 411г 31), **тѡко** 444г 5. В других случаях такая постановка знака обусловлена пониманием писцом текста и соответствующим словоделением: **бѡсловѡть** 386б 12 (**бѡ словѡть**), **бѡсхитилѣ** 381г 37 (**бѡ схитилѣ**), **нѡвѣсыпана** 474в 1 (**нѡ вѣсыпана**), **тѡскакахѣ** 407в 5 (**тѡ скакахѣ**).

Кендема ставится в нескольких корнях: *зрѣ(ти)*, *зл(о)*, *дв(а)*, *тр(и)*. Она употребляется непоследовательно, заменяясь в тех же позициях вари *е*:

- **три**" 369а 32, 440в 26, **на три**" 441б 3 - **по три** 347б 11, **три** 352б 35, 367а 5, **три** 405б 18, **трѣми** 448в 24, **трїе** 370б 33, **трѡга** 347а 29;

- **два**" 346б 28, 352а 22, 31, **по два**" 352в 40, 353б 10, 358б 39, **съ двѣ**"ма 349б 39, 357в 16, **дво**"ю 375г 13, 447б 2, **надво**"е 444а 24 - **по двѡ** 438в 22, 439а 33, **двѡ** 442г 2; форма *двѣ* в основном имеет вари *е*: **двѣ** 366в 22, 369а 33, 374а 1, 374в 14;

- **зла**" 444а 9, **сла**" 355б 13, 369б 2, 370г 24, **сла**" **за сло**" 371б 32 - **ѡ сла** 462а 14; **сла**"а 448г 16, **слы**"ми 373г 3, **слы**"мѣ Д. 375г 27 - **слымѣ** Т. 369б 23, **слѡл** 354г 5, **злѡл** 446г 20. В наречии *слѣ* ставится вари *е*: **слѣ** 360а 35, 374в 16.

Постановка кендемы в корне *зрѣ(ти)* оказывается наиболее последовательной. Ее замена на другие знаки, особенно по сравнению с общей частотностью корня, встречается редко: **прѣзрѣвѣ** 444г 38, **оузрѣвѣ** 418б 32, **зрѡхоу** 441в 10.

Кендема употребляется также над буквой *ч* в заимствованных корнях: **кчѣрѣ** 445б 21, **счѣрѣ** 445а 30, **счѣрѣннѣ** 451г 10.

Оксия, которая является основным знаком акцентуации, ставится в остальных позициях<sup>4</sup>, а именно: 1) над неконечной гласной фонетического слова; 2) над конечной гласной фонетического слова, за исключением перечисленных выше случаев: **лжю** 466а 8, **прогнѡ** 348а 18, **прннесѣ** 416а 12,

<sup>4</sup> В рукописи встречаются случаи, когда невозможно отличить вероятное включение в бумагу от надстрочного знака. Кроме того, иногда похожий на оксию знак оказывается над согласными: **лѣчїи** 402г 28.

преплѣ 465г 15, прочтѣ 370г 32. При этом оксия не ставится над первой гласной слова, где возможна постанова только спиритуса<sup>5</sup>.

Употребление спиритуса и вари и над одной буквой ограничено некоторыми формами местоимений. В двух случаях над первой гласной слова на разных уровнях проставлены спиритус и оксия, причем в одном слове при наличии второй оксии: ѿтравѣти 355г 8, оудомъ 476а 10.

Две оксии в одной словоформе могут быть поставлены: 1) в словах с префиксом *вы-*: вѣвѣжаниа 453г 9, вѣдвигѡша 450г 16 (о них см. ниже); 2) в многочисленных сложных словах: градѡвичныа 420г 37, законноучителемъ 395г 27, единомыслени 368б 28, кровепролитиа 344г 23, малодѣшествовати 361в 1, многовѡденъ 430б 10, поутьшествоваше 468г 6, разносоущнаа 473б 31, свѡбѡдолѡвецъ 403б 24, чюдѡтвѡрца 460б 14, языковлѡстество 384б 15; 3) в прочих довольно многочисленных словоформах, некоторые из которых рассмотрены далее: нетверѡдѡ 361в 19, тоурьскомоу 356б 32, вѣвѡеть 468б 29, вечерѡша 359в 10, величѡшеса 408в 12, ѡстѡпить 351в 4, помѡлоуетъ 376а 12, помѡлоуеши 382г 36, прѡз(д)новаше 434б 17, 466б 28, прѡз(д)нованию 433б 35, ѡчѡгавъшимса 450в 28.

Оксия и вари в одной словоформе могут быть поставлены: 1) в глаголах на *-си*: съжалиси 455г 19, съжалишаси 449г 35, съжаливси 373г 7 (ср.: жаловахутьси 449г 36, съжалиси 401в 21, съжалишаси 453в 21 (+2), спакоштишаси 456а 18, страшашеси 440а 32); 2) в сложных словах: вѣсвидѡщима 416а 16, земледѣлци 422в 8; двѡкраты 350г 37, 372г 13, злѡиманиа 449б 27, злѡнравенъ 422в 13, злѡтвѡрца 372г 2 (ср.: злѡдоумиа 372в 8, злѡнравие 372б 27); 3) в других немногочисленных словоформах: зевмль` 465а 10, зрѡщимъ 443г 38, нѣктѡ 458а 12. Два знака могут передавать основное и второстепенное ударение, как у глаголов на *-си* и *-овати*, возможно, у слов с префиксом *вы-* и некоторых других словоформ. Кроме того, два акцентных знака могут передавать колебание ударения (см. ниже).

## II

Текст «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия по списку Архивского хронографа XV в. включает около 84450 словоформ.

Регулярность акцентуации, то есть постанова или непостанова оксии, различна для отдельных лексем, форм слов и корневых групп. Наиболее регулярно акцентуируются следующие слова: *быти* (разные формы), *великъ*, *вои*, *врата*, *градъ*, *дати*, *единъ*, *маль*, *молитися*, *мужь*, *отаи*, *пакость*, *пламень*, *потомъ*, *ради*, *римляне*, *хотѣти*, аорист *рече*, корневые группы

<sup>5</sup> В рукописи есть случаи постановки спиритуса вместо оксии и наоборот: нѡшего 379в 21, оувити 372г 39, ѡша 393г 23, слоугъ 411г 22 (спиритус исправлен на оксию), ѡудѣискъ 427а 40. Другие ошибочные знаки: ѡмѣюще 428в 2 (перед у подскоблено), вѡа 418а 1, воудеть 442в 19 с двумя оксиями. Есть также зачеркнутые знаки оксии: ирѡдъ 359г 5, зѡхѡда 427б 3 (второй знак), славоу 443б 37, млѡденче 456в 21 (первый знак).

*закон-, люд-, мног-, празд-, против-, род-* и др. Из имен собственных обычно акцентуировано частотное *Титъ*, а также *Александръ*; из малочастотных - *Пилатъ*; частотное *Еуспасианъ* не акцентуировано. Не акцентуируются слова, если они имеют написание с *ь* или *ъ* (типа *плѣкъ*, *смръть*)<sup>6</sup>, за исключением приведенных выше словоформ.

Не наблюдается зависимости акцентуации от частотности слова. Так, например, акцентуированы единичные словоупотребления лексем *вражесловати*, *горсть*, *лось*, *мужеватися*, *пакостень*, *пагубныи*, *червь*, все формы малочастотных (2-5 словоформ) слов *въскликати*, *досягати*, *досягнути*, *мимоити*, *мудрыи*, *низити*, *пагубень*, *раздражити* и др. Не акцентуированы единичные словоформы глаголов *воротити*, *изволитися*, *клонити*, *клонитися*, *отъригнути*, формы малочастотных *воротитися*, *ѣхати*, *мудрець*, *наказати*, *отъринутти*, *понудитися*, *постояти*. Могут быть также не акцентуированы и частотные слова, среди которых *гроза* (18 словоформ), *распустити* (12 словоформ), *рѣка* (15 словоформ).

У акцентуированных слов плотность акцентуации может варьироваться очень значительно. Она составляет для слов, имеющих:

- 6-10 словоформ: *възискати* 33%, *възити* 60%, *грозитися*, *громъ* 66%, *губити* 75%, *достояти* 11%, *избрати* 50%, *кесарьствовати* 17%, *нападати* 10%, *обиць* 25%, *отърѣзати* 20%;
- 11-15 словоформ: *вражество* 54%, *избраныи* 88%, *кланятися* 54%, *отъсѣци* 20%, *пагуба* 100%, *пакость* 100%, *падати* 71%, *разграбити* 46%;
- 16-20 словоформ: *доити* 33%, *кликати* 47%, *многажды* 93%, *разгнѣватися* 50%;
- 21-25 словоформ: *възмоци* 76%, *гнѣватися* 16%, *гробъ* 67%, *зажещи* 24%, *мучитель* 50% (не акцентуированы формы Д., В., Р., Т. мн. ч.);
- 26-30 словоформ: *врагъ* 42% (не акцентуированы формы Д. и М. мн. ч.), *изволити* 79%;
- 31-35 словоформ: *възбранити* 46%, *мужество* 33%, *праздникъ* 100%.

Для слов с большей частотностью процент акцентуации был следующим: *врата* 52% (60 словоформ; не акцентуированы формы Д. и М. падежей), *гнѣвъ* 10% (50 словоформ; не акцентуированы формы Д., Т. и М. падежей), *мечь* 37% (42 словоформы; не акцентуированы формы Р. и Т. ед. ч., И. и Т. мн. ч.); *мужь* 76% (143 словоформы), *мука* 41% (46 словоформ), *мучити* 43% (59 словоформ).

<sup>6</sup> История в Архивском хронографе имеет киноварные заголовки, не входящие в ее состав, а принадлежащие тексту хронографа. Возможно, они сделаны другим писцом. В них иная система употребления букв и надстрочных знаков, которая из-за небольшого объема текста не может быть представлена как целостная. В дальнейшем в примечаниях приводятся некоторые примеры из заголовков, как правило, отличающиеся от данных текста Истории. Следует заметить, что в заголовках оксия может ставиться над *ь* в корне: *прѣмлѣвъашѣ* 441а, *жрѣтвеникъ* 469б.

Таким образом, плотность акцентуации текста Истории составляет около 60%.

У имен существительных и глаголов различна, кроме того, степень акцентуации разных форм. Так, например, у существительных *o-* и *u-masculina* в большей степени акцентуированы формы И. и В. падежей ед. ч.; реже акцентуируются формы Д., Т. и М. падежей ед.ч., М. и особенно Т. мн.ч. У глаголов чаще прочих акцентуируются формы аориста, имперфекта и причастий, которые к тому же превалируют в тексте Истории. Как сам жанр памятника, так и время его перевода (XII в.) обусловили частотность именно этих форм при малочисленности форм перфекта. Формы презенса также немногочисленны и акцентуируются нерегулярно.

У личных местоимений почти регулярно акцентуируются формы *намъ, вамъ, нимъ, нами, вами, ними, насъ, васъ, нихъ*. Из прочих большей регулярностью акцентировки характеризуются формы местоимений *весь, нашъ, вашъ, самъ*.

У производных слов наибольшая регулярность акцентуации представлена у многочисленных отглагольных существительных на *-ниj(e), -ениj(e)*, таких как *бѣжаніе, воженіе, въсхищеніе, зараченіе, кличаніе, окованіе, паденіе, послушаніе, рыданіе, ставленіе*. Акцентуированы также существительные с суффиксом *-тель* (*заступитель, избавитель, мучитель, ревнитель, утѣшитель, хранитель* и др.), немногочисленные существительные на *-ищ(e)*, такие как *вертѣлище, жилище, позорище, станице, хранилище*, глаголы с суффиксом *-ова-* (*бесѣдовати, въслѣдовати, даровати, испытывати, мужествовати, праздновати* и др.).

### III

В Истории как акцентной микросистеме представлены слова всех трех акцентных парадигм (далее а.п.)<sup>7</sup>.

**Акцентная парадигма а.** Имена существительные, относящиеся к а.п. *а*, акцентуированы в Истории довольно регулярно: *ста́да* В. 427б 29, *ѿ сѣ́ти* 455а 4, *го́рла* В. 443а 15, *прѣ́(д) ма́терми* 457а 6, *въ... мѣ́сте(х)* 438б 5, 474а 22, *мѣ́ста* В. 437в 24, 438а 26, *газы́комъ* Т. 444б 7, *на... дѣ́ла* 451а 15. Другие слова этой же а.п.: *баня, баснь, братъ, буря, вазнь, вѣра, вѣтръ, дума, дымъ, знавменіе, зять, жажда, жидъ, жизнь, жила, жито, казнь, камень, каушель, клятва, книга, краи, купля, масло, мразъ, мысль, лѣто, мувка, нива, нравъ, пища, пламень, плачь, рана, рать, риза, рыба, сила, слава, субовта, тысяща, тяжа, чадо, хула*. По а.п. *а* акцентуировано также существительное *дщерь*.

Существительное *конецъ* имеет наосновное ударение, которое может быть архаизмом или отражением тенденции к колонному ударению, хорошо представленной в акцентной микросистеме Истории: *ко́нєць* 463в 7.

<sup>7</sup> В связи с большим объемом в статье не рассматриваются имена числительные и местоимения.

У существительного *жидь* наряду с обычным исконным ударением в форме И. мн. представлено флексивное ударение: **жѣдове** 345г 9, 348а 28, б 6, 33, 37, 351г 14 - **жидѣве** 415а 14 (ср. **домѣвъѣ** у слова а.п. с).

Слово *хоругы* имеет акцентовку **хорѡугви** В. 457б 1, **хорѡугѡвъ** В. 465в 12, схожую с акцентовкой существительного *любы, прелюбы*: **прелѣбы** И. 369в 26 (единственная форма И. любви не акцентуирована), **ѡлюбве** 369б 6, **ѡлюбви** 402в 32, **полюбви** 454а 28, **любѡвъ** 369в 19, 368а 36, **любѡвию** 368в 1, 428г 7.

Существительное *воля* в акцентной микросистеме Истории имеет корневое ударение: **вѡла** 439в 27, **на...** **вѡлю** 394б 15, **вѡлею** 417б 5, **вѡли** Р. 374б 10, Д. 451г 26. По-видимому, о переходе к корневому ударению свидетельствует акцентовка **кѡжи** И. 441б 36. Акцентовка существительного *теща* также наосновная: **тѣща** 372г 37; второй пример менее надежен, поскольку из-за написания с буквой **ѣ** знак ударения сдвинут вправо: **тѣща** 375г 13.

Видимо, по а.п. *a* акцентуированы существительные м.р. *часть*, ж.р. *пороча* и *праща* 'стенобитное, метательное орудие': **чѡса** Р. 452в 18, **ѡпорѡчѡ** 460а 26, **прѡща** В. 413в 22.

Имена прилагательные а.п. *a* или образованные от слов этой а.п. имеют стандартную акцентовку: **сѣленѣ** 465а 5, **сѣлны** 468б 8, **мѣла** 375б 17, **дѡлга** 430а 22, **стѡра** 476г 13, **чѣста** 419в 15, **чѣсты** Р. 385в 1, **чѣсти** И. 385а 24, **чѣсты** И. 416в 40, **слѡво** 463б 35, **слѡви** И. 389б 3, **чѣдна** 419г 12. Отступлением является конечное ударение **малѡ** Р. ср.р. 453г 6 **при малѡ** И. ж.р. 452в 21, **мѡлоу** В. 435а 2.

Глаголы а.п. *a* отчасти сохраняют исконное ударение (**почѣють** 457в 39, видимо, также **оуѣлѣсноу...** **сѡ** 447а 10); у части из них была представлена тематизация ударения (см. ниже).

Глагол *изволити*, выравниваясь по существительному *воля* (ср. ниже в а.п. *с* *свободити* и *свобода*), имеет следующую акцентовку: **извѡлѣте** 451б 30, **извѡлѣть** 475а 39, 433г 5, **извѡлѣше** 440г 22, **извѡлѣше** 445б 28, **извѡлѣхъ** 409б 2, 451г 28, **извѡлѣхомъ** 474в 36, **извѡлѣсте** 461б 33, **извѡлѣша** 414а 22.

**Акцентная парадигма *b***. Относящиеся к данной а.п. существительные отчасти сохраняют исконное флексивное ударение. У других слов представлено наосновное ударение в отдельных формах или тенденция к установлению колонного наосновного ударения.

Флексивное ударение сохраняется у следующих слов: **виноу не прикасати(сѣ)** 401г 1, **главѡ** 411в 20, **лвѡ** 378г 22, 448б 5, **мечѡ** В. 448б 5, **ѡгнѡ** Р. 450г 4, 458б 38 при других неакцентуированных формах слова, **ножѡ** В. 400б 12, **снѡ** 384б 33, **снѣ** 416а 2, **без ѡмѡ** 412г 12, **челѡ** И. 439б 14; ср. **въ троуѣѣ** 464в 12. При наличии энклитики: **вино же** 419г 29, **винѡ ми боудеть** 372б 23, **винѡ же** 400г 9, **клеветѡ же** 377а 26, **число же** 401в 4.

Наряду с исконным флексивным ударением у существительных а.п. *b* представлено наосновное ударение, которое могло быть результатом дефинализации [Зализняк 1985: 182 и далее].

В акцентной микросистеме Истории наосновное ударение у существительных а.п. *b* была представлена в следующих случаях: **връж(д)ы** 441в 38, **връждоу** 370в 24, **при... връжде** 357б 18, **двѣри** И. 439б 25, В. 439а 13, **двѣрми** 439а 12; возможно также **кѡпие** 427а 8, **кѡпѣ** 448б 4. При этом очевидна тенденция к выравниванию ударения, то есть установление в парадигме колонного наосновного ударения, что в большей степени актуально для имен существительных *masculina* и *neutra*: **скѡта** Р.ед. 361б 24, 427б 29, 473а 1 - **къ скѡтомъ** 432а 28; **троўдоу** 422в 25 - **троўдомъ** 435г 35, 454г 6; **соўда** 460б 17, **соўдѣ** 453в 3 - **соўдомъ** 455б 23; **срѣбро** 469в 14, 468г 29, **срѣбра** 439а 39 - **срѣбромъ** 445а 8; **сѣрпомъ** 387б 38 при отсутствии других акцентуированных форм. Аналогична ситуация в парадигме существительного *воплъ*, но здесь такая акцентуация может характеризоваться как книжная [Зализняк 1985: 195, 376]: **ѡ вѡплѣ** 454б 31, **вѡплѣ** 458г 19, **вѡплѣмъ** 436г 24, 437б 12, 454б 23. Книжным является также ударение в парадигме существительного *вои* 'воины': **вѡи** В. 442г 12, **на вѡѣ** 442а 28, **вѡѣмъ** 442б 16, 447г 28, **вѡѣмъ** 447б 38.

В парадигме существительного *конь* представлено наосновное и флексивное ударение. Наосновное ударение отмечено в И.мн. **кѡни** 432г 3, в В. мн. при неисконной флексии *-и* **кѡни** 429в 39, 454г 17. В В. мн. при церковнославянском окончании *-ѣ* отмечено флексивное ударение **конѣ** 454г 15, 20. Наосновное ударение в Д. мн. **ковнемъ** 422в 23 демонстрирует, видимо, тенденцию к колонности ударения. Акцентуированы также формы **конѣви** Д. 455а 15, **конѣ** В.дв. 436в 25; М. ед. не акцентуирован.

У нескольких имен существительных *a*-основ в акцентной микросистеме Истории также имеет место наосновное ударение, но без тенденции к его выравниванию и установлению колонного ударения.

У существительного *жена* в И.мн. наосновное ударение **жѣны** же 431а 10, 446б 19, **жѣны** 432в 12 при сохранении исконного конечного ударения в Р.ед. **женѣ** 432в 19 и исконном ударении в других формах мн.ч.: **ѡ жѣнѣ** 427а 22, **женѣмъ** 440а 18, **съ женѣми** 401в 5 (+5). Акцентовка **жѣны** могла быть результатом акцентной эволюции - распространения исконной для а.п. *c* оппозиции **росѣ-рѡсы** на а.п. *b*.

Аналогичная ситуация представлена в акцентуации существительного *слуга*: **слоўгы** И. 436а 40, **слоўгы ѣѣ** В. 432б 40 при исконном **слоўгѣмъ** 451в 25, **слѣгѣми** 377а 4.

Менее надежен пример **вѣды** Р. 428а 25, поскольку буква **ѣ** написана по подскобленному; ср. **вѣдѣ** 431г 4, **въ вѣдѣхъ** 459б 5, **вѣдѣми** 471а 30.

Ударение **травоу** 432б 31 (других акцентуированных форм слова нет) могло быть обусловлено расширением акцентной оппозиции И. и В. ед., аналогией с а.п. *c* [см. Зализняк 1985: 374] или акцентуацией слова по а.п. *c*.

Имеющиеся в Истории данные о существительных с колебаниями а.п. малочисленны. Существительное *полкъ* (оно может акцентуироваться по а.п. *a*) представлено формами **прѣ(д) пѡлкомъ** 416б 35, **пѡлци** И. 459в 27,

**пóлкы** 407в 34, **пóлкъ** Р. 429г 25, что может быть обусловлено как акцентуацией по а.п. *a*, так и дефинализацией ударения и отражением тенденции к его колонности. То же относится к существительному *плодь* (новая а.п. *c*), имеющему акцентовку пловди И. 474а 29, **плóды** 430б 16, **плóды** В. 474а 36, **плóды** Т. 404б 10. Существительное *овощь* (вторичная, старая а.п. *a*) имеет акцентовку **ѡвóщъ** 474а 32. Топоним *Римъ*, который наряду с а.п. *b* мог акцентуироваться по а.п. *a* и *c*, представлен большим количеством словоформ, из которых, кроме непоказательных форм В.п., акцентуированы лишь две: из **римá** 377б 9, **къ рíмоу** 472г 21. Здесь можно видеть как колебание в данном памятнике между а.п. *a* и *b* (возможно, именно поэтому слово слабо акцентуировано), так и дефинализацию ударения при акцентуации слова по а.п. *b*. У существительного *рота* 'клятва' акцентуирована словоформа **роты́ дѣла** 462а 28, которая не позволяет сделать выбор между потенциально возможными для этого слова а.п. *b* и *c*.

У существительных *порокъ* и *прак* 'стенбитное, метательное орудие' акцентуированы формы ед.ч. **пóрoкъ** В. 453г 29, **прáкомъ** 441в 10, что соответствовало а.п. *c*, и формы В. мн. **порокы́** 435в 11, г 27 и 37, **порокы́** 414в 7, **пракы́** 415б 4, что соответствовало а.п. *b*.

Видимо, по а.п. *b* акцентуировано существительное *плено*: **въ плесно́** 414г 9.

У прилагательных а.п. *b* в нечленных формах представлен сдвиг в сторону неподвижного предфлексии ударения, что также было отражением дефинализации ударения: **кроу́глоу** В. 440б 2, **крѣ́гло же стѣ́нно** И. 438г 26, **моу́дра** И. 349в 15, **лю́та** 433в 19, 441г 36, **лю́тоу** В. 452г 35, 457б 3, **бо́дри** И. 442 в 37, 454б 14, **бо́дро** И. 449а 4, **го́ла** И. 430а 23, **го́ло** И. 432б 34, **вѣ́ли** И. 438г 19, **лѣ́гка** И. 419в 15, **лѣ́гци** И. 407в 32, сюда же предикатив **лѣ́гко** 442г 10, **хро́ми** 361а 6. У производных прилагательных: **стоу́денъ** И. 471б 4, **стоу́дена** И. 419в 18, **тѣ́жка** И. 373а 15, 456в 25, **тѣ́жци** И. 407в 31. Такой тип ударения был характерен для западной диалектной зоны.

Отступления от такой акцентуации редки: **крѣ́гло** 393г 38. Исконное флексии ударение сохраняет прилагательное *общь* в обеих акцентуированных формах: **ѡвѣ́щá** **есть** 441в 31, 455б 25. Флексии ударение имеет предикатив **до́брo** 476а 36, в то время как у однокоренного наречия книжная наосновная акцентовка: **до́брѣ** 438г 21, 442в 33.

Характерное для западной диалектной зоны неподвижное предфлексии ударение в группе прилагательных *высокъ*, *глубокъ*, *широкъ* также является примером дефинализации ударения [Зализняк 1985: 148, 304]. В микросистеме Истории оно представлено независимо от книжного или некнижного окончания: **высо́вци** И. 447а 5, **высо́кы** В. 433б 27, **высо́кѣ** В. 348в 31, **высо́ка** В. 351в 11, **высо́кѣ** Д. 465а 28, **на висо́цѣмъ** 351в 11, **глоу́бокъ** И. 459в 3, **при глоу́боцѣ** 351в 21, **гла́бока** И. 471б 3, **глоу́боко** И. 448б 1, **глоу́бокоу** Д. 469б 21, **глоу́бокы** И. 438б 4, 447г 10, **широ́ко** предик. 474б 25, Д. **широ́цѣ** 455г 29.

Наосновное ударение, связанное с книжным характером лексемы и к тому же характерное для западной зоны, имело прилагательное *равень*, которое в других памятниках выступает с флексиейной акцентовкой [ср. Ушаков 1982: 294]: **рѣвна** И. 439б 28, **рѣвно** И. 439а 36, 466в 29, **рѣвнѣ** М. 438в 31, **рѣвны** Р. 457б 30, **рѣвни** И. 438г 36.

Глаголы, относящиеся в древнерусском языке к а.п. *b*, в основном в Истории сохраняют исконную акцентуацию: **писати** 367б 11, **пишетъ** 366б 1, 370г 33, **любѣти** 369в 15, **любѣтсѧ** 370а 15, **искочѣть** 425а 34, **хвалю** 451в 2, **хвалѣть** 384г 7, **похвалѣти** 465а 23, **похвалѣть** 463г 29, **носить** 412в 24, **носѣть** 412в 26; сюда же, видимо, **порѣщѣть** 403а 7.

Отклонения от исконной акцентовки представлены в презенсе некоторых *i*-глаголов, то есть в формах 2 и 3 л. ед.ч. и 2 и 3 л. мн.ч. есть случаи акцентовки по а.п. *c* наряду с сохранением исконного ударения: **мѡлѣтсѧ** 447в 38 - **мѡлѣтсѧ** 454а 28, **ѡстоѣпѣти** 351а 4, **престоѣпѣте** 404в 11 - **ѡстоѣпѣти** 346в 13, 414а 31, **ѡстоѣпѣть** 351а 8, 12, **сѡсѣдиши** 378а 33, **сѡсѣдѣть** 385г 14, **сѡсѣдѣть** 396г 8 - **расѡсѣдити** 464а 3, **исхѡдѣти** 468б 24 (ср. **хѡдѣща** Р.-В. 387б 14).

Глаголы *-красити(ся)* и *ужаснутися*, имевшие в древнерусском языке исконную а.п. *b*, акцентуированы в Истории следующим образом: **красѣхѣ** 432г 38, **красѣшесѧ** 408в 10, **оѡкрасѣсѧ** 466а 14, **оѡкрасѣша** 424б 12 (+3), **оѡкрасѣвсѧ** 347б 36 (+1), **оѡкрасѣли** 405а 32, **оѡжасноѡтсѧ** 442а 15, 436б 12, **оѡжасѡшасѧ** 447а 39 (+9). Для окончательного вывода недостаточно фактического материала; можно лишь предполагать сохранение а.п. *b* для глагола *ужаснутися* и вторичную а.п. *c* для глагола *-красити(ся)*.

Глагол *трудитися*, у которого по памятникам представлены следы а.п. *b*, в Истории демонстрирует колебания между а.п. *b* и а.п. *c*: **троѡдѣтсѧ** 428б 21, **троѡдѣтсѧ** 428б 14 (**дѣ** написано над строкой), **потрѡдѣмсѧ** 419б 1.

Отклонение в сторону а.п. *c* от исконной а.п. *b* представлено у глагола *начати*: **навчнетъ** 380а 34 (+3), **начноѡтъ** 368б 25, 425а 1 - **начноѡтъ** 377в 36.

Глагол *-даяти* имеет акцентовку по а.п. *b*: **даю** 372а 30, **продѣѣть** 427в 12, **дѣемсѧ** 426б 13, **прѣдѣемсѧ** 426б 21.

У глагола *мощи* в форме 1 л. ед.ч. презенса **мѡгоѡ** 371б 8 представлена дефинализация ударения.

Глагол *ити*, некоторые формы которого по другим памятникам демонстрируют дефинализацию, в Истории акцентуирован частично, а именно формы аориста (кроме 3 л. ед.ч.) и имперфекта (**идѣше** 415а 6, **идѣхѣ** 420а 30, **идѡста** 357в 1, **идѡша** 356в 23), причастия наст. и прош. времени (**идѡуще** 414б 12, **шѣдѣше** 412в 8). У приставочных производных от *ити* могут быть акцентуированы разные формы, в том числе презенс и инфинитив: **внѣти** 409в 34, **внѣдемъ** 416б 36, **внѣдоѡтъ** 412а 14, **внѣдѡша** 415б 37 (регулярно при единичной **вѣнѣдоша** 423г 15), **възѣде** 345а 20, **изѣде** 346в 1. О приставочных глаголах см. также ниже.

**Акцентная парадигма с.** Среди существительных, относящихся в древнерусском языке к этой а.п., в микросистеме Истории более или менее

регулярно акцентуированы *брань, брашно, вещь, власть, волость, врата, гладь, градъ, гробъ, громъ, дань, даръ, дѣти, домъ, дрѣво, злато, кровь, люди, миръ, море, мужь, ночь* (кроме М.ед.), *рѣчь, поле, попель, ровъ, родъ, санъ, свѣтъ, слово, страсть, страхъ, тѣло, храмъ, часть*. При этом часто акцентуированы непоказательные формы.

В акцентуации слов а.п. *с* также представлено как исконное ударение, так и инновации, в результате чего в микросистеме Истории существительные исконных а.п. *а* и *с* приобретают схожую акцентовку.

У имен существительных сохранение а.п. *с* в микросистеме Истории отчасти поддерживается словами *a-feminina*, хотя и здесь не обошлось без инновации. Она заключалась в переходе к флексийному ударению в В. ед. *роукоу́* 444г 2, *роукоу́* 420в 9 при сохранении старого ударения *во́дѣ* 430б 35, 473г 18. Новая акцентовка была характерна для западной диалектной зоны (ср., однако, приведенную выше форму *тра́воу*). Ударение в других формах ед.ч. и дв.ч. отчасти исконное, отчасти также новое: *вода́* 430б 6, *воды́* Р. 357в 18, *роука́ма* Т. 451г 16, *нога́ма* 360б 30, 378а 32 - *роуко́ю* 451г 30, *роуцѣ́* В. 452а 26 (ср. *роуцѣ́* 461г 33, *рѣцѣ́* 456в 20, *носѣ́* 379г 29), .

В формах мн.ч. сохраняется исконная акцентовка слов а.п. *с*: *во́ды* И. 446а 3, *ко́сы* 412в 21, *рѣ́кы* В. 468в 7, *стѣ́ны* 432г 16, 450г 8, *стрѣ́лы* 444г 9 (у этого слова по памятникам возможны отклонения от а.п. *с* в сторону а.п. *б*), *по стѣ́намъ* 459г 13, *вода́ми* 385а 21, *нога́ми* 424в 11, 459а 5, *роука́ми* 445в 36, 450в 21, *стѣ́нами* 438б 3, 442а 14, 476а 21, *стрѣ́лами* 447в 27, *слеза́ми* 371б 16, 453в 19; при этом *рѣ́къ* 453г 24, *ѿ но́гъ* 426в 24.

У существительного *гора*, которое может, по данным памятников, отклоняться от а.п. *с* к а.п. *б* и *а*, в Истории акцентуация соответствует а.п. *с*: *гора́* 430а 26, *го́ры* И. 407г 16, 458г 29, 465в 25, *гора́ма* Т. 430а 34.

Случай по *водомъ* является порчей (вм. по *входомъ*).

Особо следует сказать о существительном *земля*. Его акцентовка (если регулярно проставляемая вариация является акцентным знаком) была следующей (ввиду многочисленности форм указания на листы рукописи приводятся выборочно): ед.ч. И. *зе́мля*; Р. *зе́мля*, *зе́мля*, в конструкциях с предлогами *ѿ зе́мля* 343г 21, 404а 24, *изъ зе́мля* 466а 23, *изъ зе́мля* 447б 1; Д. *зе́мля*, в конструкциях с предлогами *къ зе́мля* 439в 1, *по зе́мля* 344г 36, *по зе́мля* 400в 15 (+3); В. *зе́мля*, в конструкциях с предлогами *въ зе́мля* 461а 25, *въ... зе́мля* 472б 32, *на зе́мля* 345а 17, 472г 40, *на зе́мля* 403б 28; формы Т. не акцентуированы; М. *зе́мля*, в конструкциях с предлогами *на зе́мля* 378г 8; мн.ч. И. *зе́мля* 355г 11; Р. *зе́мля*, *зе́мля*, *зе́мля*; формы Д. не акцентуированы; В. *зе́мля* 477б 37; Т. *зе́млями* 403г 14, 451б 28; дв.ч. И. *зе́мля* 466в 16. Таким образом, акцентуация этого слова скорее соответствует а.п. *с*.

У большей части существительных (кроме *a-feminina*), в том числе у приведенных в списке выше, в Истории реализован принцип колонного ударения, и именно предфлексийного ударения, что было характерно для

западной диалектной зоны [Зализняк 1985: 286]. Флекссионное ударение отмечено в единичных случаях. Наосновное ударение было у существительных разных групп (перечень неполный):

*o-* и *u-masculina* ед.ч.: **гладомъ** 469г 21, **гродомъ** 447а 33, **даромъ** 432а 18, **ледомъ** 430в 38, **рбовомъ** 348в 30, **родомъ** 431г 6, **слономъ** 469г 4, **страхомъ** 428г 6;

- мн.ч.: **даровъ** 351а 36, **гробомъ** 436б 26, **гробѣ(х)** 353б 20, **градомъ** 429г 22, **въ... домехъ** 354в 19, **моужемъ** 379в 16 (+3), **тоуромъ** 430г 21, **храмомъ** 456а 28;

*i-masculina* и *i-feminina* ед.ч.: **пв(д) властью** 383а 9, **съ данию** 367б 9, **крбвию** 430г 26, **лестию** 428г 7, **местию** 356а 16, **нощию** 445б 12, **плотию** 376б 21, **рбчью** 361б 7 (+1), **честию** 354б 17;

- мн.ч.: **бранемъ** 367б 29, **въ бранехъ** 411г 26, **ѿ... вещьехъ** 377а 37 (со смешением форм Р. и М.мн.), **вещемъ** 349в 10, **ѿ... вещьехъ** 373а 12, **властемъ** 385в 22, **дѣбремъ** 351в 10, **въ костехъ** 379г 28, **крбви** 413в 39, **лосїи** 367б 21, **плотїи** 435в 40, **рбчемъ** 370г 16, **страстїи** 425а 13, **въ страстехъ** 451а 28, **червїи** 379г 32, **частїи** 436а 38; наосновное, но не предфлекссионное ударение **до гбленїи** 440а 39;

*neutra* ед.ч.: **дрѣвомъ** 452г 19, **златомъ** 440б 14, **моремъ** 404б 7, 9, **въ морїи** 378г 9, **словомъ** 423в 13, **тѣломъ** 450в 18;

- мн.ч.: **на врата** 457б 32, **дрѣва В.** 447а 29, **дрѣва В.** 435г 32, **морѧ В.** 403в 27, **полл И.** 430в 14, **В.** 411в 37.

Наосновное ударение представлено также у имен существительных в Т.мн. на *-ы* и на *-ми*: **властьми** 381г 3, **враты** 346б 35, **горъстми** 427б 37, **дарми** 445а 40, **съ дроугы** 347в 13, 349г 23, **звѣрми** 464а 17, **рбчми** 416г 35, **саны** 467в 2, **слова** 475б 7, **страстьми** 379г 26, **тварми** 443г 33, **частъми** 435а 10; ср. **данъмїи** 477г 18.

Такое же наосновное ударение имеют имена существительные *u-* и *o-masculina* с твердой основой в И. и В. мн. независимо от окончания, то есть как с *-и*, так и с *-ы*: **гласы** 401г 12, **грови** 432б 15, **дары** 446а 19 (+2), **гради** 445б 40, **грады** 429г 7, **саны** 381г 30, **въ слы** 462в 16, **слы** 407а 30, **рбви** 436б 31, **рбвы** 351б 5, **рбди** 426в 17, **чїны** 381г 29; наосновное, но не предфлекссионное ударение **города** 348а 19.

Флекссионное ударение представлено в следующих словоформах: **трепетомъ** 453г 36, по **родомъ** 448а 23, **градомѧ Т.** 438б 26, **лесы В.** 419г 5 при других неакцентуированных формах, **домовѣ И.** 459а 24; а также у слов *тестъ* цѣтив Д. 353а 27, *честъ* **чтїи Р.** 371г 14 (ср. **нощїи Р.** 454в 24 **при нощїи Р.** 348в 16). Однако оно не соответствует исконной акцентуации а.п. с, хотя флекссионное ударение по диалектам было возможно в формах *по родомъ* и *чтїи*.

У существительных с мягкой основой, где наосновное ударение было повсеместным [Зализняк 1985: 262], есть не вполне надежный пример **моужїи** 409г 4.

Парадигму с последовательным наосновным ударением в микросистеме Истории имеет существительное *люди*: лювдїи 382г 3, **людемъ** 425в 22 (+2), **съ... людьми** 351б 34 (+2), **на... людехъ** 459г 12.

У заимствованного существительного *сынъ* 'башня', которое встречается достаточно часто, в том числе и в написании под титулом, акцентуированы лишь некоторые словоформы: **сына** Р. 422а 35, 441г 28, **сыны** Т. 412а 25, **сыны** В. 435г 37, **сыны** В. 433б 27. Такая акцентуация могла быть обусловлена принадлежностью слова к а.п. *b* с сохранением исконного ударения в одном случае и его дефинализацией в других или принадлежностью слова к а.п. *c* с исконным ударением и неисконным флексийным в В.мн. (ср. приведенное выше *лесыv*) и неисконным наосновным в Т.мн.

Таким образом, новое ударение у имен существительных а.п. *c* представлено в формах *крѡвии*, *властьми*, *дѣрми*, *съ дръгы*. В акцентуации слов этой а.п. (кроме *a-feminina*) имели место морфологическая дефинализация и установление колонного наосновного ударения, в результате чего стиралась граница между исконными а.п. *a* и *c*. Наосновное, или предфлексийное ударение в Р.мн. на *-ии* (*стрѣстии*), в И. и В. мн. на *-и* у слов с твердой основой является книжным.

У нечленных форм имен прилагательных<sup>8</sup>, как и у большинства существительных, была реализована тенденция к колонному предфлексийному ударению, так что одинаковую акцентовку имели прилагательные исходных а.п. *a* и *c*: **бѡса** 401г 3, **мѡкъ** 474а 10, **слѡдка** 419в 14, **тѣсна** 403г 28, **тѣсно** предик. 439г 21, **вѣсело** 438г 34, **гѡрды** В. 455б 7, **жївы** В. 444а 13, **злѡтоу** В. 465в 11, **млѡды** И. 384г 9, **нѡгы** В. 402а 12, **нѡзи** И. 427б 24, **нѡвы** В. 438в 15, **поуѣсто** 430г 5, **соуѣха** В. 447а 29, **твѣрдо** 431г 28, **твѣрдоу** В. 434а 23. Новая предфлексийная, или корневая акцентовка прилагательных, характерная для западной зоны, была результатом морфологической дефинализации [Зализняк 1985: 291-292]. Ср. у производных нечленных прилагательных<sup>9</sup>: **велїкъ** 348в 29, **велїко** 442а 20, 465б 4, 470г 3, **велїка** Р. 438в 18, **велїкоу** Д. 442а 27, **велїкы** 438в 32, **гѡлодъ** 471а 21, **смѡлна** В. 447а 29, **срѡмень** 451г 6, **срѡмна** 403г 10, **стрѡшны** 351б 5, **чѣстни**

<sup>8</sup> У членных прилагательных в косвенных падежах отмечено флексийное ударение: а.п. *c* златыми 477г 15, **лѣвѡи** 412в 15, **нагїми** 433г 40, **слѣпїмъ** 361а 3; а.п. *b*, откл. к *c*, **хрѡмымъ** 361а 3. В формах сравнительной и превосходной степени прилагательных разных а.п. представлено как исконное ударение, так и отступления от него: **хрѡврѣшиаа** 455б 9, **хрѡврѣшихъ** 451а 11, **старѣшии** 347б 7, **старѣшиемъ** 345а 12, **старѣшиаго** 349в 1, **лютѣши** 456в 28, **оумнѣшихъ** 408а 19, **крѣплѣши** 463а 32, **мѡкънѣшихъ** 450б 27, **любѣшии** 416а 36, **талгѣши** 357а 14, **крѣпчѣши** 369а 38, **горчѣшию** 466б 12, **слѡвнѣ** 419б 13, **сїлнѣ** 408г 26, **скѡрѣ** 412б 6.

<sup>9</sup> Ср. акцентуацию производных членных прилагательных: **лѡдъскаго** 347б 12, **лѡдъское** 396а 5, **мѡрское** 433в 14, **примѡрскыа** 465г 24; **гѡрнаа** 421а 17, **рѣчнаго** 458а 39, **роучноу** 408б 21, **рѣчноу** 371г 16 (от *рѣчь*), **срѡмнаа** 453б 39, **стѣннаа** 422г 2; **нощноу** 448а 17, **полоунощноу** 443г 18 при **полоунощнѡи** 412г 39; **земнѡе** 430в 28, **по(д)земнѡю** 476г 17; **хрѡминнаа** 359г 19 (ср. **дрѣжїнна** Р. 368а 34).

370в 33, слѡнова И. 469б 9, ли́дско 438г 11, ли́дска И. 443г 7, свѣ́тлы 371г 13.

Флексивное ударение представлено в случае нетвердых И. 361в 19. Как в этом, так и в других случаях без отяжек ударения на *не-*: **нетвѣ́рды** 450г 38, **немощенъ** 347в 25, **немощныхъ** 422б 7.

Глаголы, принадлежавшие в древнерусском языке к а.п. *с*, в целом в микросистеме Истории имеют исконную акцентуацию при некоторых инновациях.

В презенсе (кроме 2 л. мн.ч.) ударение сохранялось: **ѡлѡчѡтсѡ** 462в 20, **погѡвѣ́тъ** 468а 17, **посади́тъ** 350г 9, **смирѡтсѡ** 425б 10, **сѣди́ши** 454б 12, **оудръжи́тъ** 434а 18<sup>10</sup>.

У некоторых глаголов в презенсе представлены отклонения в сторону а.п. *б* наряду с сохранением исконной акцентуации: **възбѣ́ранѡтъ** 458в 2 - **бранѡтсѡ** 486б 7 (другие формы **брани́ти** 451г 1, **брани́ти** 457а 30, **възбрани́ти** 453г 5, **възбрани́ша** 454б 10, **възбрани́ше** 345а 18, 433в 15); **поѡсти́тъ** 357б 7, **выпѡсти́тъ** 405в 25 (другие формы: **ѡпоѡсти́ти** 381б 8, **поѡсти** аор. 420г 19); **растоѡ(т)** 376а 25 (если это не перенос старой энклиноменной акцентировки на неисконную форму) - **растоѡ́тъ** 419г 27, 430в 16, 20, 451б 10; **стоѡ́** 362г 4, (ср. **достѡ́битъ** 361в 1, у которого такое ударение рано закрепилось); **храни́** 456в 23, **сѡхрани́** же 454а 23 - **храни́тсѡ** 419г 29 (другие формы: **храни́ти** 404г 7, **храни́тсѡ** 347в 10, **сѡхрани́ти** 457в 24, **сѡхрани́сѡ** аор. 365в 4, **сѡхрани́хомъ** 461а 13); **свобѡди́тъ** 426б 14 - **свобѡди́тсѡ** 389а 26 (другие формы: **свободивти** 401а 21, **свобѡди́тсѡ** 449а 15, **свобѡди** аор. 358а 21, **свобѡди́** 352а 14; не исключено выравнивание по существительному *свобода*, которое имеет в Истории только колонное предфлексивное ударение: **свобѡды** 425г 34, 400б 31, **свобѡдоѡ** 403а 19, 475б 22, **ѡ свобѡдѣ́** 403г 24); сюда же, возможно, **ѡвѣ́рзетсѡ** 459в 15.

Для выводов об акцентуации формы 1л. ед.ч. презенса в Истории мало фактического материала, хотя среди приведенных выше акцентуированных форм встречается новое флексивное ударение. Примером сохранения исконного ударения является **пѡю** 451в 2.

<sup>10</sup> Акцентуацию по этой парадигме сохраняют глаголы *-вѣ́сти*, *-зубити*, *-дати*, *-держати*, *-клонитися*, *-лучитися*, *миритися*, *-морити*, *-мутитися*, *покоритися*, *постыдѣ́тися*, *приключитися*, *реци*, *садити*, *сѣдѣ́ти* "сидеть", *тещи*, *учити(ся)*, *хотѣ́ти*, *-щадѣ́ти*, *явитися* и др. Для некоторых глаголов недостаточно данных. Например, у *молчати*, *-таитися* формы презенса не акцентуированы; у *пити* они не употребляются, у *-творити* отсутствует форма 1 л. ед.ч., остальные сохраняют исконную акцентировку **твори́тъ** 347г 14, **твори́тсѡ** 456а 37. Ср. в киноарных заголовках: **твѡраше(т)сѡ** 381а, **сѡтвористѡ́**, **сѡтвори́** 469б, **затвори́ти** 477а, где корневое ударение может быть сохранением следов а.п. *б* у этого глагола или влиянием южнославянской акцентуации, **сѡхрани́ти** 383в, **оуклѡ́нисѡ** 467а (следы другой, древней а.п.?), **пѡнѡви** 366в.

Акцентуированные формы 2 л. мн.ч. презенса в тексте Истории весьма немногочисленны. В одном случае сохранено исконное конечное ударение **вѣлитѣ** 405б 3; новое предконечное ударение представлено у глагола **вратѣте** 432в 19. Корневое ударение засвидетельствовано у глаголов **сѣчете** 360в 13 (у *c*-корневого *сѣчи* корневое ударение и в некоторых других формах; об этом см. ниже), **покрѣтеса** 422г 15. Предконечное ударение в форме **престоупѣте** 404в 11, видимо, демонстрирует отклонения в сторону а.п. *c* (у этого глагола возможна акцентуация по а.п. *c*) на фоне других форм, имеющих акцентовку по а.п. *b* (примеры см. выше). Ср. акцентовку 2 л. мн.ч. презенса у глаголов других а.п.: **вѣдите** 422г 16, **въз(д)вигаете** 404г 13, **поставите** 360в 9, **смѣтрите** 403в 31.

В императиве 2 л. мн.ч. у глаголов а.п. *b* и *c*, где было исконное флексийное ударение, представлена следующая акцентовка: **въз'вратѣтеса** 444г 19, **градѣте** 361г 14, **казнѣте** 408б 23, **поустрѣте** 425а 9, **пощадѣте** 404г 18, 426г 4, **рассмотрѣте** 361а 32, **смотрѣте** 368б 6 (акцентное различие форм 2 л. мн.ч. презенса и императива этого глагола), **схраниѣте** 404 г 27, **хранѣте** 408б 13.

У глагола *-ложити* корневое ударение может быть не инновацией, а архаической чертой [Зализняк 1985: 362]: **приложѣтса** 427б 32 при обычных **приложѣтса** 407а 27, **преложѣтса** 358а 29, **положѣть** 353б 20 (другие формы: **приложѣти** 372г 36, **преложѣти** 374в 15, **слѣжив'ше** 446в 9, **възлѣжѣшу** 382б 20, **възложѣла** 375б 3).

Колебание ударения (если не ошибка) имеет место в глаголе **оугодѣти** 418б 1 при обычном **оугодѣти** 373б 29 (+2), **годѣтса** 412в 12.

Неисконное ударение наряду с исконным представлено у глагола *дивитися*: **дивѣтиса** 469в 37, **дивѣтса** 415г 32 - **оудивѣтса** 411г 28, **дѣвлашетса** 452г 1 при **дивѣшетса** 351в 18.

Акцентуацию по а.п. *c* в микросистеме Истории имеют глаголы *обълегчити* (да **вблѣгчѣть** 381б 6), *осквернити* (**вскврѣнѣть** 473б 37, **вскврѣнѣте** 444г 21, **вс'кврѣнѣль** 453а 38), *ротитися* (**ротѣтса** 385в 9, **ротѣшаса** 365г 14, **ротѣса** 432а 15), *имати* (он принадлежал к этой а.п. первоначально, см. [Зализняк 1981: 126], **имѣти**, **яти**: **емлѣють** 411г 39, **имѣмъ** 362г 16 (+3), **имѣть** 356б 3 (+4), **имѣють** 346в 24 (+5)). При этом у префиксальных производных с приставкой *при-* от трех последних слов формы презенса не акцентуированы. О некоторых других приставочных см. ниже.

#### IV

**Глаголы с неслоговым корнем.** У приставочных глаголов с неслововым корнем а.п. *b* и *c* было два типа акцентуации: тенденция к флексийному ударению во всех формах презенса была характерна для северной и средней частей восточной зоны; на юге восточной зоны и в западной зоне складывается тенденция к префиксальному ударению [Зализняк 1985: 363]. Акцентуация приставочных глаголов с неслововым корнем в микросистеме Истории отражает вторую

тенденцию (в том числе и в двусложных приставках): **дѣидеть** 438б 26 (ср. аор. **дѣиде** 447а 28, 449г 38), **пѣидеть** 355г 18 (+4), **пѣидемъ** 428б 25, **пѣидоуть** 407а 21, 415а 21 (ср. аор. **пѣиде** 359г 12 (+3)), **разъидѣтеса** 396в 24, **пѣслемъ** 365в 6 при **пѣлетъ** 417а 23, **пѣметъ** 366б 20, 374б 3, **подѣметъ** 443а 35, **дѣж(д)емъ** 462а 17, **пѣждоуть** 406в 37, **зѣжгѣтъ** 457б 16, **пѣжгоуть** 450б 18 (+2) (ср. аор. **пѣжьже** 431а 9, **пѣжъже** 414в 37), **прѣстретеса** 411б 6 при **прѣстрѣтеса** 411б 10<sup>11</sup>.

Инновацией, характерной для восточной зоны и эпизодически встречающейся в западной зоне, является **начноуть** 377в 36.

В Истории представлена также оттяжка ударения на частицу: **нѣидоуть** 385б 5.

**Инфинитив.** Инфинитивы, интересные с точки зрения акцентологии, в тексте Истории или вообще отсутствуют, или не акцентуированы (*въжещи, възбл्यости, налечи, отънести, пожещи, принести* и др.). У акцентуированных форм представлено ударение старое и новое: **оутьещи** 417б 29 - **оутьѣщи** 473г 10, **взати** 395б 8 - **взѣти** 356г 36, **взѣтъ** 404б 34; новое ударение у глагола группы *-ати* **понѣти** 410б 19. Акцентуированы также **пѣсти** 345г 4, **напѣсти** 437а 34, **спасти** 461б 30.

Примером дефинализации ударения является акцентовка **мѣщи** 369б 28. У глагола *помощи* в микросистеме Истории представлено начальное ударение **пѣмощи** 350а 33, в 27, 455г 20, характерное для западной зоны и являющееся результатом переброса ударения с конечной гласной [см. Зализняк 1985: 355].

**Причастия.** В акцентной микросистеме Истории в акцентуации причастий представлена тенденция к обобщению предфлексивного ударения независимо от принадлежности глагола к а.п. *b* или *c* и отчасти а.п. *a*. Она охватывает страдательные причастия прошедшего времени на *-ен-* и *-ан-* в членных и нечленных формах. Таким образом, имеет место унификация разных типов а.п., характерная для западного типа акцентовки *-ен-*причастий [Зализняк 1985: 340, 349-350]. В причастиях а.п. *c* суффиксальное ударение *-ен-*причастий является результатом морфологической дефинализации ударения, к тому же характеризующаясь как книжное.

Хотя тенденция к суффиксальному ударению прослеживается четко как в *-ен-*причастиях, так и в *-ан-*причастиях, есть группа слов с корневым ударением:

*-ен-*причастия, суффиксальное ударение: **бодѣнъ** 407а 32, **въмолѣнъ** 343г 25, **завѣени** 361а 17, **затворѣныхъ** 425в 15, **искоушѣнымъ** 410в 38, **вѣроушѣноюю** 357а 9, **плѣнены(х)** 471г 35, **погребѣна** 449а 25, **помощѣнъ** 438г 30 (от *помостити*), **потѣщѣнъ** 427а 35, **почтѣны** 467в 2, **расточѣнни** 389б 10, **смѣшѣнаа** 459а 27, **тавлѣнно** 414в 22;

<sup>11</sup> Прочие примеры с префиксальным ударением, в том числе и на двусложной приставке, засвидетельствованы для форм аориста: **нѣиде** 375в 28, 408г 29, **въиде** 440а 12, **прѣиде** 436б 4, 469а 3, **прѣиде** 467в 37, **прѣид** 348а 23, 405б 8 при **прѣид** 453в 34, 465а 15, 467г 8, **распѣша** 390а 29 при **распѣ** 348в 9.

- корневое ударение: **ИЗБАВЛЕНЬ** 471г 18, **УСТАВЛЕНЪ** В. 473в 11, **УТРАВЛЕНЪ** 377б 25 (ср. **УТРАВІТИ** 355г 8, **УТРАВІША** 353б 15), **ПОСТАВЛЕНЪ** 370а 37, **ПРОМЫСЛЕНОУЮ** 456в 5, **РАЗГРАВЛЕНИ** 434г 25, **СОУЖЕНО** 451в 20 (глагол с колебанием ударения в презенсе); **СЪКРОВЕНЪ** 419в 25, **СЪЧЕНЫ** 476г 6, **СЪСЪЧЕНЫМЪ** 462б 12<sup>12</sup>;

-ан-причастия, суффиксальное ударение: **ВДАНА** 400а 38, **ВДАНО** 416в 7, **ВЪСПИТАНЪ** 383б 6, **ВЪНЧАНА** И. дв. 469б 2, **ВЪНЧАНИ** 469б 17, **ДАНО** 425а 13, **ИЗЪБРАННЫМЪ** 435б 4, **ИЗБРАННЫМИ** 457г 14 (+9), **ИМЕНОВАНА** 477в 5, **НАПИСАНО** 382б 1, **НАПИСАННОМУ** 382а 18, **ЪДАНО** 439а 10, **ЪДАНАА** 449в 11, **УКЛЕВЕТАНИ** 383а 3, **УКЛЕВЕТАНЫМЪ** 466г 14, **УКОВАНА** 434б 36, **УКОВАНИ** 464а 14, **УКОВАННЫ** 470а 9, **ПИСАННЫМЪ** 431в 25, **НА ПИСАННЫХЪ** 371а 24, **ПИСАНЫМЪ** 469г 4, **ПОПРАНА** 424г 17, **ПОПРАНОУ** 388г 7, **ПОСЛАНЪ** 377г 14 (+3), **ПОСЛАНА** 445а 3, **ПОСЛАНИ** 401б 40, **ПОСЛАНИИ** 454б 21, **ПОТОПТАНИ** 458б 8, **ПРОГНАНЪ** 408г 5, **РАСКОВАНА** 450б 5, **СВАЗАНАМА** 476б 30, **СЪЗДАНА** 438в 3, 29, **СЪЗДАНИ** 411г 3, **СЪЗДАНА** 416в 18, **ОУПИТАНИ** 424в 30;

- корневое ударение: **НАПИСАНЪ** 428в 30, **НАПИСАНО** 456б 23, **НАПИСАНА** 468г 1, **УКОВАНЪ** 346б 29, **ПИСАНО** 366а 28 (+1), **ПРОСЛАВЛЕНИ** 470б 4, **ТЕСАНЫМИ** 438г 21.

Таким образом, причастия *писанъ* и *окованъ* имеют колеблющееся ударение.

Формы И.п. ед.ч. м.р. действительных причастий настоящего времени, ставшие впоследствии деепричастиями, в основном имеют новое конечное ударение. В этот процесс вовлечены не только слова а.п. *b* и *c*, но и отчасти исконной а.п. *a*, у которых в Истории представлена тематизация ударения: **АБИЕЕЗДА** 448б 40 (глагол с тематизацией ударения), **БРАНА** 416г 27, **ВИДА** 448б 7 (+4), **ВОДА** 436б 1, **ГОНА** 455а 10, **ИДА** 465г 7, **ЛОВА** 408г 4, **ПЛАША** 455в 16, **ПРЕТА** 350в 32; **БЛЮДАСА** 359г 16, 420а 15, **БОРАСА** 380а 4, **ГРОЗАСА** 360в 5, **МОЛАСА** 460в 1, **НОУДАСА** 436в 3 (глагол с тематизацией ударения), **ТВОРАСА** 357в 23. У *aj*-глаголов акцентовка **КЛАНАЛСА** 445а 4 (глагол с тематизацией ударения), **ПЛЪНАЛ** 429г 30, **ПОСТИГАА** 441в 5, **РЫДАА** 460а 12, **ТАВЛАЛ** 379а 24. Корневое ударение имеют слова а.п. *a*: **ВЪГАА** 348а 25, **ВЪДАА** 356б 20, **ДЪМАА** 414а 7, **ИМЪА** 353б 11, **ПЛАЧА** 371б 19, 448а 35. У слов других а.п. корневое ударение связано, видимо, с дефинализацией ударения, хотя возможно и сохранение старой акцентовки: **ХОТА** 381г 1 - **ХОТА** 455в 18 (+3), **СКАЧА** 455в 24 - **СКАЧА** 452г 8; сюда же (?) **ОУБОЛАСА** 447г 11.

Предфлексивное ударение в микросистеме Истории представлено в -л-причастии, входящем в состав перфекта или плюсквамперфекта, у глаголов а.п. *b* и *c*: **БИЛСА** 356а 23, **ВЪКОУСИЛИ** 462б 36, **ВЪЗЛОЖИЛА** 375б 3, **МИНОУЛО** 460в 23, **УВЕРУЧИЛАСА** 370б 26, **УСКВЕРНИЛИ** 425в 20, **УСТУПИЛИ** 429в 9, **ПОДАЛЪ** 371а 32, **ПОДАЛИ** 446в 8, **П(У)УСТРИЛИ** 424в 34, **ПОКЛОНИЛСА** 365г 5, **ПРИКЛЮЧИЛАСА** 406в 6, **РАЗГНЕВИЛИ** 355а 20, **РОДИЛСА** 425а 40, **СЪВОКОУПИЛСА** 356в 34,

<sup>12</sup> В киноварном заголовке **ПОТЪПЛЕНЪ** 367в.

скоупіласа 352б 31, сътворілѣ 355а 34, оукротілѣ 410а 32. Аналогично у глаголов на *-овати* **безаконновали** 425г 14, **поревновали** 429а 16. У слов а.п. *a* предфлексивное ударение было в том случае, если у соответствующего глагола хорошо представлена тематизация ударения: **заповѣдалѣ** 369в 20, **повѣдали** 459в 23, **понидали** 478б 3, **хоулили** 386а 5. В других случаях ударение в причастиях было корневым: **вѣдалѣ** 360в 14, **вѣдали** 413а 4, **доумали** 349в 24, **имѣла** дв. 354а 27, **лагала** 373б 11, **встáвилѣ** 357а 21, **встáвила** 376г 23, **встáласа** 443в 40, **повáбилѣ** 355б 3, **привáдилѣ** 355б 14. Корневое ударение имеет причастие от глагола *изволити* **извóлили** 409б 8. Флексивное ударение встретилось в формах **въз(д)виглáса** 377в 34, а также **могли** 451б 35 (ср. **могли** 424г 26), **пекл́са** 424г 2, **рацл́и** 361а 37.

Действительные причастия прошедшего времени, ставшие впоследствии деепричастиями на *-въ*, в тексте Истории немногочисленны и часто не акцентуированы. У акцентуированных форм (от глаголов с подвижным ударением в прошедшем времени) была новая предфлексивная акцентовка: **изб́ивѣ** 435а 38, **из'брáвѣ** 420б 1, **призв́авѣ** 434в 7, **приклон́ивса** 374в 25. Иное ударение в **оуч́инивѣ** 356г 3. Причастия *възложивѣ* и *сложивѣ* не акцентуированы при **възл́ожѣ** 465в 10, **възл́ожшю** 382б 20, **сл́ожив'ше** 446в 9. Следует указать также **раз'гнѣ́вавса** 346б 6, 358в 17 при **раз'гнáдавѣ** 471б 13, 476г 3.

**Тематизация ударения.** Интенсивный процесс тематизации ударения, то есть его перенос на тематический элемент, был характерен для западной диалектной зоны [Зализняк 1985: 356-357]. В микросистеме Истории это явление затронуло довольно большую группу глаголов.

Тематизация ударения имела место у вторичных имперфективов с суффиксом *-aj-*, хотя акцентуированные формы немногочисленны<sup>13</sup>. У соответствующих перфективов сохраняется исконное ударение:

- **постáвити** 400в 32, **встáвлю** 402б 26, **встáви** 400г 20 - **поставл́ати** 394а 20, **поставл́а** 385в 14; **испрáвити** 465б 23, **дá са испрáвѣть** 396в 35, **испрáвитса** 408б 5, **распрáвѣтса** 400в 40 - **исправл́ите** 408б 19, **ис'правл́ють** 453б 16, **исправл́етса** 419б 3; **изб́авити** 448б 32 (+3), **изб́авитѣ** 467б 38, **изб́авѣть** 466г 16, **изб́авитиса** 467г 17 при неакцентуированной форме имперфектива. У имперфектива *-ширяти(ся)* ударение **шир́етса** 411в 9, **расшир́ати** 443б 29, **расшир́етса** 411б 11, тематизация ударения представлена у перфектива (см. ниже).

У глаголов *бѣгати*, *вѣдати*, *дѣлати*, *надати*, *слушати* и, возможно, *двигати*, *двизати* сохраняется исконное корневое ударение. У их приставочных производных ударение было на тематическом элементе:

<sup>13</sup> Сложность заключается в том, что формы типа **вславл́ше** 354г 8, **вславл́хоу** 351в 27 формально могут быть отнесены как к имперфективу, так и к перфективу. В данной статье, при ориентации на готовящийся к изданию словоуказатель к «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия по списку Архивского хронографа, подобные формы рассматриваются как перфективы.

- **вѣгахъ** 407в 29, **вѣгающе** 423б 32, **вѣгаема** Р.-В. 455а 11 - **вывѣгахъ** 464в 3, **привѣгати** 449а 16, **привѣгающе** 446г 6;
- **вѣдаше** 375а 12, **вѣдающе** 421б 15, **вѣдалъ** 360в 14 - **исповѣдати** 409а 20, **повѣдати** 369в 25, **повѣдаю** 362в 21, **проповѣдати** 416а 20, **проповѣдаше** 459а 37, **заповѣдаше** 443б 38;
- **дѣлати** 437б 31, **дѣлаше** 389г 15, **дѣлахъ** 437б 6 - **въздѣлаша** 420г 10, 414г 6 (2 раза), **сздѣлаша** 474б 29<sup>14</sup>;
- **слоушахъ** 458а 37, **слоушающимъ** 357б 34 - **послоушаѣши** 477в 15, **послоушаше** 405а 1;
- **падахоу** 421а 31 (+6), **падахоутъ** 456а 25, **падающа** 469г 14 - **нападахоу** 457г 20 (остальные формы не акцентуированы; глагола *въпадати* в Истории нет).

Формы бесприставочных имперфективов с корнем *двиг-/двиз-* не акцентуированы; у приставочных ударение оказывается на тематическом элементе: **въз(д)вигати** 423а 4, **въз(д)вигаетъ** 403г 8, **въз(д)визаѣши** 355б 7, **въз(д)визають** 457в 23, **подвижатица** 450в 21, **подвизатица** 395г 24, **подвигахоу** 441в 10.

У глаголов *-рѣзати* и *-сыпати* представлена следующая акцентуация: **ѡрѣзахъ** 378б 27, **ѡрѣзаша** 473в 21, **рѣзахоу** 414в 11 (+1); **засыпати** 385г 29, **насыпати** 470в 20, **насыпа** 409а 16, **сыпахъ** 427б 37.

Возможно, различной была акцентуация у приставочных производных и бесприставочных *грабити*, *кликати*, *ратитися*, *рушити*:

-*грабити* **грабити** 443б 35, **грабахъ** 432г 33, **раз'грабити** 401б 35, **раз'грабить** 473б 35, **разграби** 466в 23, **раз'грабиша** 433а 27;

-*кликати* **кликати** 458г 27, **кличеши** 453б 39, **кликахоу** 467в 33, **кликахъ** 474в 9, **кличюща** 458а 36, **кличюще** 458г 23, **въс'кликаша** 347г 27, **въс'кликаша** 458а 21;

-*ратитися* **ратитица** 404а 2, **заратити** 402г 26, **зарататца** 477б 37, **заратишася** 429г 13, **заратихомся** 474г 1, **разрататца** 440г 4;

-*рушити(ся)* **ршити** 429б 13, **раз'ршити** 374б 29, 379б 36, **раз(д)ршати** 474б 8, **раз'дроушиша** 361б 29, **раз'ршита** 356в 17, **раз(д)ршихомъ** 421г 32, **раз(д)ршатца** 425б 17.

Кроме того, тематизация ударения представлена еще у большой группы глаголов, среди которых не только *aj*-глаголы, но и *i*-глаголы. У некоторых слов новое ударение стало стабильным и охватывает все формы; у других оно ограничено только частью форм наряду с сохранившимся старым ударением; представлено и колебание ударения:

*видѣти* **видашю** 376г 19, **видашю** 376г 21, **видашце** 436г 34 (+16), **видашце** 451в 36 (+6);

*висѣти* **висать** 440б 3, **висаше** 439а 4, 439б 27, **висахоу** 440б 19, **висащи** 454в 27, **висашеса** 440б 11;

*възвысити(ся)* **възвыситца** 470в 24, **възвысиша** 438в 28, 474б 32;

<sup>14</sup> Ср. ударение в производных существительных *дѣлатели* 430г 22, *дѣлателемъ* 441б 34.

*въсѣдати* всѣдають 412в 6;  
*-гнѣвати(ся)* гнѣваѣтсѧ 427а 7, гнѣвѧхоуѣтсѧ 426г 38, прогнѣвѧти 403а 29, прогнѣвѧѣтъ 416в 14, раз<sup>с</sup>гнѣвѧѣтъ 381б 35, раз<sup>с</sup>гнѣвѧсѧ 356в 4, разгнѣвахоуѣсѧ 437г 20;  
*-готовити(ся)* готовѧтсѧ 422в 24, оуготовлѧше 389а 22;  
*досягати* досагѧти 345в 40, дасѧгѧть 455в 24;  
*ѣздити* ѣздѧти 437а 35, ѣздѧше 470а 19, ѣздѧхѣ 474а 26;  
*исполнитися* исплѣнѧтисѧ 377б 37, исплѣнѧтсѧ 475б 27, исплѣнѧсѧ 373в 9, исплѣнѧшасѧ 365в 14;  
*кланятися* клѧнатисѧ 437б 38, клѧнаюѣтсѧ 461а 3, клѧнѧшесѧ 374в 35, клѧнѧхоуѣсѧ 383б 22;  
*-медлити* мѣдлимѣ 419а 36, мѣдлѧше 443а 6, помѣдливѣ 455в 35, мѣдлѧще 447б 7, мѣдлѧщимѣ 346в 22;  
*мучити(ся)* моуѣтити 417а 19 (+2), моуѣтити 356б 33 (+5), моуѣтитѣ 385в 34 (+2), моуѣчатѣ 417г 1, моуѣчѧ 375г 21, моуѣчѧше 362а 6, моуѣчѧшѧ(с) 473г 4;  
*низити* низѧше 455б 12;  
*-нудити* ноуѣдит 374а 34, ноуѣдатѣ 386б 2, ноуѣдѧтъ 453б 10, ноуѣжѧше 347г 32, ноуѣдѧхѣтъ 433г 39, поноуѣжѧхѣ 436в 19, поноуѣдѧша 471б 20;  
*ослабитися* 'смягчиться, проявить уступчивость' ос<sup>с</sup>клавѧтисѧ 450г 27, осклавѧшасѧ 446а 35, 450б 23, 457б 6, 462в 37, 472а 1;  
*плакати* плѧкѧти 435г 22, плѧкѧти 380а 33, плѧкѧхѣтъ 401а 10, плачѧще 458г 24, плѧчѧщесѧ 449а 14;  
*погибати* погивѧѣмѣ 460а 34, погивѧхоуѣ 428в 3, погивѧхѣ 402а 38;  
*-подобитися* подовѧшесѧ 440в 21, сподовѧмсѧ 379в 30;  
*приблизитися* привлижѧтсѧ 386б 37, привлижѧсѧ 377г 36, привлижѧшасѧ 450в 6, привлижѧстасѧ 466в 16;  
*приѣхати* приѣхѧша 418а 15;  
*продолжитися* продлѣжѧсѧ 459б 31;  
*противитися* протѧвитисѧ 404б 28 (+1), протѧвитисѧ 411а 15 (+5), протѧвитесѧ 444г 14, протѧвѧтсѧ 422б 11, протѧвѧшесѧ 389а 16, протѧвѧхѣтсѧ 441б 39;  
*работати* работѧти 445в 16;  
*разглядати* разглѧдѧти 360б 38, разглѧдѧти 358в 8, разглѧдѧѣте 426в 37, разглѧдавѣ 471б 13;  
*расширити* разширѧша 438в 39, расширѧша 454в 35;  
*-слабити(ся)* раз<sup>с</sup>слѧвѧтъ 475б 4, разслѧвѧшасѧ 438а 8, ослѧвлѧхѣтъ 447а 18;  
*-слышати* слѧшатѧ 409б 31, слѧшатѣ 365б 16, оуслѧшитѣ 377в 24, слѧшѧша 459в 36, слѧшѧша 421в 22, слѧшѧв<sup>с</sup>ше 468б 31;  
*увѣритися* оувѣрѧтсѧ 409г 40, оувѣрѧшасѧ 411а 8 (глагола *вѣрити* в Истории нет; ср. *вѣровати* 417б 21, *вѣровѧше* 459б 17);  
*умалитися* сѧ оумалѧтъ 419б 10;  
*умножитися* оумножѧшасѧ 428в 4, оумножѧшасѧ 443в 27 (+3);

-хитити расхитѣть 409б 1, въсхѣти 458а 15, въсхитѣша 401б 39, 432б 39, въсхищѣше 440г 22, въсхищѣхѣть 454г 12, въсхищень 476а 26;

хулити хѣлѣшеъ 369а 19, хѣлѣше 384в 31, хѣлѣли 386а 5;

-гздити гздѣше 436б 19, авѣегздѣше 441а 11.

Колебание ударения в имперфекте отмечено у глаголов *вабити* (**вабѣхѣ** 348б 20 при **вѣбити** 415г 36, **вѣбаше** 383в 26), *влизити* (**влизѣше** 455б 14 при **лѣзяхѣ** 452б 18, **лѣзити** 422г 35, **влѣзити** 351г 21), *думати* (**доумѣше** 457в 16 при **доумаше** 402в 3, **доумахѣ** 433а 37), *молвити* (**молвѣше** 368г 12 при пв(д)мѣлви 357б 21), *-мыслити* (**мыслѣше** 350г 29 при **мыслить** 347б 22, **мыслѣть** 451в 3, **мыслѣше** 422в 7, **домыслити** 421а 27, **замыслиша** 433б 4, **помыслити** 420а 21, **помыслить** 473б 36, **промыслити** 474в 22), *славити* (**славѣшеса** 389г 17 при **славяхѣ** 435а 39, **славлахѣ** 402в 33, **славяхѣть** 409б 10, **прослѣвиша** 433г 29).

Акцентуированы также единичные формы глаголов *опечалитися* (**опечалишеса** 351г 13, 471в 37), *гзвити* (**гзвѣвшихѣ** 432в 9).

Таким образом, у глаголов *възвысити(ся)*, *-готовити(ся)*, *гздити*, *исполнитися*, *осклабитися*, *погибати*, *-подобитися*, *приблизитися*, *раздрушитися*, *увѣритися*, *хулити* новое ударение в Истории является единственным; у глаголов *мучити(ся)*, *-нудити*, *противитися*<sup>15</sup>, *умножитися* оно преобладает. Можно предполагать его в глаголах *въсгздати*, *низити*, *пригхати*, *продолжитися*, *работати*, *расширити*, *умалитися*, *гзвити*, *гздити*, для которых в рассматриваемом памятнике имеется мало фактического материала. У прочих глаголов представлена старая и новая акцентуация. Обусловленное тематизацией новое ударение уже не соответствовало исконной а.п. а.

Процесс тематизации ударения (отчасти, возможно, связанный с книжным характером некоторых слов) в микросистеме Истории не затронул, помимо приведенных выше перфективов, и некоторые другие глаголы (*ударити* и, видимо, *утѣшити*).

**Дефинализация ударения.** Этот процесс, характерный для западной диалектной зоны, довольно хорошо представлен в микросистеме Истории. Примеры устойчивой морфологической дефинализации были указаны выше. Дефинализация представлена: 1) в акцентовке некоторых существительных и прилагательных а.п. *b*; 2) в форме Т. мн.ч. на *-ми* существительных а.п. *c*; 3) в прилагательных, а также, возможно, в некоторых формах существительных *a-feminina* а.п. *c*; 4) в инфинитивах; 5) в форме 2 л. мн.ч. презенса глаголов а.п. *c* и в форме 1 л. ед. ч. глагола *моуци*; 6) в *-ен-* и *-ан-*причастиях а.п. *c* (в виде предфлексии ударения); 7) в группе прилагательных *высока*, *глубока*, *широка* (в виде предфлексии ударения). Кроме того, морфологизованная дефинализация имеет место в аористе речве (362г 9 и остальные только с таким ударением).

<sup>15</sup> Ср. постоянное ударение в **прѣтивѣ** 436в 38, 438а 36 в тексте Истории при **прѣтивѣ** 457г в киноарном заголовке.

Лексикализованная дефинализация в микросистеме Истории представлена в неизменяемых и служебных частях речи<sup>16</sup>: **бóле** 360а 37, 361в 38, 361г 37; **дóбрѣ** 438г 21, 442в 33 (книжное ударение); **дрéвле** 350а 25, 449а 12, 449г 32 (книжное ударение); **сѣ́ло** 365г 5, 367а 5, 375б 12; **искóни** 383а 10; **крóмѣ** 354г 29, 355а 12; **мéжи** 350а 11; **мéжю** 460г 12; **прéди** 367б 33; **сквóсѣ** 345в 25, 348в 36, 447б 19; **срéди** 457в 29; **тоўне** 459в 14 (случай сомнительный; единственное словоупотребление). Колебание ударения: **вѣлми** 401б 23, 471б 2, **вѣлмí** 451в 2.

**Оттяжка ударения на предлог.** В микросистеме Истории оттяжка ударения на предлог, с одной стороны, представлена довольно многочисленными случаями; с другой стороны, она была ограничена определенными предлогами и лексемами<sup>17</sup>. В основном это были предлоги *по* и *на*, в двух случаях - предлог *за*, по одному разу *безъ*, *близъ*, *до*. Наиболее регулярно оттяжка ударения на предлог имела место при существительном *рядъ*: **дó** вечера 385а 38, 432а 6, **на водѣ** 412б 15, **пó** волости 355в 3, **на бѣга** 404в 3 (+2), **на брань** 403а 26 (+3), **на березѣ** 429в 37, **на градѣ** 428а 29, **пó** градѣ 381в 23, **за голень** 455а 14, **пó двоѣ** 439а 27, **на двоѣ** 456в 34, **дрóугъ на дрóуга** 419а 31, **дрóугъ на дрóугѣ** 421а 32, **на дрéвѣ** 419г 33, **на землю** 345а 17-18 (+1; см. также выше остальные данные по этому слову), **на люди** 424а 3, 428г 17, **пó лѣсомъ** 413а 35 (+2), **пó морю** 434а 27-28, **пó мостѣ** 429в 36, **на нѣо** 430б 32, **на ночь** 432в 37, **за ность** 464в 2, **на поле** 361г 33, **пó полю** 381в 24 (+2), **на полы** 456в 35, **пó рѣдоу** 380в 36 (+10), **пó соухѣ** 379а 6, **на стѣны** 451г 24, **влизъ стѣнь** 448б 27, **вѣс чести** 349в 3, **на ч(с)ть** 466б 31.

С другими предлогами у тех же слов оттяжки ударения нет: **при брани** 404в 12-13, **подлѣ березѣ** 429в 27, **до гóленii** 440а 39, **прѣ(д) градомъ** 361а 28, **до пола** 410г 7.

В Истории отсутствует оттяжка ударения на предлог *о*: **о вѣщехѣ** 368б 5, **о вóлость** 343г 15, **о мíръ** 418а 9, **о чѣсть** 343г 15.

Другие случаи отсутствия оттяжки ударения (перечень неполный): **безъ глása** 412б 23, **безъ крóвѣ** 451в 38, **безъ пóта** 436г 19, **на мѣсть** 466б 1, **на мíръ** 461б 26, **по моўжю** 344г 34, **по чáсти** 348а 4, **по(д) чрѣво** 345г 3.

Оттяжка ударения на предлог имела место у производных существительных *помощь* и *устройство*: **на помощь** 404в 17 (+12) при **вѣс пóмощи** 418б 35, **по пóмощь** 425г 10-11, **на ўстроенíе** 403в 28.

Оттяжка ударения на предлог представлена также в двусложных ортотонических словоформах а.п. *a* и *b* и некоторых односложных: **на врагы** 370г 25, **дó верхоу** 440в 10,

<sup>16</sup> Ср. конечное ударения в словах **негли** 433г 36, 450б 26, 451в 23, 472а 3, **всегдá** 461б 25, **издалечá** 473а 15.

<sup>17</sup> Не рассматриваются весьма многочисленные конструкции с местоимениями-энклитиками **на на**, **на нь**, **на ма**, **на та**, **на вы**, **за са**, **во нъ** же. Следует отметить **на него** 368г 19 при обычном, например, **из него** 452а 26.

на голе мѣсте 462б 8, до конца 347г 1 (+2), во ртѣ 361б 11-12, на сло 433б 1, на зло 402г 33-34.

Оттяжка ударения на частицу помимо приведенного выше не ндоуть представлена следующими примерами: не любо 448б 35, не хота 380а 34.

Архаическая акцентовка сохранена в ряде словосочетаний, образующих тактовую группу, при этом писец наряду с оксией иногда проставляет варию: в' то время 467г 17, в то время 408 г 11, в се время 467г 26, в та времена 460б 10, в' ты дни 442в 38, въ ты дни 347б 33, по вса дни 400б 21, 455в 38.

## V

**Производные имена существительные**<sup>18</sup>. Существительные с суффиксом *-от(a)* имеют два типа ударения - флексивное и предфлексивное. Предфлексивная акцентовка, соответствующая маркировке суффикса и принадлежности производящего слова а.п. *b*, была в словах *рабо́тоу* 427г 10, *ѿ рабо́ты* 429а 29, *безъ хромо́ты* 421а 37, *красо́та* 457в 35, *красо́тоу* 419г 13<sup>19</sup>. Такое же ударение (как результат выравнивания?) имеет производное от а.п. *c* *срамо́тоу* 457б 4. Из производных от а.п. *a* старое ударение сохраняется в *нищеты* 382г 10. Существительные *высота* и *широта* имеют конечное, флексивное ударение, характерное для восточной диалектной зоны: *высо́та* 424г 31, *высо́тою* 469а 9, *широ́та* 403г 27. Акцентовка *высоты* (ж) *ра́ди* 458г 13 едва ли была обусловлена дефинализацией (в хронографе слово стоит после неакцентуированного фрагмента, написанного другим писцом).

Ударение по а.п. *a* *глуби́ною* 470в 27 было распространено в западной зоне.

<sup>18</sup> В связи с большим объемом материала рассматриваются только три группы слов. Из прочих весьма многочисленных производных укажем: *мѣтевь* 423в 35, *мѣтевжемь* 429а 4, *живлице* 440в 23, имевшее такую акцентовку в средней и южной частях западной зоны; *живтие* 378в 13, *тавина* 368г 5, *мѣвжество* 353б 14, *коревние* 471а 3, *коревниемь* 471а 34, *коврение* 471а 23, *Јрѣвжие* 452в 15, *съ Јрѣвжиемь* 449а 38, *Јрѣвжници* 356в 35, *Јрѣвжникъ Р.* 348а 32, *оружникомъ Д.* 461а 3, *лѣчниця* 406б 11, *промывсленикъ* 427б 10, *трѣвбници* 413б 14, *побовника* 425в 38, *повмощникъ* 357б 37, *с повмощники* 421в 8, *помовщницы* 361б 37, *привѣтелѣ* 448в 34, *Јстановкъ* 356в 36, *мытавръ* 400г 24, *младевнче* 456в 21 (ударение над буквой *a* зачеркнуто; ср. в киноварном заголовке *младенець* 367в), *пивсцевмѣ* 465в 5, *боврци* 446б 26, *на боврца* 441в 29, *дѣвмцемь* 357б 39, *ѣ ставрець* 427в 8, *ставрци* 446б 31, *творець* 371б 23, *творци* 477а 33, *левстыци* 400б 23, *зевмечь Р.* 423г 7, *вертевица* 459а 4, *кавица* 435а 16, *капившемь* 400в 29, *на позоврици* 428а 26, *на совнище* 400г 31, *ѣ сѣвдица* 427г 9, *къ ставнищю* 449а 9, *съкровище* 433а 29, *хранивлица* 459а 19.

<sup>19</sup> Возможно, сюда же неясное слово *оукѣта* 351а 21, которое в списке Виленского хронографа XVI в. исправлено на *тукота*.

У существительных с суффиксом *-б(а)* в основном представлено исконное ударение наряду с новым [Зализняк 1985: 149]: **злѡбоу** 426в 28, **без злѡбы** 350а 12 - **злѡбы** 436а 18, **мѡлѡбѹ** 394б 23 - **мѡлѡбю** 429б 19 (ср. **млѡвы** 468в 38), **слѡужбоу** 432а 12, **стрѡжбоу** 465в 38, **на соудбоу** 427в 22, **сѡлѡбѹ** 426б 33, **татѡбю** 454г 11.

У префиксальных имен существительных *о-* и *а-* основ преобладала акцентовка по основной модели «потопись», то есть ударение было корневым [Зализняк 1985: 153], но для некоторых слов мало фактического материала: **нарѡда** 381в 9, **нарѡды** В. 383г 28, **нарѡдомъ** Д. 382б 35, **съ нарѡдомъ** 441б 29, **штѡдъ** 356г 3 (+2; другие формы не акцентуированы), **штѡкъ** 371б 34, **повѡдоу** 428а 38, **покрѡвъ** 438г 20, **покрѡвы** 441г 12, **похвѡла** 451г 10, **похвѡлѹ** 429а 13, **съ похвѡлою** 407г 38, **с похвѡлами** 455г 27, **предѡлы** 370а 34, **прѡмѡстъ** 351б 20, **принѡсомъ** 446в 9, **безъ прирѡка** 356г 27, **пристрѡм** В. 463а 11, И. 474г 39, **прохѡдомъ** 446б 2, **прѡскѡкъ** 443а 32, **безъ оубѡм** 445а 27, **оужѡсъ** 456г 4, **съ оужѡсомъ** 436г 4; у слов с этимологическим редуцированным в корне: **нанмитъ** 371г 30, **нанмити** 436а 40, **приспы** 446в 34, 447а 34, **къ приспѣ** 471в 11, **притчѡ** 475в 7.

Для группы слов трудно различить модель «окупь», когда корень приобретает минусовую маркировку, и распространенную на украинско-белорусской территории, в западной и дальнесеверовосточной частях великорусской территории модель «засуха», когда ударение оказывается на приставке: **рѡзоумъ** В. 413а 3, **рѡзѹма** 475б 19, **на зѡпадъ** 455г 13, **в зѡпадѣ** 412г 37, **зѡмыслѡмъ** Т. 370г 4, **пѡмыслъ** И. 443а 31, **прѡмыслѡмъ** 382в 2, **сѹ промыслѡмъ** 437г 23, **зѡбрала** В. 414г 37, **на зѡбрале(х)** 426а 19, **по зѡбрѡломъ** 460а 22, **пѡслоуци** И. 456б 29.

У существительного *законъ* представлено колебание между моделями «потопись» и «засуха» с преобладанием последней (перечень неполный): **зѡконъ** И. 356г 25 (+5), В. 404в 20 (+2) - **законъ** В. 379в 6, **зѡкона** Р. 475в 40 (+5) - **зѡкона** 379б 30 (+1), **зѡконоу** 466в 31 (+1) - **зѡконоу** 449б 33. Возможно, колебание представлено также в слове **зѡхѡда** 427б 3, где ударение над *о*, как кажется, зачеркнуто.

Существительное *недугъ* имеет стандартное ударение на корне: **недоугомъ** 451в 24, в **недоуствѹхъ** 451в 15.

У существительных *i-*основ по модели «потопись» акцентуированы *напастъ*, *погибѣль*<sup>20</sup>: **напастъ** И. 434а 25, **напасти** В. 367в 9, **напасти** Р. 450б 25, **погибѣль** И. 437а 7, 444а 38. У существительного *пропастъ* представлено колебание между моделями «потопись» и «окупь»: **пропастъ** И. 436в 39, **пропастию** 436г 23, **въ пропасти** 457а 34, **на(д) пропастми** 462в 1 - по **прѡпастемъ** 422а 16.

По модели «окупь» акцентуированы *завистъ*, *независтъ*, *немоуць*, *помоуць*, *похотъ*, *прелестъ*, при этом оттяжки ударения на предлог у этих производных слов могло не быть:

<sup>20</sup> Ср. в киноварных заголовках *напаст* В. 367в, *на повѣсть* 457г.

зѣвисть В. 368в 17, въ зѣвисть 451г 4, в незѣвисть 346б 34, нѣмощь 451а 12, 461а 33, по помощь 425 г 10-11, на помощь 419а 6, ш... помощи 425г 16, на... похоть 429а 6, прѣлести Р. 423б 7, на прѣлесть 415г 38.

По модели «засуха», видимо, акцентуировано существительное *ненависть*: **ненѣвисть** В. 370в 25, 441г 7, **къ ненѣвисти** 369г 21.

Слова с плюсовыми приставками имеют ударение на приставке: **вѣхъ**(д) 447в 31, **вѣхода** 461б 31, **пѣволока** 439б 29, **пѣгѣба** 383г 35, **на пѣжить** 454г 19, **пѣдѣдъ** И. 444в 18, ѿ... **пѣдѣдъ** 444в 2. Ударение в приставке *вы-* проставляется довольно регулярно, включая формы глаголов несовершенного вида, так что в некоторых словоформах оказываются два акцентных знака: **вѣдала** 360а 17, **вѣнимахоу** 427г 7, **вѣходити** 447в 34, **вѣходить** 420а 39, **вѣходати** 416в 34, **вѣходаше** 430а 2; но: **вывѣгѣхъ** 464в 3, **вывѣгѣша** 453г 14, 406г 14, **вывѣжанїа** 453г 9, **вынесѣша** 441г 29, **вѣнесѣша** 449г 20, **вынидѣша** 442а 32, 468в 4, **вѣдвигѣша** 450г 16, **вѣходѣхъ** 431г 17.

Отступление от акцентовки сложений с плюсовыми приставками последовательно представлено в существительном *сопоставь*: **на сопѣстѣты** 418в 13, 458а 40, **сопѣстѣтъ** Р. 418г 1, **къ сопѣстѣтомъ** 455г 14.

## VI

В акцентной микросистеме «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия в составе Архивского хронографа XV в. представлены существительные всех трех а.п. У слов а.п. *b* наряду с исконным флексийным ударением представлено наосновное в отдельных формах (И. *жѣны*, *слѣгы*) или реализуется тенденция к колонному наосновному ударению. У слов а.п. *c* инновацией является ударение *крѣви*, *влѣстѣми*, *дѣрми*, *съ дѣргы*, что также приводило к колонности ударения и сближению слов а.п. *a* и *c* у существительных *o-* и *u-masculina* и *i-masculina* и *feminina*. Различие этих парадигм поддерживают слова *a-feminina* а.п. *c*.

Имена прилагательные а.п. *a* сохраняют исконное ударение; у слов а.п. *b* и *c* представлен сдвиг в сторону предфлексийного ударения при более редких случаях сохранения исконной акцентуации.

У слов группы а.п. *c* (и отчасти по аналогии а.п. *b*) представлена оттяжка ударения на некоторые предлоги при отсутствии оттяжки у тех же слов с другими предлогами.

Глаголы а.п. *b* и *c* в целом сохраняют исконное ударение, хотя как инновация у первых представлена акцентуация в презенсе (3 л. ед. и мн.ч.) *судѣтъ*, а у вторых *пѣститъ*. В немногочисленных формах 1 л. ед.ч. и 2 л. мн.ч. презенса, которые слабо акцентуированы, имеются случаи исконного и нового ударения. У глаголов а.п. *a* довольно широко представлена тематизация ударения.

У *-ен-* и *-ан-* причастий прослеживается тенденция к суффиксальному ударению, у *-л-* причастий - к предфлексийному; у действительных причастий настоящего времени отмечено

конечное ударение. В эти процессы вовлечены не только формы от глаголов а.п. *b* и *c*, но и отчасти а.п. *a*.

У производных имен существительных с суффиксом *-b(a)* и *-ot(a)* в основном сохранялось исконное ударение при некоторых инновациях. У слов *высотá*, *широтá* ударение было флексийным, что характерно для восточной диалектной зоны.

У префиксальных имен существительных *o-* и *a-*основ преобладала акцентуация по модели «потопись», то есть с ударением на корне, а у существительных *i-*основ - по модели «окупь». При этом отдельные слова имели акцентуацию по другим моделям (*зáбрала*, *ненáвисть*) или отразили колебание между двумя моделями (*закóнь* - *зáконь*, *пропáсть* - *прóпасть*).

У производных с плюсовыми префиксами ударение сохранялось на приставках, хотя представлены и отступления от этого правила.

Процессы и явления, которые нашли отражение в акцентной микросистеме «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия по списку Архивского хронографа XV в., характерны для западной зоны восточнославянской территории. Наряду с достаточно многочисленными инновациями в памятнике представлена также исконная акцентуация или случаи колебания между старым и новым ударением. Кроме того, в микросистеме Истории отражена книжная система ударения.

### Литература

Зализняк 1981 – А.А. Зализняк. Глагольная акцентуация в южновеликорусской рукописи XVI в. // Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. М.: Наука, 1981. С. 89-174.

Зализняк 1985 – А.А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М.: Наука, 1985.

Истрин 1893 – В.М. Истрин. Александрия русских хронографов. М., 1893.

Ушаков 1982 – В.Е. Ушаков. Акцентологический словарь древнерусского языка XIV в. М., 1982.

**«КНИГА РИТОРСКОГО ВСЕКРАСНАГО ЗЛАТОСЛОВИЯ»  
КОЗМЫ АФОНОИВЕРСКОГО 1710 ГОДА:  
ИСТОЧНИКИ – СОДЕРЖАНИЕ – ТЕРМИНОЛОГИЯ**

Сочинение Козмы Афоноиверского «Книга риторского всекраснаго златословия» наименее изучено нашими учеными. Достаточно сказать, что ни В.П.Вомперский, ни А.С.Елеонская не обращаются к его исследованию [Вомперский 1988; Елеонская 1990]. Возможно, на мнения обоих повлияла вскользь высказанная В.П.Зубовым мысль о том, что обе «Риторика» (С.Лихуда и Козмы) основаны на «Златослове» Франциска, или Филарета Скуфоса 1681 г. [Зубов 1960: 299], а поскольку книга Скуфоса была переведена в России в 1779 году С.Писаревым [Скуфос 1779], то и Риторика Козмы представала сочинением неоригинальным. Как это часто бывает в науке, такое упрощенное решение вопроса относительно происхождения памятника оказалось не вполне верным и точным, ибо «Риторика» С.Лихуда далеко отстоит от Ф.Скуфоса, а сочинение Козмы, хотя и основано на «Златослове» Ф.Скуфоса, было вдохновлено задачей написать новую риторику для российского народа. Как точно указывал сам Козма, книга Скуфоса была значительно переработана, ибо он, «яко в чистое зеркало прилежно зря, свое писует издание» [Унд-879: 7].

Впрочем, уже некоторые дореволюционные исследователи указывали на своеобразие творения Козмы. А.Смеловский частично описал его учебник, указав на предисловия и основные разделы; ученый тонко подметил, что Риторика Козмы отличается от сочинения С.Лихуда «обилием примеров, заимствованных из современной гражданской истории русской и из жизнеописаний святых мужей русских, также особенною ясностию и чистотою славянского языка; чужда слов и оборотов белорусских, польских и латинских, какие встречаются у современных Козме писателей русских; исполнена остроумных примеров» [Смеловский 1845: 95]. Впоследствии Х.М.Лопарев посвятил специальную статью анализу примеров из русской истории в Риторике Козмы [Лопарев 1908: 146-198]. Эти и другие достоинства сочинения ученого грека и монахиакона Козмы Афоноиверского требуют обратить на его сочинение, пользовавшееся большой популярностью, особое внимание.

Начнем с замечаний о написании имени автора и заглавии сочинения. В.П.Вомперский пишет: «Косьма» [Вомперский 1970: 34; Вомперский 1988: 10]; Н.В.Понырко - «Козьма» [Понырко 1981: 107, 154]; Х.М.Лопарев - «Косма» [Лопарев 1908]; А.Смеловский - «Косма» [Смеловский 1845]. Нам представляется более точным вернуться к написанию «Козма», поскольку все имеющиеся в нашем распоряжении списки указывают на такое написание (ГИМ, Уварова, 8<sup>о</sup>, 23; РГБ, ф.178, №№ 2184 и 718; РГБ, ф.310 Ундольского, № 879). Название «Книга риторского всекраснаго златословия» имеется в ряде не самых ранних списков поморского письма (ГИМ, Уварова, 8<sup>о</sup>, № 23; РНБ, О.XV.13) - не исключено, что именно поморы с их аккуратностью и верностью традиции сохранили название, восходящее к книге Скуфоса «Златослов».

Поиски в отделах рукописей позволили выявить 19 списков Риторике Козмы:

- 1) ГИМ, собр. Уварова, № 23 (2113);
- 2) ГИМ, собр. Барсова, № 2286;
- 3) ГИМ, собр. Барсова, № 2287;
- 4) РГБ, собр. Егорова. ф.98, № 1626;
- 5) РГБ, ф.178 (Муз.), № 714;
- 6) РГБ, собр. Тихонравова, ф.299, № 216 - выписи;
- 7) РГБ, собр. Ундольского, ф. 310, № 879 (поморский полуустав второй половины XVIII в.);
- 8) РГБ, ф.178 (Муз.), № 2184;
- 9) РНБ, Q.XV.1;
- 10) РНБ, Q.XV.82;
- 11) РНБ, О.XV.13 - см. 107, 155;
- 12) РНБ, О.XV.14 - см. 107, 155;
- 13) РНБ, О.XVII.69 (без конца);
- 14) РНБ, собр. Крылова, № 30;
- 15) РНБ, собр. Погодина, № 1659 (отрывки) - см. 107, 155;
- 16) БАН, 21.8.5 - см. 107, 155;
- 17) БАН, 21.9.1;
- 18) БАН, собр. Дружинина, № 122 (153) - свод риторик;
- 19) ИРЛИ, собр. И.А.Смирнова, р.IV, оп. 20, № 1 (последняя с пометами и исправлениями Алексея Иродионова).

Нами был исследован список РГБ, собр. Ундольского, ф.310, № 879, лл. 1-145. Список - поздний, скорее всего третьей четверти XVIII века. В нем тексту самой Риторике предпосланы четыре предисловия. Первое предисловие взято из «Риторической руки» Стефана Яворского (в ряде списков помещены лишь три последующих предисловия), оно посвящено памяти и заканчивается описанием руки с указанием на пять частей риторики. Три последующих предисловия самостоятельны и настолько своеобразны и нестандартны, что их следует описать более подробно. Каждое из предисловий имеет своего адресата. Первое начато приветствием:

«Пречистой Приснодеве Марии - Ангельски радуйся!»; второе - «Трудолюбезнейшему читателю - о Господе радоваться!»; третье содержит «Предисловие всея книги».

В настоящее время все перечисленные предисловия опубликованы [Аннушкин 1998: 93-94; 103-107], поэтому здесь достаточно привести их краткое описание, сделав акцент на достоинствах каждого из них. В обращении к Пречистой Деве Козма не просто испрашивает благословения, но соединяет своего возвышенного адресата с риторикой и «риторствованием», речевыми действиями. Обращаясь к Богородице, в чьей «руке святой... книга сия лежит», Козма не только приписывает Ей помощь в создании книги («естественнориторствовала еси сию»), но саму Богородицу наделяет риторическими свойствами: «Кто бо когда риторствовати возможе, яко же ты, всемилостивая госпоже моя? Кто тако может умолити не земнаго, но небеснаго гигантопобедника судию? Яко ты - пучина всея мудрости, ты бо и риторствующи побеждаеши и умолчаючи пречюдно умоляеши» (л. 2 об.). Богородица отверзает свои «уста во еже умолити, и абие судии (Господа. – *В.А.*) заграждаются уста во еже непротиволаголати тебе, матери своей сладчайшей».

Проповедническая деятельность отцов церкви облагодетельствована помощью Богоматери: «Аще когда Григорий богословствоваше, ты им дала еси помощь. Тем же не земная, но яко небесная глаголаху. Аще хрисостомы (конечно, имеется в виду Иоанн Златоуст. – *В.А.*) поучиша, ты им собеседствовала еси - тем же не их, но твое риторствование. Аще дамаскины медоточиша, ты, славно с небес сшедши, со возлюбленными ученика твоего сына не пчелы, но углие меда в книжном видении во уста их вложила еси» (л. 3 об.).

Достаточно традиционно Козма принижает себя («горе малоумию моему, горе гугнивогласию и сухоте языка моего...») и свою неспособность описать предмет своей речи: «но увы мне: како напишу, како изреку - трепещет ми рука, иссыхает язык, сие токмо риторственно изрекла еси: Буди! - и абие Бога на землю свела, невместимаго вместила, бесплотнаго воплотила, нерожденнаго родила и пеленами обвила и во яслех положила еси» (л. 4-4 об.).

Записывая в конце предисловия свое «пучиногрешное» имя, Козма связывает обращение к науке риторике с замыслом книги распространить ее по всем российским градам: «О предивныя (пречюдныя - на полях. – *В.А.*) риторики! О всемогущаго ритора! О неизреченныя Твоя, Богорадителнице, и неизглаголаннаго Твоего риторствования крепости! Тебе убо, о мудрая госпоже моя, приношу сию книгу в знамение малейшия велия моего к Тебе благоволения и любовьию к Тебе кипящая моя души познание. Приими, приими, сию, молю, о Пречистая Дево, и абие златопарну и вернуслужителю Твоего сладкаго Сына, архистратигу яве вручи Михаилу, да скоро скоро облетев, во вся славенороския отнесет грады. Молит о сем Твое благоутробие собственный всем россом заступник во светлех изряднейший Алексий чудов (неясно. – *В.А.*). И сие за него обители сих зовомый Чудов, аз, грешный, странствуя и на тех молитвы надеяся,

пучину книги сея начах плиты. Мне же в воздаяние малых трудов сих умоли, Госпоже, Судию праведнаго, яко да в день судный должайшую веригу разрешит грехов моих, небеснаго царствия своего мя сподобит. О сем, паки и паки пад на помост, поклон Ти творю должно. (Далее под чертой. – В.А.) Честных Твоих ног одушевленное подножие пучиногрешный Козма и монаходиакон Афоноиверский» (л. 4 об. - 5 об.).

Столь же красочно и нестандартно написано следующее предисловие со словами «Трудолобезнейшему читателю о Господе радоваться!» Козма не только излагает здесь взгляды на писательскую позицию, но и дает сведения о себе, о процессе создания своего труда, его источнике - сочинении Франциска Скуфоса. Приведем этот текст:

(О назначении человеческого и писательского таланта) «Понеже, любимый мой читателю, повеление имама от владыки нашего Иисуса Христа данный мне талант, аще мал, аще велик - не скрыти, но паче и паче умножити, судив, потщахся и аз тоезде повеление исполнити, си есть: (вот сведения о греческом образовании автора, научении русскому языку и желании быть полезным в своем новом отечестве. – В.А.) понеже сподобихся малаго некоего еллиногреческаго учения и славенскому языку отчасти навькнути, должно ми, возмнех быти славенороссийский благополучный род трудами своими, яко же и прежний моего рода, елико сила, ползовати».

Как видим, не исключено существование трудов Козмы, написанных до приезда в Россию для своего «прежнего» греческого «рода». А далее - вновь сведения о месте написания и о вполне реальной учительско-писательской задаче - создать новое сочинение таким, как до него здесь, в Москве, не писали: «И сего ради, надеяся на непоборимую помощь матере мудрости Пречистыя Девы, на предстательство же бесплотнаго архистратига Михаила и теплыя молитвы чудотворнаго митрополита Алексия, яко во обители их живопитаем, начат писати полезнейшую сию книгу риторику художеством таковым, яко никогда же до сего дне zde, в царствующем граде Москве, подобне изобразися, и елика ми мощь, потщахся краснейшими и сладчайшими беседовати реченьми, да тако медоточну не токмо мудрорачителие, но и всякаго чина полнота отверстыми приимут ю дланми». Итак, дан и авторский замысел, вполне осуществленный в дальнейшем (какими «реченьми» писать), и адресат: не только ученый люд, но и читатель всякого «чина» должны принять книгу «отверстыми дланми».

Козма откровенно записывает писательский источник, которому следует не слепо, но творчески: «Последую ж во всем изданию медоточнаго учителя философии и священныя богословии, благоговейнейшаго и православнейшаго иерея фрагкийскаго, критскаго (Филарета Скуфоса «Златослов» 1681 г. – В.А.) не яко гробокопатель, по Василию Великому, того чуднаго мужа медоструйное издание свойствуя, но, яко ухо ему приклонив, подражая того медоточность и по стопам его ходя и в его сочинение, яко в чистое зеркало прилежно зря, свое писую издание».

Итак, Скуфос – лишь «зеркало», но Козма будет писать по-своему. Метод писания он окончательно уточняет ниже: «Аще же когда того напишу кую либо парадигму, ни како питаю, но паче чудным его именем, яко венцем ю овенчаю, и сие того во славу и похвалу присноцветущую.»

«Парадигмой», как выясняется из текста, назван пример - действительно Козма будет «напитывать» Риторику самостоятельно сочиненными примерами. Как и в предыдущих русских риториках, примеры окажутся едва ли не основной стилистической характеристикой сочинения. И Козма точно указывает источники своих примеров, что лишний раз показывает, насколько хорошо освоился греческий монаходиакон на своей новой родине: «Виждь же, яко оставих своего рода восточныя святыя, славяноросьских чудных святых ироическия прилежно тшательно написах жития». Осознает Козма и трудности, встающие перед ним на таком поприще: «И аще не по достоинству тех похвалы и описания житий будут, ниж по моему желанию, обаче по силе тупаго моего пера, вседушно (со всею душой. – В.А.) без всякия лености написах сия, вкупе учения показующа двери, вкупе же и к умилению, покаянию же и духовному веселию чтущаго приводящая».

Столь же искренен и писательски мастеровит Козма в заключении предисловия, где он обращается к читателю и описывает процесс своего писательского труда: «Приими убо, брате мой, книгу сию, яко из рук Пречистыя Девы Марии, видев неисчетныя моя труды, яко странствуя и всяким препинаем противным случаем, яко тать, дни и часы крадую, на се упражняхся.»

Ясен Козме и результат его труда – читатель сам будет наслаждаться его книгой и передавать ее другим: «приими и на руках присно держи, яко благоуханный вертоград, обходя наслаждайся и по сугубому человеку пользуйся. И в сию, яко в зеркало взирая, потщися и ты сам, поучився, иныя ползовати».

Итак, выучившись сам, учись и других обучать. Таков же результат и для читателя: «яко бо ище вся списана есть, яко аще кто прилежно потщится, вскоре медоязычный неложно явится». Предупреждением о лени и зависти, нравственным призывом к сердечному добру и любви завершается это предисловие: «Аще дерзостен сый и лукав, начнеши сию пренебрегати и в чесов либо завистно подзирати, молю тя: прежде помысли, познай себе самага, и зависть зло суще, добре творит прежде, имуща ю в сердце бодет горце, любовию же водим, от нас Богу молися и сам здравствуй» (л. 6-8 об.).

Последнее «Предисловие всея книги» начато рассуждением о силе и славе риторики - его также надо воспринять не только с точки зрения кажущейся ныне преувеличенной украшенности речи, но оценивая цель и значение риторики, о чем писатель начала XVIII века не мог писать сухо и безобразно: «Велия есть сила царственныя риторики и слава сея превыше небес по всей земли величается и во антиподы имя тоя славится, ко престолу Божию многия предсылает, из адовых недр бесчисленныя восхищает, небеса украшает и ада темна всего обнажает...» Это – нравственная

и религиозно-философская основа риторики Козмы, она «величается» потому, что может «из ада... восхитить» и направить каждого: «царя учит крепко скипетр в деснице держати и венец на главе славно не токмо жива, но и по смерти носити» (имея божественное основание, риторика как государственная наука «вразумляет словом» и слабых граждан, и судью, и патриарха. – В.А.)», она «вразумляет не токмо сильные, но и зайцы ручьныя войны на супостаты словом, яко ираклейством всеоружием укрепляти судию славнаго на престоле, правосудяще и предстоящя испытующа посаждает, патриарха и вся архиереи, яко солнца златоукрашенна показывает, и ина Арона с Богом безсредственно беседующа, или инаго Павла легкими по небесам учит шествовати». Далее – пространный перечень великих риториков, вдохновленных искусством риторики.

Создание таких «бесконечных» синонимических рядов подчас иронически оценивалось в науке (см., например, у А.Смеловского – [Смеловский 1845]), но очевидно, что этот прием говорит о риторической изобретательности и эрудиции автора. Как и о риторической украшенности текста: «Сия Афанасия великаго светлейша солнца показа... Сия Григория златоструйну реку показа богословии... Дионисия Ареопагита, небесночислителя и кругов небесных списателя, изяви...» и т.д. Козма обобщает цели своего сочинения: «О сей всемогущей риторике во всей книзе имам беседовати и художество тоя дело показати, им же бы кийждо могл не токмо чюдный медоточный, но и всесилен языкомь на земли быти» (л. 8 об. - 10 об.).

Прежде чем описывать собственно «Риторику», покажем, насколько Козма заимствует материал из «Златослова» Скуфоса. «Златослов» Филарета Скуфоса венецианского издания 1681 г., переведенный Степаном Писаревым, издавался дважды: в 1779 и 1798 годах [Скуфос 1779]. Оба издания идентичны. Не исключено, что книга имела успех, поэтому вышло повторное издание, напечатанное более крупным шрифтом. Мы ссылаемся в цитатах на издание 1779 года.

В первом «Предисловии от сочинителя» у Скуфоса содержится полемическое заострение против античных героев в пользу христианских святых – «отцев преподобных». Повторяющиеся параллельные конструкции построены по образцу: «Аще Василий Великий светодательными словесы своими просвещает всю вселенную, кая нужда представляти... Фаефонта, иже огнеобразною колесницею своею зажже всю Подсолнечную?» [Скуфос 1779: V]. Такие же сопоставления имеют Афанасий и Ираклий (Геркул), Иоанн (Златоуст) и Платон и т.д. Козма существенно меняет замысел, отказавшись от обращения к античным героям и перечисляя в первом предисловии лишь тех, кому Богородица помогла «риторствовать», а в третьем предисловии – тех, кого риторика «показала», «сотворила», «изъявила» (Афанасий, Василий, Дионисий Ареопагит, Иоанн Златоуст, Феодор, Екатерина).

Второе предисловие – «Введение» – у Скуфоса начато также описанием «чудных вымышленных дивностей» античности – и также только для того, чтобы перейти к прославлению

риторики. Ее первое описание отчасти повторено у Козмы: «...Риторика, яко царицы, всячески больше по всей твари процветает...» [Скуфос 1779: XII] - ср. начало третьего «Предисловия всея книги» у Козмы: «Велия есть сила царственныя риторики и слава сея превыше небес по всей земли величается» (л. 8 об.).

Однако комментарий к действиям риторики будет у Козмы самостоятельным в смысле напитывания собственными образами и примерами, но, скажем, идея о том, что риторика сформировала многих знаменитостей, у Скуфоса выражена так: «Кто поставил Демосфена в самовластного над человеческим хотением монарха, ибо он языком своим к чему хотел, того привлекал, как не тая ли же самая риторика?.. Она то Оригена Адамантом соделала... Она то Иоанна показала златоустым» и т.д. [Скуфос 1779: XIII].

Новаторство Козмы – во введении христианских святых в первую очередь с собственными описаниями (Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Дионисий Ареопагит, Иоанн Златоуст, Феодор, Екатерина) - лишь затем писано как о чем-то славном, но все-таки второстепенном, об античных философах и раторах: «Оставляю о Платоне глаголати, яко пчелы во уста того медоточиши; о Оригене, яко плотный сый, адамантный показася...; о Димосфене, начальнике раторов, яко не токмо воли, но и сердца человеков из персей языком своим, яко златою удицею, к своей привлачаше воли» (л. 10). По сравнению со Скуфосом у Козмы не только новая образная характеристика («яко златою удицею»), очевидно, известная ему ранее, но и именование Демосфена «начальником раторов», отсутствующее у Скуфоса, но имеющееся еще в «Сказании о седми свободных мудростех» и Риторике 1620 года.

Пожалуй, богаче и красочнее заключение «Введения» у Козмы, нежели у Скуфоса, хотя не исключено, что это зависит от качеств перевода Скуфоса:

<u>Скуфос:</u>	<u>Козма:</u>
О сем-то златословии будем мы в сей книзе рассуждать, и истолкуем то средство, по коему могуществен да и удивителен в свете быть может [Скуфос 1779: XIV]	О сей всемогущей риторице во всей книзе имам беседовати и художество тоя зело красно показати, им же бы кийждо могл не токмо чюдный медоточный, но и всесилен языкомь на земли быти. (л. 11)

Наше описание четырех книг Риторики Козмы выполнено в сопоставлении со «Златословом» Скуфоса. Козма Афоноверский повторил композиционно «Златослов», но, заимствуя основные определения, вводил свои образы и примеры. Православно-русский замысел Козмы проступает особенно ясно, когда он подбирает примеры из русской истории и современной жизни.

Итак, Риторика Козмы состоит из четырех частей. **«Часть первая»** посвящена **изобретению** и содержит 24 (пронумерованы 23) главы. В главах 1-5 содержатся сведения о

происхождении, сущности, цели и частях науки риторики, главы 6-24(23) посвящены общим местам. Вот основные значения терминов риторики у Козмы:

Глава 1-я - «**О обретении риторики**». Под «обретением» понимается не термин изобретение, как в других учебниках, а происхождение риторики. Названо «басненным» древнее мнение о том, что риторика «обретется от богов» (у Скуфоса ссылка на Гомера). Риторика разделяется на *естественную* (то есть природную, изначально данную человеку способность к речи - «ею же кийждо, во двери жизни входя, напоися»); ее понимание близко к риторике бытовой речи, поскольку ею «и безазбучный поселянин (у Скуфоса - простака. – В.А.) хвалити и укоряти, совещавати и благодарити весть») и *художественную*, которую изобрели «ирои веков и мудрии», наполнив эту науку «местами, схиматы и образы» (л. 11 об.), т.е. учением о топах и фигурах речи.

Глава 2-я - «**О определении**». Сначала дано определение «определению» (ορισμος, definitio) - «краткое слово, составлено от рода и разнства, сказующее существо коеяждо вещи». Затем приводится определение риторики: «риторика есть художество благоглаголати», где «род - художество, вся науки свободныя и несвободныя приемлющ...; разнство благоглаголати, разлучающе от прочих художеств...» (л. 12-12 об.). Так через понятия рода и вида преподносилось умение дать определение предмету.

Глава 3-я – «**О деле, конце и веществе риторики**. Риторика дело (εργουο, opus) есть еже обрести и глаголати ригору вся потребная ко еже препрети же и понуждати слышателя к своей мысли. **Конец** (τελος, finis) - еже препрети слышателя и привлещи к своей воли. **Вещество** ж (Ιλη, materia) и подлежащее сея суть вся видимая и невидимая или умная в круглоконечном мире и превышше небес» (л. 12 об. - 13).

Глава 4-я - «**О взыскании**» (Ζητημα questio). Взысканием назван способ рассуждения и нахождения материала при переходе от частного к общему. Он же в учебниках М.Усачева и С.Яворского - «вопрошение», в переводе С.Писарева [Скуфос 1779] - «испытание или вопрошение». Два способа «взыскания» - неопределенное (фесис) и определенное (ипофесис) суть общее рассуждение и переход от него к частному, видовому. Пример перелагается из Скуфоса: «должно ли человеку славити и благодарити Бога» и «...должно монаху частше Бога славословити, нежели дыхати» (л. 13 об. - 14).

Глава 5-я - «**Части риторики**». В начале главы Козма делает перевод из Скуфоса: «Благовонствующее тело всех художеств царицы риторики пять иматъ частей», но затем следует добавление, которое Козма мог почерпнуть только из сочинения Яворского «Риторическая рука»: «яко рука свободная пять перстов имущая» [Скуфос 1779]. После перечисления - определения пяти разделов:

1) «**обретение**» (ευρεσις, inventio) - «часть неудобнейшая (у Скуфоса – труднейшая. – В.А.) от прочих частей и требует остроумия, быстропарному орлу подобнаго,

яко скоро скоро облетев (образ орла добавлен самим Козмою. – В.А.), всюду обрящет доводы, разумения и показания на украшение слова и препрение слышателя к своей мысли» (л. 16 об. - 17);

2) **«сочинение»** (так переведено традиционное расположение - διαρεσις, dispositio) - «учит собраныя к прению вещи, доводы и прочая коеждо на свое положити место». Козма, как и выше, придумывает собственное сравнение из русских пословиц: «не яко по притче сапоги на главу и шапку на ноги...» (л. 17);

3) **«сказание»** (ερμηνεία, interpretatio) - украшающее слово, «сладкогласно во ушеса удобь входимо и гладко творит, очищаючи е варварскаго и грубаго гласа». У Скуфоса далее излагается мысль о создании периода, но Козма добавляет (совершенно очевидно - из С.Яворского!) классификацию периодов («период сочиняет кругловидный, двочастный и причастный, четверочастный и многочастный») и образ «вертограда» («и вся обшедши мусов вертограды и цветы благоречия обравши, слово медоточно творит...» - л. 17 об.);

4) **«память»** (μνήμη, memoria) - рассматривается более как «естественный дар», нежели «художественный». Тем не менее именно «искусством» она может приобретаться через «довольный труд», «чтение своих и чюждых книг», «художественное делание слова и воспоминание частей» - эти советы в конце учебника будут исчислены более подробно;

5) **«произношение»** (προφορά, pronuntiano) показывает, как «чисто и сладко из уст и гортани словеса произносити и по силе красно, сладко, цветнено беседовати».

Конкретные советы, даваемые Козмой к произношению и телодвижению, касаются благозвучия, чтобы слушателям не пришлось «заграждать ушеса воском» (пример из гомеровой «Одиссеи»); голосового разнообразия («не единогласно ... от секиры, но разноперсто, образно по разуму вещи» – ср. у старообрядцев критику монотонного произношения по подобию «секиры, секущей лес»– [Понырко 1981: 162]); возбуждения эмоций в разных обстоятельствах («зде печално и жалостно, и зде радостно и весело, ныне осклабяся и смехаяся, и ныне возяряся и гневаяся»). Советы будут даваться не только относительно голоса, но и телодвижения: «главы, рук, ног, зрения очес и проч.». Идея уместности и гармонии в произношении и телодвижении выражена у Козмы советом говорить «смысленночинномерно и лепотно, возбуждая тыяжде страсти у слышащих» (л. 17 об. - 18).

Последующие главы 6-27 посвящены общим местам: внутренним (16) и внешним (6). Их перечень в Риторике Козмы, приведен в сопоставлении с соответствующими главами и греческой терминологией Ф.Скуфоса. Однако греческая терминология переведена С.Писаревым не во всех главах – там, где она отсутствует, не приводим ее и в таблице. У Козмы перечень глав сбит (не пронумерованы глава после 15-й и глава 27). Понятно, что в данном списке третьей четверти XVIII века греческая терминология написана славянскими литерами не вполне точно.

Козма			Скуфос (пер. С.Писарев)	
	Глава	Термин	Глава	Термин
<u>Внутренние места</u>				
1	7	определение, орос	7	определение, описание (ορος)
2	8	счисление частей - эпарифмисис	8	исчисление частей
3	9	этимология, толкоречие	9	словопроизводство, словоизъяснение (ετιμολογία)
4	10	систоиха - составные	10	словосцепления (συστοιχα)
5	11	род - генос	11	род
6	12	вид - идос	12	вид
7	13	подобная - сомоин	13	подобие (σομοιοης, similitudo)
8	14	неподобная - самоноин	14	неподобие
9	15	знантиа - противная	15	противная, противоположение (αντιθεσις, oppositio), виды: противныя (εναντια, contraria) и др.
10	-	махомена - борбиствующая	16	борющаяся
11	16	обстояния (перистасии)	17	обстоятельства (περιστασεις, circumstantiae)
12	17	прежня - протера	18	предупреждения (προτερα, anteriora)
13	18	последующая, последняя - парепомена	19	последующии (παρεπομενα, consentanea)
14	19	виновныя - этиа;	20	вины, причины, винословия (αιτιαι, causae)
		виды: творительное		творительная (ποιητων, efficiens),
		вещественное		вещественная (υλικων, materialis),
		видственное		видопроизводная (ειδικη, specialis),
		конечное		конечная (τελικων, finalis)
15	20	дела - эрга	21	действия
16	21	сравнение - сикрисис	22	сравнение
<u>Внешние места:</u>				
1	22	перечень мест		
2	23	суд прежний - протера	23	преждебывший суд (προτερα)
3	24	слытие - фима, крисисфима	24	пронесшаяся слава
4	25	мучения, муки - номос	25	мучительные пытки
5	26	закон - оркос	26	
6	27	свидетели, свидетел-ство - мартирии	27	свидетельство
7	27	клятва - васонои	27	присяга

На построении отдельных глав покажем содержательную стилистику сочинения Козмы. Каждая глава имеет идентичную композицию: 1) определение термина, достаточно пространное, - основу его составляет текст Скуфоса, но уже со своими добавлениями; 2) примеры, изобретенные в подавляющем большинстве случаев самостоятельно (тематику примеров исчислим ниже). Причем Козма вначале дает краткие примеры, а затем через «словоразвертывание» создает пространную

речь, заканчивая каждую главу словами «и прочее».

Проиллюстрируем на примере нескольких глав, как описаны места в первой книге:

Глава о первом внутреннем месте - «определении» начинается дефиницией: «Орос содержит первое место, довод же и риторственное словоращение и краткоизвестно, елико сила (возможность. – *В.А.*) изъявляет, яко предречеса: существо же и естество вещи. Яко риторики убо орос (в ркп. - оры. – *В.А.*) есть художество благоглаголати есть всем желаемо». Дается пример силлогизма: «от сего бывает эпихирима: художество благоглаголати есть всем желаемо; риторика есть художество такое; убо риторика есть вам желаема» (л. 20). Подобный «довод»: «девство есть лучшая красота в мире; монашеский чин есть девство; убо монахови чин есть лучшая красота в мире» (л. 20-20 об.).

Доводы выявляют таким образом «вкратце» существо вещи. Основным же искусством ратора (как можно сделать вывод) является «словоращение определений», которое «сплетается положением вкупе многих определений», в отличие от «философов - риторственно лежащих и ко утверждению похвалы или гаждения доволных» (л. 20 об.).

Словоращение определений зависит от длины отдельного отрезка текста, создающего параллельные конструкции в определениях, - ср.: 1) определение краткое: «девство есть венец человеку, богатство девам, похвала монахов, слава аггелов, ...страстей обуздание, Духу Святому жилище и проч.»; 2) добавление «украшения ради» - «лепотного прилагателна, благодать слову дающего»: «девство есть златый венец человеку, богатства бездна девам, похвала безсмертная монахов...»; 3) «иной образ словоращения» создается «множайшими реченми»: «девство есть златый венец человеку, иже славно и, яко царя, над страстми овенчает; богатства бездна девам, еже драгостию земных всех сокровищ паче царство небесное купит...» (л. 20 об. - 21 об.).

Подобная «парадигма» составлена Козмой на «чюдотворца Алексия митрополита, иже есть скипетроносныя и диадимоукрашенныя цырицы Москвы солнце незаходимое:

Тебе глаголю, о царице Москво, тебе глаголю, о мати градов! Видиши ли сего Алексиа М<итрополита>, твоего чюдотворца? Веле, яко видиши, в недрах своих имуци. Ведай же опасно и ше, яко сей есть пресветлое твое солнце, еже лучами своих добродетелей присно тя озаряет. Сей златозрачная луна, яже... Шипок багряноличный..., златоструйный источник..., Страж твой неусыпный...» и т.д. (л. 22-23 об.).

Как видим, Козма Афоноиверский предлагает свои новые примеры - они близки лично ему как автору и несомненно актуальны для читателя. Покажем изобретательность Козмы в выборе тем для иллюстрации дальнейших общих мест: 2) «счисление частей» - перечисление в пространной речи об Азовской победе «наших благополучий и храбрости, тех же, сиречь азовских, беды и печали»; 3) «этимология – толкоречие» - после кратких примеров («яко Стефан

бысть венец Христов или себе, Василий царь страстей и нечистых духов...») пространная похвальная речь князю Владимиру («Неведомая есть твоя сила, равноапостоле княже Владимире, и память твоя присно по Соломону с похвалами, понеже не токмо по имени своему, но подобне и по делом твоим владеши всем миром российским...»); 4) «составные» - создание речи от однокоренных слов («Россия, россиянин, российский» - похвала России и ее многочисленным святым: Владимиру, Антонию, Феодосию, Борису и Глебу, Алексею и др. с окончанием речи: «Вси сии твои рустии суть сади, вся твоя суть чада, вси плоди твои и цветы неувяднии. Ты бо Россия, и тии - российстии. Сии - россияне, и ты - Россия. Веселися убо и ты...» - л 30); 5) род - обозрев «род учения», автор переходит к виду «риторского учения», описывая существо и действие риторики; 6) вид - речь о святом Георгии и т.д..

Таким образом, Козма основывает стилистику своего труда на примерах из священной и русской истории, современных событиях. Из стилистических приемов, близких обрусевшему греку, укажем на тяготение к употреблению двух- и трехсложных слов - несомненных неологизмов для русского языка, служивших украшенности речи. Такие украшения являются стилистической пометой именно текстов Козмы - в других риториках они отсутствуют. Обращаем внимание на следующие группы таких многосложных слов - украшений:

1) часто встречается метафора «злато» - (вполне в соответствии с названием книги «златословия»), «медо-», «сладко-». Эта часть является основанием для последующего изобретения. Ср.: «**златоструйная** трость», (риторика) «Григория **златоструйную** реку показа», «во устах **златоструйную** имый реку Нил»; «яко солнца **златоукрашена** показа», (о Христе) «сей слово **златоплетенными** вервии крепко и вечно вяжет», «в руку его царскаго величества **блистосияваша златоадамантий** скипетр»; **медо-**: «**медоточица**», (о человеке, изучившем риторику) «**медоточный** явится», «**медоязычный**», «Нестор **медокаплющий** язык», «**медоструйное**» и т.д.;

2) обогащение двусложными неологизмами группы слов, обозначающих «красноречие», «благоречие/злоречие». Например, традиционно определение: «риторика - искусство **благоглаголати**»; «тамо обрящет цветы **благоречия**»; «**малоречие и малоумие** свое звецаеши»; даже «гугнивогласие» и нек. др., но авторско-переводческие новации видны в таких выражениях: «(о риторике) Сие сотвори **чюдноглаголива** Нестора»; «кий ритор **сухоязычен и пустоустный**, не имать вещество и доводы ко утверждению коея-либо вещи»; «сие ложно есть и **тмоязычно**»; «но что **лишнословствуем**, что отягощаем вы долготою слова?»;

3) очевидные для своего времени новации в создании двусложных неологизмов для своего времени (они, кстати, не отмечены в имеющихся исторических словарях): (о Господе) **гигантопобедник** судия «Кто тако может умолити не земнаго, но небеснаго **гигантопобедника** судию?»; «**гигантосилный**, боговенчаный государь наш»; (риторика) «тленнаго человека **гигантоступне** умом всем показывает»; «**плетенносвязанный** довод»; (о рыболовстве)

«ниткоплетенное искусство»; «мудрорачители»; «небошественника сотвори ангела»; «остроумие, **быстропарному** орлу подобное» и «**быстропарное** устремление», «веселовидные цветы», «калоядущая свиния»; «цветнено беседовати, подражающему **разумочинному** органу» и мн. др.;

4) сгущение, или соединение нескольких сложных слов как стилистический прием: (о риторике) «Сие сотвори **чюдноглаголива** Нестора и **медотекущую** реку **благоглаголания**»; (о риторе) «гремит **густотворным** гласом, а, аще вси **густобраднии**, страшатся»; (о Георгии) «или не веси: кто между толикими **венценосными** мучениками, кто есть сей **звездоукрашенный скипетроносный** гигант?»; (о создании речи через род и вид) «К **словоращению** ритор обходит род и родственною похвалою **хваловенчает** или **гаждограчает** кую либо злобу или вещь»; (об Азовской победе) «Се приближишася **православнии** воины, се устремишася **крестоукрашенныя** хоругви, се дерзостни внидоша во Азов **христоннии** ратници»; (о царевиче Димитрии) «блистанием ослепивше **святолепно чюдоблистающих** мошей его, (в)место сего **стратотерпца лжеименна** некоего вводят Димитрия рострига зовома»;

5) для вящего украшения Козма создает трехосновные сложные слова, выглядящие непривычно для русского глаза и слуха, - и в этом очевидно влияние родного ему греческого языка. Ср.: «Дионисия Ареопагита **небесночиносчислителя**»; (произносити) «**смысленночинномерно**»; «сладкоименитая риторика, яко свеща **огненнаяснозрачная**»; «Антоний **святоплодоносныя** сады насадиша»; «сказание зрится в **красносладоглаголании**».

Таким образом, стилистические новации Козмы очевидны в стремлении украсить речь неологизмами, сделанными по модели двух- и трехосновных греческих слов.

Необходимо сказать и об особом эмоциональном настрое, в котором написан учебник Козмы. Большинство примеров выдержано либо в высоко эпидейктическом, либо в полемическом духе. Примером возвышенного эпидейксиса может быть словоращение, предполагающее использование однокоренных слов (глава 10-я): «Радуйся, славная *Россия*, и руками вкупе восплеши, понеже и ты не лишилася еси равных восточней стране святолепных мужей! *Российския* святыя свои имущи, иже яко светозарныя звезды просвещают твою твердь православия...» (далее следует перечисление русских святых от Владимира Крестителя).

Полемическая заостренность лежит, пожалуй, в основе риторического замысла большинства речей: если Козма восхваляет «дела» Владимира Крестителя, то вспоминает «басенного Орфея»; если пишет об Ионе (Иоанне) Новгородском, то обращает речь к бесу («главне адовой»); если вспоминает царевича Димитрия, то вкупе с «Димитрием-растригой», и т.д.. Вот пример такой риторической полемики: «Слышу, что глаголеши, о кервере умный (цербер - огласовка XVII в., см. примеры в [Сл. XI-XVII вв. 7, 115]. – В.А.), слышу, что шепчеши, о главня адова: Иоанн новгородский, всенародне осужден, посрамися, блудник изявлен и, с престола

низвержен в Волхове реце, от граждан погрузися. Ей, тако, воистину тако! Но рцы, о прекрасне эфиопе, рцы, аще не заграждает ти уста и язык свяжет правда: кто сему делу виновен? кто сию хитрость сплете? не руки ли твои сия вся соткаша? не твой ли язык Иоанну сия злокова? ты, о смрадный кервере, ты, о ядовитая идра, ты, ты сплел еси! Зане чудный сей Иоанн, яко коня четвероножна оседлав и окаянне обуздав, поиде на тебе во Иерусалим и прииде, обругав тя, яко калоядушую свинию, чрез всю ночь, отсюду срамотою тя сожже, паче огня адскаго, отсюду слава святаго уязви тя паче всякаго жала...» (л. 78 об. - 79 об.).

Оценивая ясность и стилистическое разнообразие речевых средств Козмы Афоноверского как писателя конца первого десятилетия XVIII века, мы видим, какой большой прогресс сделан в языке по сравнению с предыдущим десятилетием и писавшимися тогда риториками (ср. сочинения М.Усачева или А.Белобочко). Не исключено, что надо отдать должное писательскому и педагогическому мастерству Лихудиевой школы, ибо и Риторика Лихудов устремлена к большей краткости и выразительности примеров.

Объем статьи не позволяет столь же подробно описать три последующие книги Козмы (данное описание выполнено в работе [Аннушкин 1997: 188-219]). Они соответствуют традиционному риторическому канону и содержат следующие вопросы:

**«Часть 2-я О диафесии и частех слова»** – учение о композиции речи, где описаны четыре главные раздела: «предизвествие, повествование, укрепление, надсловие» – у Скуфоса в переводе С.Писарева они уже ближе к современной терминологии: «предисловие, повествование, утверждение, надсловие (словозаключение)».

**«Часть 3-я О сказании или благовещании»** – учение о «тропосах и схиматах». «Сказание ... зрится в красносладкоглаголании и хитросплетении периодов и в медоточном вещании языка» (132 об.). Впрочем, в 3-й части дано лишь определение тропа и описаны 11 видов тропов, сами же схиматы – фигуры речи описаны в 4-й части.

**«Часть 4-я О схиматах»** целиком совпадает с сочинением Ф.Скуфоса, имея 37 глав по количеству фигур речи. «Схиматы» охарактеризованы Козмою как «сущая красота и крепость и ... душа наипаче и дыхание слова» - ср. у Скуфоса всего лишь: «украшения и жилы слова». Фигуры делятся на фигуры слова и фигуры мысли.

В заключении сочинения Козмы имеются еще две краткие главы, вполне соответствующие риторической традиции. Они посвящены **«мниме, или памяти»** и **«просфоре, или изношении, или изглашении»**.

**Память** «толико нужна ритору бывает, яко аще Платона и Пифагора и Димосфена или кого инаго кто в премудрости будет, без памяти обаче ничто же есть» (л.227 об. - 228).

**«Профора** - ... изглашение словесь и гласа риторова испущение». Произношение соотнесено с типом эмоции и содержанием дела: «подобает же сему изглашению быти радостну или печалну, жестоку или кротку - по разуму вещи и дела...» (л. 230 об.).

Голосоведение по важности стоит в одном ряду с телодвижением, «еже аще и безгласно, обаче многаши действительнейшо показуется и гласнаго благоязычия. Понеже аще и не слышится, но нелестно зрится и зрением возбуждает всякую страсть слышателю» (л. 230 об. - 231).

Отголоски «Книги риторскаго всекраснаго златословия» Козмы найдем во множестве сочинений XVIII века, в том числе в руководствах М.В.Ломоносова. Содержательное своеобразие и стилистическое изящество творчества обрусевшего грека требует обратить на его учебник особое внимание, а в ближайшее время и ввести в научный оборот полный текст этого замечательного риторического труда.

### Источники

Унд-879 – Козма Афоноиверский. Книга риторскаго всекраснаго златословия. 1710 г. РГБ, фонд В.М.Ундольского (ф. 310), № 879.

### Литература

Аннушкин 1997 – В.И. Аннушкин. Эволюция предмета риторики в истории русской филологии (XI- середина XIX веков). Дисс. ... д-ра филол. наук. М., 1997.

Аннушкин 1998 – В.И. Аннушкин. История русской риторики. Хрестоматия. М., 1998.

Вомперский 1970 – В.П. Вомперский. Стилистическое учение М.В.Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970.

Вомперский 1988 – В.П. Вомперский. Риторика в России XVIII-XVIII вв. М., 1988.

Елеонская 1990 – А.С. Елеонская. Русская ораторская проза в литературном процессе XVIII века. М., 1990.

Зубов 1960 – В.П. Зубов. К истории русского ораторского искусства конца XVIII - первой половины XVIII в. (Русская люллианская литература и ее значение) // ТОДРЛ. Т. XVI. М.; Л., 1960. С. 288-303.

Лопарев 1908 – Х.М. Лопарев. Риторика Козмы Грека 1710 года и «примеры» из нее по русской истории // ИОРЯС. Т. XII. Кн. 4. 1908. С. 146-198.

Понырко 1981 – Н.В. Понырко. Учебники риторики на Выгу // ТОДРЛ. Т. XXXVI. М.; Л., 1981. С. 154-162.

Скуфос 1779 – Филарет Скуфос. Златослов, или открытие риторския науки, то есть искусство витийства, сочиненное греческим священником Филаретом Скуфою, критским уроженцем, града Кидонии проповедником, любомудрия и священныя богословия учителем, для пользы слова Божия проповедников и священныя риторы. Переведена же на российский язык покойным статским советником Стефаном Писаревым. СПб., 1779; 2-е изд. - 1798.

Сл. XI-XVII вв. – Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 1-24. М., 1975-1999.

Смеловский 1845 – А. Смеловский. Братья Лихуды и направление словесности в их школе // ЖМНП. Ч. XLV. Отд. 5. СПб., 1845 (март). С. 63-90.

А.А. АЛЕКСЕЕВ

### ЕЩЕ РАЗ О КНИГЕ ЕСФИРЬ

Длительная полемика о книге Есфирь, начавшаяся в конце XIX и с новой силой вспыхнувшая в конце XX в., пришла к завершению не совсем привычному, но исключительно благоприятному — двум обширным изданиям и исследованиям славянского текста. В монографии Г. Г. Ланта и М. Таубе [ЛТ 1998] мы находим хорошо структурированное исследование, в котором предмет последовательно рассмотрен в аспектах перевода, грамматики и лексикологии; перекрестные отсылки и словарь облегчают пользование книгой. Книга Ирины Люсен [2001] построена как комментированное чтение (*explication de texte*), завершающееся обобщениями в сфере грамматики, лексики и текстологии. Книга Ланта и Таубе уже вызвала в печати несколько откликов [MacRobert 2000; Златанова 2001]; работа Люсен, вышедшая позже книги Ланта и Таубе, также содержит реакцию на нее.

Ближайшее знакомство с этими обширными исследованиями убеждает, однако, что вопрос о славянском переводе книги Есфирь все еще нельзя признать решенным. И дело не только в том, что две названные работы не согласны между собой в главном пункте проблемы — о языке оригинала, но в том прежде всего, что метод историко-филологического исследования этого загадочного текста в них еще не найден. Перед нами два опыта, которые не могут претендовать на то, чтобы исчерпать и закрыть хотя бы на время данную тему.

Вопрос о том, с какого языка сделан славянский перевод — еврейского или греческого — может показаться сравнительно маловажным для истории древней славянской письменности. В нем, однако, заключено большое культурно-историческое значение, а от того или иного ответа зависит сама трактовка некоторых лингвистических форм текста. В немалой степени с ним связано и представление о времени и месте появления славянского перевода. Как известно, в XIX в. за еврейский оригинал славянской версии выступали А. Х. Востоков [1842: 25], И. Е. Евсеев [1898]. К Востокову присоединились, приведя некоторые дополнительные наблюдения, свидетельствующие в пользу еврейского оригинала, А. В. Горский и К. И. Невоструев [1855: 53], И. Рождественский [1885]. Позже эту позицию занял и Н. Н. Дурново [1969: 109]. Между тем

А.И. Соболевский [1903: 433-436]<sup>1</sup> пришел к выводу, что оригиналом послужила греческая версия. Позиция Соболевского зависела от общей трактовки культурной ситуации древней Руси: переводы с еврейских оригиналов принадлежали, как было известно тогда, эпохе жидовствующих, т. е. времени никак не старше второй половины XV в. Между тем две обнаруженные рукописи конца XIV в. (Q. I. 2 и Троицк. 2) и признаки языковой древности славянского текста заставили Соболевского включить Есфирь в число переводов домонгольского периода [Соболевский 1910]. Мне уже пришлось отметить [Алексеев 1987: 1], что в лекционном курсе по древнерусской литературе, который он читал в 1892/93, т.е. раньше написания статьи о переводах домонгольского периода (первая версия которой появилась летом 1893 г.), Соболевский принимал взгляд Востокова о еврейском оригинале [Соболевский 1892/93: 25, 33]. Историографические очерки обеих книг не придают внимания этому обстоятельству. Позиция Соболевского разделяется Лантом и Таубе только в отношении языка оригинала, предложенная датировка домонгольской эпохой обходится полным молчанием [LT 1998: 8]. Это тем более странно, что Лант, компетентный знаток орфографии славянских рукописей древнего периода, приходит к выводу, что консервативная орфография древнейшего списка Q. I. 2<sup>2</sup> отражает нормы до 1200 г. [LT 1998: 141]. Действительно, в этом списке мы обнаруживаем последовательное сохранение редуцированных в слабых позициях, такие орфограммы, как **ѸтринѸмь, въ всѸхъ властѸхъ, въплѸмь великѸмь**, написание редуцированных в сочетании с плавными (**испѸляше, напѸляхѸся, чѸрвѸмь, върѸми**)<sup>3</sup>. Отношение к вопросу о датировке у Ланта и Таубе определено, вероятно, ни чем иным как предвзятым отрицанием того, что в древней Руси делали какие бы то ни было переводы<sup>4</sup>. Подобным образом поступает и Люсен [2001: 23]: расширяя датировку Соболевского до X-XIII вв., она тем самым представляет его взгляд с существенным

---

<sup>1</sup> Впервые заметки о книге Есфирь были представлены Соболевским в качестве доклада в 1897 г.; статья Евсева [1898] была ответом на этот доклад.

<sup>2</sup> Со ссылкой на исследование филиграней, произведенное Д. М. Буланиным, список датируется в книге началом XV в., что должно было бы привлечь еще большее внимание к архаичности его орфографии.

<sup>3</sup> Мне уже пришлось касаться этого вопроса в статье [Алексеев 1993], часть которой [с. 48-59] посвящена полемике с М. Альтбауэром, М. Таубе и Г. Г. Лантом о книге Есфирь. Кое-что из этой работы приходится повторять, ибо Лант и Таубе не вступают в открытую дискуссию по затронутым вопросам, предпочитая ограничиваться грубыми выпадами вроде того, что “in 1993, Alekseev muddies the waters even more” [Lunt, Taube 1994: 353, note 24].

<sup>4</sup> См. [Lunt 1988]. В настоящей книге [LT 1998: 247], однако, позиция Ланта изложена иначе: переводов с греческого на Русь не было до 1250 г., а с еврейского – до 1400. Точность датировок имеет декларативный характер и не связана с какими-либо известными текстами.

искажением, ибо ни о каких восточнославянских переводах X в. Соболевский никогда ничего не говорил. Между тем, и Люсен отмечает, что в сочетании плавных с редуцированными преобладает написание еров, а не гласных полного образования [Люсен 2001: 26]. Уже одно это говорит о том, что перевод создан до падения редуцированных, ибо переписчик, который писал в других случаях в согласии с нормой своего времени **възискаа, проповѣдаа**, не мог от себя внести в список эту архаичную черту. Имя одного из персонажей книги имеет следующие варианты написания: **Мардѣхан, Мардохан, Мардахан**. Первая форма преобладает в списке Q. I. 2, отражая еврейское написание со сверхкраткими гласными «шва» или «хатеф-камец» (ykdʰ m; или ykdʰ m = mardʰhai), и не могла быть взята из греческого, поэтому Лант и Таубе [LT 1998: 147] предлагают считать ее вторичной наряду с двумя следующими, принимая за исходную ту форму, которая совпадает с Септуагинтой (Μαρδοχαίος). С этим, конечно, трудно согласиться.

В книге Ланта и Таубе дан перечень 32 источников, по которым известен этот славянский перевод Есфири, 12 из них привлечено к изданию. Анализ отношений между источниками основан на датировках рукописей и самой общей характеристике текста. Все это занимает три небольших абзаца, но завершается стеммой [LT 1998: 14-15], в которой гораздо больше определенности, чем в описании, сопровождающем ее. Датировка архетипа, к которому восходят все списки, осуществляется простым прибавлением двух-трех десятилетий к датировке старейшего списка и нескольких гипотетических протографов, так что получается 1350 г. Эта дата отождествляется со временем изготовления славянского перевода. Таким образом, лингвистические особенности текста не используются для его датировки, тогда как текстологическое исследование ограничивается поверхностным обзором списков. Странно и неубедительно построен текстологический раздел и книги Люсен. Вначале автор ограничивается перечнем 9 списков, систематизированных по хронологическому основанию [Люсен 2001: 24-40], затем в главе, посвященной сразу нескольким вопросам — степени и качеству вариации славянского текста по спискам, отношению различных вариантов к еврейскому оригиналу, принципам передачи имен собственных и прочему [с. 235-306], — делается заключение об отношении списков между собою в форме стеммы [с. 360], а в последующем комментарии [с. 307-314] переданы личные ощущения автора об отношении между списками со слабыми попытками объективировать эти ощущения. Архетип датируется еще более жестко 1380-90 гг., но датировка дана лишь на стемме без какой-либо серьезной аргументации [с. 306]. Исключительно важным текстологическим свидетелем является Тихонравовский хронограф XVI в., сохраняющий какие-то редкие чтения, которые кажутся первичными; в обеих книгах он рассмотрен отдельно от основных источников в специальных экскурсах [LT 1998: 257-263; Люсен 2001: 303-306], т. е. фактически не получает места в текстовой традиции. Именно этот хронографический список содержит повесть о

трех пленениях Иерусалима, заимствованную из «Иосиппона» по его древнерусскому переводу [Творогов 1975: 66, 92-93]. Без понимания истории хронографа не может быть достигнута ясность в отношении славянского перевода Есфири. Такое исполнение столь важной части исследования говорит об отсутствии навыка работы с рукописным материалом, о незнакомстве с методами текстологического анализа. Ни в той, ни в другой работе не найдены внутренние критерии для определения отношения между списками, нет полного объяснения рукописных стемм, нет убедительного доказательства постулируемого отношения между источниками. Нередко исследователи, лишенные опыта работы с рукописями, возводят пренебрежение источниками в принцип и осуждают пристальное внимание к мельчайшим деталям древних источников, называя это фетишизацией рукописей (Handschriftenfetischismus) [Kronsteiner 1993; Thomson 1998: 718]. Вероятно, это вызвано неумением обращаться с ними. Отсутствие текстологического анализа приводит в данном случае к тому, что все главные вопросы текста авторам той и другой книги приходится большей частью решать приемами конъектуральной критики.

Необходимое предварительное требование к исследованию всякого текста – это представление истории его развития, создание некоторого рода текстологической гипотезы для объяснения как архетипического текста, так и его исторических изменений. Действительно, некоторые чтения списков лучше отражают еврейский источник текста, чем другие. Например, на месте формы 8. 9 **хусь** «Эфиопия» список МДА 12 дает форму **кѡшь**, на месте имени 2. 21 **вафесь** список МДА 12, а также Солов. 75, Кирилло-Белоз. 4/9 и 5/10 на поле дают **тересь**. Эти исправленные формы точнее передают еврейскую орфографию, они возникли, вероятно, в результате глоссирования готового перевода при сверке с еврейским источником. Список МДА 12 не использован Лантом и Таубе, так что они прошли мимо этого вопроса. Значительно серьезнее вторжения справщика были в текст, представленный Тихонравовским хронографом. Имя **Ахасъверось** заменено здесь большей частью на **Ахашверошь**, **Аманъ** на **Гаманъ**, редкая лексика также устранена. Одна лишь замена в этом списке **възлюбленикъ** на **злокознивый** (7. 6) при характеристике Амана говорит о том, что текст, заключенный в нем, подвергся компетентной редакции по еврейскому оригиналу. Родственным текстом обладает и Хлебниковская летопись. Читатель вправе ждать от издателя и исследователя ответа на этот крайне важный вопрос, но приведя замены **вобрь** на **сребро**, **чъръ** на **шатёръ** и проч., Лант и Таубе «предоставляют читателю подумать о том, как в Тихонравовском хронографе возникли эти текстовые различия» [LT 1998: 261]. Люсен [2001: 306] полагает даже, что использование этого списка «при каком бы то ни было анализе текста книги Есфирь едва ли допустимо».

В книге Ланта и Таубе славянский текст воспроизводится по списку Q. I. 2 в сопровождении несистематически приводимых разночтений из

10 других списков<sup>5</sup> Впрочем, орфография основного списка иногда архаизируется в издании в пользу Троицк. 2, в котором редуцированные переданы лучше; типы таких исправлений перечислены на с. 22-23. Зачем это делается, непонятно. В книге Люсен в качестве основного использован тот же список с 8 другими в критическом аппарате, из которых разночтения приводятся последовательно. Иногда встречаются расхождения между изданиями. Например, 2.6 **навходъносоръ** [LT 1998] : **навхо(д)носоръ** [Люсен 2001], 2. 22 **мардохеви** [LT 1998] : **мардъхеви** [Люсен 2001]. Лант и Таубе почему-то отказались от передачи выносного «с» в слове **цъсарь**, которое в их издании всегда имеет форму **царь** [LT 1998: 23]. Конечно, это существенно омолаживает внешность текста. По наблюдениям Соболевского [1907: 111], форма **цъсарь** может служить датирующим признаком и свидетельствовать о том, что текст не младше XIII в. В ст. 4. 5 устранено выносное «с» над глаголом, так что в издании появляется далеко не стандартная форма **чемү то є и про что є**. Издание Люсен лишено такого рода недостатков, так как воспроизводит основной текст и варианты без изменений.

Реконструкция у Ланта и Таубе не ограничивается введением опущенных редуцированных. Издатели применяют квадратные скобки, чтобы отделить «лишние» элементы текста, и фигурные скобки, чтобы внести в текст «недостающие» элементы или исправления. Реконструкция носит эклектический характер: эталоном служит еврейский текст, из разных списков нередко вне какой-либо текстологической оценки в издаваемый текст могут вноситься такие элементы, которые соответствуют еврейскому оригиналу (согласно принципам, изложенным на с. 20). Самая яркая черта этой реконструкции заключается в том, что чтения хронографа по списку Тихонравова большей частью вносятся в текст, если имеют поддержку еврейского оригинала. Поскольку по крайней мере часть этих чтений возникла при позднейшей правке соответствующего протографа по оригиналу, нет никаких оснований относить все особенности этого источника на счет архетипа.

Некоторые приемы и результаты такой «реконструкции» не лишены интереса. В 7.9 по списку Q. I.2 и другим есть такое чтение: **право бяше древо еже створилъ вѣ самъ аманъ**. Чтение довольно трудное, но еврейский оригинал хорошо передан в переводе конца XV в. по известному списку Вил<sup>6</sup>: **теж асе то дерево иже вчинил гаман** ( *mḥ; hc:[Arva] [ḥAhNhi μG]*). Перевод частицы *gam* (μG) «тоже» наречием **право** встречается также в 7.8 и должен быть признан нормальным, хотя семантически невразумительным; глагольная форма **бяше** соответствует по своему положению указательной частице *hinne* (*hNhi*) «вот»; Люсен [2001: 180] предлагает считать,

<sup>5</sup> Недостатки критического аппарата издания Ланта-Таубе, заключающиеся прежде всего в выборочном представлении разночтений, подробно описаны Люсен [с. 42-43].

<sup>6</sup> См. издание [Altbauer 1992]. В дальнейшем чтения этого кодекса начала XVI в. цитируются в тексте с сиглломом Вил.

что частица была прочтена как глагол *hyh*, и у нас не остается другого выхода, как принять эту конъектуру. Ср. 2.5 *мѹжь бяше (hyh) въ сѹсанѣ граде*. В издании Ланта и Таубе это место читается так: *право {wное} древо еже створилъ бѣ [самъ] аманъ*. Как видно, глагол заменен местоимением и устранено второе местоимение, что соответствует еврейскому тексту и взято из хронографа Тихонравова. В 8.8 устранены элементы, которые встречаются во всех без исключения списках, лишь потому, что им нет точных соответствий в оригинале: *иже писано есть именемъ царевъмъ и запечатано печатиу цареву не [может того] вратити [никтоже]*. Приблизительно в таком стиле сделаны все весьма многочисленные эмендации этого издания; в редком стихе их нет. При наличии критического аппарата и обширного комментария такого рода вторжения в текст просто излишни. Большая часть их ненадежна; выполненные методом рационалистической критики текста, ставшей анахронизмом уже в середине XIX в., такие конъектуры возбуждают недоверие к филологической компетенции издателей.

Издание Люсен лишено таких недостатков, но за отсутствием текстологической теории текста оно представляет собою пока еще лишь материалы для изучения. Ощущается нехватка рукописных источников в аппарате обоих изданий<sup>7</sup>

Как уже говорилось, авторы двух книг занимают противоположные позиции по вопросу о языке оригинала, с которого сделан славянский перевод: Лант и Таубе стоят за греческий, Люсен — за еврейский. Из-за отмеченных недостатков текстологической теории и изданий разбор отдельных мест не может быть поддержан текстологической аргументацией, и мы снова оказываемся почти в том же положении, в котором возобновилась дискуссия о языке оригинала в 1980-е гг.

Считается, что оригинал переводного произведения может быть определен по фонетической передаче собственных имен и ошибкам перевода. Специальный раздел, который был бы посвящен всестороннему рассмотрению признаков еврейского или греческого оригинала, в книге Ланта и Таубе отсутствует; материал разнесен по разным рубрикам лингвистического исследования. Такая композиция хорошо отвечает задачам полного описания текста, но растворяет значимые и показательные факты в массе нерелевантных данных, если приходится решать какую-либо специальную задачу, как в данном случае. В результате фактически в книге не

---

<sup>7</sup> Настоящая статья не является рецензией, поэтому я не даю всесторонней оценки обеих книг. К достоинствам труда Ланта и Таубе можно отнести лексикологический комментарий; положительной стороной работы Люсен является внимание к передаче еврейской грамматики в славянском переводе. Безусловно, оба издания текста по нескольким спискам представляют собою шаг вперед по сравнению с очень несовершенным предшествующим его изданием [Мещерский 1978], которое было осуществлено по старым запискам Н. А. Мещерского и без непосредственного его участия.

представлена полная аргументация в пользу греческого оригинала; разрозненные наблюдения сделаны в комментариях к тексту и в лингвистических разделах, в разделе о переводе они лишь бегло перечислены; исторические обстоятельства возникновения славянского текста рассмотрены во введении.

Первая категория свидетельств — фонетика собственных имен, — по мнению Ланта и Таубе, «является самым очевидным признаком того, что в основе славянской версии лежит греческий текст» [ЛТ 1998: 76]. В соответствующем разделе [р. 146-152] с известной последовательностью рассмотрены все фонетические особенности передачи собственных имен. Но вот как, например, трактуются орфографические вариации в написании имени Мардохея: «Чередование *a/o* в *Амань/Амонь* и *Мардахай/Мардохай*, засвидетельствованное во всех рукописях — с такими последующими вариантами (*further variants*), как *Мардъхай* в Q. 1.2, — должно трактоваться как собственно славянское явление» [р. 147]. Сказанного совершенно недостаточно. Форма имени с **ъ**, которая, как уже говорилось, точнее других отражает еврейское произношение, во-первых, не могла возникнуть из греческого оригинала, во-вторых, встречается в самой древней рукописи<sup>8</sup>, где безусловно преобладает над другими (в Q. I. 2 встречается 29 раз, тогда как написание с **о** – 11 раз, с **а** 3 раза, что видно из указателя на с. 305, возможно, однако, что часть написаний с **о** мнимые, см. выше). Но чередование *ь/o* для славянских языков всегда имеет хронологическое направление, т. е. *o* появляется на месте *ь*, а не наоборот. Так Лант и Таубе обходят молчанием существо вопроса. Не отмечается также нередкое написание в нескольких списках имени героини в форме **ѣсферьь**, отражающее гласным второго слога еврейское написание.

Со времени Соболевского имена *Ахасъверось* и *Сусань*, вместо ожидаемых *Ахашъверошь* и *Шушань*, рассматриваются как решительное доказательство в пользу греческого оригинала. Это положение принимается Лантом и Таубе без обсуждения. Между тем уже было отмечено, что орфография с «с» отвечает особенностям исторической фонетики еврейского языка и не может служить свидетельством греческого оригинала. Приведены и некоторые орфограммы, в которых славянские слова, записанные еврейским квадратным шрифтом, имеют букву «шин» на месте звука [s] [Алексеев 1987: 6]; ср., например, имя польского короля *Лиско* (1205), записанное на монете как *l r q s i k v l* [Гаркави 1865: 16]. Буквой «шин» передавался звук [s] и других европейских языков [Алексеев 1993: 50]. Исторической фонетикой еврейского языка установлено, что до XIII в. нормой было произношение «шин» как [s], см. [Gumpertz 1953; Kutscher 1982]. В обширной книге двух авторов нет никакой реакции на эти сведения, которым уделяет внимание

---

<sup>8</sup> А также в трех рукописях конца XV-XVI в.: Библиотеки Замойского BOZ 105 (Варшава), Солов. 75 и Кирилло-Белоз. 4/9. См. [Люсен 2001: 41]. Согласно Люсен [с. 306], три названные рукописи восходят к другой текстологической группе, чем список Q. 1. 2, так что своей орфографией ему не обязаны.

Люсен [2001: 287-289], приводя дополнительные данные по этому вопросу.

Историческая обстановка, в которой мог быть сделан постулируемый Лантом и Таубе перевод с еврейского на греческий, а с греческого на славянский, также должна быть обсуждена с необходимыми подробностями, но тут позиция авторов крайне неустойчива. Им ясно лишь то, что греческий перевод был сделан иудеем, тогда как славянский кем угодно, но едва ли иудеем, скорее христианином, не ясно, с какой целью, ибо для полемики с жидовствующими книга не была использована, тогда как предполагать, что с греческого переводили евреи, жившие в Восточной Европе, авторы тоже не хотят [LT 1998: 5-7], ибо понятно, что много проще было бы сделать перевод непосредственно с еврейского, чем с какого-то случайного перевода с греческого. Таким образом, славянский перевод мог появиться в любом месте, населенном славянами-христианами, в период между 863 и 1375 гг. [р. 7]. На заключительных страницах книги диапазон выводов не только не сужается, но еще более расширяется: здесь говорится, что перевод сделан на западнорусских землях в XIV в. и прошел при включении в последней четверти XIV в. в кодексы библейских книг редакторскую переработку, заключающуюся, возможно, в намеренной архаизации. Лексикон не свидетельствует о том, что перевод сделан в X в. в Болгарии или в домонгольской Руси [р. 243-244]. Вслед за этим высказывается мысль о возможной связи славянского перевода Есфири с работой над хронографическими компиляциями, осуществлявшимися на Руси в XII в. [р. 246], и о том, что в работе принимали участие такие лица, как еврей, для которого греческий язык был языком богослужения, а славянский оставался в домашнем обиходе, славянин, работавший над историческим сочинением, и переписчик [р. 246-247]. Но можно также думать, что перевод сделал в XIV в. «еврей из западнорусских земель, выходец из Византии» («a Ruthenian Jew of Byzantine, not Ashkenazi, background»), а восточные славяне при переписке тотчас ввели в текст архаизмы, а также «экзотические черты» и ошибки [р. 247]. Возможно, наконец, что славянский перевод возник на Балканах и попал на Русь в XIV в. или что иудейско-греческая версия попала в Новгород или Киев и была переведена тут [р. 248]. Исчерпав все возможные гипотезы, авторы глубокомысленно заключают: «Мы полагаем, что ученый должен признавать, что за отсутствием свидетельств не всякий вопрос может быть решен» [р. 247] и что нерешенным остается вопрос о том, зачем же все-таки была переведена книга Есфирь на славянский [р. 248].

Трудно обсуждать этот набор догадок. Если сами авторы не могут остановиться на какой-нибудь одной, то тщетно ждать этого от непосвященного читателя. Очевидно, что авторы «греческой гипотезы» не могут примирить свои постулаты с известной исторической ситуацией. Если позицию Соболевского легко понять, то в позиции Ланта и Таубе так много противоречий и путаницы, что суть ее остается непостижимой. Ясно одно: между еврейским и славянским текстами был промежуточный греческий.

Лишенный исторической достоверности и филологической надежности (как я постараюсь показать ниже), этот тезис кажется просто капризом.

Авторы упомянули вскользь и о самом неприятном для «греческой гипотезы» обстоятельстве, а именно о том, что тексты евреев, пользовавшихся греческим языком в богослужении (равно как и в быту), написаны еврейским квадратным шрифтом [ЛТ 1998: 6, note 16], тем самым хотя бы завуалированно реагируя на высказанные ранее мною возражения [Алексеев 1993: 50]. Действительно, евреи в странах рассеяния пользовались в быту языками народов, среди которых жили, равным образом и в синагогальном употреблении обращаясь к библейским переводам на местные языки, на что впервые указал Гаркави [1865]. Следы этого отмечены в истории латинских библейских текстов в Европе [Вагон 1958: 273 ff.], но особенно ясно прослеживаются как раз в истории восточнославянского Пятикнижия, разделенного на субботние отделы (парашиот) и снабженного глоссами по еврейскому тексту [Алексеев 1999: 182-184]. В тех случаях, когда евреи делали свои переводы самостоятельно, они записывали их не местным алфавитом, а квадратным шрифтом, во всяком случае на Балканах эта практика не знает исключения. Постулируемый Лантом и Таубе греческий текст исторически не засвидетельствован и не совпадает с переводом Есфири на греческий язык, известным под названием Септуагинты (с ее редакционными разновидностями)<sup>9</sup> И без того сложный вопрос о истории греческой версии Есфири приобретает вследствие гипотезы Ланта и Таубе еще большую сложность, тогда как свидетельству славянской версии не хватает надежности, чтобы основать на ней столь смелое предположение<sup>10</sup> Этот не засвидетельствованный иудейский перевод на греческий язык, не отразившийся в собственно греческой традиции текста, должен был быть написан еврейским шрифтом, как и прочие еврейские переводы, не вступавшие во взаимодействие с христианскими греческими версиями. Но греческий текст, записанный еврейским письмом, никоим образом не мог стать источником «грецизирующего» прочтения звука [s] на месте «шин», т.е. слав. *Ахасъверось* и *Сусанъ* не могут быть объяснены греческой основой, ибо имена собственные в таком переводе по своей орфографии полностью совпадали с той орфографией, какой они обладают в оригинальном еврейском тексте. Авторам приходится еще более усложнять свою

---

<sup>9</sup> Наряду с основной версией Септуагинты существует «Лукиановская редакция», которая сохранилась не в полном объеме текста; она основана на Септуагинте, отличаясь от нее редакционной правкой, направленной на сближение греческого текста с еврейским. И та, и другая разновидности дополнены шестью обширными пассажами, в которых раскрывается содержание писем и молитв, упоминаемых в книге. Эти добавки происходят из иудейских толкований (мидрашей), они не вошли в еврейский масоретский текст, хотя известны еврейской письменности. В частности, некоторые из них включены в пересказ Есфири, помещенный в «Древностях иудейских» Иосифа Флавия.

<sup>10</sup> Единственная известная мне реакция специалиста по греческим версиям на гипотезу Ланта и Таубе имеет отрицательный характер. См. [De Troyer 2000: 407].

гипотезу, допуская, что к славянам попал текст, транслитерированный с еврейского письма на греческое [LT 1998: 6, note 16].

Итак, орфографическая передача собственных имен в Есфири не содержит надежных признаков непосредственного греческого оригинала. Остаются ошибки перевода. В этой части книги Ланта и Таубе аргументация в пользу греческого оригинала строится на презумпции, что все ошибки наличного славянского текста, обязанные своим появлением неправильной интерпретации еврейского оригинала, совершены были тем переводчиком, который переводил с еврейского на греческий. Поэтому сколько бы ни находилось в славянской версии таких и подобных следов еврейского текста, они ни о чем не говорят; доказательной силой обладают только грецизмы, ибо они попали в славянский из непосредственного греческого текста. При такой постановке вопроса выводы предопределены заранее, ибо может быть доказан лишь греческий оригинал и никакой иной.

Список грецизмов насчитывает 19 единиц [LT 1998: 76-79], среди них десять случаев оцениваются самими авторами как вероятные (ненадежные), поскольку соответствующие явления могут рассматриваться как заимствованные из греческого, но освоенные славянским литературным стилем. Речь идет о следующих чтениях:

(1) 6.11 **сътвори поаздити емѹ** соответствует греческому каузативному обороту ποιεῖν + inf., в евр. буквально «и вывез его на коне» с глаголом *bkr*; «скакать» в породе *hifil*, имеющей каузативное значение<sup>11</sup>

(2) 1.18 выражение **въ дньшнии днь** напоминает греч. ἄν τῷ σήμερον ἡμῶν;

(3) 4.7 и 6. 13 **вса съключышаа са емоѹ** может передавать греч. πάντα τὰ συμβεβηκῶτα, поскольку соответствующее местоимение еврейского текста имеет ед. число; надо, впрочем, иметь в виду, что в 4.7 греческий текст Септуагинты также имеет ед. число;

(4) 1.3 **и иже ихъ о немъ** напоминает греч. τοῖς или τῶν περὶ ἄτῶν, тогда как в евр. *uḥp* | *i* «перед лицом»;

(5) 7.9 **единъ тѣхъ тивунъ** соответствует греческому беспредложному обороту εἷς τῶν εἰνοχῶν, в еврейском употреблен предлог *m*, что должно было бы дать «один из тивунов»;

(6) 1.5 **всѣмъ людѣмъ еликоже ихъ обрѣте**, 9.27 **на вся елико ихъ пристѹпаше къ нимъ** — обороты с **елико** напоминают греч. обороты с союзом ἅσθαι;

(7) 4.11 **кромѣ емѹже простретъ прѹтъ**: здесь после предлога опущено ожидаемое местоим. **того**, так что выражение соответствует Септуагинте πλὴν ἡ ἡκτεῖν, в евр. буквально «лишь которому протянет кому скипетр»;

(8) 2.13 **еже аще** может соответствовать греч. ἢ ἄν, 9.1 **идеже аще** соответствует греч. ἢ τοῦ ἄν;

<sup>11</sup> Ничего специфически греческого в этом каузативном обороте, конечно, нет. Этим путем авторы просто дезавуируют тезис Н. А. Мещерского о том, что данное выражение свидетельствует о еврейском оригинале. См. [Мещерский 1956: 210].

(9) 1.16 и 5.12 **аще не** может соответствовать греч. εἰ μ□;

(10) 5.12 **не приведе ли ма**, 5.13 **не вредно ли**: лишнее **ли**, для которого нет соответствия в еврейском, может отражать греч. оборот ο□ μ□.

Некоторое количество такого же рода материала рассеяно в комментариях, но авторы не выносят его на рассмотрение в раздел, посвященный переводу. Во всех перечисленных случаях славянский перевод отличается от известного еврейского текста и напоминает нормальные формы греческого синтаксиса, в некоторых случаях совпадая с реальным переводом Септуагинты. Конечно, это не слишком убедительный материал. Действительные расхождения между славянским и еврейским текстом гораздо больше и существеннее, чем только что перечисленные. Без учета всех различий между текстами незначительные расхождения такого рода не могут быть правильно объяснены. Различий, которые не могут быть объяснены греческим промежуточным текстом, во много раз больше, и о них еще придется говорить.

Еврейский текст действительно не знает существенных вариантов, так что его можно считать стабильным. Но в представлении Ланта и Таубе два переводчика, по очереди работавшие над переводом, использовали разную стратегию: переводчик, который переводил с еврейского на греческий, позволял себе довольно широко трактовать оригинал и не воспроизводить его мелкие грамматические особенности, тогда как второй переводчик, переводивший с греческого на славянский, ничего подобного себе не позволял и воспроизводил свой греческий оригинал с необыкновенной грамматической тщательностью. Если иметь в виду, что первый переводчик, согласно Ланту и Таубе, был еврей и делал свой перевод в религиозных целях, а второй был неизвестно кто и переводил неизвестно зачем, то различие в их отношении к делу станет особенно загадочным.

Приведенные примеры не могут сами по себе свидетельствовать о том, каким оригиналом пользовался славянский переводчик. Лингвистическая природа этого материала такова, что он может рассматриваться как черта языковой или стилистической нормы славянского языка. Это, как уже говорилось, признают и сами авторы. Многие из этих отступлений от известного сегодня еврейского текста могут быть тем или иным способом объяснены, что и делает вполне убедительно Люсен в своем комментарии (случаи 1, 7, 9, 10). Со своей стороны могу добавить, что выражение **дньшьнии днь** засвидетельствовано не только переводами с греческого, но и оригинальной славянской литературой (Повесть временных лет, введение, Хождение игумена Даниила) (цитируется по [Срезневский. Материалы 1]); для пятого случая, где предполагается пропуск предлога, убедительную параллель дает «Житие Моисея», переведенное на Руси как раз с еврейского оригинала<sup>12</sup>. Ср. *уподобися къ единому велможь, не будетъ васъ погибнути ни единому* (цитируется по [Рождественская 1999: 124, 140]).

<sup>12</sup> Что признает один из авторов. См. [Таубе 1993].

Другим девяти случаям Лант и Таубе придают гораздо большее и даже решающее значение.

(11) 5.3 **БҮДЕТЬ ТИ** (*дажь и до полуцрства моего*) должно соответствовать греч. Ποταί σοι, в Масоретском тексте ל: תִּבְרַךְ «и будет дано тебе». Поскольку и с наличием причастия, и без него фраза сохраняет тождественный смысл, аргумент убедительным не представляется, что допускают в другом месте и сами авторы [LT 1998: 112].

(12) 3.13, 4.8, 7.4 и 8.11 **растворити** в значении ‘уничтожить’ является западнорусской семантической особенностью перевода, что убедительно демонстрируют авторы [р. 231-232]. Тем не менее предполагается, что эта семантика может в какой-то мере зависеть от смешения двух греч. глаголов ἀπᾶλλουσι «уничтожить» и ἀλοῦσθαι «растворить» [р. 76, 230-231]. Кажется, что примирить эти утверждения невозможно.

(13) Выражение стихов 4.13, 6.6 **въ мысли своен** может, по мысли Ланта и Таубе, отражать лишь греч. διάνοια, но не еврейский текст, где употреблены слова «душа» и «сердце». Между тем, как видно из словоуказателя [LT 1998: 281-303], в славянском тексте Есфири один раз употреблено слово **сърдце**, дважды — **доуша** при 11 употреблениях слова **мысль** с широким диапазоном значений. Это славянское слово действительно имеет гораздо более широкое значение и применение, чем его возможные синонимы, и именно оно употреблялось и в оригинальных славянских текстах в такого рода фразеологии. Поэтому в 1.10 евр. «хорошо стало на сердце у царя» переведено **вънегда съ оудобраше мысль царева**. Ср. также 7.3 **аще цареви оудобрю и створиши мысль мою въ просьбѣ мои**, где наблюдается весьма существенное расхождение с еврейским текстом, в котором говорится о сохранении жизни. Здесь уже Лант и Таубе [р. 212] предлагают видеть отражение греч. ὄξινωσα, видимо в значении ‘намерение’. Но такого рода осмысление евр. נפש «душа» мог сделать не только переводчик на греческий, но и переводчик на славянский, следовательно, наличие промежуточного перевода не является необходимым для такой интерпретации. В 6. 6 вопреки и еврейскому, и греческому оригиналам употреблена *figura etymologica*, которая поддерживает соответствующее словоупотребление: **помысли аманъ въ мысли своен**; славянскому глаголу соответствуют евр. אמר и греч. εἶπε, оба со значением ‘сказать’. Аналогично в 7. 5 **помыслы помысли** «наполнил сердце свое (чтобы сделать так)».

(14) В 2. 15 **достүпи жребни есфиринъ** (идти к царю) слово **жребни** соответствует евр. גַּדְלוּ «черед, очередь». Лант и Таубе находят, что такой перевод нуждается в объяснении. Они полагают, что автор славянской версии перепутал греч. καιρός «пора, время», которое могло бы стоять в этом стихе как соответствие еврейскому слову, с κληροῦς «жребий». В ст. 2. 12 это же самое слово в этом же значении переведено **знамение**, что гораздо менее удачно, как справедливо думают и авторы [LT 1998: 95], не предлагая, однако, никакого объяснения. Я нахожу, что в 2. 15 дан вполне удовлетворительный перевод. В Вил. в обоих стихах стоит слово **часъ**, что и

подсказало авторам ненужную конъектуру.

(15) Чтение 1.3 **створи пирѣ велможамъ своимъ, и рабомъ своимъ, силѣ фарисѣистѣи и мадѣистѣи, странам и боляромъ земнымъ** уже обсуждалось не раз. Именно с исправления этого места началось дело по доказательству греческого оригинала для славянской версии книги Есфирь [Altbauer, Taube 1984]. Вместо **странамъ** в тексте ожидается обозначение какого-то рода сановников соответственно евр.  $\mu\upsilon\mu\tau\tau\tau$  Ph', ср. **столечником и боаромъ земским** Вил. Таубе высказал догадку, что **странамъ** возникло на почве первоначального **сатрапомъ**; действительно, такого рода замена позже была обнаружена Ф. Томсоном в Слове Кирилла Александрийского<sup>13</sup>. Мои возражения [Алексеев 1993: 51], на которые в книге Ланта и Таубе [р. 259-260] я не нашел удовлетворительного ответа, сводятся к тому, что данное еврейское слово не обозначает сатрапов, т. е. правителей областей Персидской империи, которые обозначены в этом стихе именно словосочетанием **боларе земные**; в ст. 6. 9 оно же переведено **судии**. В Септуагинте евр.  $\mu\tau\tau$  P' (ед. число) имеет соответствия  $\beta\upsilon\delta\omicron\varsigma$ ,  $\beta\lambda\epsilon\kappa\tau\omicron\varsigma$ . Поэтому предлагаемая конъектура не может быть признана доказанной (к ней мы вернемся ниже).

(16) 1.20 Советники убеждают царя Ахашвероша прогнать строптивую царицу Вашти и опубликовать об этом сведения по всему царству, тогда все жены будут воздавать честь мужьям своим: **и вса жены възложатъ срамотоу на мужь свои** (вариант: **мужа свои**). В евр. употреблено слово  $\gamma\upsilon$  «драгоценность», которое в данном месте значит 'честь'. Странность перевода, по мысли Ланта и Таубе, может быть объяснена промежуточным греческим текстом, где было употреблено слово  $\beta\upsilon\tau\rho\lambda$ , соединяющее в себе значения 'внимание' и 'стыд'. Действительно, дважды употребленное в Новом Завете  $\beta\upsilon\tau\rho\lambda$  переведено на слав. **срамъ** (1 Кор 6. 5, 15. 34). Оно, однако, не могло стоять в гипотетическом греческом тексте на месте евр.  $\gamma\upsilon$ , ибо последнее означает что-либо материально ценное, дорогое<sup>14</sup>, а 'честь' означает лишь в Пс 48. 13, 21 (*человек в чести не пребудет*) и Эсфири (1.4, 6, 20, 6.6, 7, 9, 11, 8.16). Греч.  $\beta\upsilon\tau\rho\lambda$  передает в Септуагинте только евр.  $\text{חמל}$  K' «упрек, оскорбление», тогда как евр.  $\gamma\upsilon$  передается словами  $\delta\epsilon\kappa\iota\omicron\varsigma$ ,  $\delta\epsilon\chi\alpha$ ,  $\beta\upsilon\tau\iota\omicron\varsigma$ ,  $\tau\iota\mu\epsilon$ . Все это делает крайне маловероятной конъектуру, предложенную первоначально А. Куликом [1995] и принятую Лантом и Таубе. Кулик, высказывая свою догадку, возможно, не знал, какие еще варианты встречаются в славянских списках,

<sup>13</sup> См. [Истрин 1893: 356]. В данном месте Слова пересказывается Дан 6. 2-3 **начальники сатрапамъ учини ихъ** (так в ркп. МДА 90), с заменой на **странамъ** в Рум. 3127. Эта замена произведена в списке XVI в., что объяснимо полууставным письмом, тогда как в Есфири предполагаемая замена такого рода должна была быть осуществлена уже в XIV в., т. е. в эпоху уставного письма. В Слове трудное чтение благодаря этой замене становится более простым, тогда как в Есфири чтение становится труднее, поскольку **странамъ** оказывается контекстуальным синонимом к **болярномъ**. Так что аналогия, найденная Томсоном, не кажется убедительной.

<sup>14</sup> Ср. Иер 20.5 *И предам все богатство этого города ... и все драгоценности его ... в руки врагов их; Притч 20.15 Есть много золота и и жемчуга, но ценная вещь — уста разумного; Зах 11.13 высокая цена, в какую оценили Меня.*

но это знают Лант и Таубе. В разночтениях к 1. 20 они привели форму **дроготоу** из хронографа Тихонравова, а также форму **драготоу** из списков Кирилло-Белоз. 4/9, сборника библейских книг библиотеки Замойского (BOZ 105) в Варшаве и Библиотеки Лит. АН 52/224. Слово **драгота** представляет собою идеальный перевод для евр. **רָגַע**, однако Лант и Таубе сочли его глоссой, введенной позже переписчиками [р. 225]. Напротив, Люсен [2001: 73, 337] признает эту форму первичной. На стемме рукописей [ЛТ 1998: 15] Варшавский и Вильнюсский списки не относятся к той же ветви, что хронограф Тихонравова (Кириллобелозерский там отсутствует), на стемме Люсен [с. 306] Кириллобелозерский и Варшавский списки находятся в одной группе (с ними вместе и Соловецкий 75, в котором также читается **драготоу**), тогда как другие интересующие нас в этом случае списки отсутствуют. Появление формы **срамотоу** в нескольких списках не трудно объяснить гармонизацией, поскольку несколькими строками выше в ст. 1.18 читается: **рекоша боларе ... аже оуслышаша гль црцинь всѣм боларомъ црвѣмъ а довлѣет срамоты и гнѣва**. Таким образом, до полного разрешения текстологической проблемы текста выдвигать такую конъектуру нельзя. Между прочим, А. А. Архипов [1995: 253] полагает, что эта ошибка возможна и без греческого посредства: славянский переводчик мог прочесть в еврейском оригинале какую-то форму от глагола «вешать», которая в переносном смысле может иметь значение «клеймить позором».

(17) 3.9 **и аще царви бы оубо доволно бы было абы написал погоубити ѿ** (= если царю угодно, пусть будет предписано истребить их [евреев]). В евр. буквально «не хорошо ли царю» (b/f **לִי מְחַיֵּא** [חַיֵּא]). Обычно такой оборот переводится с **добро** или **любо**. По мнению Ланта и Таубе [р. 77], славянская версия отражает смешение двух греческих глагольных форм **ἄρ[ο]σκ[ο]** «доставит удовольствие» и **ἄρκ[ο]σ[ο]** «явится достаточным». Вероятно, авторы не чувствуют смысловой связи двух славянских слов **довольно** и **удовольствие** и того, что у них общая плохо разделяемая семантика, включающая в себя идеи удовольствия, потребности, желательности и достаточности. Перевод уникален для этого текста, но достаточно осмыслен. Ср. употребления, отражающие семантику потребности, желания прежде всего в самом тексте, которые делают излишними всякие гипотезы о греческом оригинале: **7.2 и что вола твоя, .. створим ти волю твою**, а также и в других восточнославянских текстах: **о доволин плоти моея, создавыи ма, сам вѣси, что тревою** (Послание Ивана Грозного в Кириллобелоз. м-рь)<sup>15</sup>; **церкви освящати по доволу всяких божественнѣх и священнѣх правил** (Акты юридич. быта 2, 525, XV в.); **а българи моурзѣ велѣл молвити госоударь, что имъ оборон учинит от шевкал, как его царской доволъ боудет** (Львовск. летопись 2, 607); **что пожалуешъ по доволу своему, так и учинишъ**

<sup>15</sup> Цитируется по [Срезневский. Материалы 3: 90].

(Переписка дьяка Третьяка Васильева 8, 1650)<sup>16</sup> Наконец, в самой Есфири 10.3 употреблено слово **вольникъ** «фаворит», где тот же самый корень выступает с тем же значением, что и в 3.9. Кажется, что авторы не всегда проявляют достаточное владение славянским языком. Например, в 2.14 **заоутра бѣ врачюущи сѧ къ домоу** они вносят исправление **възвращающи сѧ**, сочтя, что причастие **врачюущи сѧ** образовано от глагола **врачевати** [р. 94]. Здесь достаточно исправить одну букву, чтобы получить требуемый смысл: **врачающисѧ**, ибо перед нами прич. от **вращати сѧ** в русской огласовке; ср.: **сами врачуют через далекоую дороую** (Повесть о трех королях XV в.)<sup>17</sup> и в тексте Есфири 4. 13 **рече мардѣхан вратѧ сѧ къ есфирни**. Написание в 2.14 возникло в результате простого ляпсуса.

(18) 5.10 **и въздохнувъ аманъ приде къ домоу своемуу**. Соответствующий евр. глагол **qra** может быть переведен «сдержаться, собраться с силами», ср. в Вил. **вналъсѧ**. Лант и Таубе считают перевод ошибочным и снова объясняют его смешением значений двух греческих глаголов: **φεῖδομαι** «воздерживаться» и **φισάω** «вздыхать». Трудно сказать, какой перевод мог бы показаться нашим авторам настолько удовлетворительным, чтобы не прибегать к конъектуре. Мы не обязаны думать, что слово **въздѣхнути** в употреблении переводчика Есфири семантически совпадает с употреблением церковных книг (греч. **στενάζω**) или современным русским употреблением; словообразовательно близкий вариант **отдѣхнути** дает нужное значение.

(19) В стихе 2.3 **да вы приставилъ приставники** переводчик, полагают Лант и Таубе, «воспроизводит греческий слог», поскольку все выражение напоминает Исх 1.11 **постави приставники** (**ἰσθῆσεν ἰσθῆσας**). Понятно, что для такой стилизации, даже если она имела место, не нужен греческий оригинал, достаточно иметь образец для подражания на том языке, на который делается перевод. К тому же еврейский текст также использует здесь *figura etymologica* (**wqrq rqudum**), и было бы очень странно усматривать проявление греческого оригинала в приставке, употребление которой обусловлено грамматической системой языка.

Я перечислил *все доказательства*, которые используют Лант и Таубе для обоснования своего тезиса о том, что славянская версия книги Есфирь переведена с греческого оригинала. Ни одному из них нельзя доверять. Все конъектуры, кроме 15-ой, излишни, потому что текст читается удовлетворительно и без них; но 15-я конъектура всего лишь предложена, но не обоснована, такого рода догадок о тексте можно высказать сколько угодно. Не случайно одна из предложенных ранее конъектур была снята в настоящей публикации. Напомню, что выражению 4. 3 «(служили постелью) для многих» в славянском переводе соответствует **постилахоу**

<sup>16</sup> Цитируется по [Словарь XI-XVII вв.: 277-279].

<sup>17</sup> Цитируется по [Слоўнік 1984: 253]. Люсен [с. 92] догадывается, что форма связана с глаголом **вратитися**, но характеризует ее как диалектную.

**старѣшинам.** По мнению Н.А. Мещерского [1956: 210-211], еврейское сочетание предлога с прилагательным  $\mu\upsilon\beta\iota\tau\acute{\iota}$ ; «для многих» было понято как сочетание предлога с существительным «старейшина, вельможа»; Альтбауэр и Таубе [Altbauer, Taube 1984: 308] истолковали его как результат смешения греч.  $\mu\alpha\lambda\lambda\omicron\iota\varsigma$  «многим» и  $\mu\alpha\lambda\iota\omicron\iota\varsigma$  «старикам»; я возразил, что у слова **старѣшина** всегда социальная семантика, а не возрастная [Алексеев 1987: 5]. Едва ли моя аргументация убедила бы Ланта и Таубе, но они обнаружили, что толкование, предложенное Н. А. Мещерским, соответствует средневековой еврейской экзегезе [LT 1998: 107]. Думаю, что тщательное изучение предполагаемых следов греческого оригинала всегда может дать положительный результат и повести к отказу от надуманных концепций. Расхождений между еврейской и славянской версией гораздо больше, они легко обнаруживаются в каждом стихе, но в поле зрения Ланта и Таубе попали только те, которые им удалось возвести к какой-нибудь греческой форме, реально сохранившейся в списках Септуагинты или предполагаемой. Такой способ обращения с материалом называют *magnetische Quellenforschung*: как магнит, поднесенный к груде мусора, вытягивает из нее только железо, так исследователь берет из источника только то, что отвечает его замыслу. При известной системности анализа в разделах фонетики и лексики разрыв с позитивной научной методикой в установлении оригинала может быть понят лишь как уступка непреодолимому желанию доказать то, что доказать невозможно<sup>18</sup>. Жанр филологической конъектуры требует, чтобы взвешены были все аргументы за и против нее, но здесь читателю предлагают восполнить самостоятельно все упущения филолога. В филологии трудно находить доказательства, но еще труднее проводить проверку чужих доказательств, предполагается, что автор сам добросовестно осуществляет контроль. Неопределенность выводов о времени и месте происхождения нашего памятника сочетается у Ланта и Таубе с бескомпромиссной уверенностью в определении языка оригинала<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Приведу длинную выписку из работы Люсен, с которой полностью согласен: «Главной слабостью метода, использованного при анализе перевода и полностью определившего анализ и следующие из него выводы, является тот факт, что за исходный пункт исследования безоговорочно принимается положение, что этот перевод был сделан с греческого оригинала... Доказательство не может основываться и исходить из положения, которое в действительности требуется доказать (*circulus demonstrando*). Естественным результатом такого метода может быть только заключение, что перевод действительно сделан с греческого оригинала, ... поскольку прийти к другим выводам представляется просто невозможно» [Люсен 2001: 369-370]. Далее [с. 370-372] приводятся примеры из книги Ланта и Таубе тенденциозных и бессистемных поисков греческого оригинала.

<sup>19</sup> Провокация и вызов в науке, выдвигая неожиданную альтернативу устоявшейся точке зрения и порождая условия для ее переоценки, могут иметь положительные последствия, если вызывают исследование тех положений, которые прежде не подвергались сомнению. Но неаккуратный филологический анализ провоцирует последствия иного рода. Только что вышло исследование, порожденное работой Ланта и Таубе: [Велчева, Костов 2002]. Здесь совершенно игнорируется та часть лексики славянской версии, которая придает столь исключительный облик тексту, и в ходе анализа общеславянской лексики делается вывод о том, что перевод сделан в Тырнове в середине XIV в. Как будто мы не знаем ни одного произведения, созданного в Болгарии в эпоху царя Ивана-Александра! Для них характерна предельная нормализованность языка, тщательное устранение из него всех локальных черт; они бережно переписывались и у восточных славян, очевидно ценивших их языковую уравновешенность, и никогда не подвергались такой чудовищной варваризации, о какой в данном случае пришлось бы говорить.

Более систематический анализ расхождений еврейского, греческого текста Септуагинты и славянского перевода предпринял А.А. Архипов [1995: 241-263]. Тщательное филологическое исследование славянского перевода, выполненное им, показывает, что своеобразие славянского текста может быть целиком объяснено той свободной манерой, в которой работал переводчик<sup>20</sup>. Именно эта черта, т. е. манера перевода, в свое время заставила М. Альтбауэра [Altbauer 1968; 1992: 38-79] посчитать славянскую версию переводом с греческого. Он исходил из представления, что к нормативным еврейским переводам относятся тексты, представленные в Виленском сборнике, которые с полной последовательностью и точностью передают существенные особенности еврейского оригинала<sup>21</sup>. Если, однако, признавать существование какого бы то ни было «еврейского» перевода, то это может быть лишь перевод, представленный в таргумах. Таргумы (евр. «перевод») используются при общественном чтении св. Писания со времени возвращения евреев из Вавилонского плена (см. Неемия 8. 8), в течение которого евреи оставили бытовое употребление еврейского языка и перешли на арамейский. Согласно сложившемуся ритуалу, вслед за прочтением нескольких стихов Библии в оригинале оглашается их перевод на какой-либо общепонятный язык: вначале это был арамейский, затем все другие языки, которыми евреи пользовались в рассеянии. Перевод вспомогательного текста не связан какими-либо принципами, но может быть предельно буквален в одном стихе и совершенно свободен в другом, потому что он не является Писанием, но всего лишь объяснением его. В этом отношении славянская Есфирь в высшей степени напоминает по своему переводу типичный таргум, который то буквален, то свободен, тогда как перевод библейских книг в Виленском кодексе семантически точен и стоит ближе к обычной практике библейских переводов в Европе.

---

<sup>20</sup> К сожалению, А. А. Архипов использовал лишь список Q. I. 2, так что его представление о славянском тексте не всегда верно. Это значит, что «медленное чтение», на которое уповаet автор [Архипов 1995: 263], не может дать точного ответа, когда речь идет о тексте, известном по рукописям.

<sup>21</sup> Аналогично [Taube 1985: 206]. Критику концепции «еврейского перевода» см. в [Thomson 1994: 148] и [Алексеев 1998]. В [LT 1998] следов этой концепции уже не обнаруживается.

Одной из черт объяснительного перевода являются глоссы с соотнесением еврейских и греческих названий месяцев. В Есфири выявлены были также черты специально еврейской экзегезы. О толковании стиха 4. 3 уже было упомянуто. Лант и Таубе [ЛТ 1998: 189] связывают со старинной еврейской экзегезой представление о внутреннем саде в ст. 1.5 и 7.7-8 (**оградъ оутрънии и днѣшьнии**). **В 9. 17 въ днь 13 мѣсяца адара [говѣху] [рекомаго марта]** заключенные в скобки слова также представляют собою интерполяции, и вторая оттеснена первой со своего места. Так называемый «пост Есфири» 13 адара упоминается в еврейских источниках лишь с VIII в.; естественно, что только иудей мог внести упоминание о нем в перевод<sup>22</sup> Лант и Таубе не решаются признать слово **говѣху** чертой архетипа, поскольку в Тихонравовском хронографе оно отсутствует. Этот факт, однако, объясним редактурой, ведь слово есть в Хлебниковском списке летописи. Люсен [с. 37-40] вынесла на рассмотрение еще один момент, позволяющий как будто бы приблизиться к решению вопроса об оригинале: она обнаружила, что разбиение славянской Есфири на параграфы совпадает с разбиением на литургические отделы (параши) еврейского текста. Действительно, из десяти параграфов еврейского текста в Q. I. 2 на положенном месте находятся четыре, но они могли быть воспроизведены и через посредство промежуточного греческого текста. Из наличия этого деления Люсен делает вывод, что между оригиналом и древнейшим списком Q. I. 2 очень мало промежуточных копий. Едва ли такой вывод можно делать ввиду наличия парашиот в списках Пятикнижия; вообще членение текста на параграфы обычно сохраняется и воспроизводится с заметной последовательностью, потому что при отсутствии деления на главы, введенного в славянскую традицию Геннадиевской библией 1499 г., библейским текстам не доставало такого деления, и всякое деление на более мелкие единицы, чем книга, старательно сохранялось.

Возвращаясь к приведенным выше конъектурам, мы бы хотели привести ряд других темных и неясных чтений, которые плохо поддаются убедительной интерпретации и, тем самым,

---

<sup>22</sup> Наблюдение сделано А. Куликом [1995: 77]. Сам автор делает из него парадоксальный вывод о том, что “очевидность иудаистического характера славянского перевода представляет еще один довод в пользу гипотезы о существовании его несохранившегося греческого источника”. Он цитирует то место из Талмуда (датируемое V в.), в котором высказано требование, чтобы перевод праздничного свитка Есфири был понятен присутствующим, но толкует его так, что лишь греческий перевод свитка допустимо читать в этот праздник. Если Кулик прав в понимании требования Талмуда, почему оно не соблюдалось, и появились другие переводы, а среди них данный славянский перевод и перевод, вошедший в Виленский кодекс? Известно, что Септуагинта подвергалась известной сакрализации у евреев со времени своего появления, но после возникновения христианства мысли о сакрализации какого бы то ни было таргума навсегда оставили еврейскую среду. Было бы странно ожидать, чтобы в V в., когда в распоряжении евреев были лишь арамейский и греческий переводы, Талмуд предусмотрел дальнейшее развитие событий вплоть до переводов на европейские языки и предписал чтение свитка на них.

позволяют ясно увидеть, что проблема текста вовсе не решается через несколько случайных конъектур.

Так, в 1.17 еврейский текст говорит о том, что непокорность царицы Вашти может дать пример женам, «так что они пренебрегут мужьями своими в очах своих» (  $hnyq [B] hyl d[B] twbbhl$  ). Это переведено довольно невразумительно: **тако не үвредити моүжь своих и не въ послоүхъ пред ними**, и гораздо яснее в Вил.: **мѣти на за что моүжовъ своих въ очю своих**. Отрицание перед глаголом кажется лишним по смыслу евр. глагола  $hzB$ : «презирать». Смысл нашей версии может быть объяснен чтением славянской Псалтыри 117. 22: **камень иже не врѣдоу сътвориша зиждѣштен**. Лант и Таубе полагают, что отрицание внесено неаккуратным переписчиком, хотя допускают и возможность объяснения через глагол **неврѣдити** [р. 87-88]. Что касается второй части пассажа, то ее считают глоссой к первой [ЛТ 1998: 88; Люсен 2001: 66] и думают, что **послоүхъ** значит здесь ‘послушание’; Лант и Таубе даже исключают ее из своей реконструкции, хотя она известна всем рукописям. Можно, однако, думать, что переводчик связал выражение оригинала «в их глазах» с идеей свидетельства, свидетельствования.

В 2.7 второе имя Есфири — Гадасса — заменено выражением **домочадица сира**, которое не может быть переводом имени, так как последнее образовано от евр.  $sdh$  «мирт». С Септуагинтой совпадение заключается в том, что и там имя опущено, однако заменено выражением  $\theta u\gamma\acute{\alpha}t\eta\rho$   $A\mu\nu\alpha\delta\alpha\beta$  «дочь Аминодава».

В 7.4 «ибо враг не достоин ущерба царя» (  $l m h' qz[B] hmkv rXh' ya\k yk$  ) передано в слав. переводе **нево не тѣсноты въ домоу царевѣ**, в Вил. **заньж тот неприятель не стонть за шкодѣ црвѣ**. В соответствии с евр.  $ya\k$  в рукописях находится отрицание **не**; очевидно, что вместо  $rXh'$  «враг» переводчик читал  $rX' h'$  «тесный» с артиклем; для следующего затем слова  $hmkv$  которое представляет собою причастие от глагола  $hmkv$ : «походить, напоминать», соответствия нет, хотя это мог бы быть потерянный при переписке глагол **стонть**, тогда как слово  $qz$  «ущерб» с инструментальным предлогом  $b$  переведено **въ домоу**. Для последнего находится, однако, параллель в Септуагинте, где употреблено слово  $\alpha\upsilon\lambda\acute{\eta}$  «двор».

Такого рода мест со значительными семантическими трудностями в нашем тексте можно найти не менее двух десятков. Но другого рода расхождения с оригиналом (еврейским или греческим) столь многочисленны, что встречаются почти в каждом стихе. Приведем некоторые из них с самым кратким комментарием.

1.7 **пыахү въ съсоудѣхъ златыхъ**. В еврейском тексте каузативный глагол «поили», предложное управление воспроизводит еврейский синтаксис.

1.7 **съсоудъ съсоудоу не оүподобленъ но все разноличъ**. Двойной перевод одного эпитета в оригинале, выраженного причастием  $\mu\upsilon\lambda\iota\upsilon\sigma\iota\varsigma$  «различающиеся».

1.8 **питва аки вольна**. В евр. «питье [на пиру] согласно закону ( $tDk$ )». Свободный перевод с неточной передачей предлога союзом.

1.8 **БЪШЕ ТАКЪ ОУСТАВЪ ЦСРЕВЪ НА ВСЪХЪ**. В евр. «так установил царь всем». Изменение структуры предложения.

4.1 **ОБЛЕЧЕ СЯ ВЪ ВЛАСНИЦУ И СОУКНО**. В евр. буквально «и возложил на себя вретиче и пепел» (в знак скорби). Упоминание вретича и пепла встречается также в 4. 3, но и тут второй элемент его не переведен, тогда как первому соответствуют две лексемы.

5.5 **ОУБРЪЗИТЕ ПО АМАНА И СТВОРИТЕ РЪЧЬ ЕСФИРИНЪ**. В евр. буквально «Поторопите Амана, чтобы сделать дело Есфири». Грамматическая перестройка сложноподчиненного предложения в простое.

5.14 **СЪДЪЛАЮЩЕ БОУДЪТЕ ДРЕВО**. В евр. «пусть сделают столб». Свободная передача юссива императивом. В Вил.: **ВЧИНИЛИ БЫ ДРЕВО**.

7.4 **АЩЕ БЫ ВЫХОМЪ КЪ РАБОМЪ ПРЕПРОДАНИ**. В евр. предлог  $\text{ל}$ , который буквально передан в переводе как **къ** вместо ожидаемого **въ**.

8.1 **МАРДЪХАН ПРИДЕ ПРЕД ЦСРЪ И ПОВЪДА ЕМУ ЧТО БЪШЕ ЕН**. В евр. тексте: «Мардохей вошел к царю, ибо объявила Есфирь, что он для нее (кем он ей приходится)». Неясно, на каком этапе существования текста выпало имя Есфири.

С исключительной последовательностью пассив (медио-пассив) заменяется активным оборотом. Ср. 1.5 **СТВОРИ ЦСАРЬ ВСЪМЪ ЛЮДЪМЪ (ПИРЪ) ЕЛИКО ЖЕ ИХЪ ОБРЪБТЕ ВЪ СЪСАНЪ ГРАДЪ**. В евр. «для людей, находившихся в городе». Дополнение в скобках содержит лишь один поздний список, и оно не может принадлежать архетипу. Ср. 4.1 **МАРДЪХАН БЪ ВЪДАА ВСЕ ЕЖЕ ТВОРАШЕ ЦСРЪ**, в евр. «Мардохей знал все, что делалось», таким образом, в результате изменения залога переводчику пришлось ввести субъект (**цсрЪ**). Ср. 3. 14 **ГЛЪ ПЕЧАТЬ ГРАМОТНАА ДАТИ ЗАКОНЪ**, в евр. «список указа отдать как закон», здесь существенно меняются субъектно-объектные отношения. Наблюдения такого рода сделаны с большим вниманием в книге Люсен [2001: 119 и др.]. Поскольку пассив в греческом языке грамматически оформлен, а в славянском имеет слабое оформление, можно полагать, что перестройки в сфере залоговых отношений были делом славянского переводчика, а не предполагаемого греческого.

Перед лицом столь многочисленных и значимых расхождений между еврейским текстом и его предполагаемым точным греческим переводом, с одной стороны, и славянской версией – с другой, несколько конъектур, не получивших должной аргументации, никоим образом не могут рассматриваться как серьезная попытка обосновать гипотезу о греческом оригинале.

Из высказавшихся публично специалистов аргументам Ланта и Таубе вполне доверяет Р. Матхисен [Mathiesen 2001]<sup>23</sup>, конъектуры 16-ю и 17-ю находит

<sup>23</sup> Он пишет: «Прежде я был согласен с Алексеевым в этом пункте, но недавняя монография Г. Г. Ланта и М. Таубе (1998) все же убедила меня, что существовала утерянная греческая версия еврейского оригинала и что церковнославянский текст переведен с этой утерянной греческой версии (Алексеев, следует заметить, ссылается лишь на предшествующую статью Ланта и Таубе и, возможно, еще не читал книги)» [Mathiesen 2001: 389].

убедительными Е. М. Мак Роберт [MacRobert 2000], аргументы 2-й, 13-й, 15-й и 16-й — Ф. Д. Томсон [Thomson 1998: 787-788]. Присоединяясь в Ланту и Таубе, Томсон [р. 783] вслед за Архиповым [1995], но без ссылки на него указывает также места, в которых славянская версия не совпадает ни с еврейским, ни с греческим текстами, отмечает некоторые глоссы славянского текста, поддерживает убедительность конъектуры в стихе 4. 3, от которой отказались сами авторы (см. выше). В согласии с Куликом [1995], но без ссылки на него Томсон [Thomson 1998: 787] повторяет плохо переваренную мысль о требовании Талмуда употреблять исключительно греческий таргум. От себя он добавляет крайне странное наблюдение, что лишний союз в одном месте также служит доказательством греческого оригинала [р. 786-787]. Речь идет о ст. 5.2 и **высть тако оузрѣ царь есфирь въ дворѣ [и] высть [есфирь] ѿвнесена милостию**. Лишние элементы текста заключены мною в скобки; в оригинале здесь сложное предложение с придаточным времени («когда царь увидел Эсфирь, то пожаловал ее»). При господстве примыкания в славянском синтаксисе («синтаксис нанизывания», по известному выражению Е.С. Истриной) нет решительно никакой необходимости возлагать ответственность за это явление на предполагаемый промежуточный греческий текст.

Остается выяснить, какие ответы на вопрос о времени и условиях происхождения текста может дать его язык. Соболевский и Мещерский отмечали признаки древности, присутствующие в тексте: употребление двойственного числа, супина, кратких прилагательных, некоторых других грамматических форм. Но эти формы присутствуют во многих текстах XI-XIV вв., с их помощью нельзя уверенно провести хронологическую границу внутри этого периода, что позволяет, например, такая орфографическая черта, как употребление редуцированных гласных. Если позиция Люсен в этом вопросе объясняется нежеланием рассмотреть его серьезно, то Лант и Таубе целенаправленно дискредитируют все архаические элементы текста, предлагая рассматривать их как свидетельство намеренной архаизации. Неоднократные упоминания сознательной архаизации, якобы осуществлявшейся славянскими авторами<sup>31</sup>, кажутся странными: ведь единственное известное нам явление такого рода — второе южнославянское влияние — имело совершенно конкретные формы такой архаизации, какой мы не находим в ранних списках Есфири. Приведем несколько суждений Ланта и Таубе по этому вопросу: «форма **вѣли** (9. 4) архаична даже для церковнославянских текстов, но присутствует во многих словосочетаниях вплоть до Синодального периода; в данном случае она не свидетельствует о раннем происхождении перевода» [LT 1998: 128]; «Соболевский думает, что

---

<sup>31</sup> Об архаизации говорит и Люсен [с. 272]. Рядом с правильными написаниями редуцированных в Q. I. 2 есть случаи ошибок (**пред нью и жньстѣльмь**), которые едва ли у кого хватит смелости рассматривать как последствия сознательной архаизации.

дательный [при глаголе **оудолѣти**] свидетельствует о древности текста. Однако старое управление было безусловно известно и после 1400 г., во всяком случае оно могло употребляться в подражание Псалтыри» [р. 129]; **тъ** в значении **тътъ** (7.5) «может быть архаизмом или искусственным стилистическим приемом» [р. 120]. В другом месте, правда, Лант и Таубе отмечают, что переписчики не дорожат архаическими элементами: заменив, например, **тъ** на **то** или **тон** в 3. 4: «писец не был озабочен архаизацией; ... форма **тон** – типичное новшество переписчика» [р. 100]. Наконец, по поводу кратких прилагательных в 4. 1 (**великъмъ, горкомъ**) сделано такое замечание: «они могут указывать на древность перевода, как думал Соболевский. С другой стороны, они могут придавать благозвучие фразе. Исчезновение кратких форм нелегко датировать, нет серьезного исследования этого вопроса» [р. 106]. Такого рода суждения свидетельствуют лишь о том, что сколько-нибудь принципиальной попытки использовать язык для датировки текста не предпринято. Конечное заключение по этому вопросу опирается на датировку рукописей.

Следует, действительно, согласиться с тем, что точных датировок для грамматических явлений нет, и не исключено, что быть их не может. При копировании тексты крайне долго сохраняли свой первоначальный облик, чем обеспечивалось единство литературного языка на протяжении многих столетий, пока главным способом распространения литературы была переписка вручную. Поскольку нормативными образцами служили авторитетные тексты, созданные в отдаленный или даже начальный период письменности, их лингвистические особенности могли воспроизводиться сколь угодно долго. Впрочем, говорить о какой-либо сознательной установке на архаичность не приходится: во-первых, норме не приписывали динамических характеристик, во-вторых, все новое обладало привлекательностью и тогда, что видно, например, на скором распространении южнославянской орфографии в XV в. Безусловным фактом является именно существование нормы, поэтому частотность тех или иных форм, присутствие в тексте разнообразных архаизмов может все-таки что-то говорить исследователю о времени происхождения памятника; нужно только видеть эти явления в их совокупности, а не отвергать каждое в отдельности. В нашем распоряжении находится достаточное количество текстов, возникших в XIV в., для которых характерна лишь одна архаическая черта — двойственное число, да и то в применении к ограниченному числу лексем, обозначающих парные предметы. Итогом дискуссии по этому вопросу в книге Ланта и Таубе предлагается на выбор одна из гипотез: либо текст был переведен около 1050 г. у южных славян, либо в XIV в. на западной Руси [р. 187].

Согласно первоначальной позиции Альтбауэра и Таубе, славянская версия Есфири появилась на Балканах, скорее всего в Сербии, о чем должна была свидетельствовать форма **обракѡу** (7.3) вместо ожидаемой **обращѡу** [Altbauer, Taube 1984: 319]. В этой позиции была определенная логика, поскольку иудаистические переводы с еврейского на греческий характерны

как раз для Балкан [Bowman 1985: 166-168]. Со времени вступления в дискуссию Ланта [Lunt, Taube 1988] тезис о сербском происхождении текста был оставлен; выяснилось к тому же, что форма без палатализации известна и русскому северо-западу ([LT 1998: 145] со ссылкой на работы С. Л. Николаева и А. А. Зализняка). Вследствие этого, однако, без какой-либо исторической опоры остался тезис о греческом оригинале, чего не заметили Лант и Таубе и свидетельством чего оказалась их неспособность внятно высказаться о происхождении славянской версии.

Восточнославянское происхождение, как и лексико-стилистическое своеобразие славянской Есфири не может быть поставлено под сомнение. Из почти 600 слов, входящих в текст, 30 неизвестны другим памятникам письменности [LT 1998: 186]. Среди них названия драгоценностей и тканей (**блискъ, бобръ, лептоугъ, оутринъ, ошьвъ**), наименования лиц (**подъставъ, вольникъ**), глаголы и наречия (**подѣти, оудобрити сѧ, вѣнатъщъ**). Многие слова имеют своеобразную семантику, неизвестную или почти неизвестную за пределами текста: **съкривити** «солгать», **распрашеници** «сельские жители», **располонъ** и **полонъ** «грабеж, военная добыча», **погоньць** «гонец», **любо** «ибо». В употреблении некоторых слов явно сказывается восточнославянское происхождение текста Есфири: **приставъ, староста, тиоунъ, власть** «область, провинция»; многие слова отмечены как западнорусские: **просьба, охвотънъ, растворити** «уничтожить» и др. Этот своеобразный лексико-стилистический облик текста с уникальной семантикой и широким использованием конкретной социальной терминологии, которая не проникала в переводные тексты, в особенности библейские, может говорить о том, что оригинал и условия перевода были иными, чем у господствующего большинства славянских переводов.

Действительно, несколько раз в тексте встречается слово **пристрога**, которое обычно обозначает воинское снаряжение, но тут — косметические снадобья, употребляемые наложницами царя (2. 3, 9, 12). Понять евр.  $q\text{llrt}$ : «притирания», употребленное лишь однажды за пределами Есфири (Притч 20. 30), переводчику было не просто, как и найти эквивалент. Словом **печать** постоянно обозначается экземпляр или копия письма (3. 14, 4. 8, 8. 8, 10, 13), что делает перевод совершенно невразумительным. В еврейском тексте употреблено слово  $q\text{v}tP'$ , которое, будучи заимствованием из персидского, неизвестно другим книгам Библии. Следовательно, оно затрудняло переводчика. На греческий в составе Септуагинты оно переведено как  $\acute{\alpha}\nu\tau\acute{\iota}\gamma\rho\alpha\phi\omicron\nu$ , и будь перед глазами славянского переводчика это слово, он не употребил бы **печать**, но только **противънь** или **съписъкъ**. Переводчик на греческий не встретил бы таких затруднений в поисках нужного эквивалента, потому что греческая письменность уже располагала переводом книги Есфири, с которым можно было справиться. При отсутствии словарей и грамматик роль справочника играли предшествующие переводы; даже возможность соотнести свой текст с другими, переведенными с греческого, послужила бы в нашем случае на пользу дела. Не в таком

положении находился славянский переводчик, работавший с еврейским оригиналом: все вопросы ему приходилось решать самостоятельно. Еврейский текст Есфири крайне богат *нарах'ами*, этим и порождена аналогичная черта славянской версии.

Языковая норма проявляется также в предпочтении тех или иных лексем. Например, как и в Виленском кодексе, основным славянским эквивалентом в Есфири для евр.  $\mu'$  «народ» являются **люди** и **людие** [Altbauer 1992: 42]<sup>25</sup>, которые употреблены около 30 раз. В переводах с греческого эти слова обычно соответствуют греч.  $\lambda\acute{\alpha}\omicron\varsigma$  и крайне редко передают  $\pi\theta\nu\omicron\varsigma$ . В славянской Есфири лишь один раз появляется обычное соответствие для  $\pi\theta\nu\omicron\varsigma$  — **языкъ** (1. 16) и ни разу другое обычное соответствие — **страна**, хотя по смыслу повествования в предполагаемом промежуточном греческом тексте можно было бы ожидать неоднократного употребления слова  $\pi\theta\nu\omicron\varsigma$ . В связи с этим вновь привлекает к себе внимание необычное употребление последнего слова в 1. 3 (см. выше 15-ую конъектуру). Значение его в таком контексте далеко от ясности, но если оно передает понятие о народе, то должно соответствовать греч.  $\pi\theta\nu\omicron\varsigma$ , но не евр.  $\mu'$ . Как выясняется, слово  $\pi\theta\nu\omicron\varsigma$  действительно употреблено в этом стихе Иосифом (Флавием) при пересказе книги Есфирь в его сочинении «Древности иудейские», где сказано, что Артаксеркс пригласил к себе на пир «друзей и персидские племена и их вождей» ( $\tau\omicron\upsilon\varsigma \tau\epsilon \phi\lambda\omicron\upsilon\varsigma \kappa\alpha\iota \tau\grave{\alpha} \text{Περσ}\tau\omicron\nu \pi\theta\eta\eta \kappa\alpha\iota \tau\omicron\upsilon\varsigma \text{Πυρ}\mu\tau\omicron\nu\alpha\varsigma \alpha\pi\tau\tau\omicron\nu$  — Antiq. iud., lib. XI, cap. 6, 1). В Есфири представлены три разряда участников пира: персидско-мидийское войско, избранные и правители областей, в свободном пересказе Иосифа сохраняются три разряда гостей, но точное соответствие библейскому оригиналу отсутствует. Евр.  $\mu' \tau' \rho'$ , на месте которого в славянском переводе и стоит **страна**, переведено в 6.9 **соудни**, но оно не могло не представлять трудностей для переводчика, поскольку известно Библии лишь по этим двум стихам и Дан 1.3. Переводчик поэтому мог воспользоваться подсказкой Иосифа. Хотя и не было вполне ясно, к какому разряду гостей эта подсказка относится, естественно было отнести ее к тому элементу текста, который порождал трудности. Трактровка Иосифа отразилась, вероятно, и в Септуагинте, чтение которой здесь ближе к нему, чем еврейскому тексту Есфири:  $\tau\omicron\iota\varsigma \phi\lambda\omicron\iota\varsigma \kappa\alpha\iota \tau\omicron\iota\varsigma \lambda\omicron\iota\mu\iota\tau\omicron\iota\varsigma \pi\theta\nu\epsilon\sigma\iota\nu \kappa\alpha\iota \tau\omicron\iota\varsigma \text{Περσ}\tau\omicron\nu \kappa\alpha\iota \text{Μ}\tau\omicron\delta\omega\nu \kappa\alpha\iota \tau\omicron\iota\varsigma \acute{\alpha}\rho\chi\omicron\upsilon\sigma\iota\nu \tau\tau\omicron\nu \sigma\alpha\tau\rho\alpha\lambda\tau\omicron\nu$ , то есть «друзьям, представителям народов, персам и мидийцам, вождям сатрапий». Можно было бы думать, что Септуагинта была источником слова **страна** в 1. 3 славянской версии, но в 2. 7 есть еще один знак использования Иосифа, а именно слово **сира** при характеристике Есфири ( $\tau\tau\omicron\nu \gamma\omicron\nu\tau\omicron\nu \acute{\alpha}\mu\phi\omicron\tau\omicron\tau\omicron\omega\nu \pi\omicron\tau\omicron\nu$  — Antiq. iud., lib. XI, cap. 6, 2), которое неизвестно Септуагинте, а Лант и Таубе [LT 1998: p. 91] считают

<sup>25</sup> Трудно, однако, понять, почему автор настаивает на том, что только ед. число **людъ** является нормальным для перевода евр.  $\mu'$ . В Вил. употребляются и ед., и мн. числа, и собирательная форма.

самостоятельным добавлением славянского переводчика<sup>26</sup> Я не думаю, что оба слова попали в славянскую версию в качестве глосс. Она связана с сочинением Иосифа каким-то более тесным образом, ведь ее заглавие в древнейшей рукописи (Q. I. 2) читается **книги неснѣли**.

До сих пор в науке не появлялось сведений о известности «Древностей иудейских» на Руси, но следы этого произведения изредка попадаются в русской письменности. Так, в цикле апокрифов о Соломоне в заключение рассказа о царице Савской приведено следующее сведение, заимствованное из этого источника: **и бѣ число злата принесенаго соломоноу црцею савьскою кромѣ своего емѣ башеть 666 талантъ свѣне носимаго, еже на ризахъ баше, и еже отъ всѣхъ цррь странньихъ и воеводъ земельскиихъ** (ГИМ, Барсова 609, л. 242), ср.  $\sigma\alpha\theta\mu\kappa\alpha\iota\ \tau\omicron\kappa\alpha\iota\ \kappa\omicron\mu\iota\sigma\theta\epsilon\iota\sigma\alpha\ \alpha\pi\omicron\tau\omicron\ \tau\acute{\alpha}\lambda\alpha\nu\tau\alpha\ \xi\alpha\kappa\omicron\sigma\iota\alpha\ \kappa\alpha\iota\ \xi\kappa\omicron\kappa\omicron\nu\tau\alpha\ \xi\kappa\alpha\iota\ \mu\iota\ \sigma\upsilon\gamma\kappa\alpha\tau\alpha\rho\iota\theta\mu\omicron\upsilon\mu\epsilon\tau\omicron\nu\ \kappa\alpha\iota\ \tau\omicron\kappa\alpha\iota\ \tau\omicron\ \tau\omicron\pi\ \tau\omicron\nu\ \mu\iota\lambda\omicron\rho\omega\nu\ \nu\eta\theta\epsilon\iota\sigma\alpha\ \mu\eta\delta\prime\ \nu\ \omicron\ \tau\omicron\ \tau\omicron\varsigma\ \text{Ἀραβίας τοπάρχαι καὶ βασιλεῖς πλεμπον αἰτῶ δωρεῖν}$ , то есть «вес же доставленного ему золота 666 талантов, не считая ни от торговцев купленного, ни того, что правители и цари Аравии посылали ему в дар» (Ant. iud., lib. VIII, cap. 7, 2). Замечательно то исключительное сходство со стихом 1. 3 Есфири, какое обнаруживается здесь в обозначении правителей и царей, хотя оно и не вызвано влиянием оригинала. В Речь философа в Повести временных лет включен эпизод, когда младенец Моисей, сидя на коленях у фараона, сорвал с него корону и растоптал ногами [Лихачев 1996: 43], что совпадает с рассказом Иосифа (Antiq. iud., lib. II, cap. 9, 7), тогда как в переведенном с еврейского оригинала «Житии Моисея» дело излагается так, что младенец возложил корону на себя [Рождественская 1999: 122]<sup>27</sup>. «Древности» послужили также источником книги «Иосиппон», на следы которой в древнерусской письменности впервые обратил внимание Н. А. Мещерский [1957] г., и с тех пор это стало общепризнанным фактом. Пересказ Есфири в «Иосиппоне» опускает, однако, эпизод с пиром, а Мордехея относит к числу вельмож (μυμπτη Ph); см. [Flusser 1978: 48-49]. Связь славянской Есфири с этим кругом памятников говорит о том, что библейские переводы следует изучать как интегральную часть древнерусской литературы.

В пользу еврейского оригинала Есфири говорят вещи далеко не столь экстравагантные, как разобранный набор конъектур: это достаточно близкое следование славянской версии за еврейским текстом и по составу<sup>28</sup>, и по

<sup>26</sup> Вариант Иосифа в 2. 7 приведен в аппарате греческого издания Есфири, которым якобы пользовались Лант и Таубе [LT 1998: 81]. См. [Hanhart 1983: 144].

<sup>27</sup> То же в книге Исход, дополненной апокрифическими вставками в Великих четых минеях; см. по изданию Археографической комиссии [1868], сентябрь, стл. 166.

<sup>28</sup> Томсон [Thomson 1998: 781-782] полагает, что славянская версия следует за еврейским текстом «близко, но не точно» («follows closely but not exactly the Masoretic text»), и в связи с этим находит, что Н.А. Мещерский неправ, утверждая, что еврейский и славянский тексты «completely coincide in size and content». На указанной Томсоном странице Мещерский [1995: 272] пишет: «еврейский так называемый масоретский текст этой книги [Есфирь], по объему и содержанию вполне совпадающий с древнерусским, в противоположность латинскому переводу Вульгаты и всем многочисленным версиям греческого перевода». Как видно, слова Мещерского поняты неверно: речь идет не о полном совпадении, а о достаточно полном. Реферируя работу Мещерского, Томсон мог бы обратить внимание и на другие места статьи, которые помогли бы ему правильно понять данное место. Ср. «Зависимость между еврейским и древнерусским текстом определяется прежде всего объемом и содержанием... В пределах указанного объема каких-либо существенных расхождений в отношении передачи текста между масоретским и древнерусским не замечается. Отдельные же незначительные отклонения только подтверждают эту зависимость» [Мещерский 1995: 284]. Можно было бы не придавать значения этим мелким оплошностям, но в обширной работе о славянских библейских переводах Томсон цитирует своих оппонентов каждый раз так, чтобы выразить с ними несогласие, и потому зачастую представляет их позицию искаженно. На это уже обращено внимание в научной литературе, см. [Reinhart 2001: 303]. Труд Томсона для англоязычного читателя является иногда единственным пособием по предмету, поэтому жаль, что автору недостает объективности, обязательной для жанра историографии науки. Ни у одного славянского перевода, сохранившегося в рукописях, нет оригинала, с которым бы наша версия совпадала целиком и полностью, и Мещерский точно характеризует эту ситуацию.

фразеологии, значительно большая удаленность языка от церковнославянской нормы, чем это можно видеть в текстах, переведенных с греческого оригинала. Теперь, после публикации исследования Люсен, можно убедиться в этой близости сравнительно легко. Нет сомнения в том, что подавляющее большинство славянских переводов сделано с греческого оригинала, но среди переводов, выполненных на Руси, этого преобладания греческих оригиналов не наблюдается, что видно по каталогу А.И. Соболевского [1903]. После работ Н.А. Мещерского стало ясно, что перевод Есфири с еврейского оригинала не стоит изолированно в древнерусской письменности. Рядом с ним находятся переводы книги «Иосиппон», апокрифов о Моисее и Соломоне, перевод Песни песней [Алексеев 1981] и книги молитв Махзор [Сперанский 1907]. Все они предшествуют по времени новой волне переводов, которая породила Виленский кодекс библейских книг и философские трактаты Логика, Тайная тайных. Как уже упоминалось, большинство восточнославянских списков Пятикнижия делится на субботние отделы для синагогального чтения, число которых вместо 54 ограничивается 52, т. е. приспособлено к количеству недель солнечного года<sup>29</sup>, а также имеет несколько сот глосс, заимствованных из еврейского текста Торы. Сведения об этих фактах поступили в науку в 1855 г., когда в описании рукописей Синодальной библиотеки [Горский, Невоструев 1855: 8] были указаны границы субботних отделов по Геннадиевской библии 1499 г., и в 1860 г., когда А. В. Горский [1860] описал глоссы восточнославянских рукописей Пятикнижия, однако они долго не получали правильного осмысления. Старая наука предпочитала думать, что евреи пользовались каким-то своим языком, а библейские переводы делались славянами из любознательности. В действительности все переводы средневековья, в том числе и прежде всего библейские, имели конкретное практическое назначение. Отражение синагогальной практики в списках Пятикнижия говорит о том, что они употреблялись в синагогальной практике. Как ни бедны сведения о еврейском населении Руси, они имеются, и только присутствием евреев можно объяснить названные особенности списков Пятикнижия. Свиток Эстер читался в праздник Пурим, для этого и понадобилось его перевести, ибо никакого другого перевода этой книги к тому времени не существовало.

---

<sup>29</sup> В Исходе не выделена последняя параша «пкудей» (38. 21), во Второзаконии объединены 9-я «ваелех» (31.1) и 10-я «гаазину» (32. 1) параши. Нет возможности связывать это количество недель с кумранским календарем, который также опирался на солнечный год.

Таким образом, полное исследование славянской версии книги Есфирь является пока делом будущего. Его составными частями должны стать (1) текстологический анализ всех без исключения списков и построение истории текста с тем, чтобы анализируемый текст представлял собою не результат реконструкции и конъектуры, а исторически постигаемую величину; (2) лингвистический анализ лексики не только по основным словарям, но и словарным картотекам, который должен быть при этом привязан к текстологии и описать движение лексики по спискам и редакциям. Образец такого исследования мы имеем сегодня в работе А. М. Молдована [2000] над житием Андрея Юродивого. В связи с вопросом о лексической норме необходимо также убедительно локализовать место происхождения текста. Та западнорусская стихия, которую видят в славянской Есфири исследователи со времени А. В. Горского, должна получить более полную характеристику на фоне письменных традиций древней Руси. Пока не ясно, связана она с галицко-волынским регионом, где еврейское население засвидетельствовано историческими источниками надежно уже в XIII в. [Weinryb 1962], или с северо-западом; (3) необходимо, наконец, гораздо точнее установить связи славянской версии Есфири с окружающей ее литературой. Включение текста в сборники Восьмикнижия, с одной стороны, и в хронографические компиляции, с другой, стало по всей вероятности началом новой судьбы этой книги. Но и само создание тех и других также еще не изучено в достаточной мере и может получить новое освещение через историю славянской Есфири.

### **Рукописные источники**

Библиотека Лит. АН 52/224 – Vilnius. Lietuvos mokslu akademijos centrine biblioteka, 52/224.

Вил. – Vilnius. Lietuvos mokslu akademijos centrine biblioteka. F19-262.

Геннадиевская библия 1499 – ГИМ, Синодальное собр., 915.

ГИМ, Барсова 609 – ГИМ, собр. Барсова, 609.

Кирилло-Белоз. 4/9 – РНБ, Кирилло-Белозерское собр., 4/9.

Кирилло-Белоз. 5/10 – РНБ, Кирилло-Белозерское собр., 5/10.

МДА 12 – РГБ, фонд 173 (Московской духовной академии), 12.

МДА 90 – РГБ, фонд 173 (Московской духовной академии), 90.

Рум. 3127 – РГБ, фонд 256 (Румянцева), 3127.

Солов. 75 – РНБ, Соловецкое собр., 75.

Тихонравовский хронограф = РГБ, фонд 299 (Тихонравова), 704.

Троицк. 2 – РГБ, фонд 304 (Троице-Серг. лавры), 2.

Хлебниковская летопись – РНБ, F. IV. 230.

BOZ 105 – Warszawa. Biblioteka Narodowa, Biblioteka ordynacji Zamojskiej, 105.

Q.1.2 – РНБ, Q.I.2.

### Литература

Алексеев 1981 — А.А. Алексеев. Песнь песней по русскому списку XVI в. в переводе с древнееврейского оригинала // Палестинский сборник. Т. 27. 1981. С. 63-79.

Алексеев 1987 — А.А. Алексеев. Переводы с древнееврейских оригиналов в древней Руси // Russian Linguistics. Vol. XI. 1987. С. 1-20.

Алексеев 1993 — А.А. Алексеев. Русско-еврейские литературные связи до XV века // Jews and Slavs. Vol. I. Jerusalem; St. Petersburg, 1993. С. 44-75.

Алексеев 1998 — А.А. Алексеев. [Рец. на:] М. Altbauer. The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnius Codex 262). Jerusalem, 1992 // Славяноведение. 1998. № 2. С. 132-135.

Алексеев 1999 — А.А. Алексеев. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.

Архипов 1995 — А. Архипов. По ту сторону Самбатииона. Этюды о русско-еврейских культурных, языковых и литературных контактах в X-XVI веках. Oakland (California), 1995.

Велчева, Костов 2002 — Б. Велчева, К. Костов. Книга Естир и нейният славянски превод // Старобългаристика. 2002. № 1. С. 73-92.

Востоков 1842 — А.Х. Востоков. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842.

Гаркави 1865 — А.Я. Гаркави. Об языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей (из «Исследований об истории евреев в России»). СПб., 1865.

Горский 1860 — А.В. Горский. О славянском переводе Пятикнижия Моисеева, исправленном по еврейскому тексту в XV в. // Прибавления к творениям святых отцов. 1860. Ч. 19. С. 134-168.

Горский, Невоструев 1855 — [А. В. Горский, К. И. Невоструев.] Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки. Т. 1. М., 1855.

Дурново 1969 — Н. Н. Дурново. Введение в историю русского языка. М., 1969.

Евсеев 1898 — И.Е. Евсеев. О книге Есфирь // Известия Академии наук. 1898. Т. 8. № 5. С. 329-344.

Златанова 2001 — Р. Златанова. [Рец. на:] H.G. Lunt, M. Taube. The Slavonic Book of Esther. Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation. Harvard Ukrainian Research Institute, 1998. 311 p. // Старобългарска литература. Т. 32. 2001. С. 132-135.

- Истрин 1893 — В.М. Истрин. Александрия русских хронографов. М., 1893.
- Кулик 1995 — А.О. Кулик. О несохранившемся греческом переводе книги Есфирь // Славяноведение. 1995. № 2. С. 76-79.
- Лихачев 1996 — Повесть временных лет. Подготовка текста, перевод и комментарии Д. С. Лихачева. СПб., 1996.
- Люсен 2001 — И. Люсен. Книга Есфирь. К истории первого славянского перевода. Uppsala, 2001.
- Мещерский 1956 — Н.А. Мещерский. К вопросу об изучении переводной письменности Киевского периода // Ученые записки Карело-Финского пед. института. Т. 2. Вып. 1. Петрозаводск, 1956 (перепечатано в [Мещерский 1995]. С. 271-299).
- Мещерский 1957 — Н.А. Мещерский. К вопросу об источниках «Повести временных лет» // ТОДРЛ. 1957. Т. XIII. С. 57-65.
- Мещерский 1978 — Н.А. Мещерский. Издание текста древнерусского перевода Книги Есфирь // *Dissertationes slavicae*. XIII. Szeged, 1978. С. 131-164.
- Мещерский 1995 — Н.А. Мещерский. Избранные статьи. СПб., 1995.
- Молдован 2000 — А.М. Молдован. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.
- Рождественская 1999 — Житие пророка Моисея // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3: XI-XII века. СПб., 1999. Подготовка текста, перевод и комментарии М. В. Рождественской [по рукописи нач. XV в., собр. Барсова 609, ГИМ]. С. 120-149, 376-378.
- Рождественский 1885 — И. Рождественский. Книга Есфирь в текстах еврейском-масоретском, греческом, древнелатинском и славянском. СПб., 1885.
- Словарь XI-XVII вв. — Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 4. М., 1977.
- Слоўнік 1984 — Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 4. Мінск, 1984.
- Соболевский 1892/93 — А.И. Соболевский. Древнерусская переводная литература. Лекции 1892/93 уч. года. Санктпетербургский ун-т [Литография].
- Соболевский 1903 — А.И. Соболевский. Переводная литература московской Руси XIV-XVII веков. СПб., 1903.
- Соболевский 1907 — А.И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. М., 1907.
- Соболевский 1910 — А.И. Соболевский. Особенности русских переводов домонгольского периода // А.И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910. С. 162-177 [перепечатано также в книге: Соболевский А. И. История русского литературного языка. Л., 1980. С. 134-147. Первый вариант работы, оглашенный в качестве доклада в 1893 г., опубликован в 1897].
- Сперанский 1907 — М.Н. Сперанский. Псалтырь жидовствующих в переводе Феодора Еврея. М., 1907.
- Срезневский. Материалы — Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Труд И. И. Срезневского. Т. 1-3. СПб., 1893-1903.
- Творогов 1975 — О.В. Творогов. Древнерусские хронографы. Л., 1975.
- Altbauer 1968 — M. Altbauer. Some Methodological Problems in Research of the East-Slavic Bible Translations (Vilnius Codex 262). Jerusalem: Israeli Slavists' Committee, 1968.
- Altbauer 1992 — M. Altbauer. The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnius Codex 262). Jerusalem, 1992.
- Altbauer, Taube 1984 — M. Altbauer, M. Taube. The Slavonic Book of Esther: When, Where, and from What Language was It Translated? // *Harvard Ukrainian Studies*. Vol. VIII, 3/4. 1984. P. 304-320.

- Baron 1958 — S.W. Baron. A Social and Religious History of the Jews. Vol. 6. New York, 1958.
- Bowman 1985 — S.B. Bowman. The Jews of Byzantium (1204-1453). The University of Alabama Press, 1985.
- De Troyer 2000 — K. De Troyer. Once More, the So-Called Esther Fragments of Cave 4 // *Revue de Qumran*. Vol. 19. 2000. P. 401-422.
- Flusser 1978 — D. Flusser. The Josippon [Josephus Gorionides]. Jerusalem, 1978 (на иврите).
- Gumpertz 1953 — Y.F. Gumpertz. *Mivta'e séfatenu* (Studies in Historical Phonetics of the Hebrew Language). Jerusalem, 1953 (на иврите).
- Hanhart 1983 — Esther. Ed. R. Hanhart. Goettingen, 1983.
- Kronsteiner 1993 — O. Kronsteiner. Handschriften-Fetischismus oder kritische Ausgaben? Lebte die Slawistik noch in Mittelalter? // *Die slawischen Sprachen*. Bd. 34. 1993. S. 47-65.
- Kutscher 1982 — E.Y. Kutscher. A History of the Hebrew Language. Jerusalem; Leiden, 1982.
- Lunt 1988 — H.G. Lunt. On Interpreting the Russian Primary Chronicle: The Year 1073 // *Slavic and East European Journal*. 1988. Vol. 32. P. 251-264.
- Lunt, Taube 1988 — H.G. Lunt, M. Taube. Early East Slavic Translation from Hebrew? // *Russian Linguistics*. Vol. XII. 1988. P. 147-187.
- Lunt, Taube 1994 — H.G. Lunt, M. Taube. The Slavonic Book of Esther: Translation from Hebrew or Evidence for a Lost Greek Text? // *Harvard Theological Review*. 1994. P. 347-362.
- LT 1998 — H.G. Lunt, M. Taube. The Slavonic Book of Esther. Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation. Harvard Ukrainian Research Institute, 1998.
- MacRobert 2000 — C. M. MacRobert. [Рец. на:] H.G. Lunt, M. Taube. The Slavonic Book of Esther. Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation. Harvard Ukrainian Research Institute, 1998 // *The Slavonic and East European Review*. Vol. 78/4. 2000. P. 747-748.
- Mathiesen 2001 — R. Mathiesen. [Рец. на:] А.А. Алексеев. Текстология славянской Библии. СПб., 1999 // *Die Welt der Slaven*. Bd. XLVI. 2001. P. 387-400.
- Reinhart 2001 — J. Reinhart. [Рец. на:] J. Krašovec (Hrsg.). Interpretation of the Bible, 1998 // *Wiener slavistisches Jahrbuch*. Bd. 47. 2001. S. 301-303.
- Taube 1985 — M. Taube. On Two Related Slavic Translations of the Song of Songs // *Slavica Hierosolymitana*. Vol. VII. 1985. P. 203-209.
- Taube 1993 — M. Taube. The Slavic «Life of Moses» and Its Hebrew Sources // *Jews and Slavs*. Vol. I. Jerusalem; St. Petersburg, 1993. P. 84-119.
- Thomson 1994 — F.J. Thomson. The Earliest Vernacular Slav Translation of Old Testament Books from Hebrew Together with A Few Comments of Allegedly Judaizer Translations // *Slavica Gandensia*. Vol. 21. 1994. P. 145-155.
- Thomson 1998 — F.J. Thomson. The Slavonic Translation of the Old Testament // *Interpretation of the Bible*. Ljubljana; Sheffield, 1998. P. 605-920.
- Weinryb 1962 — B.D. Weinryb. The Beginning of East-European Jewry in Legend and Historiography // *Studies and Essays in Honour of A. A. Neuman*. Leiden, 1962. P. 445-502.

**НАБЛЮДЕНИЯ НАД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПЕРФЕКТА В  
ДРЕВНЕЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ**

(К вопросу о природе грамматического значения)\*

Рассмотрим для примера совокупности действий, которые мы называем «играми». Я имею в виду настольные игры, игру в карты, игру в мяч. Олимпийские игры, и т. д. Что у них у всех общего? — Не говори: «*Должно* быть что-то общее, иначе их не назвали бы “играми”» — но *посмотри*, имеется ли что-нибудь общее им всем. Потому что, если на них посмотришь, то не увидишь ничего, что было бы общим для *всех*, а увидишь подобия, сродство, и притом самого различного рода. Как я уже сказал: не рассуждай, а смотри! — Взгляни, например, на настольные игры с их многообразными отношениями сродства. Теперь перейди к играм в карты: тут ты найдешь много соответствий с первой группой, но многие ее общие черты пропадают, и появляются иные. Если мы теперь перейдем к играм в мяч, кое-что из общего по-прежнему останется, но и многое будет потеряно. — Являются ли все игры «развлечением»? Сравни шахматы с игрой в крестики-нолики. Или, может быть, в игре всегда есть победа и поражение, или состязание между играющими? Не забывай о терпении. В игре в мяч есть победа и поражение; но когда ребенок кидает мяч об стену и ловит, этот признак исчезает. Посмотри на роль мастерства и везения; и как различны везение в шахматах и мастерство в теннисе. Подумай теперь об игре в хороводе: элемент развлечения здесь имеется, но как много других характерных признаков пропало! <...> По-моему, невозможно подыскать лучшего наименования для того чтобы охарактеризовать такие подобия, чем «семейное сходство»; ведь именно таким образом частично совпадают друг с другом и скрещиваются различные черты сходства между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент etc. etc. — Так что я скажу: «игры» образуют семейство. [Wittgenstein 1953: §§ 1,66—67]

«Перфектом» в грамматиках древнецерковнославянского языка (ДЦС)<sup>1</sup> принято называть составную форму прошедшего времени, образуемую сочетанием причастия на -лѣ и

\* Статья написана на основе доклада, прочитанного на состоявшейся в июне 2001 г. в ИРЯ РАН международной конференции «Языкознание sub specie русистики: итоги и перспективы». См. №1 (3) и №2 (4) РЯ за 2002 г.

<sup>1</sup> Я предпочитаю наименование «древнецерковнославянский», аналогично с нем. *altkirchenslavische*, англ. *Old Church Slavonic*, более обиходному термину «старославянский», поскольку последний оставляет невыраженным важнейший признак ДЦС — то, что он являлся сакральным языком славян, специально созданным для нужд церковной службы и духовного просвещения. Между тем, как будет видно из дальнейшего, эта сторона ДЦС имеет принципиальное значение для предмета настоящей статьи.

вспомогательного глагола в настоящем времени: **далъ кси, съхранилъ кстѣ**<sup>2</sup>. По своему строению она соответствует перфекту во многих языках нового времени, выросших, генетически либо в результате калькирования, на почве классических языков<sup>3</sup>. Этот формальный параллелизм часто автоматически переносится на ее значение: во многих, если не во всех, общих курсах ДЦС значение «перфекта» истолковывается — как правило, без дальнейших комментариев — как действие/событие в прошедшем, продолжающееся либо обнаруживающее некий результат в настоящем<sup>4</sup>.

Здесь не место говорить о том, насколько такое определение соответствует реальному употреблению перфекта, скажем, в английском или французском языке; что касается ДЦС, то проблематичность такой интерпретации становится очевидной при рассмотрении конкретных случаев, когда составная форма фигурирует в ДЦС текстах. Соотношение между греческим оригиналом и ДЦС переводом в отношении употребления перфекта, по сути, произвольно: и греческий аорист, и греческий перфект могут передаваться

---

<sup>2</sup> Против этого названия, однако, возражал еще Потебня [Потебня 1958: 255—257], впервые указавший, что значение данной формы не имеет прямого отношения к «перфектности» в собственном смысле. Тем не менее, обозначение составной формы термином «перфект» остается практически общепринятым; одно из немногих исключений в новейшей литературе составляет недавнее исследование Вечерки [Večerka 1993: 166—169], который предпочитает называть эту форму «перифрастической формой на -л» («die 1-Periphrase»). Я следую общеупотребительному наименованию из соображений удобства.

<sup>3</sup> Как известно, уже в древнейших памятниках древнерусского языка связка 3 л. ед. часто опускается — настолько часто, что уже для этого времени есть возможность говорить о двух параллельных формах перфекта в 3 лице — простой и составной: [Истрина 1923: 53—54; Van Schooneveld 1959: 107]. Но в ДЦС эта тенденция выражена значительно слабее. Из известных нам памятников Супр. показывает значительное число опущений связки **кстѣ** — но и здесь, конечно, их гораздо меньше, чем полных составных форм: [Вайан 1952: 280; Деянова 1970: 147—148; Достал 1963:120].

<sup>4</sup> Укажем лишь некоторые наиболее известные примеры: [Селищев 1952: 173; Хабургаев 1974: 284; Мейе 2000: 212; Вайан 1952: 381; [Грамматика 1991: 299, 446; Lunt 1974: 98; Schenker 1995: 148; Schmalstieg 1983: 156] (последний автор прямо утверждает, что значение ДЦС формы «подобно английскому Present Perfect»). Из более специальных исследований, берущих за основу «перфектность» (т. е. результативность/актуальность) ДЦС перфекта, отмечу в особенности диссертацию Маслова [Маслов 1957: 11], известную мне по работе [Бунина 1959], а также [Достал 1963].

либо аористом, либо перфектом в ДЦС (Večerka 1993: 166; Деянова 1970: 137<sup>5</sup>). То же можно сказать, если сопоставить ДЦС текст Евангелий с употреблением простого прошедшего и перфекта в Лютеровской Библии или King James Bible, Приведу только один пример — слова Иисуса, обращенные к Богу [И.; 17, 8]:

и и глаы аже далъ еси [п] дахъ [а] имъ и ти приаша [а]<sup>6</sup>

ῥήματα ἃ ἔδωκάς [а] μοι δέδωκα [п] αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον [а] [Greek New Testament: 389]

For I have given [п] unto them the words which thou gavest [а] me: and they have received [п] them [King James: 100]

Соотношение аориста (или простого прошедшего) и перфекта у трех глаголов в этом кратком фрагменте таково — ДЦС: п—а—а; Греч.: а—п—а; Англ. (если считать формы в том же порядке, в каком они следуют в ДЦС и Греч.): а—п—п. Особенно примечательно прямо противоположное соотношение временных форм в выражениях ‘я дал’ и ‘ты дал’ в греческой и ДЦС версии — примечательно тем более, что в подавляющем большинстве употребление аориста и имперфекта (но не перфекта!) в ДЦС текстах следует греческому оригиналу. Если считать, что инвариантным значением перфекта является результативность, приходится признать, что сам феномен результативности получает различную, иногда просто противоположную трактовку в разных языках.

В целом ряде работ делалась попытка выработать более сложную формулировку «перфектности», способную вместить в себя всю разнородность конкретных примеров. Некоторые авторы предпочитают говорить об «актуальности» события, обозначенного перфектной формой [Маслов 1957], либо о наличии какой бы то ни было отнесенности к настоящему [Večerka 1993: 168], а не о результативности в более узком смысле. Дальнейшее усложнение модели находим у Буниной [1959], характеризующей перфект как относительное время, соотнесенное не непосредственно с моментом речи, но с «периодом настоящего»; под последним понимается более широкий и подвижный отрезок времени, способный охватить, в зависимости от характера

<sup>5</sup> В частности, Деянова указывает, что из 22 случаев употребления перфекта в Клоц. только три совпадают с греческим.

<sup>6</sup> Список источников, по которым цитируются ДЦС примеры, см. в конце настоящей статьи. Поскольку расхождения между наличными версиями одного и того же текста (неприменительно к различным Евангельским кодексам), как правило, не имеют существенного значения для нашего анализа, я обычно ограничиваюсь, в случае Евангелий, указанием на общий источник, без спецификации той или иной из четырех версий: [Зогр.], [Мар.], [Ассем.] и [Сав. Кн.]. Конкретный источник указывается лишь тогда, когда вариация имеет последствия для смысла анализируемого фрагмента. В остальных случаях пример дается лишь с общей отсылкой к Евангельскому тексту: Матфей (Мф.), Марк (Мк.), Лука (Л.), Иоанн (И.), с обозначением главы и строфы.

ситуации, и часть прошлого, и обозримое будущее. Модель Буниной хорошо объясняет случаи, когда ДЦС перфект употребляется в значении предпрошедшего, либо имеет экстемпоральное значение. Но само понятие периода настоящего оказывается настолько пластичным, что определение его очертаний в каждом конкретном случае с легкостью подчиняется интерпретирующей воле автора модели<sup>7</sup>.

Конечно, в большинстве, если не во всех случаях, ситуация, обозначенная перфектом, так или иначе «относится» если не собственно к настоящему, то к более широкому «периоду настоящего». Но то же можно сказать о большинстве пропозиций с какой бы то ни было формой прошедшего времени. По справедливому замечанию Комри [Comrie 1985: 43], специальное обозначение прошедшего, лишённого имплицитной отнесенности к последующему состоянию, является скорее исключением, встречающимся в очень немногих языках. Когда Иисус в приведенном выше примере обращается к Богу: **и глы ажже далъ еси дахъ имъ**, — должны ли мы заключить, что передача Слова от Отца к Сыну (перфект) имеет связь с настоящим, а передача его от Сына к апостолам (аорист) не имеет? Скорее, если уж мыслить в таких категориях, более естественным кажется обратное толкование, что и нашло отражение в том, как употреблен перфект в греческом и английском тексте. Приходится предположить, что логика употребления перфекта и аориста в этом месте ДЦС текста должна лежать в какой-то иной плоскости.

Некоторые авторы отказываются от понятия «перфектности» в традиционном смысле при истолковании ДЦС перфекта. Якобсон фактически определял ДЦС перфект как предпрошедшее время [Van Schooneveld 1959: 87]; значение предпрошедшего действительно присутствует во многих случаях употребления перфектной формы (в частности, в рассмотренном примере), но, конечно, отнюдь не во всех. По поводу древнерусского перфекта Истрина [1923: 116] высказала предположение, что перфект представлял действие вне его развития во времени. Развивая ее идею, Ван Схуневельд приходит к выводу, что фундаментальной функцией перфекта является изъятие действия из временного контекста, представление его как данного факта: «перфект не рассказывает, но объективирует» [Van Schooneveld 1959: 94]. Эта идея в принципе хорошо объясняет протеистическую легкость, с которой перфектная форма способна и констатировать некое предшествующее состояние, и отсылать к предпрошедшему временному слою,

---

<sup>7</sup> Еще более радикальное проявление такой тенденции находим в детальном исследовании [Amse-De Jong 1974]. Автор выстраивает сложнейшую систему различных компонентов, из которых может складываться значение временной формы (Event, Event Period, Full Event, Full Event Period, Narrated Event, Narrated Period, Marked Period etc.), после чего каждый конкретный случай употребления выводится из той или иной комбинации исходных компонентов. При этом сам объяснительный аппарат оказывается настолько сложным, а границы между различными компонентами настолько туманными, что приложение модели к материалу граничит с произвольностью.

и включаться в цепочку событий в повествовании, и служить риторическим вопросом. Но как определить применительно к каждому конкретному высказыванию, «рассказывает» оно или «объективирует»?

Наконец, ряд авторов вообще отказывает ДЦС перфекту в каком-либо специальном значении по сравнению с аористом<sup>8</sup>. Существует, например, гипотеза, что употребление перфекта было вызвано неудовлетворительностью форм аориста, не различавшего 2 и 3 л. ед.; тот факт, что необычно высокий процент (до 85% в некоторых текстах) случаев употребления перфекта относится к 2 л. ед.<sup>9</sup>, истолковывается в этом случае как стремление избежать омонимии с 3 л.<sup>10</sup> Этому, однако, противоречат случаи, когда омонимия 2 и 3 л. у аориста не служит препятствием к употреблению этих форм в тесном соседстве. Противопоставляя нерадивого хозяина услужившей ему женщине, Иисус говорит: **олѣемъ главы моеѣ [ты] не помаза • си же [она] мумъ помаза нозѣ мои** [Л.: 7, 46]. Неудовлетворительным следует признать и предположение о чисто стилистической природе перфекта как явления устной речи, в отличие от аориста, принадлежащего письменному повествованию [Карский 1929: 26; Dostál 1954: 609]. Перфект, действительно, почти исключительно употребляется в прямой речи, в частности, в евангельском повествовании [Бунина 1959: 76]; к значению этого факта мы вернемся впоследствии. Но тональность высказываний с перфектом в ДЦС, проникнутая мистическим и ораторским пафосом, весьма далека от сферы разговорной коммуникации; этим ДЦС радикально отличается от древнерусского языка.

Можно понять настойчивое стремление проникнуть в скрытую логику ситуаций, когда аорист — основная форма прошедшего времени, на которую приходится подавляющее большинство употреблений, — замещается перфектом, невзирая на видимую алогичность таких замещений, в силу которой они имеют место в одних и не имеют в других, как будто бы вполне аналогичных случаях. Как настоятельно утверждает Ван Схуневельд, исследование которого, хотя и посвящено древнерусскому языку, имеет много общего с предметом настоящей статьи, тезис об отсутствии у перфекта какого-либо регулярного смыслового различия с аористом «не может быть верным, если исходить из того, что обе формы были живыми во времена Повести временных лет. Если обе формы употреблялись, должна была существовать какая-то оппозиция между ними» [Vanchooneveld 1959: 86].

<sup>8</sup> Деянова [Деянова 1970: 18—21] говорит о «нейтрализации» перфекта и аориста в некоторых случаях. На полный параллелизм двух форм в ряде контекстов, подкрепляемый их употреблением в одном ряду, указывается также в [Dostál 1954: 606]; особенно полно семантическая нейтрализация перфекта и аориста выступает в случаях, когда перфект употреблен без связки [Достал 1963: 120].

<sup>9</sup> На необычно высокий процент форм 2 лица ед. у ДЦС перфекта указывали многие авторы: [Грамматика 1991: 447; Вайан 1952: 381] и др.

<sup>10</sup> См. [Słoński 1926; Vaillant 1977: 163]; с оговорками эту мысль высказывает также Вечерка [Večerka 1993].

Поиск универсального ключа, которым открывалось бы полное и всеобщее понимание данной языковой формы (*Gesamtbedeutung*), всегда служил мощным интеллектуальным стимулом, в особенности со времен откровений, явленных в работах Якобсона 1930—50-х годов [Jakobson 1936]; он фокусировал мысль, способствуя отысканию диагностических примеров и тонкому их истолкованию. Ценность такого рода находок, которыми богаты работы Потевни, Мейе, Истриной, Якобсона, Маслова, Буниной, Ван Схуневедьда, Вечерки, посвященные перфекту, остается непреходящей независимо от того, насколько успешно работают предлагаемые ими объяснительные модели. Но что касается этих последних, я не могу не испытывать ощущения, что они строятся на фундаменте методологической иллюзии. Парадоксальным образом проблема становится особенно острой в условиях ДЦС, в силу того, что число наличных примеров здесь ограничено и доступно обозрению всякого, кто не поленится проработать несколько тысяч страниц текста. Попытки проникнуть в самую суть Оппозиции, единой и окончательной, к которой, как к уходящей за облака вершине некоей пирамиды, устремлены все ситуации, когда перфект заступает место аориста, наталкиваются на смущающее разнообразие таких ситуаций — особенно смущающее в условиях конечного и в общем жанрово однородного корпуса наличных фактов. Легко заметить сходство между отдельными случаями; но когда пытаешься свести эти подобию к единому общему знаменателю, обнаруживаешь, что то, что объединяет одну группу примеров, исчезает в другой группе, единство которой основывается на каком-то ином признаке или комплексе признаков. Несомненно, такая ситуация знакома всякому, кто занимался толкованием слов; но почему-то этот опыт, едва ли не более древний, чем сама наука о языке, часто игнорируется при моделировании грамматической структуры<sup>11</sup>. Быть может, описание наличных фактов языка выиграет в объяснительной силе (даже если проиграет в «элегантности»), если оно с самого начала будет стремиться распознать в объекте не единую идеальную логику, но множество логик, частично совпадающих и частично противоречащих одна другой?

Я не уверен также в плодотворности описания грамматической формы в абстрактно-логических категориях, не имеющих никакого отношения к смысловым, жанровым, апеллятивным задачам, актуальным для тех, кто эту форму употребляет или употреблял. Языковой текст, в отличие от «текста» бактерий в питательном растворе или частиц в ускорителе, не является немым; он предлагает нам некое сообщение, а не просто позирует в качестве предмета наблюдения. Интерпретация сообщения становится в этом случае актом взаимодействия с объектом, а не просто его интеллектуальной обработкой. Применительно к нашему конкретному

---

<sup>11</sup> Замечу, что подход, исходящий из принципиально разнородного характера всякого знакового феномена, сделался методологической аксиомой в работах последних 20—30 лет по философии языка, семиотике и литературной теории.

предмету позволительно предположить, что такие категории, как обращение к Богу, отношение между человеческим бытием и миром трансцендентного, подчиненность жизни течению времени и вневременной характер мистического опыта, могут служить полезными нитями, ведущими к пониманию того, что силились выразить переводчики-редакторы-переписчики ДЦС текстов, опираясь, среди прочих имевшихся в их распоряжении средств, на выбор той или иной грамматической формы.

### 1. Акт исповедания веры: перфект 2 лица.

Подавляющее большинство употреблений перфекта 2 л. ед. приходится на выражения, являющие собой акт обращения к Богу. Типичными жанрами для такого рода выражений являются псалм, молитва, а также ситуации молитвенного обращения к Богу в текстах повествовательного характера. За редчайшими исключениями см. (2.4), во всех подобных случаях предикат принимает форму перфекта:

(1.1) въ скръви пространилъ мѣ еси ... ꙗкъ ты ꙗко единого на оупованье вселилъ мѣ еси (Пс. 4)<sup>12</sup>

ꙗко нѣси оставилъ всискажщихъ тебе ꙗко (Пс. 9)

и пришествие животворящаго твоего дѣха въ образъ огньномъ ѡзъкомъ на стѣнахъ твоихъ аплы излилъ еси (Син. Тр.: 118)

из оустъ младенечъ съсжихъ съвршилъ еси хвалж (Пс. 8)

Подобные обороты, часто в виде варианта одной и той же словесной формулы, встречаются едва ли не в каждом псалме. Что касается повествовательных жанров — проповеди, жития. Евангелий, — то в них обороты с перфектом 2 л. ед. обычно фигурируют как цитаты или перифразы псалма/молитвы. В частности, такой устойчивой, часто перифразируемой формулой является последний из примеров (1.1):

(1.2) из оустъ младеништъ и съсжитихъ съвршилъ еси пѣснь (Супр.: л. 325)

исповѣдаж ти сѣ оче ꙗко нбоу земли ꙗко ѡтанлъ еси се от премждръ и разоумнь и отъкрылъ еси младенцемъ (Л.: 10, 21)

С другой стороны, в тех местах псалма, где Бог упоминается в 3 лице, решительно преобладает аорист:

(1.3) оуслыша гъ молитвж моуж (Пс. 6)

<sup>12</sup> Все отсылки к псалмам даются по [Син. Пс.]; цифра в скобках в этом случае обозначает номер псалма.

Характерен пространный пассаж в Пс. 77: после упоминания о народе, забывшем о деяниях Бога (**не помѣншѣ ржкты его**), следует перечисление последних в виде параллельных придаточных предложений, отнесенных к местоимению его; во всех без исключения предложениях этой длинной цепочки употреблен аорист 3 л. ед.:

(1.4) **не помѣншѣ ржкты его днь въ нѣже избави ѿ издржкты сътѣжѣшѣтаго • ѣкоже положи въ егѣптѣ знамѣнѣ ... и прѣврати въ кровъ рѣкты ихъ ... посла на нѣ псыѣ моухъ и поѣсы ѿ и жабъ и погоуби ѿ • и дастъ ересеви плодъ ихъ...**

С другой стороны, аналогичные акты наказания Богом «нечестивых», если о них повествуется в обращении к Богу, т. е. во 2 л. передаются перфектом:

(1.5) **ѣко створилъ еси сѣдъ мои ... запрѣтилъ еси ѿзыкомъ ... и градъ разрушилъ еси (Пс. 9)**

Само собой разумеется, что когда субъект говорит о себе в прошедшем времени, он употребляет только аорист 1 л.; но и речь Бога в 1 л. также передается аористом; иными словами, перфект 1 л. ед. в дискурсе этого типа вообще не употребляется:

(1.6) **гѣ рече къ мнѣ снѣ мои еси ты • азъ днесъ родихъ тѣ (Пс. 2)**

Что касается оборотов 2 л., то употребление перфекта в них можно определить как необходимое, но не исключительное. В том случае, если оборот состоит из цепочки параллельных фраз, то в некоторых из них перфект может перемежаться с аористом:

(1.7) **єлико авилъ еси [п] мнѣ скръби мѣногы зѣлы и обрати живилъ мѣ еси [п] и отъ безднѣ земли древле възведе [а] мѣ • оумножилъ еси [п] на мнѣ величество твое и обрати оутѣшилъ [п] мѣ и отъ безденѣ земля пакты възведе [а] мѣ (Пс. 70)**

**ты еси богъ творди чюдеса • сѣштѣ бо на ны по насъ сътвори [а] и лишиши четъры десѣтъ напльнилъ кси [п] (Супр.: л. 79)**

Во всех подобных ситуациях перфект присутствует обязательно, тогда как аорист может появиться только вместе с перфектом в качестве сопровождающей формы.

Частота и почти полная непреложность употребления перфекта 2 л. ед. в сходных ситуациях, в однородном типе дискурса, создает мощную аналогическую инерцию, в силу которой мотивация употребления данной формы в данном конкретном контексте выступает с полной отчетливостью. Мотивация эта, по-видимому, не имеет прямого отношения к «перфектности» в каком бы то ни было абстрактном ее понимании, поскольку перфект употребляется в этом типе

дискурса исключительно в обращениях к Богу и почти исключительно в форме 2 л. ед. и не употребляется даже в совершенно аналогичных ситуациях с 3 или 1 л. ед. (не говоря уже о мн. числе).

Здесь уместно задаться вопросом: почему вообще ДЦС перфект так плохо коррелирует с греческим, при том что вообще ДЦС текст чрезвычайно близко следует греческому во всем, где это позволяет структура языка? Но в том-то и дело, что ДЦС перфект не соответствует греческому (а также латинскому) структурно: это составная форма, само строение которой ставит ее в особое положение по отношению к основным временным парадигмам — презенсу, аористу и имперфекту. Можно предположить, что эта необычность формы, и в особенности заключенное в ней имплицитное напряжение между причастием прошедшего и связкой настоящего времени, способствовали ее осмыслению скорее в символично-риторических, чем собственно временных параметрах.

Ключевым фактором такого символического осмысления послужила, как мне кажется, связка настоящего времени **кси**<sup>13</sup>. В контексте псалма/молитвы появление словоформы **кси** — с причастием либо без него — прочно, можно даже сказать непреложно ассоциируется с ситуацией обращения к Богу. Самым характерным и памятным примером такой ситуации служат первые слова молитвы, которую Иисус передает ученикам: **бче нашъ иже еси на небсхъ** (Мф.: 6, 9; Л.: 11, 2). Аналогичные обороты появляются и во многих псалмах: **ты же гї застѣпникъ мой еси** (Пс. 3)<sup>14</sup>, — и в других текстах, в которых возникает ситуация молитвенного исповедания веры; ср. возглас **ты еси богъ твор<и чоудеса, которым Кирион возвещает о своем обращении в веру (1.7).**

Модальное и апеллятивное поле молитвенного контакта с Богом полностью распространяется на случаи, когда связка ~си появляется в составе перфектной формы. В этом случае событие, обозначенное причастием, принимает характер абсолютной мистической истины, внеположной временной категоризации. **Възлюбихъ законъ твои** — это факт жизни субъекта; но **оумждрилъ мы еси** — это не утверждение, что так «было» в действительности, но акт безусловного исповедания веры.

Другим оттенком значения, связанным с исключительной прикрепленностью выражений к ситуациям молитвенного обращения к Богу, является интимность молитвенного контакта.

---

<sup>13</sup> Примеры опущения связки в перфекте 2 л. настолько редки, что их , можно отнести на счет случайных обстоятельств; например, в (1.5) один из перфектных предикатов выступает без связки (**оутѣшилъ мы**), но при других однородных ему предикатах связка имеется.

<sup>14</sup> С исторической точки зрения, разумеется. Псалтирь предшествует Евангелиям; это, однако, не имеет значения для порядка аналогий, формировавшихся в корпусе ДЦС текстов в процессе их создания коллективными усилиями переводчиков-редакторов -переписчиков.

Этот интимный, личностный момент исповедания веры подчеркивает Иисус, когда он наставляет учеников, как они должны обращаться к Богу с молитвой «Отче наш»:

И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. ... Ты же, когда молишься, войди в комнату свою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф.: 6, 5—6)

Абсолютное является молящемуся «втайне»; «явная» манифестация того, что утверждается в акте исповедания веры, не только не требуется, но противоречила бы настроению молитвенного приобщения к вере. В контексте интимного «тайного» контакта с Богом, предполагаемого жанром молитвы, даже деяние Бога передается аористом, если оно описывается в 3 л., то есть в объективированном модусе, несмотря даже на то, что это может быть то же деяние, которое в непосредственном обращении к Богу обозначалось перфектом: **УСЛЫШАЛЪ ЕСИ МОЛИТВЪЖ МОЖ** — не выражает эмпирического содержания, а лишь веру; но **УСЛЫША ГДЪ МОЛИТВЪЖ МОЖ** — означает, что молящийся получил некий знак, что его молитва услышана, и он знает это как «факт».

Подчеркну еще раз: все сказанное относится не к языку вообще, а к определенному, четко очерченному типу дискурса: псалму, молитве и их вкраплениям в повествовательный текст. За пределами этого дискурса описанное здесь сохраняет лишь частичную значимость; возникают иные смысловые задачи, иные аналогические притяжения, уводящие перфектную форму в иные сферы употребления.

## **2. Утверждение трансцендентного: перфект 3 л. в повествовании.**

Другим важнейшим ситуативным концентром, в котором перфект употребляется регулярно и семантически вполне последовательно, является повествование о событиях и ситуациях, имеющих мистическую природу, запредельную эмпирическому миру. Основными жанрами для этого типа дискурса являются Евангелия, послания, проповеди, жития; почти исключительно преобладающей формой перфекта в этом употреблении является 3 л. ед.

Ядерное значение, вносимое в эту ситуацию формой перфекта, можно определить как значение трансценденции. Речь идет не просто о Боге, но о такой относящейся к Богу пропозиции, которая принадлежит «небесному», а не «земному», то есть выходит из границ эмпирического опыта.

(2.1) **того ради слово ны естъ богъ далъ** (Супр.: л. 379]

**и слышаша [а] окръстъ живжштен и рождение емъ ѿко възвеличилъ естъ [п] гдъ милость своѣ съ неѣж** (Л.: 1, 58)

То, что люди «услышали» весть о Рождестве, принадлежит миру Dasein; но избрание Богородицы для божественной миссии есть событие, относящееся к порядку Jenseits. Это различие находит выражение в употреблении аориста и перфекта. Замечательный пример различения мира феноменов и мира трансцендентных сущностей путем соотнесения аориста и перфекта являет Житие Иоанна молчальника. Гонители посылают солдат, чтобы его убить. Внезапно святому предстает свирепый лев, страх перед которым заставил его затвориться в келье, так что убийцы его не нашли. Духовный наставник Иоанна объясняет затем смысл происшедшего:

(2.2) **се съхранилъ тѣ кѣтъ [п] богъ отъ ратъничъска прихъждениа и извѣсти [а] ти видомъ ти стражъ посълавъ** (Супр.: л. 293)

Очевидно частичное сходство между этим смысловым концентром и тем, который был связан с употреблением формы 2 л. ед. в псалме. В обоих случаях перфектная форма выступает как знак мистического, того, что относится к Богу. Но имеется и различие, связанное со спецификой повествовательного дискурса по сравнению с псалмом/молитвой. В повествовании теряется интимность приобщения к мистическому, характерная для перфекта исповедального. В исповедальном дискурсе решающим фактором, определяющим выбор перфекта, служит личное переживание мистического, утверждаемое обращением к Богу во 2 л. Но в повествовательном дискурсе решающим фактором служит трансцендентный характер самого описываемого феномена, безотносительно к позиции повествователя. Перфект 2 л. символизирует интимно «тайное» приобщение субъекта к мистическому; перфект 3 л. ед. повествует о «невидимом», то есть внеположном эмпирическому. Сам факт вмешательства Бога, спасшего жизнь святому, последний не мог «видеть», тогда как посланный ему фантом льва он видел — отсюда различие между перфектом в первом случае и аористом во втором. Если бы после чудесного спасения святой обратился к Богу с молитвой, он несомненно упомянул бы видение льва в перфекте 2 л.: **извѣстилъ мѣ еси видомъ ми стражъ пославъ**. Для перфекта 2 л. важен не характер феномена как такового, но позиция безусловной веры субъекта, с которой он обращается к Богу. Этот оттенок различия наглядно выступает в следующей паре примеров:

(2.3) **далъ еси [2 л.] веселие въ срци моемъ** (Син. Тр.: л. 73а)

(2.4) **а ти отиди въ горы поустыи • въ дрѣво еже не творить сѣмени • тамо бысть далъ [3 л.] гъ денънжъ пицъ** (Син. Тр.: л. 596; молитва об уничтожении вредителей)

В первом случае субъект непосредственно переживает «веселие», данное ему Богом. Во втором; попытка убедить насекомых-вредителей покинуть поля и виноградники осуществляется путем отсылки к авторитету божественного миропорядка, в силу которого Бог «дал» им пищу в пустынных горах. Этот порядок имеет абстрактный, трансцендентный характер:

насекомым указывается их «истинное» место, а не обещается, что они действительно найдут там себе пропитание; в последнем случае уместно было бы: **да[стѣ] въ пищѣ**. Такого рода отсылки к трансцендентному порядку — даже если он противоречит видимому положению дел, — типичны для мистического повествования, но редки в жанре молитвы; именно поэтому перфект 3 л. является здесь редким и характерным исключением. Значение перфекта 3 л. как грамматического средства выражения трансцендентного в полной мере проявляется в том, как в Евангелиях и других повествовательных текстах рассказывается о миссии Христа: его пребывании на земле, с одной стороны, и пребывании в вечности, после Вознесения, с другой. Удивительна последовательность, с которой эти контрастные метафизические планы получают выражение в формах аориста и перфекта, соответственно. Вернемся к сцене молитвы Иисуса, упоминавшейся во вводной части настоящей статьи [И.: 17]. Приведу лишь небольшой фрагмент пространного текста, в котором формы аориста и перфекта, выступающие в качестве знаков происходящего на земле и на небе, соплагаются десятки раз:

(2.5) **а азъ прославихъ [а] тѣ на земли • дѣло съвършихъ [а] еже далъ еси [п] мнѣ ... и глы аже далъ еси [п] дахъ имъ [а] • и ти приша [а] и разоумѣша [а] въ истинѣ ... яко ты ма посла [а] и възлюбилъ а еси [п] якоже и ма възлюбилъ еси [п] оче ... да видатъ славѣ моѣ еже далъ еси [п] мнѣ яко възлюбилъ еси [п] ма прѣжде съложениа мира ... азъ же тѣ познахъ [а] и си познаша [а]**

В этом эпизоде тесно соплагаются оба круга символических ценностей, связанных с употреблением перфектной формы: мистическое исповедание и мистическая трансценденция. Позиция молитвенного обращения к Богу подчеркивает принадлежность Иисуса в этот момент к поюстороннему миру. Перфект репрезентирует все запредельное этому миру, тогда как аорист относится к феноменам, связанным с земной миссией Христа. Говоря **и глы аже далъ еси дахъ имъ**, Иисус изображает передачу им божественного Слова апостолам как совершившийся факт, исполненную миссию; но то, что он ощущает себя наделенным Словом, внеположно тому, что можно считать фактом или событием: это акт веры<sup>15</sup>. Различие

<sup>15</sup> В [Сав. кн.] этот эпизод повторен дважды, в различных местах рукописи; это единственный пример такого повторения. Первый, более краткий вариант расположен близко к началу сохранившейся части рукописи (л. 25—26); второй (л. 107—108) находится на своем обычном месте в календарном цикле Евангельских чтений, после И. 16 (так же в [Ассем.]). В первом перфектная форма **далъ еси** повсеместно заменена аористом **дастѣ**; контраст таким образом исчезает: **яко глы еже дастѣ ми дахъ имъ**. Во втором варианте контраст перфекта 2 л. и аориста 1 л. проведен с полной регулярностью; так же и во всех других версиях Евангелия ([Ассем.], [Зогр.], [Мар.]). Таким образом, начальный эпизод Саввиной книги можно признать аномалией; не в этом ли причина его повторения в более стандартной версии?

этих двух планов получает эксплицитное выражение во фразах: **прославихъ тѣ на земи vs. възлюблюъ еси ма прѣжде съложенна мира**. Особенно интересным в этой связи представляется выбор между аористом и перфектом, когда речь идет об Отце: в то время как выражения **далъ еси, възлюбилъ еси, възлюблюъ еси** даны в перфекте, глагол **посъла** последовательно употреблен в аористе. Различие заключается в «феноменальном» характере последнего, по сравнению с трансцендентным характером первых: Иисус говорит, что Бог его «послал», в том смысле, что он все еще находится здесь, в этом мире; но то, что Бог его «возлюбил» и «дал» ему Слово, этому миру внеположно. Можно вспомнить в этой связи богословский спор, ставший одним из главных пунктов расхождения между Восточной и Западной церковью, о том, следует ли признать Святой Дух исходящим от Отца, как говорится в первоначальном тексте Символа веры, или от Отца и Сына. Последняя поправка (вставка *filioque* в латинский текст *Credo*), предложенная Св. Августином, сделалась в конце концов канонической в католической церкви, но не была принята церковью православной. Основанием для поправки служили слова самого Христа к ученикам о том, что Святой Дух будет послан в мир по его настоянию (И: 14:26). Греческие богословы возражали на это, что в латинском термине *procedit* теряется различие между феноменальным («экономическим») актом посылания (*ἐκπορεύειν*) и мистической «передачей» (*μεταδίδοται*), исходящей только от Отца [Pelikan 1974: 183—198]. Этот сложный интеллектуальный спор отражается в нашем тексте, как в капле воды, в факте выбора формы аориста для глагола **посла**, проводящем различие между феноменальным характером этой пропозиции и мистической природой ситуации **возлюбилъ еси**. Однако после того как Иисус покидает землю, рассказ о его миссии помещается в одном плане с деяниями Отца. Особенно наглядно этот сдвиг проявляется в ситуациях, где отсылки к земному и трансцендентному бытию Христа непосредственно соположены. Типичным контекстом для такого соположения является предпасхальная проповедь, предметом которой служит смерть на кресте и погребение, то есть окончание земного бытия Христа. Ср. в той же проповеди Иоанна Златоуста:

(2.6) **толикомъ благомъ достоино сътворилъ кси [п] и до послѣднаго вечера трыпѣаше и оучаше и казаше [имп]** (Клоц: 56)

Читатель наглядно ощущает черту между земным и трансцендентным, только что перейденную Христом. Последние его действия на земле («до последнего вечера») еще принадлежат сфере простого прошедшего времени — в данном случае имперфекта, употребленного в итеративном значении. Но принесенное им «благо» теперь, после его смерти, выносится за пределы его земного бытия; знаком этого трансцендентного скачка и служит

перфект. Еще более драматичное сопоставление земного и трансцендентного плана находим в проповеди Епифания Кипрского о погребении, в которой Христос сам говорит о своей миссии:

(2.7) о҃снѣхъ [а] на крѣстѣ и копѣемъ проведенъ въхъ [а] въ ребра тебе ради о҃снѣвшаго въ раи и ео҃гж отъ ребра изведъша • моѣ ребро ицѣлило кстѣ [п] болѣзнь твоѣго ребра ... моѣ копик о҃ставио кстѣ [п] обраштажштее сѣ на тѣ копѣк (Супр.: л. 101)

«Уснул» на кресте, «был поражен» копьем в ребро — это последние события земного существования; форма аориста как бы отбрасывает их в прошедшее. Но то, что пораженное ребро Христа «исцелило» Адама и его ребро (Еву), и поразившее его копье отвело копье, некогда изгнавшее их из рая, получает вневременную трансцендентную ценность благодаря перфекту.

Как известно, одним из центральных богословских вопросов первых веков христианства было истолкование двойственной ипостаси Христа как Бога и как воплотившегося человека. Концептуальная трудность задачи соединения этих взаимно противоречащих состояний породила громадную философскую и богословскую литературу и мощные еретические движения. Наиболее важными среди последних была, с одной стороны, арианская ересь, согласно которой вочеловечение Христа делает его божеством низшего порядка по отношению к Богу Отцу, и с другой, монофизитство, признававшее человеческое бытие Христа, страдания на кресте и смерть иллюзией, ибо как Сын Божий он не мог быть действительно подчинен условиям земного бытия [Pelikan 1971: Ch. 3 («The Mystery of the Trinity») и 4 («The Person of the God-Man»); Болотов 1994: гл. 2: «Споры христологические («христологическая» стадия споров о Богочеловеке)]. Итогом колоссальных интеллектуальных и политических усилий, находившихся в самом эпицентре истории мирового христианства на протяжении нескольких столетий, стал Символ веры — частично разработанный на I (Никейском) Вселенском соборе (325), принятый на II (Никео-Константинопольском) соборе (381) и получивший окончательное утверждение на IV (Халкидонском) соборе (451), — в котором равновесие между божественной и человеческой природой Христа и нераздельность Троицы получили тщательно выверенные определения [Карташев 1994].

Ко времени создания ДЦС Вселенские соборы были уже довольно отдаленным прошлым, христологические споры получили каноническое разрешение, провозглашение догмата Символа веры стало неотъемлемой частью каждой литургии. Церковнославянская христианская культура получила громадное духовное наследие пяти веков Вселенских соборов в готовом, отчетливо сформулированном виде. Кардинальные вопросы, относящиеся к проблемам единства Троицы и природы Богочеловека, перестали быть предметом актуальных интеллектуальных усилий и споров.

Это не значит, что данные вопросы не вызывали активного духовного интереса в мире ДЦС духовной культуры и принимались без рассуждения, как формула. Однако активное отношение к наследию христианской мысли находило свое выражение не столько в богословских рассуждениях и комментариях, сколько в том, что составляло живую, становящуюся, активно разрабатываемую сферу славянской христианской духовности: в самом языке, на котором и через который его субъектами усваивались ценности мировой истории христианства<sup>16</sup>. Разработка языка, отбор и концептуализация его форм и риторических ходов стали тем полем, на котором проявляла себя философская, богословская, этическая мысль его носителей. Воспринимая различие между феноменами, нашедшими обозначение в перфекте и аористе, субъект ДЦС приобщался к метафизическому различению трансцендентного и феноменального, невидимого и видимого, временного и вневременного. Усваивая повествование о Христе в этой двойной перспективе, он претворял догму о двойной ипостаси из готовой формулы в предмет живой мысли и живого языкового употребления. То же, конечно, могло бы быть сказано о многих других компонентах строя ДЦС — назову как вполне очевидные и, однако, все еще не осмысленные в этой перспективе такие категории, как употребление именной и местоименной формы прилагательного, возможность использования в качестве прямого объекта местоимения и (вин.) либо его (род.), различные фигуры порядка слов.

Ярким примером «имплицитного богословия», заложенного в употреблении языковых форм, может служить парадоксальная, но в сущности вполне логичная ситуация, когда перфект употреблен в сфере феноменальных (не трансцендентных) событий, относящихся к Богу, — в устах врагов, гонителей, неверующих. Обращаясь к Христу на кресте, толпа насмешливо предлагает ему спасти самого себя, если он «спас» всех других:

**(2.8) ѿ гла҃ште ... ны҃ естѣ спсѣ да спетѣ и сѧ а҃ще съ естѣ снѣ б҃жии  
избран҃ы (Л.: 23, 35)**

Толпа ожидает от Христа феноменального, физического свидетельства его божественной природы; он должен избавить себя от креста, подобно тому как других избавлял от болезней. В этом насмешливом перфекте, как бы пародирующем трансцендентный смысл выражения # естѣ спсѣ, лучше всяческих комментариев выражено непонимание толпой особой, двойственной природы Христа. В позиции толпы заключено зерно монофизитской ереси, отказывающейся признать реальность человеческого воплощения Бога; по логике монофизитской ереси, земное бытие Христа должно было бы последовательно передаваться в перфекте, поскольку оно лишь по видимости принадлежит человеческому миру. Отказываясь следовать этой логике, ставя Христа в его земном обращении к Отцу в положение молящегося,

---

<sup>16</sup> См. о роли ДЦС как формирующего духовного начала в мире православного славянства (SlaviaOrthodoxia): [Picchio 1984].

находящегося по сю сторону трансцендентного, ДЦС текст утверждает самим своим строем то усилие мысли, которое нашло свое выражение в Символе веры. Идея Богочеловека становится для читателя такой же живой, непосредственно воспринятой и усвоенной идеей, каким является всякое языковое сообщение для субъекта, владеющего данным языком.

### **3. Аналогические растяжения значения перфекта 3 л.:**

#### **выход из рамок эмпирической действительности.**

Символику трансцендентного можно признать смысловым ядром перфектной формы. Основанием для такого вывода служит прежде всего тот простой факт, что описанные выше ситуации составляют явное большинство всех случаев употребления перфекта в ДЦС текстах. (Следует еще раз подчеркнуть, что формы перфекта вообще появляются довольно редко, в виде изолированных вкраплений в дискурс, основные контуры которого определяются, для плана прошедшего, аористом и имперфектом). Во-вторых, пропозиции, в которых перфект служит символом трансцендентного, обнаруживают отчетливое единообразие, каким обычно характеризуются продуктивные явления в языке.

Однако описанным символическим смыслом круг употреблений перфектной формы, конечно, не исчерпывается. Иначе и быть не может: ведь перфект представляет собой функционирующую языковую форму, а не окаменевшую формулу. Круг ее употреблений распространяется от твердо установившегося символического смысла к узнаваемым, но более или менее отдаленным его модификациям. Можно сказать, что ядерные смысловые ценности обнаруживают способность к различным аналогическим «растяжениям», которые, не порывая полностью с исходным смысловым полем, распространяют употребление перфекта в сферы, сами по себе к этому полю не принадлежащие и в некоторых случаях отстоящие от него на весьма большом расстоянии. Каждый факт такого смыслового переноса имеет ясную аналогическую мотивацию по отношению к ядерному смыслу; но характер и направление таких переносов для разных случаев может быть совершенно различным, так что друг с другом они не соотносятся сколько-нибудь ясным образом. Вырастающее в результате смысловое поле можно назвать «семейством», в смысле Витгенштейна. Оно образует непрерывное смысловое пространство, в том смысле, что всегда можно легко отыскать промежуточные нити, опосредованно связывающие одну смысловую вариацию с другой или другими. Но если взять любую пару таких вариаций в изоляции от семейства в целом, между ними может оказаться мало общего. Что касается «общего знаменателя» всей этой сетки аналогически соположенных употреблений, то если настаивать на том, чтобы его сформулировать, есть опасность, что в такой формуле не останется никакого или почти никакого содержания.

**3-А.** Аналогия ‘хозяин (господин) — Бог (господь)’. Одним из наиболее наглядных примеров аналогического растяжения служит евангельская притча о хозяине, наградившем одинаковой платой и тех, кто проработал у него весь день, и тех, кто присоединился лишь в последний час:

(3.1) приемъше же ропѣтаахъ на гнѣ глѣште • како съм послѣднѣмъ единъ  
часть сътвориша и равнѣны намъ сътвориша ѿ еси понесъшемъ таготъ  
днѣ и варѣ (Мт.: 20,11—12)

Действия работников, как и следовало ожидать, обозначены простым прошедшим (ропѣтаахъ); но к хозяину они обращаются в перфекте. Логика этого различия вполне очевидна в контексте притчи, облекающей мистический смысл в прозрачную оболочку бытовой истории, в которой «господин» являет собой явную аллегорию «Господа». С точки зрения повседневной логики, его поведение было бы и бессмысленным, и несправедливым; но в том-то и дело, что притча самим своим строем указывает на смысл, лежащий за пределами повседневной логики. Употребление перфекта подкрепляет аллегорическую игру смыслов ‘господин’/‘Господь’.

Такую же аллегорическую игру обнаруживаем в рассказе об Иосифе и жене Потифара в одной из проповедей Иоанна Златоуста.

(3.2) къ егѣпѣнѣни иосиф глагола • кама господинъ мой ... въсе кѣтъ далъ  
въ рѣцѣ мой ... аште ли мжъ ти • госпожде • вънѣ кѣтъ то или богъ мой  
ошгълъ кѣтъ съ нимъ ... како азъ можъ ребро кго прокоудити кдинъ кднои  
припѣгълъ кѣтъ богъ (Супр.: л. 366)

Все рассуждение Иосифа построено на многократном проведении аналогии ‘господин = Бог’. Иоанн Златоуст адаптирует историю из Ветхого завета к образам и идеям Нового Завета: отказ Иосифа повторить первородный грех (покуситься на «ребро», воспользовавшись отсутствием господина/Бога) служит символом искупления; вспомним, как в другой проповеди таким наглядным символом искупления оказывалось пронзенное ребро Христа: (2.7). Употребление перфекта в применении к Потифару оказывается конкретным риторическим инструментом, выявляющим аллюзионный характер рассказа.

**3-В.** Сверхъестественное / чудесное. События, относящиеся к земному существованию, могут передаваться перфектом с целью подчеркнуть их чудесную природу. Именно такой характер имеет знаменитое изречение Христа об оживленной им дочери сотника, часто цитируемое в качестве иллюстрации результативного значения перфекта:

(3.3) нѣстѣ оумрѣла дѣвица нѣ спитъ (Л.: 8, 52)

Как кажется, к результативности данный случай имеет в лучшем случае маргинальное отношение. Ведь когда в другом эпизоде Иисус объявляет ученикам о смерти Лазаря,

он использует тот же глагол, но в аористе; привожу этот эпизод в сокращенном пересказе Иоанна Златоуста (Проповедь на воскрешение Лазаря):

(3.4) и рече оученикомъ • си лазарь дроугъ нашъ оусъпе [а] • они же мнѡште тако о сынѣ семъ весѣдоукътъ рекоша кмоу гѣи аште оуспе [а] исцѣлѣютъ • рече имъ гавѣ ис лазарь оумрѣ [а] (Супр.: л. 306)

Различный выбор временной формы, при полном эмпирическом сходстве двух ситуаций, передает метафизическое различие между ними. В первом случае Иисус делает свое утверждение вопреки очевидности, вызывая даже упреки родственников, уже оплакивающих умершую; перфект опровергает то, что очевидно для каждого с чисто эмпирической точки зрения. Во втором случае Иисус, напротив, принимает эмпирический факт смерти Лазаря, даже подчеркивает его; когда ученики не понимают употребленного им эвфемизма ('уснул'), он выражает свое сообщение более «явным» образом: 'умер'. Именно фактичность этого утверждения выражена аористом. Различие между двумя актами спасения от смерти имеет принципиальное значение: это различие между «оживлением» и «воскрешением». Первая ситуация еще находится в русле чудесных исцелений, описываемых в начальной части Евангельского повествования. Вторая имеет более глубокий мистический смысл; это уже не одно из чудес, совершаемых как часть земной миссии Христа, но предвосхищение смерти и последующего воскрешения из мертвых самого Христа. Чудесная подмена смерти сном обозначена перфектом, тогда как непреложное утверждение факта смерти, открывающее путь к таинству воскрешения, выражено аористом.

**3-С.** Экстраординарное / беспрецедентное. Следующий шаг аналогического растяжения происходит тогда, когда перфект употребляется с целью подчеркнуть экстраординарный, из ряда вон выходящий характер ситуации. Часто, хотя не обязательно, такое употребление перфекта находим в рамках отрицательной конструкции, несущей в себе сообщение о том, чего «никогда еще не бывало»:

(3.5) ѡ и гла има идета въ вьсь ѣже есть прѣмо вама и авье въходашта въ нѣж обрѡштета жрѣбьць привязанъ на немъ же нѣсть *никтоже отъ чкъ вьсѣлъ* (Мк.: 11, 2)

вждетъ во тогда скръвь велика така же нѣсть была *отъ начала мироу доселѣ* (Мф.: 24, 21)

**3-Д.** Соположение двух контрастных планов существования. В притче о бедном и богатом, когда богатый, мучаясь в аду, видит нищего Лазаря на небе, он обращается к Аврааму с жалобой; Авраам ему отвечает:

(3.6) и рече аврамъ • чѡдо въспомѣни тако приимъ еси благаа въ *животѣ своемъ* и лазарь такожде зълаа • нынѣ же съдѣ оутѣшаетъ сѡ а ты страждеши (Л: 16, 25)

На употребление ДЦС перфекта для обозначения «предпрошедшего» неоднократно указывалось в литературе как на одно из его значений или даже основное значение<sup>17</sup>. Суть здесь однако в том, что перфект отсылает к ситуации, имевшей место не просто в предпрошедшем по отношению к прошедшему времени основного повествования, но в метафизически ином состоянии: в «иной жизни». Этот оттенок метафизического сдвига в отношении к предпрошедшему имеет место и в других примерах, когда перфект имеет явное значение предпрошедшего. В проповеди на Страстную Пятницу Иоанн Златоуст говорит о том, что поскольку он не был непосредственным свидетелем Богоявления, он должен собирать «остатки» живых свидетельств:

(3.7) како иже нѣсмъ тоу былъ бывъшихъ тоу остатъкы възъмъ (Супр.: л. 428)

Перфект отмечает метафизическую границу между временем пребывания Богочеловека на земле и последующим историческим временем, а не просто отсылает к плану предпрошедшего.

С другой стороны, когда отсылка в прошлое принадлежит одному плану бытия с основной ситуацией повествования, перфект не употребляется. В этом случае временная стратификация часто остается вовсе не отмеченной: и предпрошедшее, и прошедшее событие обозначаются формой простого прошедшего времени. Иногда в таких случаях в тексте появляется «плюсквамперфект»: спорадически употребляемая составная форма, внешне родственная перфекту, но лишенная того специфического мистического смысла, который составляет ядро содержания последнего. Когда Иисус исцеляет слепого, те, кто «видели его раньше», свидетельствуют, что он был слеп, в плюсквамперфекте, но не в перфекте — ведь речь идет просто о том, что было «прежде», а не о «иной жизни»:

(3.8) сосѣди же и иже и бѣахъ видѣли [пп] *прежде* ѣко слѣпъ бѣ [а] глаахъ [ип] (И.: 9, 8)

Таким образом, временную стратификацию, осуществляемую с помощью перфекта, можно охарактеризовать как «трансцендентное предпрошедшее», в отличие от «эмпирического предпрошедшего», выражаемого плюсквамперфектом либо просто аористом.

Такой же оттенок смысла имеет перфект, обозначающий предшествование некоего будущего события; и в этом случае речь идет о «трансцендентном предбудущем». Пример последнего являет собой эпизод с женщиной в Вифании, возлившей на голову Иисуса благовонное масло. Иисус защищает ее от упреков учеников:

<sup>17</sup> Ван Схуневельд [Van Schooneveld 1959: 87] ссылается в этой связи на статью Якобсона в *Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire orientales et slaves*, VIII, 1948. К сожалению, саму статью Якобсона мне отыскать не удалось.

**(3.9) добро бо дѣло съдѣла о мнѣ ... кже имѣ си сътвори • варила ксть похризмити тѣло моє на погребение (Мк.: 14, 8)**

Экстравагантный поступок женщины получает объяснение и оправдание в силу того, что им она «предварила» предстоящую вскоре смерть Христа и обряд погребения. Ее действие не просто предшествует будущему событию, но мистически его предваряет; появление мистического подтекста отмечается переходом от аориста к перфекту.

С другой стороны, эмпирическое предбудущее, то есть последовательность двух будущих событий, относящихся к одному метафизическому плану, обозначается либо просто настоящим / будущим, либо еще одной спорадически употребляемой составной формой — сочетанием связки в будущем времени и причастия на -ль:

**(3.10) аще ли сѧ вждеть недобрѣ покаалъ • то да не прижтъ вждеть въ свое отчѣство (Син.Гр.: л. 102а)**

**3-Е.** Эмфатическое утверждение. Мы видели, что смысловым эпицентром перфекта является утверждение трансцендентных феноменов, обладающих абсолютной истинностной ценностью. Этот характер выражений с перфектом может переноситься на обозначение эмпирических ситуаций в том случае, когда говорящий стремится придать своему утверждению максимальную силу, выразить свою убежденность в его истинности с полной непреложностью.

Характерен пример в [И.: 16, 30]: Иисус объявляет ученикам, что до сих пор он изъяснялся с ними притчами, теперь же пришло время сказать прямо о том, что он есть Сын Божий и скоро возвратится к отцу; ответ учеников:

**(3.11) да кто тѧ въпрашаеть о сѣмь • вѣроуемъ яко отъ бѧ ишгълъ еси**

Ситуация имеет «посюсторонний» характер: ученики обращаются к Иисусу как к своему учителю; мы помним, что в объективном повествовании миссия Иисуса в ее земных рамках обычно выражается аористом. Но эмоциональный порыв, с которым ученики высказывают свою убежденность в его божественной природе, ищет себе подкрепления в выражении, напоминающем исповедание веры, обычно обращаемом к Богу, «сущему на небесах».

Типичным случаем распространения исповедальной формулы 2 л. за пределы молитвенного обращения к Богу является осуждение предательства Иуды. К Иуде обращаются в перфекте, чтобы подчеркнуть непреложную силу лежащего на нем проклятия. Перед нами как бы формула исповедания с отрицательным знаком:

**(3.12) се есть кръвь моѣ w иудо кже прѣдалъ еси (Клоц: 70)**

Любопытный отголосок этой линии употребления перфекта находим полтысячелетия спустя в обличениях предательства Курбского в посланиях к нему Ивана Грозного:

(3.13) Ты же тѣла ради душу погубилъ еси, и славы ради мимотекущая нелѣтнюю славу прѣзрѣлъ еси, и на челоуѣка возъяривъся, на бога восталъ еси<sup>18</sup>.

Еще более радикальный пример аналогического «растяжения» исповедальной формулы в сторону эмфатического утверждения находим в некоторых изречениях Иисуса в Евангелии. [Л.: 7] повествует о женщине, которая, когда Иисус пришел в дом фарисея, омыла ему ноги благовонным маслом. На замечание скандализованного хозяина о том, что не должно принимать ее услуги, ибо женщина эта блудница, Иисус отвечает вопросом: кто из должников сильнее возлюбит простившего ему долг, тот ли, кто задолжал меньше, или тот, кто должен очень много? Когда хозяин отвечает, что последний, Иисус заключает притчу словами:

(3.14) онъ же рече емоу • право сждилъ еси (Л.: 7,43)

Мы как будто слышим приподнятый тон, каким произносится фраза (3.14); простое прошедшее (**право сжди**) выглядит в этом контексте неуместным даже в чисто интонационном отношении.

**З-Ф.** Эмфатический / риторический вопрос. В повествовательных текстах встречается немало случаев, когда перфект появляется в составе вопросительного предложения. Высказывание такого рода всегда включает в себе сильную эмфазу: либо предельное удивление, либо, напротив, негодующее утверждение, облеченное в форму риторического вопроса.

В Житии Исаака, пафос которого направлен на обличение арианской ереси, одному из героев является видение Христа в сорочке, разорванной надвое. Следует обмен репликами:

(3.15) сѣтии петръ и рече • гѣи кто ти ксѣтъ раздѣралъ [п] котыгж • онъ же рече • арии раздѣра [а] ми на двок (Супр.: л. 187)

Перед нами не фактический вопрос, но выражение крайнего смятения и ужаса; эмфаза, подчеркивающая экстраординарность ситуации, осуществляется при помощи перфекта. Ответ Иисуса, напротив, спокоен и имеет фактический характер; употреблен тот же глагол применительно к той же ситуации, но изменился характер ее переживания. Мы как будто слышим разницу тона говорящих, находящую воплощение в выборе ими перфекта и аориста.

В одной из Евангельских притч рассказывается о человеке, который засеял поле хорошим семенем; но пока он спал, пришел дьявол и добавил в посев плевелы. Когда работники, посланные собирать урожай, увидели взошедшие плевелы, они спрашивают хозяина с недоумением:

(3.16) пришьдѣше раби гѣноу рѣша • гѣи не добро ли сѣма сѣлъ еси на селѣ твоємъ отъкждоу оубо иматъ плѣвелъ (Мф.: 13, 27)

<sup>18</sup> [Переписка: 63]. Цитирую с устранением некоторых черт модернизации орфографии, принятой в этом издании.

В следующем примере аналогическое распространение перфекта в область повседневного существования, мотивируемое эмфазой, простирается еще дальше. В Житии Иакова рассказывается о том, как враги святого подослали к его келье женщину с целью погубить его репутацию. Когда Иаков, приотворив дверь кельи, видит незнакомку, он принимает ее за «видение». Вопрос, с которым он к ней обращается, имеет чисто «бытовой» смысл, но его удивление и смятение перед экстраординарной ситуацией находит выражение в перфекте:

(3.17) **и малгы оувръзъ и видѣвъ ѿ мнѣаше мьчѣтоу бѣти ... и глагола ки • отъкждоу пришла кси сѣмо** (Супр: 515)

Вариацией эмфатического вопроса является вопрос риторический. Общим смысловым компонентом служит то, что смысл вопроса выходит из рамок повседневного обмена фактической информацией. Риторический вопрос задается не для того, чтобы получить информацию, но с целью эмфатического утверждения, чаще всего обличения. Типичной формулой риторического вопроса с перфектом является оборот, постоянно употребляемый Иисусом в его полемике с фарисеями и книжниками:

(3.18) **гла имъ ис нѣсте ли чѣли [п] въ кѣнигахъ • камене егоже не въ рѣдѣ створиша [а] • се бѣстѣ въ главѣ жглоу отъ ги бѣстѣ [а] (Мф.: 21, 42)  
нѣсте ли чѣли [п] тако из оустъ младеньчъ съвршилъ еси [п] хвалѣ (Мф.: 21, 16)**

Характерно, что сам предмет вопроса часто представлен в аористе: эмфаза принадлежит формуле риторического вопроса как такового, а не тому конкретному поводу, по которому он задан. Но в последнем из примеров (3.18) и предмет вопроса выражен в перфекте — вполне логично, поскольку речь идет о стабильной формуле, восходящей к Псалтыри: ср. (1.1.). Еще в одном случае Иисус сначала формулирует предмет своего риторического вопроса без эмфазы (в аористе), но затем, как бы не удовлетворившись полученным эффектом, перифразирует его в перфекте:

(3.19) **онъ же отъвѣщавъ рече имъ нѣсте ли чѣли [п] тако створи [а] испрѣва мѣжа и женѣ створилъ та естѣ [п] (Мф.: 19,4)**

Интересно, что когда фарисеи в свою очередь пытаются изобличать Христа как лжепророка, используя для этого тот же прием риторического вопроса, в их устах вопрос оформляется аористом:

(3.20) **пришѣдѣше к нему глаголахъ ... не повѣда ли [а] прѣжде богъ пророкомъ тако славѣ своѣа иномоу не дамъ [Супр.: л. 331]**

Однако и в устах Иисуса обличающий риторический вопрос может иногда оформляться аористом. Когда родители спрашивают, почему он их оставил, он гневно отвечает:

(3.21) и рече къ нима • что тако искаста мене • не вѣста ли [а] тако еже есть отъ оца моего въ тѣхъ достонтъ ми быти (Л.: 2,49)

По всем признакам, можно было бы ожидать здесь перфекта, однако этого не происходит — употреблен аорист. Возможная причина такого отклонения — отсутствие навыка употребления перфекта в дв. числе. Как можно видеть из предыдущих примеров, даже 2 л. мн. употребляется редко, и только на основании явной аналогии с ситуацией, в которой фигурирует 2 л. ед. Конечно, чисто технически построить 2 л. дв. в перфекте \**еста вѣдела* не составляло бы никакого труда: ведь и соответствующая форма связки, и форма Им. дв. муж. именного склонения для причастия сами по себе хорошо известны. Но в том-то и суть проблемы, что появление той или иной формы опирается не на абстрактные структурные возможности, а на текстуальную традицию употребления. Язык не делает скачков: для всякого нового факта необходима аналогия, отсылающая к памятным ситуациям, к утвердившимся языковым ходам. Это не значит, что введение дуала невозможно ни при каких обстоятельствах; но в данном случае отсутствие текстуальной традиции, очевидно, перевесило аналогию с обличающими вопросами, в которых фигурировал перфект 2 л. ед. и мн. Важно к тому же, что аналогия эта неполная: ведь в конце концов вопрос адресован не к непримиримо изобличаемым противникам; некоторое смягчение тона, возникающее в силу отсутствия перфекта, оказывается здесь уместным.

**3-Г.** Отсылка. Нам осталось рассмотреть последний случай аналогического распространения, суть которого состоит в употреблении перфектной формы в отсылочном значении. Появление перфекта может отмечать ситуацию, сведения о которой говорящего восходят к внешнему источнику либо подкрепляются ссылкой на некоторый внешний авторитет. Аналогическим моментом, мотивирующим появление здесь перфекта, служит нефактичный, с точки зрения говорящего, характер пропозиции: то, что говорящий сообщает, не утверждается им прямо как факт, а дается через отсылку. Обычно референтное употребление перфекта имеет место в составе относительного придаточного предложения, вводимого такими союзами, как *hco* / "ко, что, и т. п.

(3.22) ѿ тѣмъ же рече • николи же мене слышасте пророкомъ гл҃гашта тогда разоумѣете тако ксмъ глаголаи пришълъ [п] ... азъ бо отъ бога изидохъ и внидохъ [а] въ миръ (Супр: 2, 331)

ѿ чѣко рѣша врази мои мнѣ ... *гаште* бѣ оставилъ и есть [Пс. 70]

еда азъ жидовинъ есмь • *родъ твой архирен* та прѣдаша [а] мнѣ что еси сътворилъ [п] [Супр: 1:18 ??]

В первом примере Иисус, обращаясь к неверующим в его божественное происхождение, вначале подкрепляет свое утверждение ссылкой на пророков: ‘я тот, кто пришел, как о том говорилось’; затем он перифразирует то

же утверждение уже от собственного имени: эта смена позиции находит отражение в переходе к аористу. Во втором примере аналогичная ситуация выступает с обратным ценностным знаком: субъект псалма не жалуется на то, что Бог его оставил, но ссылается на врагов, которые об этом «говорят». Мы знаем, что для псалма перфект 3 л. не характерен; но в этом случае он как раз оказывается уместным, поскольку дистанцированное упоминание Бога усиливает эффект «чужого голоса». Наконец, в последнем случае говорящий употребляет перфект, с тем чтобы избежать выражения своего собственного отношения к ситуации: он как бы не знает, в чем суть дела, и лишь повторяет чужое суждение.

Референтные обороты можно, пожалуй, признать самым далеким аналогическим расширением исходного ядра употреблений перфекта. Уход от прямого фактического утверждения посредством отсылки к «другому» выступает как отдаленное эхо ядерного сверхэмпирического смысла. Аналогическая отдаленность этого случая проявляется и в том факте, что референтные обороты, как никакие другие, допускают свободу варьирования перфектных форм. Именно с этим значением находим случаи употребления перфекта в формах 1 л. ед. (**есть пришелъ**) или 3 л. мн. (**сжтъ сътворили**), в целом представляющих собой редчайшие исключения в ДЦС текстах.

Тем не менее нет основания считать референтные обороты случайностью или аномалией. Любопытно их смысловое сродство с категорией, получившей широкое развитие в последующей истории болгарского языка: так называемым наклонением «пересказывания» («преисказване»), смысл которого состоит в представлении говорящим сообщаемой информации как исходящей из внешнего источника: *чел си* ‘ты читал (как говорят, как стало известно)’. По крайней мере теоретически болгарский язык предполагает параллельные формы пересказывания для всех времен; все эти формы образованы на основе различных вариаций причастия на -л и вспомогательного глагола, то есть построены в принципе из того же материала, что и ДЦС перфект. Возможность того, что эмбрионом этой категории послужило одно из употреблений ДЦС перфекта, является тем более интригующей, что развитие форм пересказывания иногда относят на счет влияния турецкого языка. Мы видели, что и в отношении своего значения, и с точки зрения типичного круга контекстов ДЦС перфект обнаруживает мало общего с бытовой речью (в отличие от секулярного древнерусского языка, где такая связь ясно ощущается). Быть может, референтное употребление перфекта является той единственной точкой пересечения, в которой риторические стратегии ДЦС текстов в отношении перфекта встречаются с живой практикой древнеболгарского языка.

\* \* \*

Мне кажется, что получившаяся картина позволяет сделать некоторые выводы, касающиеся природы грамматической категории вообще и возможной стратегии ее описания.

Во-первых, обращает на себя внимание явная формальная асимметричность в строении парадигмы. Подавляющее большинство наблюдаемых фактов употребления перфекта в ДЦС текстах связано с двумя формами, из теоретически возможных девяти: 2 и 3 л. ед. Примеры 2 л. мн. редки, и по сути встречаются только в одной ситуации: полемически заостренного вопроса. Примеры 1 л. ед. и 3 л. мн. крайне редки — может быть, 3—4 случая во всем корпусе (подчеркиваю, что речь идет исключительно о ДЦС текстах, а никак не о древнерусских или русско-церковнославянских). Что касается 1 л. мн. и всех форм дв. числа, то они мне вовсе не встретились; даже если я что-нибудь пропустил, крайняя их нехарактерность очевидна. Но и употребление двух центральных форм, представленных сотнями примеров, несимметрично: подавляющее большинство случаев 2 л. ед. приходится на Псалтырь и молитвенник, а 3 л. ед. — на Евангелия и другие тексты повествовательного характера (жития, проповеди).

Я полагаю, что такая асимметрия отнюдь не является исключительной, а напротив, составляет самую сущность любой грамматической категории. Идеальная геометрия парадигматических таблиц на странице учебника или лингвистического трактата маскирует тот факт, что собственно в языковом употреблении, в текстах, каждая из этих форм имеет свою собственную идиосинкретичную судьбу, связанную с определенными типами дискурса и характерными ситуациями. Ограниченность наблюдаемого материала в ДЦС лишь позволяет выявить этот принцип с полной очевидностью.

Во-вторых; поле употребления грамматической категории не очерчивается неким компактным смысловым комплексом, а разворачивается в виде разнонаправленных аналогических переносов смысла от хорошо известного к частично на него похожему. Логику каждой такой аналогии, взятой в отдельности, легко понять и объяснить; но поле аналогий в целом лишено единой логики, потому что отдельные случаи переноса смыслов не соотнесены друг с другом, совершаются по разным поводам и в различных направлениях. Общий знаменатель, остающийся за скобками различных аналогических фигурации, через которые проходит перфект в различных ситуациях своего употребления, — это в лучшем случае некий эмфатический «жест», как бы поднимающий на пьедестал соответствующую точку текста, возвышающий ее, на том или ином основании, над чисто фактическим содержанием текста. Попытки сформулировать этот «жест» в виде какого-либо общего значения увязают в неразрешимых противоречиях между отдельными его репрезентациями.

Если пытаться отыскать визуальную аналогию открывающейся картине, то таковой может оказаться не геометрически правильная фигура — ветвящееся дерево, матрица, куб, — но скорее нечто вроде футуристического коллажа. Для меня лично наилучшей аналогией служит симфоническая партитура, в которой ядерные мотивы трансформируются, скрещиваются, перетекают один в другой в бесчисленных вариациях, покрывая текст густой сеткой частичных подобий.

В-третьих: калейдоскопическая подвижность «семейства» смыслов, вырастающих из употребления категории, не означает, что такое семейство лишено какой-либо иерархии. Можно заметить центральные, ядерные значения, от которых по всем направлениям расходятся волны аналогических распространений. Одним очевидным критерием для выявления ядерного значения является его четко выраженный характер, проявляющий себя во множестве буквально повторяющихся или явно однородных примеров. Другим, не менее важным критерием мне представляется то обстоятельство, что ядерное значение отражает ценности, имеющие первостепенное значение для субъектов данного языка, в их отношении к данному типу дискурса. В этих ценностных основаниях грамматических категорий строй языка сходится с культурной традицией и культурным опытом его носителей. Применительно к ДЦС перфекту, такой кардинальной метафизической ценностью, конденсировавшейся в его ядерное значение, оказалось противоположение эмпирического и мистического, посюстороннего и потустороннего, опыта и веры, событий, совершающихся на земле, и божественного мирового порядка.

Невозможно сказать с уверенностью, почему именно перфект послужил инструментом для выражения этого круга значений. Пространный характер составной формы, естественным образом выделяющий ее в течении текста, экстемпоральность, типичная для связки в настоящем времени, тесная текстуальная ассоциация формы ~си с ситуацией молитвенного общения с Богом, — все эти факторы могли сыграть свою роль. Во всяком случае то развитие, которое получило употребление перфекта в ДЦС текстах, по всей видимости имеет мало общего с тем, как эта форма могла употребляться в современной им бытовой разговорной речи. На это различие указывает неоднородность употреблений перфекта в древнерусском языке. Здесь можно встретить, с одной стороны, явные перифразы и подражание ДЦС, с другой, секулярные употребления, в которых перфект (в особенности форма 3 л. с опущенной связкой) фигурирует, напротив, в качестве знака неформального, земного, эмпирического. Но, конечно, обсуждение этой проблемы должно составить особый предмет исследования.

### Литература

Ассем. — Kurz J., изд. *Evangeliarum Assemani*. Prague, 1955.

Бунина, 1959 — Бунина М. К. Система времен старославянского глагола. М., 1959.

Вайан 1952 — Вайан Андре. Руководство по старославянскому языку. М., 1952 [ориг. изд.: Paris, 1948].

Грамматика 1991 — Грамматика на старобългарския език. Фонетика. Морфология. Синтаксис. София, 1991.

Деянова 1970 — Деянова М. История на сложните минали времена в български, сърбохърватски и словенски език. София, 1970.

- Достал 1963 — *Достал А.* К изучению категорий глагола в старославянском языке // Исследования по синтаксису старославянского языка. Прага. 1963. С. 101—120.
- Зогр. — Jagić V., изд. Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitane. Berlin, 1979 [репринт: Graz, 1954].
- Истрина 1923 — *Истрина Е. С.* Синтаксические явления Синодального списка 1-й Новгородской летописи. Пг., 1923.
- Карский 1929 — *Карский Е. Ф.* Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи // Известия по русскому языку и словесности. Т. 2, кн. 1. Л., 1929. С. 1—75.
- Карташев 1994 — *Карташев А. В.* Вселенские соборы. 2—2 изд. М., 1994 [1-е изд.: 1963].
- Клоц — Dostal A., изд. Glagolita Clozův. Prague, 1959.
- Мар. — Ягич В., изд. Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. СПб., 1883 [репринт: Graz, 1960].
- Маслов 1957 — *Маслов Ю. С.* Глагольный вид в современном болгарском языке. Докт. дисс. М., 1957.
- Мейе 2000 — *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 2000 [ориг. изд.: 1924].
- Переписка — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981.
- Потебня 1958 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. 1—2. 2-е изд. М., 1958 [1—2 изд.: 1874].
- Сав. кн. — Щепкин В. Н., изд. Саввина книга. СПб., 1903. (Памятники старославянского языка, т. I: 2).
- Селищев 1952 — *Селищев А. М.* Старославянский язык. Ч. 2. М., 1952.
- Син. Пс. — Северьянов С., изд. Синайская псалтырь: Глаголический памятник XI века. Пг., 1922 (Памятники старославянского языка, т. IV) [репринт: Graz, 1954].
- Син. Тр. — Геитлер Л., изд. Euchologium, glagolski spomenik manastira Sinai brda. Zagreb, 1882.
- Супр. — Супрасълски или Ретков сборник. Т. 1—2. София, 1983. 6L.
- Хабургаев 1974 — *Хабургаев Г. А.* Старославянский язык. М., 1974.
- Amse-De Jong 1974 — *Amse-De Jong Tine H.* The Meaning of the Finite Verb Forms in the Old Church Slavonic Codex Suprasliensis. The Hague-Paris, 1974.
- Comrie 1985 — *Comrie B.* Tense. Cambridge, 1985.
- Diels 1963 — *Diels Paul.* Altkirchenslavische Grammatik. 1. Teil. 2-е изд. Heidelberg, 1963 [1-е изд.: 1932].
- Dostál 1954 — *Dostál A.* Studie o vidovém systému v staroslověnině. Praha, 1954.
- Greek New Testament — The Greek New Testament. 4<sup>th</sup> ed. Stuttgart, 1998.
- Jakobson 1936 — *Jakobson Roman.* Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre // Travaux du Cercle linguistique de Prague. Т. VI. Prague, 1936. С. 240—288.
- King James 1974 — The Holy Bible. King James Version. New York, London & Scarborough, Ontario, 1974.
- Lunt 1974 — *Lunt Horace G.* Old Church Slavonic Grammar. 6-е изд. The Hague-Paris, 1974 [1-2 изд.: 1955].
- Pelikan 1971 — *Pelikan Jaroslav.* The Christian Tradition: A History of the Development of the Doctrine. Vol. 1. The Emergence of the Catholic Tradition (100-600). London & Chicago, 1971.
- Pelikan 1974 — *Pelikan Jaroslav.* The Christian Tradition: A History of the Development of the Doctrine. Vol. 2. The Spirit of Eastern Christendom (600—1700). London & Chicago, 1974.

Picchio 1984 — *Picchio Riccardo*. The Impact of Ecclesiastic Culture on the Old Russian Literary Techniques // Birnbaum H. & Flier M., eds. Medieval Russian Culture. Vol. 1 (California Slavic Studies, 12). Berkeley-Los Angeles-London, 1984. C. 247—279.

Schenker 1995 — *Schenker Alexander M*. The Dawn of Slavic: An Introduction to Slavic Philology. New Haven & London, 1995.

Schmalstieg 1983 — *Schmalstieg, William R*. An Introduction to Old Church Slavonic. 2-е изд. Columbus, OH, 1995 [1-е изд.: 1976].

Słoński 1926 — *Słoński C*. Tak zwane perfekturn v językach słowiańskich // Prace filologiczne. T. 10. C. 1—33.

Vaillant 1977 — *Vaillant André*. Grammaire comparée des langues slaves. Vol. 5. La syntaxe. Paris, 1977.

Van Schooneveld 1959 — *Van Schooneveld C. H*. A Semantic Analysis of the Old Russian Finite Preterite System. s-Gravenhage, 1959.

Večerka 1993 — *Večerka Radoslav*. Altkirschenslavische (altbulgarische) Syntax. Bd. 2. Freiburg, 1993.

Wittgenstein 1953 — *Wittgenstein Ludvig*. Philosophische Untersuchungen — Philosophical Investigations. Oxford, 1953.

**ПАМЯТИ МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА ПАНОВА (1920-2001)**

**М.В. Панов как теоретик,  
или О значимости «фонетической печки»**

*Е.А. Земская*

1. М.В. Панов начал свою научную деятельность в Московском Городском Педагогическом Институте им. Потемкина. В 1952 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Заударный вокализм современного русского литературного языка». По окончании аспирантуры М.В. Панов начал работать в Горпедде, как говорили тогда. Однако в дальнейшем его научная деятельность была связана с Институтом русского языка АН СССР.

И здесь необходимо вспомнить 1958 год, когда в Москве проходил IV Международный съезд славистов. Это было очень важное событие для русистики и славистики, веха в истории языкознания России. Пахнуло свежим ветром. Русисты СССР впервые столкнулись с мировой славистикой. В Москве побывали Андре Мазон, А.В. Исаченко и многие другие мировые величины.

В.В. Виноградов, который был в то время директором ИРЯ, обладал чутьем охотника – он распознавал таланты и приглашал на работу в институт людей, тогда еще мало известных или почти совсем не известных. Среди них были М.В. Панов, В.Д. Левин, Ю.Д. Апресян, И.А. Мельчук. Например, у М.В. Панова к тому времени было опубликовано всего 7 работ, половина из них – методического характера. Надо подчеркнуть, что В.В. Виноградов обладал не только чутьем, но и широтой взглядов – он приглашал ученых разных школ и направлений, порой далеких от его собственных взглядов и интересов, а не только своих учеников и единомышленников, как это нередко свойственно многим мэтрам.

Таким образом конец 50-х – начало 60-х годов стало временем прихода в ИРЯз многих выдающихся ученых.

М.В. Панов так писал об этом событии в 1991 г. в своей автобиографии: «В 1958 году акад. В.В. Виноградов пригласил меня в Институт русского языка АН СССР. <...> Общение с В.В. Виноградовым, В.Н. Сидоровым, А.А. Реформатским во время работы в Институте русского языка много дало для формирования моих лингвистических взглядов».

М.В. Панов был приглашен в ИРЯ для работы над темой «Русский язык и советское общество». Эта тема была очень важной для Института. Намечался возврат к социолингвистическим исследованиям, а общий подход к этой проблематике не был ясен. Боялись возврата к вульгарной социологии, однако ответа на вопрос, как именно следует изучать связь языка и общества, ни у кого не было. Панов и был приглашен для выработки общей концепции нового социолингвистического труда, над которым должен был работать большой коллектив ученых. М.В. Панов предложил общую концепцию монографии. Он исходил из понятия языковых антиномий, лежащих в основе внутреннего развития языка.

До этого понятие антиномий употреблялось ограниченно, только в применении к грамматике в связи с идеей асимметрического дуализма языкового знака. Понятие «антиномия в грамматической структуре» использовал Р. Якобсон в статье 1932 г. [Jakobson 1932]; см. также словари: [Вахек 1964; Ахманова 1966]. М.В. Панов расширил и углубил понятие «языковая антиномия», применив его к разным сторонам структуры языка и к условиям его функционирования. Он писал: «Антиномии рассматриваются как противоречия, присущие самому объекту» [Панов 1968, 1: 24]. М.В. Панов выделил в монографии пять антиномий, показал их взаимодействие с социальными факторами, действующими в обществе, а также разработал методику массового обследования языковых вариантов, сосуществующих в языке. Это позволило выявить внутриязыковые и социальные факторы, действующие в языке советского времени, и описать их взаимодействие. На основе этой концепции под руководством М.В. Панова и при его большом авторском участии была написана и в 1968 г. опубликована монография в четырех томах «Русский язык и советское общество» [Панов 1968]. Эта книга заложила основы «Московской школы функциональной социолингвистики», тридцатилетие которой наш коллектив отмечал в 1998 г. (см. [Земская, Крысин 1998]).

Концепция М.В. Панова, представленная в монографии 1968 г., содержала много нового и вместе с тем опиралась на традиции отечественной социолингвистики, идущие от Л.П. Якубинского, Б.А. Ларина, Е.Д. Поливанова, А.М. Селищева и др. Она на долгие годы определила направление исследований в области социолингвистики как в нашем Институте, так и – шире – в русистике. В работах, которые выходят на рубеже XX–XXI вв., используется теория языковых антиномий, разработанная М.В. Пановым, иногда вплоть до текстуальных повторений. Однако ссылки на эту монографию нередко отсутствуют. Я имею в виду в частности учебное пособие Н.С. Валгиной «Активные процессы в современном русском языке» [Валгина 2001]. Отмечу, что в этой книге (несмотря на жанр учебного пособия) имеются разнообразные ссылки, напр., на работы В.М. Лейчика, В.Г. Костомарова, энциклопедию «Русский язык», нашу книгу «Русский язык конца XX столетия», но монография «Русский язык и советское общество» даже не упоминается. А ведь Н.С. Валгина рассматривает именно активные процессы в современном русском языке.

Социолингвистическая проблематика интересовала М.В. Панова и в дальнейшем. Упомяну здесь лишь одну статью, как мне кажется, мало известную даже тем, кто хорошо знает творчество М.В. Панова: «О балансе внутренних и внешних зависимостей в развитии языка» [Панов 1990].

**2.** Не следует думать, однако, что М.В. Панов начал исследовать вопросы теории только после того, как он перешел в Институт Академии Наук. Уже многие его ранние работы посвящены общетеоретическим проблемам. Назову две его ранние статьи, имеющие общетеоретическое значение: «О слове как единице языка», «О частях речи в русском языке» [Панов 1956; 1960].

Начав свой научный путь с изучения фонетики и фонологии, М.В. Панов всю жизнь использовал эти дисциплины как поле для разработки и проверки общелингвистических идей и как плацдарм для эксперимента.

М.В. Панов любил говорить: «Фонетика устроена проще, чем лексика и грамматика. В ней

нет означаемого. Поэтому она лучше изучена. В ней разработано много важных понятий, которые трудно применить к таким уровням языка, как лексика, морфология, синтаксис».

Фонетика играла для Михаила Викторовича роль той печки, от которой танцевал ученый.

Наиболее важным для общего языкознания М.В. Панов считал понятие **позиции**, детально разработанное в фонетике и фонологии. М.В. Панов размышлял над этим понятием всю жизнь. Он применял его в лексике, морфологии, синтаксисе. Ставший библиографической редкостью проспект четырехтомника «Русский язык и советское общество», изданный в Алма-Ате в 1962 г. [Панов 1962], базируется на широком применении этого понятия к разным участкам морфологии и синтаксиса. Итог размышлений над понятием «позиция» содержится в последней книге М.В. Панова «Позиционная морфология русского языка» [Панов 2000].

С понятием позиции тесно связано понятие **нейтрализации**, также одно из важнейших в теоретических взглядах М.В. Панова. Ученый применял его при исследовании разных уровней языка. В книге 2000 г. он целую главу посвятил нейтрализации и подчеркнул, что для Московской лингвистической школы «понятие нейтрализации целиком базируется на исследовании позиционных чередований; **без требования материальной общности** нейтрализованных единиц» [Панов 2000: 229].

Вслед за М.В. Пановым явление нейтрализации в морфологии, синтаксисе и других уровнях языка рассматривают многие ученые (например: Н.Я. Янко-Триницкая, О.П. Ермакова, О.А. Крылова).

Еще один импульс, идущий от фонологии: использование понятия **оппозиция** применительно к различным уровням языка. Эту работу начал в 50-е годы Р. Якобсон. М.В. Панов осуществил тонкий анализ семантики и условий функционирования существительных мужского и женского рода, называющих лиц мужского и женского пола (см. [Панов 1962]). Он проанализировал семантику разных семантических классов таких существительных, применяя разработанное Н.С. Трубецким понятие оппозиции, и показал, что одни существительные образуют привативные оппозиции, а другие – эквиолентные. Именно это обстоятельство объясняет различие в употреблении таких существительных. Немаркированные члены привативных оппозиций, т.е. существительные мужского рода, могут называть и мужчин, и женщин. Таковы наименования лиц по профессии (учитель, художник, врач и др.). Например: «*Учителя* нашей школы Иванова, Петрова и Троицкая едут на отдых в Крым». Подобные существительные функционируют в нейтральной и официально-деловой речи. Они лишены окраски разговорности или сниженности, которая может быть присуща профессиональным названиям женского рода типа *учительница, писательница, художница*, не говоря уже о словах *докторша, врачиха, геологиня* и под. Именно поэтому Марина Цветаева и Анна Ахматова не хотели, чтобы их называли *поэтессами*, предпочитая слово *поэт*.

Иные семантические разряды коррелятивных наименований мужчин и женщин образуют эквиолентные оппозиции. Оба слова равноправны: Катю нельзя назвать красавцем, а Машу – москвичом. Только красавицей и москвичкой.

Скажу еще несколько слов о некоторых других работах М.В. Панова теоретического характера, посвященных проблемам слова, морфемной членимости слова и классификации частей

речи (большинство этих работ, к сожалению, опубликовано в виде журнальных статей или же в малотиражных изданиях, труднодоступных читателю).

В статье «О слове как единица языка» Михаил Викторович пишет: «Такая простая ясная вещь: слово. Но она же оказывается самой трудной, неясной, загадочной. Сколько усилий потрачено, чтобы научно определить эту единицу, а конец работы еще далек» [Панов 1956: 129].

Отталкиваясь от определения слова, данного А.И. Смирницким [Смирницкий 1952], М.В. Панов предлагает свое оригинальное решение: слово – «смысловое единство, части которого не составляют свободного сочетания» [Панов 1956: 146]. Это краткое определение требует пояснений. Оно основано на том свойстве слова, о котором писал еще А.М. Пешковский [Пешковский 1959] и которое М.В. Панов углубил и расширил. Это свойство слова получило название **фразеологичность** (или идиоматичность) семантики слова. Слово подобно фразеологизму, а не свободному синтаксическому сочетанию. Смысл слова обычно, как правило, не складывается из смысла составляющих его частей (морфем). Между смыслом целого слова и смыслом его частей существует зазор, люфт. Ученый блестяще показывает это, сопоставляя слова *вечерник* (студент вечернего факультета), *дневник* (подневная запись событий), *утренник* (утренний спектакль или утренний мороз), *ночник* (ночной светильник). И действительно, слова, образованные по одной модели на основе соотносительных по форме и смыслу прилагательных *вечерний, дневной, утренний, ночной*, имеют причудливо различающиеся значения. Каждое слово содержит свое смысловое приращение.

Именно это и отличает слова (единицы лексики) от словообразовательных структур (основа прилагательного + суффикс *-ик*), так как, с точки зрения словообразования, значение рассматриваемых единиц аналогично: нечто, связанное по смыслу с семантикой базовой основы.

Учение о фразеологичности семантики производного слова породило целую серию работ, оно активно разрабатывается в языкознании, см., например [Ермакова 1984].

Постоянный интерес к слову как единице языка побуждал М.В. Панова исследовать проблему **членимости слова**. Эта проблематика, разрабатываемая в языкознании на протяжении десятилетий, породила так называемый спор о *буженине* и *стеклярусе*, иными словами о том, членятся ли слова, содержащие единичные корни и полноценные аффиксы (*бужен-ина, свин-ина, осетр-ина*) или полноценные корни, но единичные аффиксы (*стекл-ярус, почт-амнт*). Полемика между Г.О. Винокуром [Винокур 1959] и А.И. Смирницким [Смирницкий 1956: 59-64] вызвала отклики у многих современников. Однако ответ на поставленный вопрос был дан не сразу. Лишь в конце 60-х годов М.В. Панов предложил решение. Он писал: «Степень вычленимости морфемы из слова может быть различной. Границы между морфемами в одних случаях глубоки и резки, в других – менее глубоки» [Панов 1968, 2: 214]. Ученый построил шкалу членимости слова, выделяя шесть ступеней членимости – от первой ступени (наиболее четкой) до шестой (наиболее слабой).

При этом учитываются такие факторы: 1) корень употребляется свободно или связанно; 2) аффикс повторяем или уникален; 3) аффикс по значению подобен другим аффиксам данного языка или уникален; 4) аффикс употребляется/не употребляется при свободных корнях. В результате были построены две таблицы. Одна из них представляет степени членимости слова в виде

абстрактных единиц, другая – в виде конкретных слов [Панов 1968, 2: 216-217]:

Дано слово <i>Аб</i>	Есть ли <i>Ав</i>	Есть ли <i>Бб</i>	Есть ли <i>Бв</i>	Есть ли <i>Дг</i>	Есть ли <i>Дв</i>
1. <i>Лет чик</i>	<i>Лет ать</i>	<i>Развед чик</i>	<i>Развед ать</i>	<i>(Пис атель</i>	<i>Пис ать)</i>
2. <i>Пас тух</i>	<i>Пас у</i>	–	<i>Нес у</i>	<i>Лет чик</i>	
3. <i>Стекл ярус</i>	<i>Стекл янка</i>	–	<i>Дерев яшка</i>	–	
4. <i>Бужен ина</i>	–	<i>Осепр ина</i>	<i>Осепр овый</i>		
5. <i>Мал ина</i>	–	<i>Круш ина</i>	–	<i>(Кост яника</i>	<i>Кост яной)</i>
6. <i>Коче гар</i>	<i>Коче рга</i>	–	–	<i>(Топор ник</i>	<i>Топор)</i>

Позднее – уже в 70-е годы – М.В. Панов возвращается к проблемам членимости слова, расширяя и дополнительно аргументируя свои взгляды. В 1975 г. в одном и том же сборнике публикуются две его статьи [Панов 1975а; 1975б]. Первая имеет общетеоретический характер: «О степенях членимости слова». Вторая называется «О переводах на русский язык баллады «Джаббервокки» Л. Кэрролла» – М.В. Панов исследует проблематику членимости слова на очень интересном специфическом материале. Он сопоставляет четыре перевода поэмы Кэрролла (Т.Л. Щепкиной-Куперник, Н.М. Демуровой, В. и Л. Успенских и Д.Г. Орловской) и, показывая своеобразие творческого метода каждого из переводчиков, характеризует достигнутый ими эстетический эффект.

Проанализированный поэтический материал позволяет ему высказать такое мнение: «...можно составить в виде таблицы периодическую систему членимости слова. В ней должны быть учтены и такие качества выделяемых отрезков, как их звуковая выразительность. Эта черта, вероятно, особенно весома в художественной речи» [Панов 1975а: 248]. И далее М.В.Панов добавляет, подчеркивая значимость фактов поэзии для теории языкознания: «О многих клетках «периодической системы членимости слова» мы бы не догадались, если бы не Кэрролл... Надо уметь видеть все факты, в том числе и странные, и видеть именно их необычность. Даже такую простую вещь, как таблицу членимости, нельзя построить, не научившись видеть все факты. Кэрролл учит» [Панов 1975б: 248].

**Теория частей речи** – это еще одна сфера общего языкознания, интерес к которой был свойствен М.В. Панову на протяжении десятилетий. В статье «О частях речи в русском языке» [Панов 1960] он строит свою классификацию частей речи, исходя из мысли о том, что множественность теорий частей речи законна и необходима. Этому есть две причины: 1) «Соотношения, сложившиеся в русском языке между крупнейшими грамматическими классами слов, сложны и многообразны»; 2) «Описание может быть истинным, если оно строго следует определенным и четко сформулированным принципам, регламентирующим соотношение между изображаемым и его «проекцией» в данном описании» [Там же: 3]. Теория частей речи была позднее дополнена автором в проспекте к монографии «Русский язык и советское общество» [Панов 1962]. М.В. Панов вновь вернулся к проблематике частей речи в своей последней монографии «Позиционная морфология русского языка» [Панов 1999].

Обдумывая состав частей речи в русском языке, М.В. Панов обосновал существование

особой части речи – аналитических прилагательных (*беж, хаки, авиа, авто, фото* и многие другие).

Считаю важным назвать еще одну проблему общего характера, изучение которой волновало М.В. Панова всю жизнь, – вопрос о росте **аналитизма** в русском языке. К этой проблематике М.В. Панов возвращался неоднократно.

3. Михаила Викторовича в секторе называли генератором идей. Годы его заведования ознаменовались творческим расцветом всего коллектива сектора. М.В. Панов рождал идеи и щедро их раздавал ученикам и коллегам. Порой доходило до абсурда, когда его молодые ученики, услышав что-нибудь интересное от Учителя, сообщали об этом без ссылок в своих докладах, а позднее, когда сам Михаил Викторович говорил об этом в публичном чтении, случалось, что слушатели его упрекали: «Это не ново. Мы об этом знаем из доклада NN».

М.В. Панов недоумевал, удивлялся, но сердился редко.

Приведу еще один пример творческой щедрости М.В. Панова. Когда работа над книгой «Русский язык и советское общество» была завершена, настало время указать во Введении авторское участие каждого сотрудника. Это мы делали вместе с Михаилом Викторовичем. И оказалось, что это очень не просто. Дело в том, что, редактируя разделы того или иного сотрудника, М.В. Панов многое писал сам. Это были небольшие по объему, но важные в теоретическом отношении части. И когда работа над книгой закончилась, М.В. Панов не захотел, чтобы он был назван как автор этих частей. Он объяснял свою позицию тем, что он не желает создавать в книге «чересполосицу». А я была категорически против. Я считала несправедливым, что многие порой очень интересные идеи окажутся приписанными не настоящему автору. В конце концов мы приняли компромиссное решение: подобные части текста были указаны как отдельные параграфы, но они не были приписаны никакому автору.

Как правило, такие анонимные части подводят итоги ранее изложенному, предлагают выводы или содержат новые идеи. Посмотрите, например, §§ 5, 60, 66-67, 70, в томе [Панов 1968], посвященном словообразованию.

4. Теоретическое осмысление общих вопросов языкознания М.В. Панов блестяще использовал в научно-популярной литературе, в частности в литературе для юношества. Назову в этой связи два коллективных труда. Один – детище М.В. Панова, созданный его научным и человеческим энтузиазмом, – «Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)» (М., 1984). Эта книга имеет не только педагогическое, но и общетеоретическое значение, во многих статьях вводятся новые факты и их теоретическое осмысление. М.В. Панов выступил в этом словаре как составитель, организатор и основной автор. Второй труд – «Энциклопедия для детей. Т.10. Языкознание. Русский язык» (М., 1998). В эту книгу М.В. Панов написал теоретическую общую часть «Как устроен язык» и разделы, посвященные составу слова.

М.В. Панов был не только теоретиком языкознания, организатором науки, но и человеком, который создавал новые исследовательские методы. Приведу всего один пример. Разработанный М.В. Пановым прием построения **фонетических портретов** породил целое направление исследований: речевые портреты. Лингвисты создают и обобщенные **речевые портреты**, выделяя типы личностей по разным параметрам (интеллигент, просторечно-говорящий, носитель диалекта, москвич, эмигрант...), и индивидуальные речевые портреты (отдельных лиц – известных и

неизвестных, ребенка и даже – собаки).

Заканчивая, назову те теоретические понятия, которые М.В.Панов считал особенно важными и в исследование которых он внес особенно много нового и ценного:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| – языковые антиномии | – синтагма – парадигма    |
| – позиция            | – аналитизм               |
| – оппозиция          | – слово как единица языка |
| – нейтрализация      | – членимость слова        |
| – система языка      | – теория частей речи.     |

Проведенный мной подсчет показал, что больше половины всех работ Панова составляют исследования общего характера.

### Литература

- Ахманова 1966 – О.С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
- Валгина 2001 – Н.С. Валгина. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001.
- Вахек 1964 – Й. Вахек. Лингвистический словарь пражской школы. М., 1964.
- Винокур 1959 – Г.О. Винокур. Заметки по русскому словообразованию // Г.О.Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 419-442.
- Ермакова 1984 – О.П. Ермакова. Лексические значения производных слов в русском языке. М., 1984.
- Земская, Крысин 1998 – Е.А. Земская, Л.П. Крысин. Московская школа функциональной социолингвистики. Итоги и перспективы исследований. М., 1998.
- Панов 1956 – М.В. Панов. О слове как единице языка // Уч. зап. МГПИ им. Потемкина. Т.1. М., 1956. С.129-165.
- Панов 1960 – М.В. Панов. О частях речи в русском языке // Филологические науки. 1960. № 4. С.3-14.
- Панов 1962 – М.В. Панов. Грамматические разделы. Фонетика. Письмо. Стилистика // Русский язык и советское общество: Проспект. Алма-Ата, 1962 .
- Панов 1968 – М.В. Панов (отв. ред.). Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Т.1-4. М., 1968.
- Панов 1975а – М.В. Панов. О степенях членимости слова // Развитие современного русского языка. 1975. Словообразование. Членимость слова. М., 1975. С.234-238.
- Панов 1975б – М.В. Панов. О переводах на русский язык баллады «Джаббервокки» Л. Кэрролла // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М., 1975. С.239-248.
- Панов 1990 – М.В. Панов. О балансе внутренних и внешних зависимостей в развитии языка // Res philologica. М.-Л., 1990. С.200-207.
- Панов 1999 – М.В. Панов. Позиционная морфология русского языка. М., 1999.
- Панов 2000 – М.В. Панов. Позиционная морфология русского языка. М., 2000.
- Пешковский 1959 – А.М. Пешковский. В чем же, наконец, сущность формальной грамматики // А.М. Пешковский. Избранные труды. М., 1959. С.74-100.
- Смирницкий 1952 – А.И. Смирницкий. К вопросу о слове // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. М., 1952.
- Смирницкий 1956 – А.И. Смирницкий. Лексикология английского языка. М., 1956.
- Jakobson 1932 – R.O. Jakobson. Zur Struktur des russischen Verbums // Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenarioblata. Prague, 1932.

## М.В. Панов как социолингвист<sup>1</sup>

Л.П. Крысин

Вопрос о роли Михаила Викторовича Панова в развитии отечественной и мировой социолингвистики заслуживает глубокого и детального рассмотрения. В этом сообщении я хочу наметить лишь некоторые, с моей точки зрения, ключевые моменты, характеризующие научную деятельность Панова-социолингвиста.

Имя М.В.Панова как исследователя русского языка под социальным углом зрения заслуженно продолжает ряд имен таких ученых, стоявших у истоков социальной лингвистики, как И.А. Бодуэн де Куртенэ, Е.Д. Поливанов, М.М. Бахтин, Л.П. Якубинский, В.М. Жирмунский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и другие. В его работах мы находим не только развитие идей предшественников (прежде всего, Бодуэна и Поливанова), но и несомненное новаторство в осмыслении языковых фактов в их связи с социальными процессами и отношениями. Это новаторство проявилось в двух основных направлениях – в истолковании изменений, которые претерпел русский язык в XX веке, и в разработке методики изучения современной речи, ее «социальной паспортизации».

Что же нового внес Панов в диахроническую и синхроническую интерпретацию языковых явлений?

При ответе на этот вопрос надо прежде всего обратиться к разработанной Михаилом Викторовичем *теории антиномий*, примененной им при описании развития русского языка после революции - в его статьях начала 60-х годов (см., например [Панов 1962; 1963]) и в широко известной сейчас коллективной монографии «Русский язык и советское общество» [Русский язык ... 1968]. Пожалуй, впервые в отечественной социолингвистике с помощью этой теории были вскрыты *механизмы* языковой эволюции и показана социальная обусловленность действия таких антиномий, как антиномии кода и текста, системы и нормы, говорящего и слушающего, регулярности и экспрессивности.

Мысль о связи развития языка с развитием общества давно стала в лингвистике общим местом, своего рода аксиомой. В большинстве работ прошлого эта мысль так или иначе *иллюстрировалась* материалом, характеризовавшим развитие конкретных языков. Иначе говоря, «общее место», аксиома подкреплялись некоторым набором фактов. Однако никакой социально ориентированной *теории* языковой эволюции при этом не возникало: описание конкретных изменений, даже «привязанное» к определенным социальным сдвигам, сохраняло фактографичность, атомарность.

Применение же теории антиномий к тем изменениям, которые пережил русский язык в XX веке, позволило не только найти общие тенденции и закономерности в эволюции разных участков языковой системы – в фонетике, морфологии, лексике, синтаксисе, - но и показать обусловленность действия антиномий определенными социальными факторами и зависимость этого действия от характера социальной среды говорящих.

Например, демократизация состава носителей литературного русского языка после

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена в рамках проекта «Русский язык на рубеже веков: активные процессы», финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 01-06-80234).

революции 1917 года вела к расшатыванию традиционной нормы, и тем самым антиномия системы и нормы разрешалась в пользу системы: в литературном употреблении появилась масса того, что система разрешает, а норма запрещает (ср., например, формы двувидовых глаголов, появляющиеся в результате имперфективации: *организовывать, атаковывать, мобилизовывать* и под.: некоторые из этих форм сейчас вполне нормативны; см. об этом [Русский язык...1968, кн. 3, § 68]).

Антиномия кода и текста разрешается в пользу кода (он увеличивается) в с о ц и а л ь н о з а м к н у т ы х коллективах говорящих и в пользу текста – в «т е к у ч и х», с о ц и а л ь н о неоднородных коллективах. И это понятно: социально или профессионально замкнутый коллектив говорящих может «позволить» себе, например, парадигматически разветвленный и детализированный словарь (как это имеет место в специальных терминологиях и в профессиональных и социальных жаргонах). А в социально неоднородных, текучих общностях выработка подобного словаря невозможна: представителям таких общностей легче объясниться друг с другом, применяя описательные номинации (то есть удлиняя текст в ущерб коду), а не однословные термины, которые многим просто неизвестны.

Эта же антиномия (кода и текста) при одних условиях, характеризующих развитие общества на том или ином этапе, разрешается в пользу кода: он увеличивается (например, словарь может увеличиваться путем массовых заимствований из других языков, как это происходит в нашем языке сейчас), а при других условиях – сокращается, как это было, например, в конце 40-х годов XX века, когда не только не принимались новые заимствования, но и вытеснялись из употребления старые, давно адаптировавшиеся в русском языке.

При разработке теории антиномий М.В.Панов подверг анализу и сами социальные факторы, которые могут влиять на язык. Одни из них он назвал лингвистически значимыми, то есть такими, которые могут оказывать влияние на языковую эволюцию, другие – лингвистически незначимыми. Среди лингвистически значимых он выделял факторы *глобальные* и *частные*. Глобальные факторы воздействуют на все уровни языковой структуры, а частные в той или иной мере обуславливают изменения лишь на некоторых уровнях [Русский язык...1968, кн. 1: 34 - 35].

Примером глобального социального фактора является изменение состава носителей языка. Так, изменение состава русского литературного языка после революции повлекло за собой изменения в произношении (в сторону его буквализации), в словаре: в нем появилось много так называемых «внутренних» заимствований - из диалектов и просторечия, в синтаксисе: получили распространение конструкции диалектного, просторечного и профессионально ограниченного характера, в морфологии: значительно увеличилась частотность форм, которые раньше оценивались нормой как просторечные или профессиональные (ср., например, частотность форм с ударными флексиями во множественном числе существительных мужского рода – типа *прожектора, прожекторов...*; *слесаря, слесарей...* и т.п.; о социальном распределении подобных форм см. в работе, начатой по инициативе и при идейной поддержке М.В. Панова, - [Русский язык...1974]).

Пример частного социального фактора – изменение традиций усвоения литературного языка (раньше – устная, семейная традиция, в новых условиях – книжная, через книгу, через учебник). Этот фактор повлиял главным образом на произношение: наряду с традиционными

орфоэпическими образцами получают распространение новые, более близкие к орфографическому облику слова (*булоЧНая, тиХИй, боюСЬ* и т.п. – вместо традиционных *булоШНая, тиХЫй, боюС*).

Согласно М.В. Панову, действие и глобальных, и частных социальных факторов на язык не может быть д е с т р у к т и в н ы м, разрушающим языковую систему. Иначе говоря, социальное воздействие может ускорять или замедлять языковые изменения (тезис, сформулированный еще Е.Д. Поливановым), но не может их отменить или «упразднить». Если бы общество могло воздействовать на язык деструктивно, то оно поступало бы против своих интересов, так как в этом случае язык не мог бы выполнять свою основную функцию – быть средством коммуникации.

Надо сказать, что, отдав много сил и времени изучению р а з в и т и я русского языка в XX веке, Михаил Викторович по своим лингвистическим интересам и склонностям оставался синхронистом: он любил рассматривать языковые факты не в их эволюции, а в их отношениях друг с другом. И даже в работе «Русский язык и советское общество», по существу посвящённой истории языка (хотя и микроистории), сказалась его «синхроническая» натура: он предложил эволюцию русского языка анализировать по определенным

с и н х р о н н ы м с р е з а м, что дает возможность сравнивать разные этапы языковой эволюции.

Основные же идеи Панова-синхрониста, касающиеся социальной обусловленности языка, нашли выражение в его концепции **массового обследования** русской речи. Одни из идей, образующих эту концепцию, касаются социально обусловленных подсистем современного русского языка, другие воплотились в предложенных и разработанных М.В. Пановым приёмах и методах обследования говорящих и их речевой практики. Так, он первым высказал гипотезу о существовании особого разговорного языка, о его самодостаточности – первоначально на материале наблюдений над разговорным синтаксисом (см. [Русский язык...1962: 77, 97]). Эта гипотеза, выраженная М.В. Пановым в заостренной, категорической форме, многим лингвистам казалась маловероятной, но затем, как это хорошо известно, она нашла полное и убедительное подтверждение в цикле работ по разговорной речи, выполненных под руководством Е.А.Земской.

Работы по разговорной речи опираются на *массовый* материал. Это важно по крайней мере в двух отношениях: во-первых, только массовый материал может дать надежные, объективные результаты; во-вторых, массовость наблюдений дает возможность выявить социальные различия в реализации разговорного языка. Такие различия особенно заметны в произношении. При этом они «многоплановы», то есть зависят от разных характеристик носителей литературного языка, разных социальных условий его существования.

Вот как писал об этом Михаил Викторович в одной из своих статей:

«Нормы литературного произношения в современном русском языке в значительной степени вариативны. Желательны эти варианты или нет, они должны быть изучены.

Существуют территориальные разновидности литературного произношения: московская, ленинградская, южнорусская, средневожская и т.д. Особо надо отметить разновидности литературного произношения, возникающие в условиях двуязычия: на Украине, в Грузии, Литве, Татарии и т.д., а также в некоторых странах за пределами Советского Союза.

В каждой такой локальной разновидности литературного языка существуют различия в

произношении между поколениями и между социальными группами.

Существуют вместе с тем и внутерриториальные разновидности литературной речи: это сценическая и радиоречь. В действительности они внутерриториальны только в идеале; реально различаются нормы в разных театрах и внутри театров – у разных поколений.

Наконец, каждая из этих разновидностей должна быть изучена в ее стилистических вариантах.

Существенны лишь типические черты каждой из этих разновидностей произношения; следовательно, необходимо массовое фонетическое обследование» [Панов 1966: 173].

Необходимость массового обследования говорящих и была первоначально обоснована применительно к изучению *литературного произношения*. С этой целью М.В.Панов составил «Вопросник по современному русскому литературному произношению» (1959 и 1960), который замечателен в нескольких отношениях.

Во-первых, его применение и получение с его помощью социофонетического материала опровергло бытующее среди лингвистов высокомерное мнение об анкетном методе изучения произношения как о «бумажной фонетике»: методика составления «Вопросника», искусно сформулированные перекрестные и контрольные вопросы и многое другое позволили получить данные, которые дают возможность судить о *реальной* картине современного русского литературного произношения.

Во-вторых, с помощью «Вопросника» было обследовано несколько тысяч информантов и тем самым был получен *массовый* материал, что ослабило действие факторов случайности и субъективности.

В-третьих, предваряющая «Вопросник» социологическая анкета, содержащая лингвистически значимые характеристики информантов, обеспечивает возможность проследить и выразить *количественно* целый ряд зависимостей между произносительными навыками информантов и их социальными параметрами.

В-четвертых, «Вопросник» хорош как инструмент *повторных* массовых обследований. Например, для выяснения динамики социофонетических процессов, тех изменений, которые претерпевает произносительная норма во времени, можно распространить вопросник среди информантов, имеющих те же (или близкие) социальные характеристики, что и в первом обследовании. При обычных слуховых наблюдениях это условие трудно выполнимо.

Примечательна перекличка идей и методов социофонетических исследований М.В. Панова с идеями и методами американского социолингвиста Уильяма Лабова, которые разрабатывались примерно в те же годы: первая социофонетическая статья У. Лабова была опубликована в 1964 году [Labov 1964].

И у Панова, и у Лабова – ясное понимание вариативности как естественного свойства языка, четкая ориентация на языковую реальность во всех ее социальных, возрастных, территориальных и прочих ипостасях, последовательно выраженное стремление количественно измерить наблюдаемые произносительные различия; наконец, для обоих характерна изобретательность в методике социофонетического обследования носителей языка (правда, у Лабова уже в начале 60-х годов были более совершенные технические средства изучения живой речи, включая видеотехнику, а у нас в то время еще и портативных магнитофонов не было).

Одной из характерных черт Панова-социолингвиста является его приверженность

произносительному факту. Эта черта только внешне кажется противоречащей известной любви Михаила Викторовича к геометризму теоретических построений. В действительности тщательное изучение фактического состояния произносительной нормы на том или ином синхронном срезе языка укрепляет фонетическую теорию, способствует ее геометризму.

Само понятие нормы было для Панова неразрывно связано с ее носителями. Отсюда важная роль *фонетических портретов* – описаний произносительных навыков и привычек тех или иных людей как представителей определенной социальной среды. В монографии [Панов 1990] М.В. Панов не только теоретически обосновал само понятие фонетического портрета, но и дал многочисленные образцы таких портретов – от наших современников до деятелей XVIII века. При этом автор придерживался декларированного в начале работы правила, согласно которому и н д и в и д у а л ь н ы й по своему характеру портрет должен отражать черты определенного поколения, того или иного социального слоя, той или иной культурной традиции – театральной, поэтической, бытовой и т.д., нередко локально или профессионально ограниченной: ср. противопоставление московской и петербургской произносительных традиций, особую роль Малого театра как непрекаемого речевого авторитета в конце XIX – первой половине XX века, и т.п.

Идея фонетического портрета и ее воплощение в ряде блестящих портретных описаний, данных в книге Панова, чрезвычайно важны и плодотворны для социолингвистики. Расширяя перечень составляющих портрет характерных признаков путем привлечения морфологических, синтаксических, лексических черт, особенностей стилистического использования единиц разных уровней языка, а также свойств коммуникативного поведения человека, можно создавать уже не фонетические, а *социолингвистические* портреты.

В заключение я хочу сказать, что идеи М.В.Панова недостаточно оценены в современной социолингвистике. Они признаны и развиваются прежде всего в науке о русском языке, в исследованиях по современной русской фонетике, по разговорной речи. Но несомненно, что они имеют и более широкое теоретическое значение, так как указывают перспективные и плодотворные пути изучения языка (не только русского) под социальным углом зрения.

### Литература

Панов 1962 – М. В. Панов. О развитии русского языка в советском обществе // Вопросы языкознания. 1962. № 3. С. 3-16.

Панов 1963 – М. В. Панов. О некоторых общих тенденциях в развитии русского литературного языка XX века // Вопросы языкознания. 1963. № 1. С. 3-17.

Панов 1966 – М. В. Панов. О тексте для фонетической записи // Развитие фонетики современного русского языка. М., 1966. С. 173-181.

Панов 1990 – М. В. Панов. История русского литературного произношения XVIII – XX вв. М., 1990.

Русский язык...1962 – Русский язык и советское общество. Проспект. Алма-Ата, 1962.

Русский язык...1968 - Русский язык и советское общество. Кн. 1 – 4. Под ред. М.В. Панова. М., 1968.

Русский язык...1974 – Русский язык по данным массового обследования. Под ред. Л.П. Крысина. М., 1974.

Labov 1964 – W. Labov. Phonological correlates of social stratification // American Anthropologist. December 1964. Vol. 66. No. 6. Part 2. P. 164-176.

## РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

---

**Язык русского зарубежья.** Общие процессы и речевые портреты. Рос. академия наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. Отв. ред. Е.А. Земская. М.; Вена: Языки славянской культуры, 2001. 496 с. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 53).

В последнее время тема «русский язык за рубежом» по понятным причинам стала одной из центральных в русистике. Почти одновременно вышло несколько книг и множество статей, посвященных этой проблематике. Рецензируемая книга принадлежит перу ученых, публикации которых всегда становятся событиями в лингвистике, и уже поэтому она привлекает к себе особое внимание.

Книга состоит из двух частей. В первой части, написанной Е.А. Земской, – «Общие процессы и индивидуальные речевые портреты» – дается анализ языка, речевого поведения и культуры русских эмигрантов в Италии, Франции, Финляндии и США. Эта часть книги включает в себя Приложение «Очерк языка семьи», написанное М.А. Бобрик, где дается речевой портрет четырех поколений семьи Ф., живущей в Германии. Во второй части «Общие и специфические процессы в языке метрополии и эмиграции» – автор М.Я. Гловинская – дается типология ошибок эмигрантов в сравнении с соответствующими явлениями в современном русском языке. Материалом книги послужили магнитофонные и ручные записи речи русских эмигрантов, в основном сделанные Е.А.Земской, а также многочисленные письменные источники, часто ранее не публиковавшиеся. Так, анализируются неопубликованные мемуары, частная переписка, эмигрантская пресса, магнитофонные записи устной речи эмигрантов. Само привлечение этого богатого и уникального материала и его анализ представляют собой большую научную ценность. Книга обобщает результаты работы авторов за последние несколько лет; ср. целый ряд статей, публиковавшийся ими в центральной лингвистической печати в России и за рубежом.

Деление монографии на две части соответствует исследуемому материалу и научным интересам авторов. Первая часть монографии во многом основана на магнитофонных и ручных записях устной речи (Е.А. Земская), вторая часть – на письменных источниках (М.Я. Гловинская). Соответственно, различаются и объекты сравнения: устная речь сравнивается с разговорным литературным языком (РЛЯ) метрополии, письменная речь – с кодифицированным литературным языком (КЛЯ). Такое деление не случайно. Как известно, Е.А.Земская – одна из исследователей, впервые обратившихся к изучению русской разговорной городской речи, она много работала со «звучащим материалом»; в то же время М.Я. Гловинская посвятила много работ изучению теоретических проблем славистики, базируясь на письменных текстах.

Исследователи в первой части книги называют метод своей работы комплексным: они изучают факты в их многообразии, стремятся найти «корреляции между историческими, социальными, культурными, индивидуальными особенностями и степенью сохранности/разрушения русского языка» (с.29). Для этого изучается биография информантов, создаются их речевые портреты. Многие из информантов – выдающиеся личности, вызывающие

симпатии читателя. Так, одним из «героев повествования» (недостаточно его назвать просто информантом) является Дмитрий Вячеславович Иванов (род. в 1912 году), сын поэта Вячеслава Иванова, семья которого эмигрировала в Италию в 1924 году. Д.В. Иванов – выдающийся журналист, истинный аристократ в лучшем смысле этого слова, блестяще знающий итальянский, французский и русский языки. Другие «информанты» – семья известного финского слависта проф. Наталии Башмаковой, эмигрантки первой волны третьего поколения, в языковой компетенции которой находятся шесть языков. В качестве дополнительного материала приводятся письма семьи Булгаковых (братья Михаила Афанасьевича Булгакова – Иван Афанасьевич и Николай Афанасьевич – жили за границей). Таким образом, «центр тяжести» данного исследования – изучение речи эмигрантов первой волны разных поколений, хотя включены в рассмотрение и отдельные информанты, относящиеся к другим волнам эмиграции. Е.А. Земская пишет по этому поводу: «Я обращаю на речь эмигрантов первой волны особое внимание по ряду причин. Многие из этих людей интересны как незаурядные, сильные талантливые личности. Но главное: речь именно первой волны показывает жизнь русского языка вне России на протяжении почти века. Речь этих людей, с одной стороны, сохраняет особенности старого языка, а с другой, содержит те изменения, которые характеризуют длительное функционирование русского языка в иноязычном окружении» (с.72).

В задачи исследования входит наблюдение за языковыми изменениями; ставится вопрос, какие особенности языка оказываются устойчивыми, а какие прежде всего поддаются иноязычному влиянию и вытесняются. Во второй части книги эти вопросы более подробно анализируются на конкретном языковом материале. В основе такого подхода по сути дела лежит идея первичных и вторичных признаков языка, сформулированная В.М.Жирмунским при изучении диалектов немецких колонистов (хотя авторы этой связи и не указывают). Но если разделение обнаруженных Жирмунским признаков, в основном фонетических, на отпадающие и устойчивые трудно поддается толкованию, то угасание ряда грамматических форм, отмеченное Е.А. Земской и М.Я. Гловинской, объясняется тенденциями развития языка. Так, семантическая нагруженность многих падежных форм в русском языке ослабляется. «Сама форма падежа обычно не служит выразителем определенного значения» (Е.А. Земская: с.104). Ср. следующие отклонения от нормы: *Сидеть на шее кому-нибудь, научиться итальянским языком* (с.105). С другой стороны, спряжение глагола сохраняет семантическую мотивированность, поэтому ошибок в нем не делается.

Наименее стабильными оказываются развивающиеся участки языковой системы, что можно наблюдать и в речи эмигрантов, и в разговорном языке, и в детской речи. С другой стороны, существуют и универсально слабые участки, обладающие объективной сложностью, уязвимые не только в речи диаспоры, но и при речевых нарушениях (с.482).

Подробный и, скажем сразу, блестящий анализ этих языковых категорий дается во второй части книги, написанной М.Я. Гловинской. Здесь рассматриваются процессы изменения отдельных грамматических категорий в речи эмигрантов в сравнении с языком метрополии. При этом выделяются явления, как общие для языка эмиграции и метрополии, так и специфические для языка эмиграции. К первым относится, например, ослабление формального противопоставления

падежей, ко вторым – распределение существительных по классам *singularia* и *pluralia tantum* и т.п.

На объективность сделанных авторами выводов указывает, в частности, то, что эмигранты одной и той же волны в разных странах делают сходные ошибки. Одной из тенденций развития русского языка, которая, по мнению Е.А. Земской, особенно отчетливо проявляется в речи эмигрантов, является рост аналитизма. Развитию языка в этом направлении способствует включение в тексты многих несклоняемых слов, в основном из английского. Но с этой тенденцией борется другая – стремление инкорпорировать иностранное слово в русскую слово- и формообразовательную систему. Ср. такие слова, как *волонтирский*, *поланчум*, *вэлферицик* (с.207).

В книге (как в первой, так и во второй ее части) мы находим много примеров тонкого лингвистического анализа, интересные наблюдения. Ср. хотя бы объяснения примеров *между Александр втором и ее*: «на флексию числительного влияет флексия существительного, т.е. «улыбка чеширского кота» (с.88, Е.А. Земская) или *он никогда не хотел оставить без еды профессора*: интерферирующее влияние немецкого *nie*, означающего и «никогда», и «ни в коем случае» (с.448, М.Я. Гловинская).

Как следует из всего сказанного, рецензируемая книга дает новый материал не только для изучения языковых контактов, но и для осмысления языковых процессов в современном русском языке. Вывод о том, что изменения, происходящие в языке эмиграции, могут иметь «опережающий характер», что «психологический, социальный и культурный шок», связанный с эмиграцией, может повлечь за собой ускорение многих языковых процессов (с.483: М.Я. Гловинская), представляется вполне убедительным.

Естественно, что такое исследование, содержащее новый материал и основанное на новых подходах, будит мысль и вызывает желание поспорить с отдельными положениями авторов. В некоторых случаях представляется, что приводимый материал дает основание для анализа, противоречащего выводам автора. Так, на с. 91, а также в разделе выводов (с. 103, 1.4.: Е.А. Земская) мы читаем о разрушении категории одушевленности, при котором «форма род. падежа проникает в сферу неодушевленных существительных, вытесняя форму вин. падежа, равную форме им. падежа» (с.103). Ср. примеры: *на английского языка, на французского, обожает своего вентилятора, про таких культурных обменов* (с. 91-92). Вместе с тем в разделе "Употребление им. падежа вместо косвенных" приводятся несколько примеров, которые свидетельствуют об обратном: *куклы смотреть; Сервантес я не могу читать по-испански, Диккенс я очень люблю тоже* (с. 86). Автором эти отклонения объясняются «экспанси[ей] именительного падежа», а вовсе не тенденцией к употреблению «неодушевленных форм» в винительном падеже. Возникает вопрос: не являются ли эти примеры также свидетельством колебаний в употреблении категории одушевленности – в особенности там, где возможна двусмысленность, ср. *куклы, Сервантес* в значении 'произведения Сервантеса' – *pars pro toto*? Еще более показателен не прокомментированный Е.А. Земской пример *через муж моей матери* (с.96). Такая интерпретация подкрепляется опытом преподавания русского языка: все преподаватели РКИ могут привести примеры ошибочного употребления винительного падежа (=им. падеж) одушевленных существительных, как *я люблю этот актер, я читал Евгений Онегин по-немецки*). Аналогичные

отклонения зарегистрированы нами в речи целого ряда эмигрантов, живущих в Австрии: *Ты знаешь Загорский? Ты знаешь сын от К.? Оставил всех своих друзей и родственники* [Pfandl 2000].

При изучении грамматического оформления «иноязычных существительных» (заимствований?, окказиональных заимствований – *nonce loans*?) в первой части книги отмечается, что слова с исходом на *i, u, o*, как правило, «требуют от зависимых слов согласования в среднем роде». Однако большинство приведенных примеров не дает возможности проверить эту констатацию: *Я была на disability. Полезем в джакузи. Саша дал мне ваш телефон на случай эмердженси* (с.302: Е.А. Земская) . Дается и пример: *Ой, какой вью! Квартиры с вью дорожке стоят. Вью ценится*, где соответствующее слово, как полагает автор, – мужского рода (хотя, как известно, заударные окончания им.падежа в русском языке обычно не дают возможности для дифференциации рода). Если исходить из многоязычия представителей первой эмиграции, которое сам автор выдвигает как одну из характеристик речевого поведения эмигрантов, то есть все основания полагать, что такие слова могут сохранить род, присущий им в контактном языке – это касается в первую очередь заимствований из французского. Вряд ли приведенные Е.А. Земской без контекста слова *carnet, avis, demi, gaga, disponibilité, menu* и *memento* «функционируют как несклоняемые существительные среднего рода» (с. 203), тем более, что средний род отсутствует во французском. Судя по имеющимся у нас материалам, такие слова склонны сохранять род, который им присущ во французском: *\*мой carnet, \*моя disponibilité* и т.д. (Ср. приведенный выше пример *какой вью*, а также: *такой маленький мemento*). Таким образом, данный вопрос нельзя решать однозначно; ср. также колебания в русском языке: *кофе* мужского рода в произношении образованных людей, стремящихся соблюдать норму, и общепринятый средний род в этом слове.

Категория вида в русском языке, как известно, одна из самых сложных для усвоения иностранцами и самых уязвимых при утере языка. Тем не менее, как отмечает Е.А. Земская, в ее материале «отмечены лишь два случая неправильного употребления видовых форм в речи одного лица» (с.104). Этому противоречит пример на с.89: *несколько раз мне так случилось*. Кстати, об ослаблении этой категории свидетельствует оговорка самого автора. На с. 264 (Е.А. Земская) читаем: «В словарях же английские глаголы обычно получают переводы в форме обоих видов: *say – говорить, сказать; swim – плыть, плавать*» (последние два глагола одного вида).

Особую роль в языке эмигрантов играет использование иноязычной лексики, этот вопрос заслуживает пристального внимания. Е.А.Земская дает классификацию таких слов. Например, русские эмигранты, живущие в США, могут использовать английскую лексику в номинативной функции (наименование предметов и явлений, характерных для американской жизни): *green card, social worker*. Второй тип англицизмов (американизмов) «служит для самовыражения, самоутверждения»; например: *Нет / Я для себя беру каледж* (с.189). Третий тип – экспрессивно-стилистический: *В Америке такая бюрократия... // Мой муж сталкивается со стафом* (с.192). Кроме того, в речевом поведении информантов возможны и случаи полного исключения американской лексики из русской речи, т.е. крайнее проявление пуризма. Эта классификация, безусловно, полезна, хотя, как нам представляется, иногда границы между указанными типами весьма зыбки. Так, первый и второй из них часто трудно отделить друг друга, что видно и на

приведенном примере: обучение немолодого человека в колледже нехарактерно для русской действительности, что может легко объяснить переключение на английский. При изучении языковых контактов Е.А.Земская опирается на московскую социалингвистику, недостаточно принимая во внимание современные работы по языковым контактам, в частности, многочисленные исследования по переключению кода в американской и европейской лингвистике; по-видимому, это делается вполне сознательно, из-за несогласия с соответствующими концепциями. Переключение кода приписывается плохому знанию второго языка (с.190-192), что верно для целого ряда обследованных информантов, особенно если сравнивать высокообразованных русских дворян – представителей первой волны эмиграции и информантов иных эмиграционных волн, но не подтверждается материалом многих широкоизвестных исследований языковых контактов в разных странах.

Ср. хотя бы наблюдение С. Карцевского, приводимое в рецензируемой книге далее, во второй части, с.437: «Беженецкий быт способствует формированию особого *argot*, в который входит значительное количество заимствований из языка той страны, где обосновалась данная категория эмигрантов», а также пример, приводимый М.Я. Гловинской на с.438. Во время ее пребывания в Австрии ей пришлось использовать слово *Verpackung* 'упаковки как тип мусора, выбрасываемого на помойку'. Перевод этого слова на русский приводил к «коммуникативной неудаче» («какие упаковки?»). Противоречие этих данных отчасти можно объяснить различиями «речевых регистров» – упомянутый Карцевским тип дискурса часто используется в речи эмигрантов, особенно молодых, «между собой», являясь отличительным признаком данного микроколлектива („the we code“).

М.Я. Гловинская разделяет заимствования из языка окружения и лексические кальки (последние описываются с помощью лексических функций, предложенных Жолковским и Мельчуком). Отдельно ею анализируются семантические кальки, особенности сочетаемости различных слов и т.п. К сожалению, она не всегда указывает источник в случае буквального перевода чужого слова. Если относительно ясно, что *ездить на зимний спорт* (с. 454) восходит к фр. *aller au sport d'hiver*, то менее понятно, откуда взято *она [...] хорошо оплачена* (там же) – из нем. *Sie wird gut bezahlt* или из фр. *Elle est bien payée*? И уж совсем загадочно, откуда информант из Израиля берет *со вторых рук* (там же): если из английского, немецкого или иврита, то должно быть \*из второй руки. Здесь скорее всего перед нами русское выражение (старая калька?), вариант которого зарегистрирован, кстати, в словарях (ср. *из вторых рук* 'через ряд посредников, не непосредственно' в [МАС 3: 738]), приспособленное к современной израильской действительности и подвергшееся влиянию английской или ивритской фраземы.

Говоря о кальках, Е.А. Земская отмечает, что «они возникают в речи эмигрантов активнее и раньше, чем заимствования» (с.122), при этом не учитываются случаи, когда эмигрант приезжает «без языка». Таким образом, данное утверждение верно лишь для билингов, особенно первой волны.

Полемизируя с рядом исследователей, Е.А. Земская вполне убедительно указывает на то, что нельзя смешивать особенности разговорной речи с «американизмами» (с.262-263). Тем не менее ее предложение рассматривать исключительно речь выходцев из России кажется

неправомерным – носители литературного русского языка, безусловно, могут быть выходцами из разных областей и республик бывшего СССР (вспомним биографии Гоголя, Булгакова, Катаева, Ильфа и Петрова и многих других русских классиков), тем более что лингвисту несложно отличить региональные особенности русского языка от иноязычных влияний. В связи со всеми этими замечаниями наиболее слабой представляется глава первой части книги «Два полюса», где сравнивается языковое поведение Д.В. Иванова и информантки из Сыктывкара, названной Женей, которая живет в Германии как жена российского немца, работает няней в доме престарелых и хочет как можно скорее выучить немецкий язык и интегрироваться в жизнь окружающих. Женя вставляет в свою речь много немецких слов, что Е.А. Земская характеризует как «хаотический сплав двух языков». Приведенные примеры, однако, свидетельствуют и против хаотичности рассматриваемых высказываний, и против представления о «сплаве». Перед нами русский язык с закономерными в соответствующей ситуации заимствованиями и переключениями кода, хорошо известный в теории языковых контактов и описанный в целом ряде моделей (ср. хотя бы работу К. Майерс-Скоттон [Myers-Scotton 1993]). С точки зрения «эмигрантологии» и просто здравого смысла женщина, названная Женей, для окружающих и есть идеальный эмигрант. Она – скромная, работающая, не претендует на высокое положение в обществе, составляя тем самым конкуренцию другим, работает там, где нужны рабочие руки, стремится как можно скорее интегрироваться в общество, а не быть для него обузой.

Кстати, проблемы целых групп эмигрантов в книге не рассмотрены. Это прежде всего российские немцы (почему-то утверждается, что следует принимать во внимание лишь язык этнически русских членов их семей, в то время как для подавляющего большинства из них русский является родным) и представители так называемой еврейской эмиграции. Между тем выводы о возможности сохранения русского языка за рубежом представляются верными и для этих групп эмигрантов, особенно для последних, которые в основном стараются сохранить русский язык в эмиграции и заботятся об обучении русскому языку своих детей.

Таким образом, представляется, что в области языковых контактов и речевого поведения русских за рубежом наиболее глубокими в книге являются исследования первой волны эмиграции. Но оптимистический вывод, сделанный Е.А. Земской, может касаться целого ряда представителей всех волн эмиграции: «[...] можно констатировать поразительную стойкость русского языка. Во многих семьях [...] русский язык живет в третьем поколении эмиграции. Но есть и такие семьи, в которых русский язык сохраняется и в четвертом поколении жизни вне России» (с.264). Созданные в книге речевые портреты представителей русской диаспоры, сохранивших русский язык, дополняют наши знания о русской культуре, наглядно показывают лучшие традиции представителей русской дворянской интеллигенции, сохранявших свои высокие культурные и поведенческие привычки всюду, куда бы они ни попали, и прививавших эту высокую культуру окружающим.

Как следует из всего сказанного, целые разделы рецензируемой книги связаны с билингвизмом, теорией речевых контактов и «эмигрантологией». Интересны рассуждения о различном отношении к русскому языку и к русской культуре разных волн эмиграции, о речевом поведении информантов в зависимости от их жизненных устремлений, культурной ориентации, уровня образования и т.п. На с.33 (Е.А. Земская) даются определения некоторых понятий, важных

«для изучения языковой компетенции эмигрантов» – «первый язык, материнский язык, домашний язык, основной язык, родной язык». Этот «словарик» полезен для анализа языковых контактов, но в отдельных случаях известны и ситуации, выходящие за рамки данных определений. Так, первый язык определяется как тот, «на котором ребенок начинает говорить», «учится считать и продолжает считать в течение всей жизни». Это правильно для целого ряда случаев, но неверно, например, по отношению ко многим этническим меньшинствам, которые обучаются на языке страны проживания. На с. 209 Е.А. Земская резюмирует факторы, способствующие сохранению русского языка. На первое место выдвинута установка на его сохранение, которая противопоставляется отсутствию такой установки. Эта оппозиция, по Земской, «не эквивалентная, а привативная, так как человек, даже не имея установки сохранения русского языка, может не утратить его».

Имплицитно автор здесь полемизирует с концепцией трех типов культурно-языкового поведения, сформулированной впервые в работе [Пфандль 1994], а затем многократно используемой в других работах того же автора, наиболее подробно в исследовании [Pfundl 2000]. В этой модели учитывается отношение не только к русскому языку, но и к языку страны пребывания: антиассимилятивный тип поведения (ААТП) состоит в установке на сохранение привезенного языка при максимальном игнорировании языка страны пребывания, ассимилятивный тип поведения (АСТП) – в установке на максимально быстрое усваивание языка страны пребывания, при пренебрежении к собственному языку (т.е. при отсутствии той "защиты, ухода", о которых говорит Е.А. Земская), а бикультурно-билингвальный тип поведения (ББТП) – в одновременном внимании к обоим языкам (а иногда и к трем-четырем). Имеются факты, позволяющие сделать вывод, что именно бикультурная установка дает лучшие результаты сохранения первого (русского) языка [Pfundl 2000].

На с. 43-44 (Е.А. Земская) говорится о четвертой эмиграционной волне. «В подавляющем большинстве ее составляют люди, уехавшие из России навсегда, не имеющие желаний возвращаться. Их цель – как можно скорее добиться в стране-приюте успеха, иметь работу, дом, семью [...]. Многие из них стремятся всеми силами говорить на новом языке и перестают говорить по-русски». Такое определение кажется нам странным, особенно если учесть современную ситуацию, когда многие уезжающие сохраняют за собой квартиры, живут то здесь, то там, едут учиться за границу и часто там остаются, найдя работу, и т.п. Поскольку сейчас появилась возможность вернуться, шаг эмиграции не является бесповоротным. Сохраняются и связи со страной исхода, что способствует хорошему знанию языка, в том числе современного сленга. Многие эмигранты именно этой волны привезли с собой большие домашние библиотеки на русском языке, покупают новые книги в открывшихся русских магазинах, смотрят русское телевидение, прививают детям любовь к русской культуре. Например, одна наша информантка в Израиле призналась, что с приездом новых иммигрантов из России она вернулась к русскому языку – стала разговаривать с соседями, смотреть русское телевидение. Именно сейчас возникли предпосылки для бикультурно- билингвального типа языкового поведения, недооцениваемого Е.А. Земской.

В заключение укажем на некоторые неточности, ошибки и опечатки.

Звук [h] (Hauchlaut) в немецком глухой – на с. 80-81 (Е.А. Земская) он назван звонким. На с.54 (Е.А. Земская) сказано, что информант произносит слово *буфет* «как французское с мягким б», тогда как во французском нет фонематического различия твердых и мягких согласных. Речь идет либо о произношении гласного [y], либо о соответствующей субституции. Английское *darling* в приведенном контексте едва ли можно считать прилагательным, а *cloudy* переводить как «громкий» (с.204). Произведенный от немецкого *putzen* глагол (с.206, 140), часто встречающийся в речи эмигрантов в немецкоязычных странах, по нашим наблюдениям, в Германии и Австрии звучит не *путцить*, *она путцит*, а *путцать*, *она путцает*, *я путцаю* и т.д. Выражение *он нас бламирует* (с.206) происходит не от несуществующего *Blam*, а от *blamieren*.

Странным представляется утверждение М.А. Бобрик на с. 311, что редукция в первом предударном слоге ([с *събой*] вместо [с *сабой*]) «характерна для немецкого акцента в русском языке». Немцу гораздо легче произнести а-подобный звук, нежели редуцированный. Как правило, изучающий русский язык немец произносит безударный редуцированный звук как [a]: [гаварил]. Словосочетание *говорил стихи* (с. 299, 319), по-видимому, восходит к немецкому *Gedichte aufsagen* 'декламировать, читать наизусть стихи', противопоставленному выражению *Gedichte lesen/vorlesen* 'читать стихи (из книги, по бумажке и т.п.)'. Речь идет о разных системах концептов в двух языках.

В некоторых случаях авторы, как ни странно, исходят из нормативного, близкого к пуризму, подхода к языку. Так, говорится об ошибках, а не об индивидуальных чертах, отклонениях, о том, что было бы предпочтительнее. Примеры такого нормативного подхода – на сс. 358, 359, 369, 377, 380. М.Я. Гловинская, правда, пишет о том, что «эти факты следует рассматривать с точки зрения их грамматической перспективы» (с. 370), однако от концепции нормы и ошибки не отказывается. Очень странно, что (эмигранту?) Ивану Тургеневу приписываются ошибки в употреблении видов, тем более в спорном предложении: *Ты не можешь и не должна простить* меня вм. *прощать* (из романа «Дым») (с.388). То же относится и к ряду высказываний Е.А. Земской. Например, вместо современных нейтральных терминов «дискурсивное слово», «маркер дискурса» и т.п. используется старый пуристический термин *слово-паразит* (с.142).

Несмотря на приведенные критические замечания, рецензируемая книга представляет собой выдающийся вклад в языкознание, что обусловлено и новизной, и широтой вводимого в научный оборот материала, и глубиной анализа, и теоретическими выводами, важными для разных аспектов лингвистики.

Основные заслуги авторов рецензируемой книги, как нам представляется, состоят в следующем. На материале речи эмигрантов, которая сравнивается с некоторыми пластами языка метрополии, исследованы тенденции развития современного русского языка (Е.А. Земская, М.Я. Гловинская). Изучены речь и речевое поведение целого ряда живущих в разных странах эмигрантов и проведено сравнение между ними (Е.А. Земская). Созданы речевые портреты некоторых информантов (Е.А. Земская, М.А. Бобрик). Особенно глубоко изучены речь и поведение эмигрантов первой волны. Книга, безусловно, будет полезна филологам, социологам, культурологам и всем, кто интересуется проблемами языка и культуры.

## Литература

МАС – «Малый академический словарь» = Словарь русского языка: В 4 т. М., 1985-1988.

Пфандль 1994 – Х. Пфандль. Русскоязычный эмигрант третьей и четвертой волны: несколько размышлений // Русский язык за рубежом. 1994. № 5-6. С.101-108.

Myers-Scotton 1993 – С. Myers-Scotton. Duelling Languages: Grammatical Structure in Code Switching. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Pfandl 2000 – Н. Pfandl. Erstsprachenverwendung und kulturelle Einstellungen von russischsprachigen Emigrierten mit frühem Ausreisalter in deutschsprachiger Umgebung: Elemente einer Analyse der sprachlich-kulturellen Persönlichkeit. Habilitationsschrift. 586 S. Graz, 2000.

*Л. Найдич (Иерусалим),  
Х. Пфандль (Грац)*

**Русский язык зарубежья** / Под ред. Е.В.Красильниковой. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

Весьма деятельный в своем разрушительно-созидательном устремлении XX век перекаивал не только политическую, но и языковую карту России. В связи с этим закономерно то пристальное внимание, которое лингвисты уделяют сейчас русскому языку зарубежья, причем специфика объекта изучения такова, что в поле зрения исследователей оказываются также исторические, социологические, культурологические аспекты проблематики.

Рецензируемая книга является результатом многолетней работы авторов. В совокупности глав она представляет и обобщает богатейший материал, который свидетельствует о русском языке зарубежья как культурно-историческом феномене. Анализу подвергнуты его разные реализации: бытовая, религиозная, метаязыковая, творческая. Русский язык зарубежья осмыслен как особая форма отражения национального самосознания и национальной культуры.

**Н.И. Голубева-Монаткина «Эмигрантская русская речь».** В основе главы лежат представления об исторической и культурной уникальности Зарубежной России. Автор считает, что сохранению и поддержанию русского языка способствовали православная церковь и школа, поэтому подробно прослеживается история церковной жизни, описываются эмигрантские учебные заведения во Франции и в других странах с двадцатых годов до Второй мировой войны.

На основе публикаций эмигрантов первой волны проанализировано состояние русского языка в эмиграции и в метрополии. Полнота представления проблематики обеспечивается привлечением лингвистических трудов, написанных в России и посвященных анализу послереволюционного языка (А.М.Селищев, Л.В.Щерба, Г.О.Винокур, Е.Д.Поливанов), а также обзором публикаций вплоть до пятидесятых годов, когда эмиграция осознала, что оформились две ветви русского языка – «эмигрантский» и «советский».

Разработана общая характеристика староэмигрантской речи, очерчен круг ее носителей. На основе анализа интервью с представителями Русского Зарубежья разных поколений (записи сделаны в 1991-1992, 1995-1998 гг.) установлен обширный перечень социальных, психологических и др. факторов, определяющих особенности этого языкового феномена. При опоре на возраст информанта были выделены три группы говорящих по-русски,

но учитывались и дополнительные критерии дифференциации: этническая самохарактеристика, приоритетное употребление русского или французского языка, время пробуждения интереса к русскому языку, уровень развития навыков чтения. Достоверность теоретических выкладок исследователя подтверждается в представленных расшифровках интервью.

На большом количестве примеров проанализированы лексические и грамматические особенности староэмигрантской речи во Франции. В частности, при ограниченности словарного запаса в целом, активности варваризмов, различиях в составе синонимических рядов, образовании неологизмов, называющих реалии эмигрантской жизни во Франции, в словаре выделяются четыре специфические группы слов: семантические архаизмы (*очень тесное движение*); просторечные в современном русском языке слова (*мне кто-то оттудова / из России / перевел*); слова, имевшие в русском языке при социализме статус историзмов (*гувернантка, кадетский корпус*); слова с калькированным значением (*мне будут делать радио*). Особое внимание уделено различным отступлениям от нормы: нарушению в сочетаемости слов, смешению паронимов, образованию неудачных дериватов, ошибкам в употреблении залога, замене придаточного предложения конструкцией с инфинитивом, использованию прямообъектных конструкций вместо обстоятельственных и др.

Н.И. Голубевой-Монаткиной представлены также некоторые черты новоэмигрантской речи в Канаде. На материале русскоязычного духовоборческого журнала «Искра» выявлены лексические и грамматические особенности речи канадских духовоборов.

**С.Е. Никитина «Русские конфессиональные группы в США: лингвокультурная проблематика».** Изменение объекта и предмета изучения, погружение в иную социальную и культурную среду подчеркивает своеобразие русского языка зарубежья. Исследование выполнено на материалах, полученных в экспедициях к молоканам и старообрядцам США в 1990, 1993, 1996 гг.

По мнению автора, жизнеспособность молоканства обеспечивается его замкнутостью, проявляющейся в сознательном строительстве своей культуры и создании культурных барьеров, в тенденции к компактному заселению, в обостренном самосознании как следствии «выделенности» культуры, в важной роли личности в сохранении и передаче культуры.

Были разработаны вопросники. В главе приведены одиннадцать вопросов и дан аналитический обзор ответов, который представляет языковую ситуацию в конфессиональной группе. Важно отметить, что полученные результаты подтверждают наличие зависимости степени интерференции языков от уровня владения этими языками. В главе проведен подробный анализ конкретных форм влияния английского языка на русский.

Словесная культура молокан квалифицируется как книжная и письменная по источнику и как устная по способу функционирования и передачи. Особый интерес вызывают лингвистически прокомментированные тексты песен, транскрибированные с установкой на передачу русской фонетики латиницей с использованием английской орфографии (*Ahn-hil moy hran-ee-til*), и запись допроса, сделанная молоканским собеседником по впечатлениям от общения с представителями КГБ.

В работе последовательно развивается мысль о конфессиональной идеологии как «охранителе» русского языка. Влияние английского языка ограничивается благодаря четким представлениям молокан о том, что для моления и пения, обращенных к Богу, уместен только

русский язык, а беседа, адресованная собранию, может проходить на английском языке.

Как дискурс описано богослужение молокан. Он формируется во времени как связный текст с единой темой («золотой нитью»), с формальными показателями связи при переходе от одного участника к другому, стилистически единый и обладающий определенным эмоциональным настроением (богослужение идет «по тону и по смыслу»). Такие особенности богослужения предъявляют высокие требования к людям, порождающим этот сложный дискурс (богослужение идет также «по Духу и по разуму»). Эти требования представлены в интервью, авторский комментарий которых таков, что выделяет доминанты речевых портретов «старцев».

Детально рассматриваются сильные звенья лексики русского языка, которые не подвергаются разрушению. Это термины духовной жизни молокан, которые образуют несколько пластов, организованных иерархически. Верхний слой сформирован словами, смысл которых связывает человека и Бога (концепты *Истина, Дух, душа, слово...*); второй слой представляет социально-религиозную жизнь молокан (*собрание, обряд, старец...*), а также некоторые родственные связи (*дедунь, бабунь*); третий слой – слова, имеющие и утилитарный, и ритуальный, символический смысл (*косынка, борода, чай...*).

Широкому кругу читателей будут интересны аргументы молокан в пользу сохранения богослужения на русском языке, не только религиозные, но и лингвистические, лингвоэстетические, культурно-исторические

**Н.А. Кожевникова «О языке художественной литературы русского зарубежья».** Необходимость исследования такого рода была давно осознана лингвистами, изучающими русский язык зарубежья. По широте и глубине охвата материала эта работа равна объему книги. Результаты наблюдений имеют обобщающий характер и представляют проблематику структуры художественного текста в целом.

Предметом изучения стали произведения А. Ремизова, И. Шмелева, И. Бунина, В. Набокова, М. Цветаевой, М. Осоргина, Б. Зайцева, М. Алданова и др. Исследование дает панорамный взгляд на язык русского зарубежья, на особенности литературного процесса, выявляет доминанты идиостилей. Автор последовательно развивает свои представления о прозе и поэзии эмиграции как о синтезе традиции и новаторства в области языка, композиции, предмета изображения.

Для литературы русского зарубежья свойственно построение повествования с ориентацией прозы на книжную речь, реже - на разговорную. Характерологическое повествование используется для передачи словоупотребления персонажей или изображаемой среды и противостоит авторскому повествованию. Описываются разные типы повествователя, особое внимание уделяется повествованию от первого лица.

Как важнейший признак литературы зарубежья рассматривается ее лингвистическая ориентированность: писатели выступают как собиратели и лексикографы, часто дают метаязыковые комментарии, отдельное слово и язык становятся предметом изображения. В центре внимания оказывается лексика разной функциональной и стилистической принадлежности.

В работе большое внимание уделено тому, как в литературе зарубежья фиксируется и осмысливается языковая ситуация. Писатели анализируют особенности словоупотребления, обусловленные жизнью в иноязычном окружении («*Нас миленьки в воскресенье Угощали синемой*»

(Дон-Аминадо. «Эмигрантские частушки»)), способы сосуществования русских и иноязычных слов, русское слово дается в восприятии французов и англичан.

Важнейшая черта русской эмигрантской литературы - тщательный анализ и оценка языка революционной эпохи: «большевицкий жаргон» (И.Бунин), «ревжаргон» (Ф.Степун), революционная фразеология – «слова-звуки» (И.Шмелев). Говорится о семантической опустошенности нового языка, его непонятности из-за чрезмерного употребления иноязычной лексики, аббревиатур, которые часто воспринимались как свидетельство не только отсутствия языкового вкуса, но и чувства юмора. В работе отмечается повышенная экспрессивность и стандартизация языка этого времени, рассматриваются перефразирование, метафоризация, гиперболизация, употребление «постоянных» эпитетов как приемы революционной риторики.

В литературе зарубежья новый язык воспринимался сквозь призму революционного сознания, как свидетельство иного отношения к человеку, которое обнаруживается в вытеснении некоторых слов (вместо *человек, личность* употребляется *элемент*), в переосмыслении значения слов (*мещанин, обыватель*), изменении, стандартизации сочетаемости (*гнилой, напуганный интеллигент*). Постоянно присутствует тема отношения слова к действительности, раскрывающая лживость официального словаря.

Автор оценивает широкое использование цитирования как фактор осознания писателями себя в качестве носителей не только русской, но и мировой культуры. Круг цитат чрезвычайно широк, цитатность становится стилеобразующим фактором, цитата выступает как способ описания и оценки ситуации, вытесняя и заменяя авторское слово. Актуализация цитат достигается не только их воспроизведением, но и видоизменением, переосмыслением («*О, кони, - не гоните ямщика*» (В.Дукельский)).

При детальном рассмотрении особенностей тропики и образной системы Н.А.Кожевникова исходит из того, что для эмигрантской литературы свойственна установка на продолжение поэтической традиции. Вместе с тем интересны наблюдения о депозитизации, снижении, переосмыслении традиционных слов-образов (*роза, весна, звезда, корабль*).

На обширнейшем материале прослеживается обогащение категории качества: рассмотрены метафорический эпитет, синэстетические и синкретические метафоры, дана характеристика сложных прилагательных, отмечено развитие определительных наречий, обладающих синтаксической связью и с глаголом, и с существительным. Устанавливаются характерные для литературы зарубежья способы номинации, предметом изучения стала также паронимия как прием, который развивался писателями-эмигрантами.

**Л.Г.Грановская «С.М.Волконский (1860 – 1937)».** Исследование осуществлено по доэмигрантским и зарубежным публикациям С.М.Волконского, директора императорских театров, внука декабриста С.Г.Волконского: «О русском языке» (1923), «В защиту актерской техники» (1911), «Выразительное слово» (1913), «В защиту русского языка» (1928), «Засорение и чистка русского языка» (1928) и др.

Содержащийся в них языковой материал систематизирован таким образом, что объединяется в две части. Первая, основная, представляет круг лингвистических тем, постоянно интересовавших автора. Они касаются преимущественно вопросов культуры речи и речевой культуры: произношения, интонирования (в том числе в актерской и ораторской технике),

искоренения высокочастотных слов-«фетишей» (*интеллигенция, миссия, нигилист, роскошный*); строится детальное толкование синонимов с целью установления их дифференциальных признаков и обосновывается значимость различий (*одиночество, одинокость, уединение*); осмысливается состав иноязычных слов и причины их экспансии, составлен список слов, требующих замены (в него вошли и активно употребляемые сейчас слова *аргумент, экспорт, компетенция, координировать, рецензия, штраф* и др.). Особое место занимают оценки советского языка со свойственным ему переосмыслением слов, созданием новых слов, специфическим употреблением некоторых грамматических форм.

Как видим, большинство этих тем находится в круге интересов эмигрантской филологии, но индивидуальность их разработки очевидно связана с представлениями С.М.Волконского о жесткой зависимости мышления от языка. Для работ этого автора характерно как внимание к отдельному слову, так и желание определить причины, обуславливающие изменение языковой ситуации. Например, насыщение русской речи иноязычными словами С.М.Волконский связывает с деятельностью народовольцев, а позднее со стремлением депутатов Думы «отлакировать» действительность использованием заимствований (*экспроприация, ликвидация, террор*).

Главу, написанную Л.М.Грановской, можно охарактеризовать как текст в тексте. Исследователь стремится вывести на передний план восприятия осмысление русского языка С.М.Волконским, но этот материал, а также вторая часть работы, посвященная некоторым особенностям поэтики книг «Быт и бытие», «Последний день», формируют представления о речевом портрете самого С.М.Волконского.

**Е.А. Красильникова «Никита Алексеевич Струве».** Исследование осуществлено в жанре речевого портрета и дает общую характеристику стиля Н.А.Струве - филолога, редактора журнала «Вестник русского христианского движения», представителя третьего поколения эмигрантов. Первым объектом изучения стал сборник «Православие и культура», объединяющий публикации 1957 – 1991 гг.

Глава построена как доказательство выдвинутого тезиса о том, что стилистику Н.А.Струве можно определить как полистилистику. Автор текстов активно использует выразительные возможности лексики, представляющей книжно-литературную и церковнославянскую линии, причем часто обращается к заимствованным словам (*анория, провиденциально*); одновременно в полемически ориентированных фрагментах текстов употребляется стилистически сниженная лексика (*вытурить, побрякушки*). Третий стилистический уровень представлен образными употреблениями, прежде всего метафорическими (*корабль православия, победы «движенческого духа»*).

Особое внимание уделяется антонимам, их составу, способам введения, и главное, построению отдельных предложений и целых текстов на основе оппозиций и нейтрализации оппозитивности («*Соборность – краеугольное понятие нашего времени, живущего под знаком двух полярно противоположных систем: абсолютного индивидуализма и абсолютного коллективизма*»). Исследователь приходит к выводу, что это не просто важная особенность стиля, а та его доминанта, которая отражает диалектичность миропонимания автора.

Полифоничность текстов Н.А.Струве создается привлечением иных точек зрения, данных

через «чужое» слово, что расширяет историческое, культурное и временное пространство текстов и задает их диалогичность. Полемическая направленность изложения поддерживается активным использованием вопросительных и восклицательных предложений. Они выступают не только как способ смыслового развертывания текста или как риторические фигуры, но и являются сильным приемом активизации читателя.

Целостность представления речевого портрета обеспечивается тем, что во второй части работы дана расшифровка беседы Е.В.Красильниковой с Н.А.Струве, состоявшейся в 2000 г. при участии Н.Н.Розановой. Разговор касался не только вопросов языка, но и педагогической, исследовательской, переводческой, общественной деятельности Н.А.Струве, истории его семьи, встреч с Ахматовой, Ремизовыми, Буниными; много внимания было уделено церковной жизни, роли церкви в сохранении связи с русской культурой. Особый интерес представляют утверждения Н.А.Струве о том, что «...эмиграция кончена / круг завершился» [С. 323]; «...я считаю, что конец эмиграции 89-й год» [С. 327]; «...церковь скорее сохраняет / помогает сохранить / вот это русское лицо // а не... не непременно саму языковую... стихию» [С. 325].

Таким образом, рецензируемая книга вносит существенный вклад в разработку вопросов функционирования языка в условиях ограничения его коммуникативной ценности, выявления степени устойчивости различных языковых звеньев, интерференции и адаптации в иноязычной среде. Последнее особенно актуально сейчас, так как дает определенную информацию для преодоления конфликта культур [Тер-Минасова 2000: 19].

В то же время следует отметить, что отдельные фрагменты книги на общем фоне подробнейшей разработки материала приобретают статус «подступа к теме». Есть некоторая широта подходов к объекту изучения. Однако, как кажется, параллельность полученных результатов при установке на целостный в различных областях анализ позволила авторам представить язык зарубежья как множество индивидуальных систем, как слепок с личности, то, о чем Н.Н.Берберова сказала: «Русский язык для меня все» [Берберова 2001: 627].

Книга легко читается, характер изложения таков, что передает искреннюю увлеченность авторов объектом изучения. Теоретические выкладки подтверждаются большим количеством примеров. В главах приведена обширная библиография, включающая редкие работы. Опубликованные интервью обладают исторической, культурной и лингвистической ценностью и обогащают фонд данных этого рода. Они представлены в объеме, который позволяет читателю почувствовать специфическую и, несомненно, интересную языковую среду.

Многофункциональный подход к языку эмиграции расширяет круг адресатов книги, делает ее интересной как для филологов, так и для социологов, психологов, политологов, специалистов в области международных отношений и межкультурной коммуникации.

## Литература

Берберова 2001 – Н.Н.Берберова. Курсив мой: Автобиография. М., 2001.

Тер-Минасова 2000 – С.Г.Тер-Минасова. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000.

*И.А. Гулова*

**Людмила Щеголева. Путятинна Минея (XI в.) в круге текстов и истолкования. 1-10 мая.** М.: Изд-во «Территория», 2001. 486 с. + 7 с. без нумерации (таблицы).

Предметом настоящей рецензии является новейшее издание одной из древнейших славянских рукописей – новгородской служебной минеи XI в., получившей в науке по имени писца Путятты название «Путятинна». Рукопись хранится в Российской Национальной Библиотеке (РНБ, Санкт-Петербург) под шифром Соф. 202 [Сводный каталог: № 21] и представляет собой апограф архаичной майской минеи «достудийского» типа [Нечунаева 2000: 105].

Издание Путятинной Минеи (далее ПМ) имело долгую и сложную историю. Оно было задумано М.Ф. Мурьяновым. В 1988 г. коллега М.Ф. Мурьянова по Институту мировой литературы РАН Л.Щеголева начала поиски греческих оригиналов к славянскому тексту и подготовку русского перевода. (К сожалению, из Предисловия к книге осталась неясной роль М.Ф. Мурьянова в подготовке издания – однако учитывая то, что Л.Щеголева не сочла необходимым указать его в качестве соавтора, эта роль, по ее мнению, была не очень велика).

Интрига вокруг издания ПМ осложнилась выходом в 1998-2000 гг. в журнале «Palaeoslavica» (Массачусетс, США) полного текста нашей минеи под редакцией А.Б.Страхова [Мурьянов/Страхов 1998-2000]. В качестве автора издания указан М.Ф. Мурьянов, хотя издатель признает в Предисловии, что труд покойного профессора попал в его руки в далеком от завершенности виде. А.Б. Страхов лично завершил подготовку рукописи к печати – и хотя он не привлек к изданию греческий оригинал, как это сделала позднее Л.Щеголева, количество ошибок, допущенных в словоделении, оказалось на удивление низким, учитывая обширность и сложность текста ПМ<sup>1</sup>. При безусловном хронологическом приоритете и хорошем качестве, издание Мурьянова/Страхова все же уступает изданию Л.Щеголевой. Ведь согласно современным нормам эдиционной практики параллельная публикация греческого оригинала является *абсолютно* необходимым условием для использования переводного текста в научных целях (особенно если этот оригинал, как в случае с ПМ, труднодоступен). Сама Л.Щеголева так говорит о целях своей работы: «Непосредственная цель данной работы – восстановление смысловой ткани ПМ (т.е. устранение ошибок и описок переписчиков и справщиков), расшифровка ее трудных мест, которые не поддаются интерпретации без привлечения параллельного греческого текста, выявление художественных достоинств и недостатков этого памятника, определение доли самостоятельности славянского переводчика» (с. 370).

Новое издание богослужебных канонов первых десяти дней мая ПМ (как надеемся, с последующим продолжением) состоит из нескольких частей. В **предисловии** (с. 5-25) рассказывается история публикации, характеризуется состав рукописи, жанр и композиция ПМ, излагаются принципы издания. Здесь необходимо сразу же отметить, что из-за не очень удачной композиции Предисловия трудно сразу понять, сколько и каких рукописей использовано в издании. Обычный в таких случаях *Conspectus siglorum* отсутствует, данные о списках рассыпаны по всему тексту Предисловия. Подробные данные о греческих источниках издания вынесены

<sup>1</sup> Эти ошибки разобраны в книге Л.Щеголевой на с. 21-25.

почему-то почти в самый конец книги, на с. 369-370.

**Часть I («Тексты»)** (с. 26-207) содержит публикацию древнерусского текста ПМ с приведением текстологических вариантов по двум другим спискам майской служебной минеи XII в. – ГИМ, Син. 166 (XII в.) [Сводный каталог: № 89] и РНБ, Соф. 203 (XII в.) [Сводный каталог: № 90]. Параллельно со славянским текстом помещен греческий оригинал майской минеи по рукописи РНБ, Греч. 227 (XII в.), ff. 69r-80v с вариантами по списку XIV в. РНБ, Греч. 552, ff. 89r-103v, греческой печатной Минее (Roma, 1899) и изданию греческих канонов *Analecta hymnica graeca*, vol. IX (Roma, 1973).

**Часть II («Исследование, истолкование»)** состоит из современного русского перевода греческого оригинала ПМ (с. 208-267), филологического и культурно-исторического комментария (с. 268-363), библиографии (с. 364-367), текстологического анализа и реконструкции первоначального вида отдельных стихов (368-413)<sup>2</sup>, фотографии лл. 13-16об. ПМ (с. 414-421), статьи об ирмосах ПМ (422-471), перевода Предисловия к Ирмологию С. Евстратиадиса (с. 472-477), статьи о записи писца Путяты (478-486).

Наконец, **часть III** издания состоит из 4 таблиц, посвященных кодикологическим и текстологическим вопросам (без нумерации страниц).

Интересным новшеством является снабжение издания подстрочным переводом греческого оригинала на современный русский язык. Практика перевода древнего источника на современный язык, повсеместно применяемая в Западной Европе издателями средневековых текстов, у нас практически неизвестна. Между тем современный перевод выполняет ряд важных функций. Во-первых, он позволяет читателю, не знакомому с древними языками, пользоваться источником наравне со специалистами. Во-вторых, работа над переводом заставляет автора еще глубже вдуматься в издаваемый текст, раскрыть в нем новые смыслы и новые связи. Инициатива снабдить издание современным русским переводом исходила от М.Ф. Мурьянова – и можно поздравить Л.Щеголеву с тем, что она не просто впервые в нашей науке осуществила этот дальновидный наказ замечательного ученого, но и сделала это на высоком филологическом уровне.

Несмотря на ряд композиционных просчетов (уже отмеченное отсутствие *Conspectus siglorum*, помещение библиографии не в конец или начало книги, как это принято, а в середину второй части), работа в целом производит впечатление капитального научного труда. Автор демонстрирует завидную историко-культурную эрудицию, комплексный подход к анализу сложного поэтического текста, прекрасное владение методикой анализа славянских переводов с греческого. Особой похвалы заслуживает стремление не просто воспроизвести издаваемый текст, но и проследить его рукописную традицию. Привлекая для сравнения несколько доступных ей версий греческого и славянского текста, Л.Щеголева демонстрирует хорошее знание методик текстологической реконструкции, которые она уверенно и результативно применяет для исследования ПМ. Специально следует отметить ту деликатность, с которой автор подходит к реконструкции первоначального облика славянской майской минеи. Вмешательства в текст не происходит – все конъектуры вынесены в комментарий (ср. 1.9; 1.20; 1.37; 2.28; 3.33; 3.36; 4.3; 4.8;

---

<sup>2</sup> Данная глава – «Путятинна минея: от текста к истолкованию» представляет собой улучшенный вариант более ранней работы, ср. [Щеголева 1992].

5.4; 6.28; 6.31; 8.10 и др.). Представляется, однако, что в отдельных вполне бесспорных случаях допустимо восстанавливать текст в угловых скобках: например, формы в<ьсѣхъ>, <наставь>ника (1.2), прѣвзлюблева<нъ> (1.3) и др. подтверждены параллельными чтениями из других рукописей и могут считаться абсолютно надежными. С другой стороны, явные опiski также достойны комментария, хотя автор далеко не всегда обращал на них внимание – например, ошибочные формы слѹжьвамъ вместо слѹжьба (2.20), страсти вместо страстии (3.8), вхъ вместо вьсѣхъ (3.12), мѣнкы вместо мѣкы (3.16), нежм'ноѣ вместо нежм'нѣноѣ (4.10, ср. 7.30), плеонастичное повторение та (2.22) и др. никак не отмечены в примечаниях.

Комментарий к изданию содержит, помимо текстологических замечаний, также ссылки на параллельные места из св. Писания – причем не только из греческого текста Ветхого и Нового Заветов, но также – что особенно ценно – из их различных славянских переводов. Комментируется также образная структура поэтических тропов ПМ в сопоставлении с греческой минеей, причем автор демонстрирует высокий уровень владения греческим языком и понимание всех нюансов образной ткани гимнографического текста, не говоря уже о хорошем знании византийской традиции догматического богословия (см. примечания к тропарям 2.3; 2.17; 2.18; 2.28; 2.30; 3.4(!); 3.26; 6.4; 10.4; 10.10; 10.13; 10.20 и т.д.). Семантический анализ греческих терминов выливается иногда в целые мини-исследования, где история слова прослеживается едва ли не от Адама (точнее, от Гомера – ср., например, комментарий к 3.22, 8.65). Так ли это необходимо в издании славянского памятника – другой вопрос, но эрудиция издателя поистине впечатляет.

Итак, мы едва ли погрешим против истины, если констатируем, что по уровню текстологического и филологического анализа древнего переводного текста работа Л.Щеголевой сопоставима с лучшими образцами современной отечественной и зарубежной славистики.

Общая высокая оценка работы Л.Щеголевой не исключает, однако, ряда частных замечаний по тексту издания. Так, уже в первом тропаре канона на 1 мая (1.1 – здесь и далее для экономии места ссылки даются на индексы тропарей, без указания страниц) читаем о пророке Иеремии: с(ва)тъ въз(тъ) ѡзыкомъ // пр(о)рокы помазанъ (здесь и далее пропуски букв раскрываются в круглых скобках). В комментарии на с. 269 автор сближает весьма невразумительное сочетание пророкы помазанъ с современной русской конструкцией *в пророки помазан*. Однако в таком сближении нет необходимости. В соответствии с греч. ἡγίασθης καὶ τῶν ἔθνῶν προφήτης ἐχρίσθης ‘ты был освящен и помазан как пророк народам’ в славянском ожидалось бы не пророкы помазанъ, а сватъ възтъ... пророкъ и помазанъ (т.е., как в греческом, с обязательным употреблением союза и). Лингвисты и палеографы знают, что фонема <ы> обозначалась в древнеболгарской кириллице не только диграфом ѣ, но изредка и диграфом ѡ. Соответственно, какой-то болгарский писец (а может быть и русский, Путята), введенный в заблуждение слитным написанием слов в протографе, написал сочетание ѡ более привычным для себя образом как ѣ. В результате из пророкъ и (в слитном написании пророкѡ) получилось пророкы. Таким образом, смысловая некорректность получившейся фразы вполне удовлетворительно объясняется палеографическими особенностями древнеславянских текстов. Грамматически корректное чтение

Син166 и Соф203 пророкъ помазанъ явно вторично, поскольку не содержит союза и. Аналогичные описки нередки в ПМ, ср.: домъ ... ραζοῦμηνъ бѣдшынъ вместо ραζοῦμηνъ и бѣдшынъ (5.28), ѣззыкы бездѣшынъихъ тѣлесъ вместо ѣззыкъ и бездоушынъихъ тѣлесъ (5.35).

В строке отъ свѣта и в(о)жиа сиа (1.11) издатель совершенно правильно восстанавливает сиа<ниа> (с. 273), однако неточно комментирует сочетание отъ свѣта, которое, учитывая греческую фразу ἐκφαντορικῆς καὶ θείας ἐλλάμψεως, должно интерпретироваться как переводческая неудача, осложненная последующей опиской. Вероятно, переводчик принял греческую форму прилагательного ἐκφαντορικῆς за 2 слова (ἐκ φαντορικῆς) – отсюда появление в переводе предлога отъ (= ἐκ). В первоначальном тексте стояло, по-видимому, отъ свѣтъла. В другом месте никак не комментируется очевидно ошибочный эквивалент подобно для греч. ἐνδιαίτημα ‘обиталище’ (5.6) – здесь, скорее всего, при переводе греч. термин был принят за прилагательное \*ἐνδιαίτιμον ‘славный, почетный’ (ср. в 8.3 корректный перевод греч. ἐνδιαίτημα как покоиште).

В комментарии к 4.17 автор напрасно, на наш взгляд, предполагает ошибку в переводе греч. κατεφαίδρυνέ σε ‘озарил тебя’ как озариса ‘озарилась’ (с. 307) – безупречный синтаксис славянского тропаря и адекватная передача смысла оригинала говорит скорее в пользу свободного перевода.

Нельзя интерпретировать явную описку извѣчеса вместо извлѣчеса (4.30) как «подгонку под произношение русского переписчика» (с. 308). Осталось неясным, зачем издатель приводит по этому поводу такие примеры из ПМ, как оуѣзвенъ (5.26), зѣма (9.15) — ведь формы без I-epentheticum никак не связаны с русским произношением, поскольку отражают среднеболгарскую фонетику, ср. [Младенов 1979: 157].

Испорченное сочетание муро проливани[...] (вони) (μύρου κενωθέντος, 5.7) автор предлагает реконструировать как муро проливаниа – тем более, что именно такой вариант содержит Син166 (с. 310). Нам кажется, что, по соображениям синтаксиса, более предпочтительна реконструкция муроу проливаниа или муропроливаниа (комполит).

Слав. льсть оугашъ ... вѣшьствованѣю (9.11) представляет собой не «свободный перевод» греч. σβήσας τὴν δεισιδαίμονα πλάνην ‘погасив языческое заблуждение’ (ср. с. 349), а простую описку: вѣшьствованѣю вместо вѣшьствованѣю (причастие отыменного глагола вѣшьствовати – от вѣсъ, вѣшьство).

Издатель, к сожалению, никак не комментирует перевод греч. σῶσον τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν ‘спаси наших императоров’ как спси к’назѣа нашего (6.30). Здесь мы имеем дело, вероятно, с *адаптирующим переводом*<sup>3</sup> или с древнерусской интерполяцией. Замена ”императора” ”князем” вполне объяснима на славянской почве – более того, она показывает, что православные славяне (южные или восточные – из текста неясно) не молились за здоровье византийских василевсов, а значит не считали себя их вассалами. Ср. также: врагы покорѣащи подъ ногѣ вѣр’нѣмѣ к’назѣу нашему (8.13, без греч.).

Греческий оригинал ПМ опубликован весьма корректно, все тропари пронумерованы, на правом поле регулярно делаются ссылки на листы вспомогательных списков или на публикацию оригинала в *Analecta Hymnica Graeca* (индекс АНГ). В некоторых (к счастью, редких) случаях автор следует орфографии рукописей, хотя в научных изданиях византийских источников принято

<sup>3</sup> Об адаптирующем переводе см. [Максимович 2002: 32].

исправлять случаи среднегреческого итацизма и приводить орфографию к классическому стандарту. Так, греческую ф. ἔδεισας (2.17) нужно было передать как ἔδησας, поскольку именно так выглядит правильный аорист от глагола δέω ‘связывать’. В примечании к тропарю 2.39 автор цитирует оригинал – однако вместо греч. ὁμοφρόνως ‘единодушно’ (с. 58) почему-то указывается ὁμοφώνως ‘единогласно’ (с. 291). К сожалению, в издании остались неучтенными два (впрочем, труднодоступных) греческих списка минеи, близкие по составу памятней ПМ: криптоферратский 1074 г. и криптоферратский 1102-1114 гг. [Нечунаева 2000: 36,39].

Есть замечания и к современному русскому переводу. Несмотря на то, что на с. 208 говорится о «переводе-подстрочнике греческой минеи», некоторые переводческие решения издателя явно навеяны славянским текстом. Ср.: τῶν αἱρέσεων παρεμβολάς - «ересей полки» (с. 215), при том что греч. παρεμβολή означает не ‘полк’, а ‘вторжение, нападение’. Зато в славянском тексте имеем еретичьскыѣ пѣкы (2.9).

Лингвисту в комментарии не хватает подробного анализа языковых явлений рукописи и перевода в целом. Разумеется, являясь литературоведом, Л.Щеголева должна была уделять основное внимание образам, символам – в общем, поэтике текста. Однако ПМ чрезвычайно интересна и в языковом отношении.

В целом перевод ПМ отличается очень хорошим качеством, несмотря на некоторое количество ошибок. По своей ясности в сочетании с точностью перевод близок к лучшим образцам древнеболгарской переводной литературы. Переводчик достаточно свободно обращается с оригиналом, часто опускает отдельные слова или заменяет их смысловыми эквивалентами. К сожалению, греческая рукописная традиция майской минеи изучена недостаточно, критических изданий нет, поэтому трудно судить о том, какой именно оригинал переводил славянский переводчик – соответственно, в издании Л.Щеголевой достаточно мест, к которым не удалось найти адекватный оригинал (1.23, 3.25; 7.12; 7.16; 8.1; 8.9; 9.36 и др.). Тем не менее, предварительная реконструкция архетипа показывает, что древнеболгарский текст майской минеи богат интересными переводческими решениями, близкими к кирилло-мефодиевской технике перевода, и весьма далек от буквализма. С другой стороны, в тексте ПМ немало и более поздних, послемефодиевских («преславских») феноменов перевода. К ним мы относим буквалистские (а потому иногда затемняющие смысл) морфологические и синтаксические кальки с греческого, а также другие искусственные образования, нетипичные для кирилло-мефодиевской переводческой техники, ср. [Максимович (в печати)].

В отдельных местах переводчик майской минеи не справился с оригиналом – так, он не распознал в греч. ἀνύποιστος ‘невыносимый’ супплетивное производное от ὑποφέρω ‘терпеть, выносить’ и оставил его без перевода (9.23). Столь же бессилён оказался здесь и преславский справщик, видимо, вписавший в текст иноязычное вкрапление \*анипостонъ (или подобное), из которого писец Соф203 сделал непостояне (с. 352)<sup>4</sup>.

Опечаток в издании немного – бросилось в глаза только καθαρῶτάτῳ вместо καθαρῶτάτω (с. 22), «отриц. Приставке»

<sup>4</sup> Другие ошибки или неудачи перевода, образцово откомментированные издателем: 2.8; 3.34; 3.35; 5.10; 5.33; 6.7; 6.24; 7.5; 7.10; 8.7; 8.11; 8.12; 8.58; 9.11; 9.35; 10.4 (неучет тонких оттенков греческих богословских терминов); 10.10 (то же); 10.29 и др.

(с. 24), πεπτοκυῖαν вместо πεπτωκυῖαν (4.7), из въравъ вместо из въравъ (ἐκ βλεφάρων, 6.17), ὁμοφώνως вместо ὁμοφώνως (с. 291), πνεῦμα вместо πνεῦμα (с. 304), σαφένεια вместо σαφήνεια (с. 383).

Ценнейшую информацию об истории текста ПМ дают текстологические варианты, приводимые издателем по спискам Син166 и Соф203. Эти варианты однозначно свидетельствуют о том, что первоначальный перевод подвергался неоднократному редактированию с использованием греческого оригинала майской минеи. Примеры поздней (преславской) правки славянской минеи по греческому тексту в Син166: греч. μύρον ‘миро’ (1.7) – ПМ помазь, Син166 муро; греч. σταθμούς (1.18) – ПМ дворзы, Син166 ставила (с. 276); греч. κυβερνώμενον (1.22) – ПМ строимъ, Син166 направляемъ (ср. с. 278); греч. τραῶς (1.23) – оставлено без перевода во всех рассмотренных списках, кроме Син166, где в данном стихе стоит слав. ѡсно (ср. с. 279); греч. σὺν ἄσωματοις ‘с бесплотными (силами)’ (1.25) – ПМ съ англы, Син166 съ бесплътныими (ср. с. 279) и др.

Иногда Син166 и ПМ демонстрируют одинаковые чтения, в то время как Соф203 обнаруживает признаки позднего редактирования (3.3; 3.4; 3.9 и др.).

Иногда ПМ, Син166 и Соф203 демонстрируют совершенно разные чтения, что позволяет сделать вывод о разных подходах к редактированию и, следовательно, о разных ветвях текстологической традиции, представленных тремя славянскими рукописями, ср. 3.1; 3.6; 3.8; 3.11; 3.12 (здесь при справе использованы разные версии греческого оригинала!); 3.13; 3.25; 5.31 (разные версии оригинала); 5.33 и др. Это обстоятельство весьма сильно увеличивает источниковедческую ценность использованных списков майской минеи.

Особенно интересно в текстологии славянской майской минеи то, что список Соф203, несмотря на явные следы поздней справы, изредка дает чтения более древние, чем ПМ. Только так, на наш взгляд, можно интерпретировать перевод эпитета мучеников τῶν ἀγγέλων ἰσοστάσιοι ‘стоящие наравне с ангелами’ в Соф203 как съ а<н>глы пр>естоѡща (3.9, ср. с. 294). Свобода и в то же время адекватность перевода указывает на его древность (исконность). Наоборот, чтение ПМ и Син166 англамъ равностаѡтельа представляет собой невразумительную буквалистскую кальку позднего происхождения. Точно так же обстоит дело с переводом греч. ἐνυπόστατος ‘существующий в ипостаси, воипостасный’ посредством слав. оупостаьнъ в Син166 и Соф203 – в ПМ стоит явно вторичное съличьнъ (8.2; ср. с. 335).

Подобные примеры приводят к выводу, что текст ПМ сам по себе не может служить базой для реконструкции древнейшего перевода майской минеи, поскольку ПМ носит следы sporadicкой правки по греческому оригиналу. Анализ первоначального перевода необходимо проводить с привлечением Син166 и Соф203, текст которых подвергся более систематическому редактированию, однако сохранил отдельные древние чтения. Благодаря грамотному текстологическому обеспечению новое издание ПМ вполне удовлетворяет задачам предварительной реконструкции первоначального перевода. Кроме того, после обзорной работы Т. Славовой о преславской редакции древнеболгарских книг [Славова 1985] публикацию ПМ (и особенно вариантов из Син166 и Соф203) можно считать важным вкладом в расширение наших знаний о деятельности преславских справщиков-переводчиков.

Издание Л.Щеголевой вводит в научный оборот чрезвычайно интересный поэтический текст. Надеемся, что конкретные исследования языка и переводческой техники этого

замечательного памятника славянской гимнографии не заставят себя ждать. В качестве пожелания автору заметим, что после публикации полного текста ПМ необходимо снабдить издание словоуказателем (желательно двуязычным). Только в этом случае издание можно будет использовать для полноценных научных исследований в области древнейших славянских переводов с греческого.

## Литература

Максимович 2002 – К.А. Максимович. Древнейший памятник славянского права «Закон судный людем»: композиция, переводческая техника, проблема авторства // Византийский Временник. Т. 61(86). М., 2002. С. 24-37.

Максимович (в печати) – К.А. Максимович. Служебная майская минея как памятник древнеболгарского книжного языка (К новейшему изданию Путятиной минеи XI в.) // Славяноведение (в печати).

Младенов 1979 – Ст. Младенов. История на българския език. София, 1979.  
Мурьянов/Страхов 1998-2000 – М.Ф. Мурьянов. Путятина минея на май // Palaeoslavica. 1998. Vol. VI. P. 114-208; 1999. Vol. VII. P. 136-217; 2000. Vol. VIII. P. 123-221.

Нечунаева 2000 – Н. Нечунаева. Минея как тип славяно-греческого средневекового текста. Tallinn, 2000. [= Таллиннский педагогический университет. Диссертации по гуманитарным наукам, 3].

Сводный каталог - Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI-XIII вв. М., 1984.

Славова 1985 – Т. Славова. Преславската редакция на старобългарските богослужбни книги // Изследвания по кирило-методиевистика. София, 1985. С. 161-173.

Щеголева 1992 – Л.И. Щеголева. «Путятина минея»: от текста к истолкованию // Герменевтика древнерусской литературы XI-XIV вв. Сб. 5. М., 1992. С. 413-497.

*К.А. Максимович*

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

---

**Международная конференция  
«Пятые Шмелевские чтения:  
проблемы семантического анализа лексики»,  
23-25 февраля 2002 г., Москва**

С 23 по 25 февраля 2002 года в Москве, в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН проходила международная конференция «Пятые Шмелевские чтения: проблемы семантического анализа лексики», организованная отделом современного русского языка ИРЯ РАН.

Кратким вступительным словом чтения открыл директор Института русского языка им. В.В. Виноградова А.М. Молдован. Всего на пленарных и секционных заседаниях были представлены и обсуждены 56 докладов и сообщений.

На первом пленарном заседании *Ю.Д. Апресян* (Москва) в докладе «Об одной закономерности устройства семантических систем» рассмотрел реализацию универсальной закономерности языковой системы: снижение употребительности и усиление маркированности единиц при переходе от центра к периферии, - в области лексической и грамматической семантики. В подсистеме многозначного слова рассматриваются отличия основного значения от периферийных (переносных и производных); в подсистеме синонимического ряда – отличия доминанты от других периферийных синонимов. Специфика рассматриваемой закономерности в области грамматики состоит в одновременном проявлении особенностей, свойственных разным лексическим подсистемам: чем периферийнее значение граммы, тем большее число синтагматических и сочетаемостных условий накладывается на его реализацию, что иллюстрируется, в частности, значениями СОВ и НЕСОВ граммем.

В докладе *В.Г. Гака* (Москва) «Пределы семантической эволюции слов» содержится анализ семантических изменений при эволюции значения слов в случае их отрыва от референтов или избыточности для контекста. Приобретение служебной или стилистической функции такими словами рассматривается как предел их семантического развития. Ставится задача выявления факторов, способствующих данным изменениям (отвлеченность значения, транзитивные употребления, рассогласование с ситуацией и др.).

Доклад *Е.Я. Шмелевой* и *А.Д. Шмелева* (Москва) «Русская “наивная биология”» посвящен проблеме лексикологических и лексикографических различий «наивно-языковой» и «научной» картин мира. Рассматривается различное понимание одних и тех же слов в бытовом и научном языке в области ботаники, зоологии, анатомии.

*И.Т. Венрева* (Екатеринбург) в своем докладе обращается к проблемам семантического анализа лексики и «наивной семасиологии». По ее мнению, основным методом исследования лексической семантики по-прежнему остается наблюдение семасиолога над теми ментальными объектами, которые связаны со словом в его собственном сознании. Таким образом, слово является объектом исследования не только научной, но и «наивной семасиологии». По

наблюдениям И.Т. Вепревой, рефлексивы демонстрируют наличие парадигматических связей лексических единиц в сознании говорящего, при этом доминирующим типом таких связей являются синонимические отношения, приводятся примеры разграничений языковых синонимов в определенных контекстах и субъективного отождествления лексических единиц.

Доклад *Р.И. Розиной* (Москва) «Деривация метафорических значений в литературном языке и за его пределами» посвящен вопросу о том, является ли метафорически мотивированная многозначность регулярной. Р.И. Розина рассмотрела, в частности, правила изменения таксономического класса субъектного актанта глагола при деривации литературных и сленговых метафорических значений слов, в своих основных значениях принадлежащих русскому литературному языку (*наехать: на пешехода – на фирму, строить: взвод – мужа* и т.п.). В докладе также анализируются различия конкретного наполнения модели «предмет – человек» при семантической деривации в рамках литературного языка и в сленге.

В докладе *Н.Д. Арутюновой* (Москва) «Метафорические образы мужчин и женщин» рассматриваются метафоры, которые обычно не воспроизводят внешний облик человека, а призваны, в первую очередь, вскрывать его внутреннюю сущность (так, метафора *крот* говорит не об отсутствии зрения, а о внутренней слепоте). Наиболее ясное представление о мужских и женских образах дают метафоры, взятые из мира природы и, особенно, из животного мира. Основные метафоры, характеризующие мужчин, почерпнуты из мира хищных и сильных животных – *лев, орел, сокол, ястреб* и т.д. Метафоры, характеризующие девушек и женщин, чаще всего строятся на идее кротости, семьи и дома, поэтому типичными являются такие, как: *голубка, ласточка, наседка* и т.п. Как правило, метафорические образы мужчин и женщин не образуют пар (кроме номинации *голубки*).

Вечернее пленарное заседание открыл доклад *И.И. Фужерон* (Париж), посвященный лексическому выражению отрицания в русском языке (*не-* и *без-* в словообразовании). В нем рассматриваются конкретные случаи, когда частица *не* и предлог *без* выступают в качестве приставок, образуя лексические единицы со значением отрицания.

В докладе *Л.О. Чернейко* (Москва) «Слово как объект структурной и когнитивной семантики» анализируется концепция лексического значения Д.Н. Шмелева с позиций структурной и когнитивной семантики. Собственно лексическое значение понимается как «остаток», извлекаемый из содержания слова при вычитании из него грамматического значения и экспрессивно-стилистических элементов.

Образы и изображения явились предметом исследования *Е.В. Падучевой* (Москва). Обнаружение связи между семантическими ролями и компонентами толкования позволили ей придать понятию роли более определенный смысл и выделить ряд новых ролей. Среди них – роль Образ, которая может быть приписана участникам глаголов нескольких разных тематических классов. Изображение – частная разновидность Образа.

Доклад *Г.Е. Крейдлина* (Москва) «Проксемное поведение человека в акте коммуникации и его отражение в лексике, семантике и прагматике» посвящен проблемам невербальной концептуализации и культурной организации пространства людьми во время коммуникации. Среди правил проксемного поведения выделены, с одной стороны, универсальные (например, связывание с фрагментами пространства определенных смыслов и культурных функций), а с

другой – культурно-специфичные (например, выбор места и расстояния в беседе, правила взаимного положения и ориентации тел во время общения и др.). Рассмотрены примеры вербального и невербального отражения пространственной коммуникации, в частности, более высокая значимость и немаркированность области пространства «перед человеком».

В докладе *Н.А. Купиной* (Екатеринбург) «Эволюция идеологической семантики в социокультурном контексте России» рассмотрены семантические изменения в области идеологем, связанные со снижением их антонимической противопоставленности, изменениями частотности употребления и характера сочетаемости. Выявляются изменения коннотаций, а также лексическое выражение эмоций, сопровождающих использование отдельных идеологем и др. тенденции.

*Л.П. Крысин* (Москва) в докладе «Неявные ограничения в лексической и семантической сочетаемости слова» рассмотрел не зафиксированные в словарях ограничения на сочетаемость слов, которые в случае их реализации воспринимаются как аномальные или необычные. Были выявлены ограничения, связанные с семантическими классами слов или отдельными лексемами, а также кванторы (типа «чаще всего», «обычно»), сигнализирующие о снижении ограничений. Показана различная природа ограничений (например, социальных, возрастных, гендерных). Информацию об особенностях сочетаемости предлагается вводить в особую зону словарной статьи.

В докладе *Г.М. Васильевой* и *И.П. Лысаковой* (Санкт-Петербург) «О национальной специфике семантических неологизмов в современном русском языке» предлагается ценностно-сопоставительный подход к изучению национально-культурной специфики новой лексики. Он выявляет наибольшее своеобразие метафорически мотивированных семантических неологизмов. Представлены результаты свободных ассоциативных экспериментов, показывающие, в частности, национальный приоритет ценностей духовного порядка.

Доклад *С.В. Кодзасова* (Москва) «Категория «свой/чужой»: семантика и фонетика» посвящен использованию просодического признака «полноты» как лексической и словообразовательной характеристике. Рассматривается маркировка отношения типа «свой – нейтральный – чужой» с помощью степени редукиции гласных, представленных как полные (нейтральные), редуцированные и гиперполные. Показана семантико-фонетическая роль контекста и произносительного стиля речи.

Утреннее пленарное заседание второго дня конференции открыл доклад *В.Е. Гольдина* и *А.П. Сдобновой* (Саратов) «Ключевая семантика сознания современного школьника по данным ассоциативного словаря». Под ключевой семантикой понимаются, с одной стороны, фрагменты мира, являющиеся наиболее привычными объектами произвольного внимания отдельных людей или различных социальных общностей, с другой стороны – не менее привычные им главные предикаты, отнесенные к этим объектам как способы осознания мира. В докладе представлены результаты анализа реакций школьников на разные стимулы (*мечтать, новый, идти, идет, шел, пришла, вернуться* и др.). Выводы о ключевой семантике, полученные В.Е. Гольдиным и А.П. Сдобновой в ходе анализа Ассоциативного словаря саратовских школьников, подтверждаются материалами детских Индивидуальных ассоциативных словарей.

В докладе *М.А. Кормилицыной* (Саратов) «Семантические преобразования слова в структуре предложения» выделяются два типа таких преобразований на примере глагольных

лексем: первый тип – усложнение семантики глагола, его «лексикализация»; второй тип – десемантизация глагольной лексемы, «упрощение» ее семантической структуры.

В докладе *А.Н. Баранова* и *Д.О. Добровольского* (Москва) «Проблема словарного представления валентностной структуры идиомы» раскрываются те принципы приписывания валентностей, которые приняты в разрабатываемом ими проекте создания «Тезауруса русской идиоматики»: приписываются все обязательные синтаксические и те факультативные синтаксические валентности, которые необходимы для правильного понимания идиомы. В докладе разбираются также проблемы приписывания альтернативных моделей управления, способы оформления пропозициональных валентностей и пр.

*Т.В. Матвеева* (Екатеринбург) в своем докладе поднимает проблему установления предела оценочности и основания, на котором он устанавливается. По ее наблюдениям, все глобальные семантические сферы языка теоретически открыты для оценочного отражения в лексике, однако в реальности наиболее детально проработана оценкой сфера Человек. Предметно-вещный мир, созданный человеком (семантическая сфера Артефакты), подвергся оценке в значительно меньшей степени. Еще менее подверглась оценке семантическая сфера Природа. В то же время докладчик утверждает, что оценочность предела не имеет, поскольку в языке действует механизм выстраивания оценочной синонимической параллели дескриптивного слова при помощи оценочных слов с размытым денотативным базисом лексического значения.

В докладе *Анны А. Зализняк* (Москва) рассматривается соотношение слов *чувство* и *эмоция* и их импликации, свойственные русской языковой картине мира, и делается вывод, что пара *чувства–эмоции* входит в круг парных концептов, задаваемый бинарными противопоставлениями «высокое» – «низкое», душа – тело и т.д.

Целью доклада *Е.В. Лукашевич* (Барнаул) является обоснование возможности прогнозирования эволюции значения слова (в частности, на примере социального компонента) как результата исследования его когнитивной структуры в обыденном сознании носителей языка. Разбор произведен на основе выявления когнитивных признаков в структуре значения слова *интеллигент*.

Основной тезис доклада *А.Д. Кошелева* (Москва) «Лексическое значение: инвариант или прототип» – основная функция языка заключается в описании внеположенной языку действительности: совокупности дискретных перцептивных образов, связанных с системой различных отношений. Данное положение иллюстрируется на примере семантического анализа глагола *взбираться*.

Вечером того же дня были представлены сообщения на двух секционных заседаниях.

На секции «Системные отношения в лексике» были затронуты проблемы семантического описания метатекстовых единиц (*Я. Вайцук*, Варшава) и семантической деривации глаголов со специализированным субъектом (*О.М. Михайлова*, Екатеринбург). Рассматривались метатекстовые синонимы *фактически, по существу, по сути, практически* (*М. Я. Гловинская*, Москва), группа прилагательных, указывающих на сходство объектов или ситуаций (*О.Ю. Богуславская*, Москва) и слов со значением изменения температуры с точки зрения прагматической нормы (*Т.В. Крылова*, Москва). Были предложены модель «глагольного семантического конуса» (*Б. Тошович*, Грац) и концептуально-семантическое исследование русских глаголов со значением 'каузировать

становиться нецелым' (К. Бибок, Будапешт). Обсуждались также перспективы изучения семантики глаголов движения (И.И. Макеева, Москва), национально-специфические особенности симптоматических выражений, обозначающих *гнев* (М.В. Рудерман, Москва), а также лабильность значения лексемы (*снег, дождь, слякоть*) (Е.В. Урысон, Москва).

На секции «Слово в речи и в словаре» шла речь о проблемах национальной принадлежности фразеологизмов (В.М. Лейчик, Москва), региональных семантических особенностях русского языка в Литве (Н.Ю. Авина, Вильнюс), рассматривались лексемы, образующие семантическое поле вежливости и характеризующие речевое поведение говорящего (Т.С. Морозова, Москва). Был предложен анализ различных толкований и употребления слов *вульгарный* и *пошлый* в русском языке (О.В. Фролова, Москва). Обсуждались изменения в лексической семантике отдельных компонентов текста на упаковке (О.С. Иссерс, Омск), возможность представления концептов на материале разговорной речи (Э.А. Столярова, Саратов), способы лексикализации дейктических средств (Е.М. Лазуткина, Москва), а также специфика номинации в корпоративном языке (Л.З. Подберезкина, Красноярск). Лексико-семантической реализации мотива исчезновения в идиостиле Ю. Трифонова был посвящен доклад З.С. Санджи-Гаряевой (Саратов).

Утреннее пленарное заседание последнего дня конференции открылось докладом С.М. Толстой (Москва) «О семантическом параллелизме в славянской лексике». Докладчик призывает к необходимости более строгого логического и терминологического подхода к явлениям так называемой междиалектной (межъязыковой) синонимии, лексических и семантических параллелей, моделей номинации, к поискам других регулярных межсистемных семантических отношений. Системность в отношениях между языковыми единицами может содержательно эквивалентно изучаться, по мнению С.М. Толстой, как в семасиологическом, так и в ономасиологическом плане. Явление семантического параллелизма не может быть подведено ни под понятие синонимии, ни под понятие регулярной многозначности, хотя может включать в себя и синонимию (в ономасиологическом плане и применительно к отдельным значениям), и регулярную многозначность. Семантический параллелизм в разных славянских языках рассматривается докладчиком на примерах глаголов *играть* и *гулять*; *хоронить*, *ховать* и *прятать*; отношений между словами с корнями *крас-* и *цвет-* и их значениями и др.

Доклад Х. Пфандля (Грац) назывался «Семантика англицизмов. О силе и бессилии пуризма (на материале русского и словенского языков)». Пуризм понимается им в узком смысле слова как отрицательное отношение к иноязычным заимствованиям. По мнению Х. Пфандля, пуризм в той или иной мере присущ всем языкам мира и каждому человеку. С одной стороны, он может соответствовать принципу экономии, с другой стороны – дифференциации. На примере русского, чешского и словенского языков докладчик показывает разные типы отношений среди славянских языков в столкновении с наплывом англицизмов. В частности, по наблюдениям Х. Пфандля, число англицизмов в русском языке превышает долю английских заимствований во многих европейских языках. Он объясняет это тем, что русский язык не был подготовлен к столь радикальному изменению общественного строя и экономической жизни под влиянием западных моделей. В докладе рассматриваются примеры, которые иллюстрируют ограниченные возможности пуризма

там, где заимствование вводит новое понятие; также обращается внимание на принципиальное отличие между пуризмом в больших и малых языковых коллективах.

Доклад *Р.Ф. Касаткиной* (Москва) посвящен особенностям семантики диалектного слова в островном говоре. Объектом исследования докладчика явилась лексика, записанная от старообрядцев южнорусского происхождения, ныне живущих в США, в штате Орегон. Их говор относится не просто к переселенческим, но к мигрирующим. Основное внимание в докладе уделяется архаической лексике данного говора (например, *туга́* ‘печаль’, *ора́ть* ‘пахать’, *до́ба* ‘время, возраст’), а также особым архаическим значениям слов (например, *мир* ‘народ’, *сесть* ‘поселиться’, *доса́да* ‘горе’, *запо́мнить* ‘забыть’).

Изучение иронии, локализованной в слове как лексической единице, ставит ряд проблем лексической семантики. Рассмотрению этих вопросов посвящен доклад *О.П. Ермаковой* (Калуга) «Ирония и лексическая семантика».

Проблемы взаимодействия лексического и грамматического значений на материале глаголов движения в императиве рассматриваются в докладе *И.Б. Шатуновского* (Дубна). Докладчик исходит из концепции Д.Н. Шмелева об условности и относительности всех границ в языке. Основное положение доклада – в результате взаимного приспособления лексического и грамматического значений возникает лексико-грамматическое значение, в котором «сплавлены» лексическое значение и грамматическое. Во многих случаях это приводит к возникновению «промежуточных» между лексическим и грамматическим значением компонентов. В докладе приводятся примеры фузионных семантических компонентов на примере глаголов НСВ в общефактическом употреблении (например, глаголы движения с приставкой *при-*: *прийти/приходить*, *приехать/приезжать*, *принести/приносить* и т.д. и *под-*: *подойти/подходить*, *подъехать/подъезжать* и т.д. в значении, равном значению глаголов с приставкой *при-*).

В докладе *Т.Е. Янко* (Москва) «Русские числительные как семантические классификаторы существительных» рассматриваются некоторые особенности русских собирательных числительных. Для анализа запретов на сочетаемость собирательных числительных с существительными предлагается описание многозначности существительных, именующих человека: ‘человек как индивид, воплощающий в себе некоторый признак’, ‘человек как имя или функция’, ‘человек как тело’, ‘человек как мера’. Основной вывод исследования – собирательные числительные служат своего рода семантическими классификаторами русских слов, обозначающих человека. Выделяется два рода концептов: ядро концепции человека по данным языка (это люди как лица, обладающие определенными признаками) и периферия семантического поля человека (человек отражается не как личность, а как роль, как имя в отвлечении от признака, как тело в отвлечении от личности).

Доклад *В.П. Григорьева* (Москва) «Ламарк и Хлебников» посвящен так называемой поэтике «двойного плана», или тому, что можно назвать параллельными мирами в «Восьмистишиях» О. Мандельштама.

В докладе *А.Я. Шайкевича* (Москва) «Семантические миры Достоевского» проводится мысль о различии семантических миров, в которых думает, мыслит, живет человек. Их открытие предлагается вести через изучение лексики различных жанров, представленных у одного и того же автора, в данном случае Достоевского.

*С.И. Гиндин* (Москва) обратился к проблеме семантического анализа укорененных и

неукорененных терминов. Докладчик обратил внимание на то, что семантика термина определяется не синтагматическим контекстом, а его местом в парадигматической системе. Несмотря на тенденцию к расподоблению терминов, укорененные термины (слова, существующие в данном обиходном языке для обозначения соответствующих явлений) не уходят из науки даже при наличии неукорененных эквивалентов (например, *слово* и *лексема*). Для понимания термина важны некоторые признаки его обиходного употребления. Отсутствие запаса интуитивных представлений об употреблении неукорененного термина приводит к утрате им основных терминологических свойств. Данный процесс проиллюстрирован примерами употребления неукорененного термина *дискурс* с различными коннотациями внутри одного и того же произведения, а также употреблением его в некоторых значениях, слабо поддающихся интерпретации. Включение *дискурса* в терминологию зачастую уменьшает смысловую различительную силу последней.

Доклад *С.Е. Никитиной* (Москва) «Найтись и потеряться в семантическом поле рождения и смерти» имеет целью показать на примере некоторых ключевых слов народной культуры, как семантический облик слова определяется типом текстов, в которых это слово функционирует. Анализируется влияние конфессионального сознания молокан и духоборцев на употребление ими слов обиходного языка.

Подзаголовок доклада *А.Б. Пеньковского* (Владимир) «Пушкинский текст и текст культуры» представляет собой слова, завершающие картину конца всемирного потопа, возникшую в сознании Пушкина во время его путешествия в Арзрум в 1829 г.: «...видел врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения». Доклад посвящен поиску поэтического поля взаимодействия культурных миров и цивилизаций, на котором «вран» как «символ казни» стал для Пушкина ключом к толкованию библейского текста.

Тезисы докладов международной конференции «Пятые Шмелевские чтения: Проблемы семантического анализа лексики» опубликованы отдельным сборником.

*Н. Будаева, Н. Труфанова*

## **Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы**

### **Хроника конференции**

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН совместно с научным советом «Русский язык» РАН и Московским государственным лингвистическим университетом в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» провели Международную конференцию «Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы». 8-10 июня 2002 г. в аудиториях Московского государственного лингвистического университета было прочитано более 230 научных докладов, представивших основные направления современной науки о русском языке.

Необходимость конференции, которая бы объединила специалистов в разных областях лингвистики, вызвана не только общественным интересом к русскому языку как государственному и межгосударственному, не только реформами в области высшего и среднего образования, но и теми тенденциями, которые определяют развитие современной лингвистики.

К таким тенденциям можно отнести (а) интеграцию различных лингвистических дисциплин на основании единства объекта (языковой системы), (б) взаимодействие разных филологических дисциплин, объектом которых является словесно-смысловой контекст культуры, (в) паритет между языковым материалом и интерпретирующей его теорией (при недавнем приоритете теории), (г) антропоцентризм лингвистики, ее интерес к человеку в языке, в культуре, в тексте.

Об этих тенденциях и возросшем общественном интересе к русскому языку говорили открывавшие конференцию директор Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН А.М. Молдован, заместитель академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН – руководитель Секции языка и литературы А.Б. Куделин и ректор Московского государственного лингвистического университета И.И. Халеева.

На пленарном заседании 8 июня прозвучали общетеоретические доклады, наметившие перспективы развития русистики в XXI веке. А.В. Бондарко (Санкт-Петербург) убедительно доказал, что между системоцентризмом и антропоцентризмом нет и не должно быть противоречия, что плодотворное развитие русской грамматической науки предполагает соединение грамматики системно-функциональной и грамматики функционально-текстовой, с приоритетом системно-функционального направления. Представив в теоретически обобщенном виде концепцию «Теории функциональной грамматики», разрабатываемую под его руководством, показав отношения ТФГ и других школ русской грамматической науки, А.В. Бондарко рассказал о планах, осуществляемых учеными в рамках концепции ТФГ.

Антропоцентрическое направление лингвистики было представлено докладом Е.С. Кубряковой (Москва) «Дискурс и когнитивная грамматика», в котором шла речь о формировании новой парадигмы лингвистического знания – когнитивно-дискурсивной, - являющейся результатом рационального синтеза когнитивного и коммуникативного направлений современной лингвистики.

Доклад Ю.Д. Апресяна (Москва) «Принципы организации центра и периферии в лексике и грамматике» вернул слушателей к проблемам системной организации языка. Ю.Д. Апресян показал, что системность языка проявляется прежде всего в том, что центральные единицы в лексике и центральные единицы в грамматике характеризуются одним и тем же набором признаков, что статус периферийной единицы как в лексике, так и в грамматике предполагает ограничения в сочетаемости, спецификацию значений, осложненность модальными смыслами, а иногда и «перерождение» единицы (из лексической в грамматическую). Особое внимание было уделено явлению грамматической рассогласованности, что характерно для морфологической и синтаксической периферии. По мнению докладчика, грамматическая рассогласованность, или «грамматический шок» (термин, введенный Ю.Д. Апресяном), является своеобразным сигналом вторичных значений граммем.

Т.М. Николаева (Москва) посвятила свой доклад динамике языковой системы. В ее докладе шла речь об особых элементах – партикулах (ли, и, но, же и др.), из которых формируются многие слова разных частей речи (частицы, союзы, местоимения), относящиеся в целом к акту человеческой коммуникации. В докладе было показано, что язык располагает большими возможностями «порождающего конструктора» (не-у-же-ли и под.), однако на определенном этапе этот конструктор перестает работать и для определенных функций возникают «застывшие формы»

знаменательных слов. На самом раннем этапе, как доказала Т.М. Николаева, эти партикулы имели дейктический смысл.

В докладе М.Л. Гаспарова (Москва) было представлено взаимодействие системной грамматики и стихосложения. Предмет доклада – ритмический словарь частей речи. Обратив внимание слушателей на то, что среди слов с длинными безударными началами преобладают глаголы, а среди слов с длинными безударными окончаниями – прилагательные, докладчик установил отношение количества глаголов к количеству прилагательных в тексте, которое он назвал коэффициентом динамичности текста. Анализ классической русской поэзии XIX века показал, что ритм русского четырехстопного хорей позволяет вместить больше таких потенциальных глаголов, чем ритм ямба. Возможно, поэтому хорей обычно ощущается более динамичным, чем ямб.

Проблемы описания русского предложения были рассмотрены в докладе М. Гиро-Вебер (Франция), которая исследовала тенденцию образования безагентивных моделей предложения. В результате анализа русских «безличных» предложений и сравнения с аналогичными структурами в других языках было показано, что категория «безличности» в русской синтаксической науке разработана недостаточно и требует дополнительных исследований.

Л.П. Крысин (Москва) в своем докладе «Русский язык на рубеже веков: проблемы изучения» представил перспективные направления исследования русской языковой системы в ее динамике: фиксация и социолингвистическая интерпретация изменений в лексике и фразеологии, изучение продолжающихся и новых явлений в грамматике, активных процессов в языке публицистики, исследование новых сфер функционирования русского языка (например, в диалоге человека и компьютера).

В.В. Лопатин (Москва) в докладе «Грамматика и орфография» показал зависимость эффективности работы над сводом орфографических и пунктуационных правил от степени разработанности соответствующих проблем в русской грамматической науке. Это касается не только частных грамматических проблем, связанных с такими традиционно трудными для орфографии объектами, как наречие или сложные слова, но прежде всего принципиальных, системно значимых, например, отношения между предметными и признаковыми словами. Концепция свода орфографических и пунктуационных правил зависит от избранной грамматической концепции, но если в грамматическом описании нет ясности, есть противоречия, то они обнаружатся и в орфографии.

Историческая проблематика была представлена докладом А.М. Молдована (Москва) «Лексическая эволюция в церковнославянском». Церковнославянский язык на протяжении нескольких веков воспринимался в качестве единого "славянского" языка, несмотря на то, что лингвистические параметры его конкретных манифестаций всегда различались, порой существенно. Впечатление единства складывалось благодаря общности основных вероучительных и богослужебных книг, написанных на церковнославянском языке (Евангелие, Псалтирь, служебные минеи, триоди, октоихи, паремийники и др.). Однако реальное положение вещей было таково, что церковнославянский язык существовал в локальных изводах, изменявшихся во времени, и в пределах этих изводов был фрагментирован по регистрам. Содержание эволюции церковнославянского языка в области фонетики и грамматики составляла периодическая

перестройка механизмов пересчета между церковнославянскими нормами языка и особенностями разговорного языка. В лексике положение было иным, потому что лексика была непосредственно ориентирована на образцы, в конечном счете на лексикон Священного Писания. Это обеспечивало ее стабильность и преемственность в рамках регистров. Однако и в лексике церковнославянского языка, хотя и иначе, действовал механизм пересчета, и именно он был движущим механизмом ее эволюции.

Общесистемная теоретическая проблематика, изложенная в докладах на пленарном заседании, обсуждалась на заседаниях секций. В рамках конференции работали 9 секций.

Секцию **грамматики («Русская грамматическая наука на пороге XXI века: проблемы и перспективы»)** возглавляли А.В. Бондарко и Г.А. Золотова. За два дня работы этой секции на ее заседаниях было прослушано 29 докладов по общим и частным проблемам современной грамматической науки. Общими проблемами оказались следующие: грамматика и культура, грамматика и текст, место русской грамматики в современной лингвистике, грамматическая терминология. Месту грамматики в культуре и отношению грамматики и текста был посвящен доклад Н.Н. Запольской (Москва), которая показала, что в разные периоды русской истории отношение грамматики и текста было разным – от грамматики, комментирующей текст, в конфессиональной культуре до грамматики, порождающей текст, в секулярной культуре. Т.В. Шмелева (Великий Новгород) обратила внимание слушателей на то, что русская грамматика перестала быть приоритетным направлением в русистике и, шире, в русской лингвистической науке, что она уступила это место частным лингвистическим дисциплинам. В докладе было показано, что, несмотря на общие интеграционные процессы, соединяющие единицы разных уровней, словарь и грамматику, грамматику и текст, разные грамматические школы стремятся дистанцироваться друг от друга, отгородиться терминологией. Е.А. Брызгунова (Москва) охарактеризовала современное состояние теории литературного русского языка, представила наиболее дискуссионные области и наметила перспективы дальнейших исследований. В докладах В.С. Храковского (Санкт-Петербург), М.А. Шелякина (Эстония), Б. Тошовича (Австрия) обсуждались разные типы грамматик: типологическая (В.С. Храковский), функциональная (М.А. Шелякин), корреляционная (Б. Тошович). Н.В. Перцов (Москва) рассмотрел отношения между разделами грамматики и выдвинул дополнительные аргументы в пользу соединения словоизменения и словообразования в рамках морфологии. Системный взгляд на русскую морфологию предложил П.А. Лекант (Москва) в своем докладе «Категориальная семантика частей речи». И.П. Кюльмоя (Эстония) внесла уточнение в методику функционального анализа ТФГ.

Русская грамматическая терминология и способы ее вхождения в «интерлингва» обсуждались в докладе С.А. Крылова, который рассмотрел терминологические дублиеты (калька и полное заимствование из латинского или греческого языков) и их функционирование в разных грамматических дисциплинах.

Несколько докладов были посвящены морфемике и словообразованию: о глагольном приставочном словообразовании говорил М. А. Кронгауз (Москва), о системности словообразовательных отношений - Э. А. Бабалькина (Казань), о направлении словообразовательной мотивации - В.Н. Немченко (Нижний Новгород). Е.Ф. Киров (Нижний Новгород) рассмотрел основные средства делимитатики – фонетические сигналы границы между

морфемами, словами, предложениями. Морфология глагола была представлена в докладе В.А. Плунгяна (Москва) об аналитических формах глагола с бы, было, бывало и в докладе В.И. Гавриловой (Москва) о возвратных глаголах. Глагольная проблематика с точки зрения синтаксиса словосочетания была развита Л.И. Богдановой (Москва). А.В. Циммерлинг (Москва) предложил свою интерпретацию слов, традиционно относимых к категории состояния.

Синтаксис предложения с точки зрения семантики служебных слов рассматривался в докладах Т.А. Колосовой (Новосибирск) и А.Ф. Прияткиной (Владивосток). Синтаксическая интерпретация периферийных (нерегулярных) синтаксических конструкций была предложена Т. Солдатенковой (Бельгия). Два доклада были посвящены проблемам интонации, порядка слов и теморематическому членению: М.Ю. Федосюк (Москва) показал место теории актуального членения среди других лингвистических дисциплин, Т.Е. Янко (Москва) выявила несовпадение между ремовыделителями и показателями контраста.

Особое направление в работе секции грамматики составили доклады, рассмотревшие отношение грамматики и текста. М.Ю. Сидорова (Москва), сравнив методологию таких дисциплин, как нарратология, дискурсивный анализ, стилистика текста и грамматика текста, обосновала приоритет и большую объяснительную силу грамматики текста. Г.А. Золотова (Москва) показала ведущую роль глагольных форм в грамматической организации текста и убедительно доказала, что многие нерешенные проблемы системной грамматики возможно решить соединив системно-грамматическое, лексикографическое и текстовое описание, с учетом таких понятий, как коммуникативный регистр речи и точка зрения говорящего. О.Е. Фролова (Москва) рассмотрела языковые средства выражения точки зрения субъекта видящего (перцептивный модус), соединив тем самым системную грамматику и анализ повествовательного текста. Грамматическим средствам связности текста как «вирулентного перформатива» был посвящен доклад Ю.Г. Проскурякова (Москва). Метатекстовые глаголы, лексикализирующие когнитивно-коммуникативные категории (категории познавательной деятельности), в их системной взаимосвязи представила Т.М. Цветкова (Москва).

Секция **лингвистической теории и толковой лексикографии** (руководитель секции – Ю. Д. Апресян) работала по нескольким направлениям. Первый блок докладов непосредственно связан с созданием разного рода словарей. Опыт работы над “Русским семантическим словарем” поделились М. В. Ляпон (Москва) и А. С. Белоусова (Москва). Докладчики рассказали о тех теоретических обобщениях, которые могут быть сделаны в результате работы со Словарем.

В.В. Химик (Санкт-Петербург) рассмотрел проблемы, связанные с созданием нормативного словаря русского языка, который бы позволил более точно разграничить разные стилистические подсистемы в пределах и за пределами литературной нормы.

В докладах Т. В. Крыловой (Москва) и А. В. Санникова (Москва) были представлены синонимические ряды, написанные ими для «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка». А. Д. Шмелев (Москва), работающий над созданием словаря ключевых слов русской языковой модели мира, обсудил методiku обнаружения национальной языковой специфики и некоторые опасности, подстерегающие исследователя на этом пути.

Второй блок докладов был посвящен синтаксису. В результате экспериментальной работы

над системой русско-английского машинного перевода ЭТАП-3 Л.Л. Иомдину (Москва) удалось обнаружить некоторые ранее неизвестные синтаксические ограничения на функционирование русских придаточных определительных с которых, что не только позволяет улучшить работу системы, но и обогатить новыми фактами один из наиболее изученных разделов русского синтаксиса. И. Б. Левонтина (Москва), обратившись к конструкции малого синтаксиса уж кто-кто, установила обязательные и факультативные позиции в составе конструкции, список к-слов, которые могут входить в ее состав, а также обсудила проблему синтаксической структуры этой конструкции. Г. И. Кустова (Москва) рассмотрела семантику русских компаративов типа подлиннее. Она установила, что кроме идеи аттенуативности компаративы этого типа указывают на наличие ситуации выбора. Историческая проблематика была представлена в докладе Э.А. Бабаевой (Москва), которая, сопоставив два важных для русской культуры памятника лексикографии (славяно-греко-латинского лексикона Ф. Поликарпова и русско-французского словаря А. Кантемира), проследила развитие взглядов на язык и нормализацию лексики литературного языка. Исследователь Н.Р. Рогоза (Иваново) на основе анализа лексикографических источников показала развитие значений существительного дом в русском языке, возводя его к идее семьи, рода. Взаимодействие лексикографии и словообразования отразилось в докладах Б.Л. Иомдина (Москва) и В.А. Плунгяна (Москва). Б. Л. Иомдину удалось выделить несколько нетривиальных значений приставки, противоречащих ее внутренней форме, однако весьма продуктивных. В докладе В. А. Плунгяна обсуждалась возможность семантического варианта значения связанного корня -ня-, имеющего очень общий характер, сводящийся в конечном счете к идее каузации перемещения.

Последний блок докладов представлял проблематику теоретической лексикографии. Доклады И.М. Богуславского (Москва) и Е. В. Урысон (Москва) были посвящены нетривиальным валентным свойствам, во многом выходящим за рамки привычных представлений о способах заполнения валентностей, кванторных слов типа большинство, меньшинство, единственный (И. М. Богуславский) и уступительных слов (Е. В. Урысон). Их наблюдения позволяют обосновать тезис о принципиальной неполноте информации о сфере действия слов, извлекаемой из синтаксической структуры предложения. Проблема продуктивных типов полисемии была рассмотрена О. Ю. Богуславской (Москва) на примере русских существительных со значением причины. Для слов этого поля существенными оказались противопоставления объективной и субъективной причины (причины-основания), а также противопоставления причина - аргумент, причина – цель. Лексическая семантика в типологическом аспекте представлена в исследовании Е. В. Рахилиной (Москва) и М. Лемменса (Москва), посвященном глаголу сидеть. Были продемонстрированы возможности метода исследования сочетаемости слов для создания лексической типологии. Анна А. Зализняк (Москва) и А. Д. Шмелев (Москва) доказали, что семантические различия между некоторыми лексемами из семантического поля радости лежат в области коммуникативной организации толкований лексем. Наиболее оживленную дискуссию вызвали доклады, посвященные теоретическим проблемам синтаксиса и семантики: полисемии, валентной структуре, проблеме выделения инвариантов грамматических и лексических значений.

На секции **фразеологии** обсуждались результаты и перспективы исследования фразеологических единиц в наминативно-функциональном, когнитивно-дискурсивном и лингвокультурологическом аспектах. Семантический анализ фразеологизмов в докладах Е.Г. Борисовой (Москва), О.В. Евтушенко (Москва), Н.В. Юдиной (Владимир) проводился в русле когнитивной парадигмы, в рамках которой изучаются стратегии понимания и продуцирования речи, а также процессы структурирования и репрезентации субъектом речи языкового знания. В докладе Е.Г. Борисовой обосновывалась мысль о том, что способы узуализации устойчивых сочетаний могут быть интерпретированы через прагматическую модель речи, учитывающую момент выбора единицы в зависимости от понимания ее слушателями. О.В. Евтушенко предложила рассматривать перестройку когнитивных схем как принцип описания калькированных фразеологических единиц. Н.В. Юдина говорила о когнитивных основаниях такого языкового явления, как устойчивая сочетаемость. Концептуальный анализ фразеологических единиц (идиом и устойчивых сочетаний) лег в основу описания таких концептов, как радость и горе (А.Д. Козеренко, Москва), память (Н.Г. Брагина, Москва), удивление (И.А. Шаронов, Москва), труд (Г.В. Токарев, Тула).

Лингвокультурологический взгляд на фразеологизмы обусловил создание метаязыковых процедур для выявления, описания и верификации значимости фразеологизмов как культурных знаков. М.Л. Ковшова (Москва) проследила процесс концептуализации культурных смыслов в языковые сущности и предложила свое понимание культурной коннотации фразеологизма. В докладе В.В. Красных (Москва) была дана разработка предметного кода культуры как семиотической системы, бытующей в деятельности и отраженной в ментальности человека, было показано, как компоненты фразеологизма соотносятся с предметным кодом.

Завершил работу секции доклад В.Н. Телии (Москва), в котором обосновывался тезис о том, что культурно-семиологический фон фразеологизмов является фактором их устойчивости и воспроизводимости; было показано, как и в каких формах культура воплощается в языковые единицы.

На секции **«Язык и культура: актуальные проблемы лингвистической поэтики и эстетики»** были заслушаны доклады, представившие четыре основных направления исследований в этой области.

На первом заседании обсуждались общие вопросы строения художественного текста и лингвистической стилистики. Были изложены программные положения теории стилистики (О.Г. Ревзина, Москва), представлены статистические материалы к изучению лингвистических различий стиха и прозы (Т.В. Скулачева, Москва), подробно рассмотрены структурные и семантические закономерности образования поэтических оксюморонизмов (В.Н. Виноградова, Москва). Проанализирована традиция использования оксюморона «живой труп» в русской литературе (С.Г. Шулежкова, Магнитогорск).

Второе заседание было посвящено вопросам писательской лексикографии. На нем с программным докладом выступила Л.Л. Шестакова (Москва), рассказавшая о современном состоянии и тенденциях развития поэтической лексикографии. Проблемы писательской лексикографии обсуждались в ряде докладов: В.В. Краснянский (Орехово-Зуево) рассказал об опыте составления словаря И. Бунина, И.Ю. Белякова (Москва) – словаря М. Цветаевой, о способе подбора материалов для словаря метафор и сравнений русской литературы XIX-XX вв. на примере

семантической группы «Цветы» говорила Н.А. Кожевникова (Москва).

Отдельное заседание секции было посвящено проблемам изучения индивидуальных стилей писателей. В частности, была подвергнута анализу композиция стихотворений Н. Заболоцкого (Е.В. Красильникова, Москва), обнаружен один из парадоксов эволюции идиостиля Вяч. Иванова (А.Г. Грек, Москва), выявлена стилистическая специфика гностических стихотворений М. Кузмина (Л.Г. Панова, Москва), а также всесторонне рассмотрены лингвопоэтические аспекты языковой игры у А. Платонова (З.С. Санджи-Гаряева, Саратов).

Заключительное заседание секции было посвящено описанию состояния поэтического языка рубежа XX-XXI веков. Прежде всего было подчеркнуто, что современная поэзия обладает необыкновенной динамикой формы на всех уровнях текста, что позволяет говорить о «втором рождении» формализма (Н.А. Фатеева, Москва). В очень неожиданном ракурсе были рассмотрены вопросы влияния истории языка на поэтический язык современности (Л.В. Зубова, Санкт-Петербург), а также обозначены основные тенденции развития языка современной драмы: ее полиструктурность, интертекстуальность, подвижность по оси «диалогичность-монологичность» (Н.А. Николина, Москва).

В работе секции **«Проблемы культуры речи. Норма и её кодификация»** (руководители - С.М. Кузьмина, Е.Н. Ширяев) были две доминирующие темы: 1) проблемы нормы и её кодификации и 2) закономерности построения «эффективных, доброкачественных» текстов.

Доклад О.Б. Сиротининой (Саратов) был посвящен возможностям кодификации узуальных норм. В докладе отстаивался осторожный и взвешенный подход при кодификации новых языковых явлений, поскольку современные процессы демократизации языка, которые иногда перерастают в языковую вседозволенность, нередко приводят к тому, что в качестве нормативных фиксируются явления, объективно обедняющие язык. Особое внимание привлекают к себе орфоэпические и орфографические и пунктуационные нормы. Повышенный интерес к последним вызван широким и далеко не всегда объективным обсуждением вопросов правописания в средствах массовой информации в связи с проектом совершенствования этих правил.

В докладах Е.А. Брызгуновой (Москва) и С.М. Кузьминой (Москва) был дан критический анализ современной языковой ситуации. Отмечались наиболее распространенные в речи ошибки, прежде всего интонационные (Г.Н. Иванова-Лукиянова, Москва), анализировались процессы, протекающие в области произношения (совместный доклад М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткина и Р.Ф. Касаткиной, Москва).

Нормализаторская деятельность в области орфографии невозможна без извлечения уроков из предыдущих реформ. Этому посвящен доклад Б.И. Осипова (Омск). Актуальные вопросы написания прописной буквы, слитного-раздельного написания отрицания не, а также вопросы пунктуации рассматриваются в докладах Л.К. Чельцовой (Москва), Е.В. Бешенковой (Москва), Н.Н. Ореховой (Глазов), Л.Б. Парубченко (Барнаул). Большое внимание во всех докладах уделялось поиску объективных критериев оценки варьируемых орфоэпических фактов, а также конкурирующим орфографическим вариантам.

В плане анализа текстов в культурно-речевом аспекте особо подчеркивалась необходимость принимать во внимание дискурсные, прежде всего прагматические, условия функционирования

текстов, такие, например, как фактор адресата, без ориентации на коммуникативные запросы которого текст просто не может быть эффективным (И.Т. Вепрева, Екатеринбург; Е.М. Лазуткина, Москва). В этом же плане говорилось о необходимости особого направления в культуре речи, которое было предложено называть культурно-речевой критикой текстов по определенной программе, над чем еще предстоит работать (Е.Н. Ширяев, Москва). Ряд докладов был обращен к широко представленным в средствах массовой информации экспрессивным средствам языка, в том числе и таким, которые восходят к городским фольклорным жанрам (А.П. Сковородников, Красноярск; Е.Я. Шмелева, Москва). Был поставлен вопрос о коммуникативных категориях текста, в частности, о категории чуждости и средствах выражения этой категории (Е.П. Захарова, Саратов). В докладе Ю.А. Сафоновой (Москва) были собраны и обобщены суждения лингвистов и журналистов по проблемам культуры речи и возможности нормативных рекомендаций в этой области.

В рамках секции истории русского языка и письменности работали четыре подсекции: первая (под руководством А.М. Молдована) - «Письменность на Руси: языковые особенности памятников», вторая (под руководством В.М. Живова) – «Историческая семантика и другие проблемы истории литературного языка», третья ( под руководством И.С. Улуханова) – «Историческая грамматика русского языка», четвертая (под руководством Г.А. Богатовой и А.Ф. Журавлева) – «Русская историческая и этимологическая лексикография и историко-лексикологические исследования».

Работа первой подсекции началась с обсуждения переводной письменности на Руси. Во вступительном слове А.М. Молдован отметил, что современная лексикографическая база и объем изданных текстов делают возможным изучение географии распространения лексических явлений, важных для атрибуции памятников. Накоплен большой опыт текстологического изучения списков и, в частности, выявлены механизмы лексических замен. Это позволяет более уверенно связывать обнаруживаемые в списках местные особенности лексики с происхождением текстов. Сегодня ученые располагают серьезными данными, позволяющими утверждать, что создание древнейших переводов Истории Иудейской войны, Жития Андрея Юродивого, Жития Василия Нового, Пчелы, Пандект Никона Черногорца и некоторых других произведений является результатом деятельности древнерусских книжников. Об итогах и перспективах изучения восточнославянских переводов с греческого говорил в своем докладе К.А. Максимович (Москва). А.М. Пентковский (Москва) связал формирование комплекта богослужебных книг древнерусской редакции с литургической реформой в Киево-Печерском монастыре. Это объясняет лексические отличия этих книг от текстов предшествующего периода. Анализируя лексические особенности древнерусских переводов, А.А. Пичхадзе (Москва) пришла к выводу, что их регионально-маркирующая лексика, относящаяся главным образом к бытовой сфере, составляет малую часть словаря и не образует признаков извода церковнославянского языка. По мнению докладчика, задача заключается в том, чтобы определить сферы распространения частотной лексики, которая входила в пассивный запас писавших, но не всеми использовалась одинаково. В докладе Т.В. Пентковской (Москва) обосновывалась необходимость учета комплекса параметров (лексических, морфологических и

синтаксических) для локализации и группировки переводов византийских текстов. А.А. Алексеев (Санкт-Петербург) рассмотрел критические издания, посвященные славянскому переводу книги Есфирь. В докладе Г.С. Баранковой (Москва) обсуждалась проблема языка (греческий или церковнославянский), на котором написаны оригиналы Антилатинских Посланий митрополита Никифора. Установлены редакции Посланий и определен характер их использования в других древнерусских полемических памятниках – в «Стязании с латиною» и «Поучении от седми собор на латину». В.В. Калугин (Москва) на основании лингвистических исследований «Жития Трифона Печенгского» определил время написания этого памятника (конец XVII в. – начало XVIII в.) и выдвинул предположение о том, что автором Жития был севернорусский книжник, возможно, из окружения епископа Афанасия Холмогорского или он сам.

В ходе работы второй подсекции обсуждались проблемы развития русского письменного языка в контексте историко-культурной динамики. Во вступительном слове В.М. Живов (Москва) указал на недостаток внимания, которое уделяется в русистике истории фундаментальных культурных понятий (*Begriffsgeschichte*), связи семантического и историко-культурного развития, и привел примеры того, к каким искажениям в лексикографическом описании приводит культурный анахронизм метаязыка. В докладе Г.Н. Складневской (Санкт-Петербург) анализировалась семантическая структура слова сердце в русском синодальном переводе Библии; докладчик доказал, что обычные описания структуры значения данной лексемы в существующих словарях не учитывают специфики ее библейского употребления, равно как многочисленных примеров, когда это употребление воспроизводится в современном литературном языке. Было предложено лексикографическое описание этой лексемы, учитывающее ее употребление в Св. Писании. Ряд наблюдений над зависимостью семантики глаголов движения от семантического класса типичного субъекта таких глаголов был сделан в докладе И.И. Макеевой (Москва) «Семантика глаголов движения в истории русского языка». Большой интерес вызвал доклад Е.И. Якушкиной «К вопросу о формировании этической лексики в славянских языках: телесный код». Сопоставляя русский и сербский материал, докладчик показал, какие базовые представления лежали у славян в основе развития этических оценок, выражаемых с помощью фундаментальных соматических оппозиций. Ценные наблюдения были сделаны в докладе Р.Н. Кривко (Москва) «Гebraизмы славянской Псалтыри», указавшего на калькированный характер библейского выражения от лица, выступающего в виде агентивного составного предлога; в этой связи автором были высказаны интересные соображения о функционировании калек в языке славянской Библии.

Работу подсекции исторической грамматики открыл И.И. Улуханов (Москва), который охарактеризовал современный этап изучения истории русского языка, отметил, что открываются новые возможности в связи с появлением новых источников – исторических словарей и их картотек и новых изданий ряда текстов, что недостаточно реализованы возможности использования в исторической русистике теоретические результаты, достигнутые общим языкознанием; в исследовательской практике преобладают конкретные исследования, а работы обобщающего характера немногочисленны.

В докладах, прочитанных на заседаниях подсекции, содержались материалы и выводы, которые могут быть использованы в теоретических обобщающих работах, а некоторые доклады

(С.И. Иорданиди, Москва; Т.А. Сумниковой, Москва) представляли собой фрагменты третьего тома обобщающего исследования «Историческая грамматика древнерусского языка», ведущегося в Отделе истории русского языка ИРЯ им. В.В.Виноградова РАН (ср. два тома этого исследования, опубликованные в 2000 и 2001 гг. под ред. В.Б.Крысько). В докладе О.Ю.Крючковой (Саратов) рассматривалось отражение в моделях внутрисловных удвоений аффиксов направлений словообразовательной и общеязыковой эволюции. По мнению докладчика, изменения в характере внутрисловных удвоений в системе соответствующих моделей могут рассматриваться в качестве диагностирующих показателей, свидетельствующих о смене языковых эпох. Доклад И.В. Ерофеевой (Казань) был посвящен изучению семантико-стилистических особенностей производных образований в Новгородской I летописи, Повести временных лет и Московском летописном своде. Э.М.Шимчук (Москва) рассматривала историю лексических средств выражения субъективности. В докладе И.А.Измestьевой (Тольятти) рассматривались механизмы древнерусских изменений в области вокализма. С точки зрения межслоговой ассимиляции давалось объяснение перехода е в о. В центре внимания С.И. Иорданиди (Москва) были особенности образования форм компаратива в кругу прилагательных, осложненных суффиксами с приметой -к-, и их соотношение с бессуффиксными прилагательными того же корня. Доклад Т.А.Сумниковой (Москва) был посвящен истории личных местоимений двойственного числа в языке XI–XIV вв. С.П.Лопушанская (Волгоград) изложила результаты изучения причин и механизма унификации системы времен и наклонений в русском языке XI–XVII вв. В докладе Л.Р. Абдулаховой (Казань) было показано, что деепричастные формы на -учи в XVIII в. достаточно активно использовались в разножанровых текстах, вступая в синонимические отношения с деепричастиями других типов. Доклад К.-Х. Лунда (Дания) был посвящен языку официальных переводов с русского языка на датский в середине XVII в. Язык позднего русского летописания (XVI–XVII вв.) рассматривался в докладе О.Н. Кияновой (Москва). Фонетические и морфологические особенности языка Сентябрьского пролога XIII в. (РГАДА, Тип. 156) исследовались в докладе О.П. Шевчук (Москва), а язык рукописей псковского скриптория Андрея Микулинского и Козьмы Поповича – в докладе Е.В. Горской (Москва).

Перед началом работы четвертой подсекции присутствующие почтили минутой молчания память академика О.Н. Трубачева. Работа секции открылась докладом Г.А. Богатовой (Москва), в котором были подведены итоги двадцатилетнего развития исторической и этимологической лексикографии в отечественной палеославистике, обосновано необходимое научное сопровождение словарей исторических жанров. И.С. Улуханов (Москва) на основании данных картотек исторических словарей представил наблюдения над функционированием лексем в зависимости от жанра и стиля памятника. М.И. Чернышева (Москва) обосновала необходимость создания тематических словарей историко-лексикологического жанра. И.Г. Добродомов (Москва) проследил механизмы появления ошибок при лексикографической интерпретации и при составлении академических комментариев к текстам средневековой и новой русской литературы. «О научном сопровождении словарей исторического жанра» в связи с выходом в свет Справочного выпуска Словаря русского языка XI–XVII вв. (М., 2001) говорила

Л.П. Рупосова (Москва), предложившая выпустить отдельно прямой и обратный словники и отдельным изданием вновь отредактированный Указатель источников. В докладе Ж.Ж. Варбот (Москва) «Диахронический аспект языковой картины мира» был реализован историко-культурный подход к данным словарей этимологических и историко-лексикологических жанров. Острую полемику вызвал доклад О.С. Мжельской, Е.И. Зиновьевой, Е.В. Генераловой (Санкт-Петербург) о «Словаре обиходного русского языка XVI-XVII вв.». Н.А. Замятина (Москва) сделала доклад о терминологии русской иконописи на материале составленного и опубликованного ею специализированного словаря. Процессы калькирования и заимствования в русском языке в Петровскую эпоху были прослежены в докладе Н.С. Араповой (Москва). И.И. Макеева (Москва) рассказала о принципах представления глаголов в словарях исторического жанра. Л.Ю. Астахина (Москва) поставила вопрос о лингвистической достоверности и отметила наличие в словарях исторического жанра «призрачных слов» (псевдогапаксов), никогда не существовавших в русском языке, но ошибочно попавших в словари. Т.Л. Миронова (Москва) проследила жизнь слова в древнейших рукописях по наличию в них определенных графем с целью установления их принадлежности к кирилловским переводам.

В докладах на секции **диалектологии** были обсуждены новые направления в диалектологии, доминанты традиционного сельского общения и судьбы русских говоров, работа по созданию лексического атласа русских народных говоров (доклады Л.Л.Касаткина, Москва; В.Е.Гольдина, Саратов; С.А.Мызникова, Санкт-Петербург). Вопросы диалектной лексикологии и лексикографии обсуждались в докладах Е.А.Нефедовой (Москва), С.Е.Никитиной (Москва), Л.Г.Самотик (Красноярск). Темой трех докладов стали диалектные особенности говоров русских старообрядцев, живущих на территории Польши и Литвы (доклады С. Гжибовского, Польша; В.Н.Чекмонаса, Литва; Н.А.Морозовой, Литва). Были рассмотрены вопросы диалектной фонетики - исторической и современной (доклады Е.А.Галинской, Москва; О.Г.Гецовой, Москва; Д.М.Савинова, Москва), а также проблемы изучения диалектной интонации (доклады С. Оде, Нидерланды; О. Йокояма, США; Р.Ф.Касаткиной, Москва).

Работа секции «Русский язык во внешнем контексте» была сосредоточена на проблемах динамики языковой ситуации в РФ и странах СНГ, а также формах существования русского языка в иноязычном окружении. Социально-лингвистические факторы употребления русского языка в межнациональном общении в современных условиях были определены в докладе В.Н. Белоусова (Москва). Л.К. Байрамова (Казань) и Л.М. Грановская (Азербайджан) представили языковые модели двуязычия в Татарстане и Азербайджане, показали явления языковой симметрии и асимметрии в связи с изменениями языкового фона. Функционированию русского языка в среде малочисленных народов был посвящен доклад Д.М. Насилова (Москва). О проблеме языковой самоидентификации и особенностях существования русского языка в языковом опыте билингвов сообщила Т.Ю. Познякова (Москва), чей доклад основывался на итогах социо- и психолингвистического анализа интервью и опросов русскоязычных информаторов. Фонетическое варьирование неисконной русской речи и особенности употребления парафонетических средств составили содержание докладов Э.А. Григоряна (Москва) и Ж.В. Ганиева (Москва). О тюркских

рефлексах в русской речевой культуре и о русских рефлексах – в тюркской речевой культуре рассказали М.В. Субботина (Москва) и И.А. Магеррамов (Оренбург). В докладе Г.Н. Тараносовой, О.Г. Каменской и Э.К. Мустафиной (Тольятти) были затронуты вопросы перехода языковедческих курсов (в рамках преподавания РКИ) на этнокультурную проблематику, что обусловлено изменением социолингвистической ситуации в РФ.

В секции «**Русский язык на рубеже веков: активные процессы**» было прочитано и обсуждено 28 докладов. На заседаниях секции рассматривались изменения в русском языке последних десятилетий – на разных уровнях его структуры. О.П. Ермакова (Калуга) сделала доклад о семантических процессах в лексике, М.Я. Гловинская (Москва) – о продолжающихся и новых явлениях в грамматике, Л.П. Крысин (Москва) – об иноязычных кальках в лексике и фразеологии, О.А. Лаптева (Москва) – о разграничении живого явления в языке и речевой ошибки. Несколько докладов было посвящено активным процессам в языке публицистики (М.А. Кормилицына, Саратов; Е.И. Голанова, Москва; А. Снайбьерг, Дания). Живой интерес вызвал доклад А.В. Занадворовой (Москва) о коммуникативных неудачах при взаимодействии человека с компьютером, а также доклад М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой (Москва) о языковом существовании современного горожанина. Особым направлением в работе секции стали доклады, в которых шла речь об особенностях современных жаргонов и о роли жаргона как средства речевой коммуникации (И.А. Магеррамов, Оренбург; Р.И. Розина, Москва; Л.А. Кудрявцева, Киев).

*Н.К. Онипенко*

### **Международная конференция «Проблемы славянской библейской филологии»**

С 16 по 20 сентября 2002 г. в Андреевском монастыре в Москве в помещениях Синодальной Библиотеки проходила международная конференция «Проблемы славянской библейской филологии», ее организаторами выступили Славянская библейская комиссия при Международном комитете славистов (СБК), Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН, Патриаршая Синодальная Библейская комиссия и, наконец, Синодальная библиотека. Это уже не первое научное заседание, созванное в Москве Славянской Библейской комиссией со времени ее образования в 1988 г. на 10-м международном съезде славистов в Софии: в 1989 г. в Институте русского языка прошло двухдневное расширенное заседание СБК, в 1990 г. в Даниловом м-ре — большая конференция по вопросам библейской текстологии, в 1996 г. — конференция по русским переводам св. Писания, в 1999 г. — конференция, посвященная Геннадиевской библии в связи с празднованием ее 500-летия. Две последние конференции, как и настоящая, также проходили в Синодальной библиотеке, которая со времени своего переезда в Андреевский монастырь в 1994 г. благодаря энергии ее директора прот. Бориса Даниленко стала одним из крупных научно-просветительских центров России. Если деятельность Славянской библейской комиссии первоначально опиралась на финансовые средства и поддержку Российской Академии наук, то

чем дальше, тем больше в качестве мецената, спонсора или благодетеля стала выступать именно Синодальная библиотека, соответственно с чем и в самой тематике научных съездов стала усиливаться общебиблейская стихия. Развитие в этом направлении необходимо признать не только неизбежным, но и желательным. Даже в дореволюционной России славянская библеистика своим развитием и достижениями заметно опережала исследования в области еврейского и греческого текстов Священного Писания, в области переводов и распространения Библии; естественно, что после нескольких десятилетий господства официального научного атеизма именно ей приходится брать на себя задачи восстановления оригинальных работ в области изучения Библии. Вместе с тем, традиционная славяноистическая тематика получает все большее развитие на этих научных встречах. Характерной чертой библеистических заседаний последнего десятилетия является совместное участие в них представителей университетов и духовных учебных заведений.

В области библеистики и современных проблем перевода на конференции были представлены следующие доклады. А. С. Десницкий, сотрудник московского отделения Института перевода Библии, рассказал о методах литературного анализа Пятикнижия, остановившись подробнее на истории Иосифа (Быт 37-50). Ректор Калужской духовной семинарии прот. Ростислав Снигирев указал на трудности преподавания Ветхого Завета, возникающие от того, что Синодальный перевод непоследовательно и иногда противоречиво передает библейский ономастикон и названия многих ближневосточных реалий. Диакон Андрей Глущенко (Киевская Духовная академия) критически рассмотрел перевод Нового Завета на украинский язык, выполненный о. Рафаилом Турконяком и изданный в 2000 г. в Киеве Украинским Библейским обществом. Прот. Георгий Соколов (Минская духовная академия) в своем докладе дал анализ лексических заимствований в белорусских библейских переводах XX в. Сотрудники издательства Московского Патриархата Е. С. Полищук и Л.П. Медведева сделали сообщение о тексте славянского Четвероевангелия, размещенном на сайте издательства.

Связи Библии с христианской литературой были посвящены доклады преподавателя Санктпетербургской Духовной академии В. В. Василика «Семантика библейских цитат в произведениях древнерусских книжников домонгольской эпохи» и преподавателя Московской духовной академии Ф.Б. Людоговского «Характер цитирования св. Писания в слове Иоанна Златоуста на Пасху».

Источниковедение славянской Библии было предметом анализа в докладах Хр. Ханника (Университет Вюрцбурга) «Библейские рукописи в контексте литургических исследований», А. А. Турилова (Институт истории РАН) «Библейские книги в сводном каталоге XIV века», С. О. Вяловой (Российская национальная библиотека) «Глаголические рукописи РНБ», Л. В. Осинкиной (Оксфордский университет) «Книга Екклесиаст» (обзор рукописной традиции), Мэри МакРоберт (Оксфордский университет) «Церковнославянская катена на Псалтырь в рукописях XIV-XV вв.».

Истории средневековой и новой библеистики были посвящены выступления В. А. Ромодановской (ИРЛИ РАН) «Чудовская латинская Псалтырь XV в. на фоне европейской традиции» (интерлинейный перевод латинской Псалтыри выполнен в новгородском кружке архиеп. Геннадия), И. П. Климова (Минский университет) «Текстология церковнославянского Евангелия по изданию В. Тяпинского» (о первых опытах усвоения библейской критики в

восточной Европе), игумена Иннокентия Павлова (Российское библейское общество) «Проблема новозаветной текстуальной критики в трудах Н. Н. Глубоковского» (о неопубликованных критических замечаниях Глубоковского на Синодальный перевод, которые готовит к изданию Российское библейское общество), а также доклад Аницы Назор (Старославянский институт, Загреб) «Хорватские глаголические библейские тексты в планах Старославянской академии и Старославянского института».

Вопросы типологии и текстологии славянской Библии рассматривались в докладах Ролана Марти (Университет Саарбрюкена) «Библия у славян: восточные и западные традиции», Т. В. Пентковской (МГУ) «Третья редакция славянского перевода Нового Завета и ее взаимоотношение с другими редакциями» (предлагается удревнение Чудовского Нового завета на столетие и смещение места его возникновения в зону непосредственных контактов с греческим миром), Светлины Николовой (Кирилло-Мефодиевский научный центр Болгарской академии наук) «Проблема полного Мефодиевского перевода Библии» (об актуальности дальнейших изданий ветхозаветных текстов), Марио Капальдо (Университет Рима) «К текстологии славянского Пятикнижия» (обращено внимание на значение индивидуальных чтений для реконструкции архетипа).

Два доклада касались языковой нормы и типологии перевода, а именно Яна Петрова (Университет Лодзи) «Древнеславянские источники и функциональный подход к развитию языковой системы (на примере болгарского языка)» и А.В. Сизикова (СПБУ) «Заметки по типологии перевода у славян» (материалом послужили Житие Андрея Юродивого, Чудовский Новый завет и др.).

Искусствоведческий аспект был затронут в сообщении А. А. Плетневой «Лубочная Библия: текст и читатель» (автор готовит полное издание гравированных листов из Библии Пискагора с виршевыми переводами библейских текстов).

Наконец, несколько докладов было посвящено дальнейшей разработке вопросов, затронутых в опубликованной в 1998 г. славянской версии Евангелия от Иоанна. В опубликованных рецензиях эта работа получила положительную оценку, но были и возражения против предложенной текстологической гипотезы о том, что первоначальный славянский перевод охватывал не краткий апракос, а все Четвероевангелие. А. М. Пентковский (Московская духовная академия) предложил более детальную характеристику того служебного тетра, который был первоначально переведен и сохранился в доступных на сегодня рукописных источниках. А. А. Алексеев (ИРЛИ РАН) привел доказательства того, что новозаветный лекционарий был создан в Константинополе только в начале IX в. с целью разделения соборно-приходского и монастырского богослужения, таким образом его перевод не мог отвечать задачам миссии Кирилла и Мефодия. А. А. Пичхадзе (ИРЯз РАН) проанализировала разночтения, которые свидетельствуют о вторичности текста Ассеманиева Евангелия, которое было положено в основу реконструкции И. Вайса. Е. И. Ванеева (Российское Библейское общество) дала текстологическую характеристику Новому литургическому тетра конца XII в. в объеме текста синоптических Евангелий. Марчелло Гардзанити (Университет Флоренции) на материале Евангелия от Иоанна показал значение славянской версии для исследования греческого новозаветного текста византийской эпохи.

В ходе конференции состоялось заседание Славянской библейской комиссии с отчетом о работе в области славянской библейской филологии и палеославистики в разных странах. Говоря о

библейских исследованиях последнего десятилетия в России, председатель комиссии А. А. Алексеев особо остановился на обстоятельствах работы над Евангелием от Иоанна в славянской традиции. По условиям финансирования, которое осуществлялось вначале Объединенными Библейскими обществами, а затем Российским Библейским обществом, было выделено минимальное время собственно на исследование материала, задача ограничивалась классификацией рукописей и изданием текста. Реконструкция славянского архетипа не предполагалась, поскольку она могла бы внести нежелательные осложнения в современную миссионерскую работу, где и без того существуют значительные трудности в связи с распадом в XX в. единого прежде греческого новозаветного текста на Textus receptus (иначе говоря, церковный или византийский текст) и реконструкцию Э. Нестле и К. Аланда, в которой представлен возможный вид греческого оригинала III в. Сегодня в связи с изменением позиции Российского Библейского общества издание трех синоптических Евангелий, почти готовых к публикации, представляется маловероятным. Вызывает сожаление, что палеославистическая и прежде всего библейская проблематика не имеет в Российской Академии наук организационной структуры, подобной Кирилло-Мефодиевскому центру Болгарской академии наук, ее развитие и само существование подвержено многим случайностям. Комиссия высказала пожелание, чтобы издание славянской версии было завершено по крайней мере в объеме Четвероевангелия.

В отчете С. Николовой, директора названного Кирилло-Мефодиевского центра, был представлен весьма широкий диапазон работы по описанию рукописей, публикации библейских текстов, исследованию языка кирилло-мефодиевской письменности, осуществляемой в Центре. Хр.Ханник рассказал об успешно продвигающейся серии публикаций *Biblia slavica*, осуществляемой в Германии проф. Г. Роте. Комиссия выразила благодарность присутствовавшим на заседании высокопреосв. Питириму, митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому, а также сотруднице Российской государственной библиотеки Т. Л. Александровой за высококачественное наборное издание и фототипическое переиздание Чудовского Нового завета, осуществленное в 2001-02 гг. Кирилло-Мефодиевский центр сообщил о скором открытии интернет-сайта Славянской библейской комиссии, где будет отведено место информации об исследованиях в области славянской библейской филологии; адрес сайта пока не назван, но информация, долженствующая или могущая быть размещенной на нем, может быть посылаема по адресу: [kmnc@bas.bg](mailto:kmnc@bas.bg).

*А. А. Алексеев*

**Симпозиум «Власть, общество, личность в речевом сознании  
взрослых и детей современной России: функциональные, социальные,  
гендерные и возрастные параметры»**

Симпозиум *«Власть, общество, личность в речевом сознании взрослых и детей современной России: функциональные, социальные, гендерные и возрастные параметры»* был организован Саратовским межрегиональным институтом общественных наук (СарМИОН) при Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского (СГУ) и проходил на

филологическом факультете СГУ с 13 по 15 ноября 2002 г. Деятельность Саратовского МИОНа финансируется российской благотворительной организацией АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование.)» совместно с Министерством образования Российской Федерации, Институтом им. Кеннана (США) при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США), Института «Открытое общество».

Тема исследований Саратовского МИОНа – «Феноменология власти в России: государство, общество и индивидуальная судьба». Соответственно этому целями симпозиума были:

- обсуждение эвристических возможностей и эффективности методов лингвистического изучения феномена власти,
- рассмотрение достигнутых к настоящему времени в этой области научных результатов,
- формирование конкретных направлений дальнейшего лингвистического изучения феномена власти в рамках общих задач исследований Саратовского МИОНа.

1. Во вступительном слове Научного директора СарМИОНА **В.С. Мирзеханова** было охарактеризовано главное направление работы института, получили обоснование необходимость совместных исследований власти представителями различных наук и участие в данном научном проекте специалистов-лингвистов.

В качестве исходного материала участникам симпозиума был представлен для обсуждения коллективный доклад **В.Е. Гольдина, О.Ю. Крючковой, А.П. Сдобновой** «*К проблеме лингвистического изучения феномена власти в рамках проекта Саратовского МИОНа «Феноменология власти в России: государство, общество и индивидуальная судьба»*. В докладе выделялась основная специфика лингвистического исследования феномена власти: изучение осознания власти (ее сущности, реализаций, субъектов, межсубъектных отношений, атрибутов и т.д.) и проявления этого осознания в речи; анализ косвенных форм отражения явления власти в языке и речи; выявление слабо осознаваемых и неосознаваемых установок, связанных с властными отношениями; определение концепта *власть* как варьирующейся сущности (в соответствии со сферами коммуникации, социальными, возрастными, гендерными и другими факторами); учет диахронических изменений речевого и языкового отражения явлений власти; подчеркивалось особое значение данных корпусной лингвистики и когнитивно-словообразовательных исследований; обращалось внимание на необходимость дальнейшего развития методов социолингвистического, психолингвистического, собственно лингвистического анализа и многоаспектность лингвистического изучения феномена власти.

Вследствие высокой актуальности феномена власти, – отмечалось в докладе, – лингвистика всегда обращала внимание на соответствующие ему формальные, семантические и смысловые стороны языка и речи и имеет в данной области определенные достижения: выявлено наполнение семантического поля «власть», установлены важнейшие компоненты тематической группы «власть», определена типовая сочетаемость лексемы *власть* в современном литературном языке, определены лексические функции «Власть» в модели СМЫСЛ $\leftrightarrow$ ТЕКСТ, рассмотрены идеологические приращения содержания данного слова в некоторых прецедентных

художественных текстах, зафиксированы связи слова *власть* в ассоциативно-вербальной сети взрослых носителей современного русского языка, частично описаны метафорические явления, связанные с выражением идеи власти и т.д.

Вместе с тем до сих пор не было предпринято системного, цельного и многоаспектного лингвистического исследования феномена власти, которое могло бы дать научные ответы на вопросы о том,

- каковы основные узлы и взаимозависимости в вербальном фрейме ВЛАСТЬ,
- каково содержание представлений людей о власти и связанных с ней явлениях, каковы концепты власти с их явными и неявными, осознаваемыми и бессознательными, логическими и эмоциональными компонентами,
- каково варьирование этого содержания (содержания в широком смысле, включая концептуальные составляющие) и форм его выражения в синхронии и диахронии с учетом функциональных, социальных, личностных и других факторов,
- каковы важнейшие черты языка власти, то есть каковы вербальные средства реализации властных функций в их соотнесенности с конкретными социальными, политическими, культурными и иными обстоятельствами,
- какое воздействие на поведение людей оказывает семиотика власти.

Необходимость такого исследования определяется тем, что власть является одним из видов отношений между людьми и при этом таким отношением, которое не сводится лишь к объективно существующей зависимости одних лиц от других, а обязательно включает в себя осознание этой зависимости и выражение ее знаковыми средствами. Данные явления получают отражение в разнообразных вербальных (и других знаковых) формах, и, следовательно, лингвистический взгляд на феномен власти представляет собой не просто один из возможных подходов к решению проблемы, а подход обязательный, без которого ответы на вопросы, поставленные относительно власти, заведомо окажутся неполными, причем неполными в существенной своей части, – в части понимания того, каково осознание и выражение отношений власти.

С другой стороны, поведение людей в значительной мере управляется неосознаваемыми ими установками. Изучение неосознаваемого также возможно лингвистическими, социолингвистическими, психолингвистическими методами, в частности, – методом контент-анализа, интерпретацией результатов свободных ассоциативных экспериментов и др.

2. В ряде докладов были предложены выработанные современной психолингвистикой теоретические основания анализа содержания концепта *власть*, доказывалась необходимость интегрального изучения данного содержания, включающего сигнификативные и денотативные, расчлененные и целостные, вербализуемые и невербализуемые, общие и индивидуальные, устойчивые и варьируемые компоненты разных уровней эксплицитности и осознаваемости.

Так, в докладе **А.А. Залевской** (Тверь) «*Вопросы теории комплексного исследования речевого сознания и речевого воздействия*» обосновывалась необходимость разработки интегративной теории значения / смысла и перехода от трактовки речи как самодостаточной сущности к признанию ее взаимодействия с другими психическими процессами; от представления о знаке как эквивалентности означающего и означаемого к пониманию знака как инференции, то есть к трактовке знака как «пускового момента» для актуализации многообразных выводных

знаний; от отождествления значения слова с его дефиницией в толковом словаре к учету специфики лежащих за словом продуктов взаимодействующих процессов переработки познавательного и речевого опыта; от трактовки речевого сознания как ограничивающегося исключительно осознаваемым и вербализованным к признанию постоянного взаимодействия различных уровней осознаваемости с опорой на не находящие выхода на «табло сознания» выводные знания и переживания.

Данная позиция получила поддержку в докладе **Е.Ю. Мягковой** (Курск) *«Возможности исследования эмоционально-чувственного значения методом семантического дифференциала»*, в котором утверждалась необходимость использования комплекса методик для создания интегративных моделей языковых явлений и в их числе – метода семантического дифференциала; было показано, что полученные с помощью этого метода результаты, с одной стороны, дополняют данные ассоциативных экспериментов, а с другой, – дают более полную и объективную картину исследуемого явления.

Сопоставительному анализу результатов свободных ассоциативных экспериментов с испытуемыми-взрослыми и со школьниками I – XI классов был посвящен доклад **А.П. Сдобновой** (Саратов) *«Ассоциативное поле «Власть» в словаре школьников»*. В ассоциативных полях взрослых и школьников совпадают «ядерные признаки» власти: властные отношения характеризуют прежде всего общественно-политическую сферу, и потому власть предстает как орган управления, механизм управления государством, как лица, облеченные государственными, административными полномочиями; власть воспринимается в качестве силы, могущества, влияния. Различия проявляются в том, что в реакциях взрослых сама власть, властные лица представлены обобщенно, власть нередко ассоциируется с какой-либо господствующей идеологией, в сознании же школьников власть более персонализирована, представлена образами конкретных людей и ассоциируется не с идеологией, а с силой и деньгами.

Сложное соотношение различных факторов, влияющих на характер ассоциативных реакций детей (это соотношение необходимо учитывать при интерпретации результатов ассоциативных экспериментов), обсуждалось в докладе **И.Г. Овчинниковой** (Пермь) *«Гендерные и когнитивные параметры языкового сознания русского ребенка»*. В нескольких сериях экспериментов с шестилетними детьми было установлено, что «гендер оказывает существенное влияние на количество синтагматических реакций. У мальчиков синтагматических реакций существенно больше, чем у девочек». При этом «степень влияния гендера несколько выше, чем уровня развития наглядно-образного мышления. Синтагматические реакции чаще приводят мальчики, а парадигматические – девочки. И для девочек, и для мальчиков справедливо утверждение: чем выше уровень когнитивного развития мышления ребенка, тем больше парадигматических реакций у него возникает».

В своем выступлении *«Единицы ядра ментального лексикона как инструмент познавательной деятельности ребенка»* **Н.О. Золотова** (Тверь) предложила рассматривать ядро ментального лексикона в качестве естественного метаязыка, спонтанно воспроизводимого сознанием и служащего для целей первичного понимания.

3. В серии докладов социолингвистической проблематики, с одной стороны, участникам симпозиума была представлена система научных понятий, в рамках которой предлагалось

продолжить исследование феномена власти (*дискурс и дискурсивные нормы, дискурсивно детерминированные жанры, модусы власти, речевое событие, сложное речевое событие, социальное и ситуативное варьирование концептов, манипуляция сознанием адресатов* и др.); с другой стороны, сообщались результаты уже выполненных участниками симпозиума конкретных исследований различных сторон явления власти на материале публицистических и художественных произведений, на материале записей устных разговорных текстов носителей литературного языка и представителей традиционной культуры деревенского общения, на материале фиксации речи участников политических митингов и др.

**Л.П. Крысин** (Москва) рассмотрел в докладе *«Ролевая асимметрия предикатов подчинения и сходства»* большую группу предикатов, обозначающих асимметричные отношения, отношения подчинения, зависимости, власти (*арестовать, аудиенция, благоволить, велеть, верховодить, взыскание, властвовать, власть, вменить, возглавить, воспретить, выговор, выселить, выслать, гневаться, головомойка, даровать* и под., где роль первого участника «выше» социальной роли второго; *апеллировать, апелляция, вымолить, выплакать (себе прощение), выхлопотать, гневить, грубить, дерзить, докладывать* и под., где роль первого участника «ниже» социальной роли второго), а также предикаты сходства и показал пути существенного уточнения словарных толкований единиц этих лексических групп.

В сообщении **Е.В. Старостиной** (Саратов) *«Власть стереотипа в оценке поведения»* была сделана попытка классифицировать «глаголы поведения» *красть, трусить, обманывать, издеваться* и подобные на основе фреймового анализа оценочных ассоциативных реакций. Проблема детерминированности ассоциативных реакций стереотипами речевого поведения ставилась в сообщениях **В.А. Нефедовой** (Саратов) *«Фонетические ассоциации как отражение индивидуального и социального в сознании школьника»* и **Н.Ю. Одиноквой** (Саратов) *«Профессиональная детерминированность ассоциативных реакций»*.

В докладе **О.Б. Сиротининой** (Саратов) *«Авторитет власти и речь»* было проанализировано, из чего прежде всего складывается авторитет каждой из четырех общепризнанных ветвей власти (выполнение обещаний, действенность законов и т.д.) и какую роль играет в приобретении и сохранении авторитета каждого вида власти речь ее представителей. Продемонстрирована роль речи в падении авторитета (снижение рейтинга) М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.С. Черномырдина (многословие, расплывчатость формулировок, поводы для пародирования их речи и т.д.), специфика влияния недостаточной речевой культуры депутатов и пробелов в лингвистической экспертизе при подготовке и принятии законов (снижается их действенность), рассмотрено влияние речи прокуроров на авторитет судебной власти, а речи журналистов – на авторитет СМИ (орфографические ошибки в газетах, неправильное ударение и словоупотребление на радио и телевидении).

Причинам многочисленных нарушений языковых и речевых норм в выступлениях политиков (уровень их культуры, влияние ситуации радио- или телезаписи на речь выступающих, эмоциональный дискомфорт в условиях дискуссии и т.д.) было посвящено сообщение **Т.В. Харламовой** (Саратов) *«Текстовые нарушения в речи политиков (на материале телеречи и текстов из сети Интернет)»*.

В докладе **В.И. Карасика** (Волгоград) *«Модусы власти в институциональном дискурсе»*

рассмотрены модусы власти – способы проявления права на осуществление контроля над поведением кого-либо. Предложены три критерия классификации модусов власти в институциональном дискурсе: открытая / скрытая власть, персональная / имперсональная власть, эмпатическая / критическая власть. Модусы власти в институциональном дискурсе проявляются в виде вербальных и невербальных индексов статусного неравноправия участников общения в определенном жанре речи: жанр «урок» в педагогическом дискурсе – власть открытая, персональная, эмпатическая; жанр «допрос» в юридическом дискурсе – власть открытая, имперсональная, критическая; жанр «предвыборное выступление» в политическом дискурсе – власть скрытая, персональная, эмпатическая и др.

Анализ обширного круга русских фольклорных (пословично-поговорочных) и профессионально-литературных источников, осуществленный в докладе В.В. Прозорова (Саратов) «О семантических горизонтах понятия «власть» в фольклорных и литературных текстах», привел автора к выводу о том, что в отечественном ценностно-семантическом пространстве различаются по крайней мере три обширных и взаимопроникающих смысловых спектра универсального понятия "власть":

- во-первых, власть - в нравственно-психологическом смысле - как всё многообразие внутриличностных состояний, межличностных, родственных, семейных, дружеских и др. связей (власть Бога; самообладание, самоотвержение, власть предрассудков; власть памяти; власть морали; власть эгоизма, соблазнов, заблуждений, страстей, похоти, власть любви; недоверие к власти, упование на власть и др.);

- во-вторых, власть - в политическом, социально-структурированном смысле - как управление государством, как обозначение правящих и других государственных институтов, их действующих лиц, историческая трансформация этих институтов; власть духовная и светская и т.д.;

- в-третьих, власть как сложнейшая нечетко-множественная, метафорически проступающая совокупность преимущественно ключевых признаков и функций, присущих самым разным жизненным (природным и социальным) явлениям и объектам (власть природы, свободы, денег, капитала, слова, СМИ - четвёртая власть, "власть тьмы", власть как собственность; властный взгляд, вид, жест, тон, голос, властная поступь и т.п.).

В докладе **О.Н. Дубровской** (Саратов) «Изменения в корпусе имен сложных речевых событий как результат изменения отношений власти и общества» рассматривалось, в силу каких социально-исторических причин словарь пополняется новыми именами сложных речевых событий (*саммит Большой восьмерки, пиар-акция, интернет-конференция, День Примирения и Согласия* и т.п.), как возникает необходимость в новом имени сложного речевого события, каково участие власти в событийном структурировании коммуникации, какие возможности для исследования феномена власти открывает изучение сложных речевых событий.

Большой материал уникальных магнитофонных записей, отражающих особую форму общения в политической сфере – митинг, был представлен и подвергнут многоаспектному анализу в докладах Н.Н. Розановой и М.В. Китайгородской. В докладе **Н.Н. Розановой** (Москва) «Формирование новых стереотипов социального поведения в посттоталитарном обществе (на материале митингов)» было отмечено, что митинг представляет собой особую сферу современной городской коммуникации, жанровая специфика и речевые характеристики которой

определяются такими ситуативными параметрами, как пространство, время, тема, партнеры коммуникации. Далее докладчица подробнее остановилась на рассмотрении митинга сквозь призму выделенных коммуникативных характеристик. Коммуникативный анализ текстового пространства митинга дал возможность извлечь не только лингвистическую информацию, но также данные, представляющие интерес для специальных социопсихологических, психолингвистических и этнокультурных исследований. Так, обращение к материалам магнитофонных записей митинговой речи позволило авторам данного исследования выявить социальные интенции и представить в типизированном виде мотивы участия людей в митингах.

Доклад **М.В. Китайгородской** (Москва) «*“Речевой мир” митинга*» был посвящен рассмотрению собственно языковых особенностей митинга, а также его жанровой организации. Коммуникативное пространство митинга включает не только и не столько речь публичную, ораторскую, но и спонтанно возникающие на площади беседы, споры между участниками, различные микродиалоги, лозунги, плакаты, а также традиционные народно-площадные жанры (частушки, прибаутки, остроловицы). Проанализировав некоторые, наиболее типичные для митинга жанры, М.В. Китайгородская остановилась на сопоставлении демократических и прокоммунистических митингов как антонимичных текстов, организуемых оппозицией «свой/чужой». При всей поляризованности митинги противоположной идеологической направленности обнаружили зеркальность, синсемантическую и в глубинном смысле тождественность.

Использованию методов риторического анализа при изучении взаимодействия власти, народа, языка был посвящен доклад **А.П. Романенко** (Саратов) «*Риторический аспект изучения проблемы «власть и массы»*».

Проблема влияния языковой политики властей на развитие языка разрабатывалась в докладе **В.Т. Клокова** (Саратов) «*Французский язык и общественно-политические процессы в штате Луизиана*».

3.1. В значительной части докладов исследовалось речевое выражение отношения к власти и властям. Так, несомненно, полезным для решения поставленных научных задач явился доклад представителя польской социолингвистической школы **Гж. Беднарека** «*Spółeczeństwo – jednostka czy zbiorowość?*», в котором были освещены направления лингвистического изучения общественного мнения об изменении власти и властных отношений в Польше последних десятилетий.

Доклад **И.Т. Вепревой** (Екатеринбург) «*Концепт «демократия» в метаязыковом дискурсе*» был посвящен исследованию причин экспликации контроля над речью в виде метаязыковых высказываний: стилевое напряжение, креативность, когнитивное напряжение и др. Подробное рассмотрение метаязыковых высказываний, связанных с темой «демократия», приводит к выводу о том, что этот тип высказываний реализует свой потенциал «в тех активных зонах языкового сознания, которые связаны с разрушением языковых и концептуальных стереотипов, с определенными зонами напряжения в речемыслительной и социально-психологической деятельности человека в современном мире. Рефлексивно-пристрастную помеченность получают концептуальные смыслы, важные в речевой и когнитивной деятельности».

В докладе «*Диалог общества с властью (по материалам публикаций в «ЛГ»)*»

**М.А. Кормилицыной** (Саратов) на материале цикла статей рубрики «Десять лет, которые потрясли...» анализировался своеобразный диалог общества с властью. Отмечалось, что авторы публикаций не только стремились выразить свою позицию, не только вели диалог с читателями, но и адресовали свои размышления представителям государственной власти. Основные речевые жанры, выбранные авторами публикаций, – обвинение /осуждение. Но это не означает, что они использовали только конфликтную стратегию ведения диалога. Часто она была конструктивной: авторы пытались объяснить действия властей, сформулировать возможные пути выхода из тупика. В докладе были названы языковые средства воплощения этих речевых жанров: отрицательная оценочная номинация представителей власти, максимально обобщенные номинации реформаторов, дезавторизирующие конструкции различных типов (от неопределенно-личных предложений до компрессированных номинализованных конструкций).

Речи субъектов «четвертой власти» и ответственности СМИ за современное состояние культуры речи были посвящены доклад **Г.С. Куликовой** (Саратов) «*Реакция населения на язык современных СМИ (по материалам радиопередачи «Служба русского языка»)*» и сообщение **О.И. Соколовой** (Саратов) «*Культурно-речевая специфика газеты как элемента четвертой власти*». В выступлении **О.Н. Паршиной** (Астрахань) «*Приемы реализации стратегии самопрезентации в речи политической элиты*» и в докладе **Е.И. Шейгал, И.С. Черватюк** (Волгоград) «*Власть как категория дискурса: подходы к изучению*» рассматривались различные аспекты соотношения языка и власти, власти и текста, власти и дискурса. Доклад **Н.А. Бобарыкиной** (Саратов) «*Властные отношения в малой социальной группе и их отражение в речи*» описывал явления «должностного», «коммуникативного» и «компетентного» лидерства. В докладе отмечалось, что властные отношения внутри малой социальной группы стерты и более отчетливо иерархия лидерства возникает в диаметрально противоположных жанрах «проработки» и «похвалы». В профессиональном рабочем разговоре приоритетно компетентное лидерство, в ситуациях непринужденного непрофессионального общения основа лидерства – коммуникативные способности говорящих.

**Е.В. Бакумова** (Волгоград) в докладе «*Борьба за власть и образ политика*» сосредоточилась на ролевой структуре политического дискурса, используя в качестве объекта наблюдений ролевые номинации политиков, выделила постоянные (базисные) и ситуативные характеристики субъектов политического дискурса, сопоставила архетипические роли ведущих политиков в российской и американской политических культурах: для российской политической культуры характерен архетип «отец», для американской – образ «своего человека».

**В.В. Дементьев** (Саратов) в докладе «*Игры детей в аспекте онтологических категорий*» проявления власти социальной нормы рассматривал на материале детских игр и совершающегося в них процесса социализации. По линии социализации, как считает докладчик, проходит главный раздел между соревновательными и несоревновательными играми детей.

**Т.А. Милехина** (Саратов) в докладе «*Вербальный образ руководителя постсоветского периода*» рассмотрела представления о руководящих работниках периода застоя и перестройки, описала принципиальные различия, наблюдаемые в материалах современной общественно-политической и экономической публицистики в сравнении с советскими газетами 1978 г.

Различия касаются номинаций руководителя в прессе, способа представления читателям, типизации этапов карьерного роста, перечня деловых и личностных свойств руководителя, способов описания семейной жизни, материальных условий существования и т.п. Изменения в содержании образа руководителя и способах его создания обусловлены экономическими и политическими реалиями переходного периода в России.

Речевому выражению отношения к власти было посвящено сообщение **Н.А. Лудильщиковой** (Саратов) «*Молодежные представления о власти (на материале речи молодежи)*».

4. Доклады *О.Ю. Крючковой* и *Л.В. Балашовой*, привлекли внимание участников симпозиума к необходимости диахронического лингвистического анализа феномена власти, к важности выявления устойчивой основы и подвижных элементов концепта власти, убедительно продемонстрировали ценность когнитивно-словообразовательного метода анализа концепта и концептуально-диахронического изучения языковой метафоры.

В докладе **О.Ю. Крючковой** (Саратов) "*Динамика содержания концепта "власть" сквозь призму развития деривационных микросистем*" подчеркивается, что синхронно-диахронное изучение различных деривационных микросистем, включенных в сферу концепта "власть", может существенно дополнить те сведения о языковом моделировании феномена власти, которые уже получены и еще будут получены уже апробированными в когнитивной лингвистике путями: на основе семантического анализа соответствующих лексико-семантических групп и лексико-семантических полей, на основе контент-анализа и применения психолингвистической методики. В микросистемах производных слов концептуальная информация выражена эксплицитно. Поэтому для концептологии производная лексика и способы ее системной организации являются благодатным материалом и должны представлять значительный интерес.

Рассматривая историю деривационной микросистемы имен-носителей власти с этимологическим корнем \*voldt - (историю имен типа *владыка, властель, властелинъ, властельникъ, властелянинъ*), автор показывает, какую информацию о динамике концепта "власть" несут структурно-семантические изменения в данной подсистеме. Во-первых, интенсивная динамика деривационной микросистемы, отражающая активную работу языкового сознания говорящих, указывает на то, что в содержательной структуре концепта *власть* важная роль отводится субъекту-носителю власти. Значимость представлений о властном субъекте в осознании власти, властных отношений остается стабильно высокой и, возможно, даже усиливается. На это указывают и устойчивое, сохраняющееся на протяжении всего исторического развития русского языка, совмещение в лексеме *власть* значений властного отношения и субъекта-носителя власти, и фактическое сокращение деривационной микросистемы имен властителей до этой единственной номинации. Все другие имена субъектов власти, выражающие связь названных значений опосредованно, через отношения структурно-семантической производности (*владыка, властелин, властитель* и др.) оказываются все более ограниченными в употреблении. Во-вторых, структурно-семантическое развитие деривационной микросистемы отражает смену представлений о субъекте-носителе власти: ослабевает связь между представлениями о субъектах власти и представлениями о конкретно-предметных их атрибутах,

в том числе связь представлений о субъекте властных отношений и субъекте отношений материальной собственности; языковая динамика отражает также замену индивидуального субъекта власти коллективным в сознании носителей русского языка, переход от конкретно персонифицированных, индивидуализированных представлений об обладателях власти к представлениям обобщенного (или даже аморфного) характера.

Доклад **Л.В. Балашовой** (Саратов) «*Метафора власти в диахронии*» был посвящен анализу метафоры власти в русском языке XI-XX вв. На материале письменных памятников, исторических и толковых словарей автором выявлены три основные концептуальные модели метафоризации лексики иерархических отношений в древнерусском, старорусском и современном русском языке (*старший – младший в семье; победитель – побежденный; начальник – подчиненный*), установлены экстралингвистические и собственно лингвистические факторы, влияющие на динамику использования социальной лексики как источника метафоризации. Как убедительно продемонстрировано докладчиком, степень метафоризации и ее конкретные концептуальные модели во многом определяются системой социальных отношений в обществе того или иного исторического периода, но никогда не являются прямым отражением этих отношений.

5. Доклады **В.Е. Гольдина, А.П. Сдобновой, А.О. Мартянова** (Саратов) «*Ассоциативный словарь школьников Саратова и Саратовской области*», **Т.Н. Медведевой** (Саратов) «*Власть в восприятии носителей традиционной культуры деревенского общения*», **Э.А. Столяровой** (Саратов) «*Восприятие власти средним носителем русского языка (по данным обиходного общения)*», **Н.С. Сергеевой** (Сыктывкар) «*Речевой «образ себя» в жизненной перспективе*» демонстрировали особые научные источники лингвистического исследования феномена власти и результаты, которые удастся получать на их основе. Доклад **В.Е. Гольдина, А.П. Сдобновой, А.О. Мартянова** был презентацией электронной версии 1.01 *Ассоциативного словаря школьников Саратова и Саратовской области (I-XI классы)*, создаваемого в виде динамической базы данных коллективом исследователей СГУ и Пединститута СГУ. База содержит уже более 3000 анкет, дает возможность просмотра словарных статей прямого и обратного ассоциативных словарей, позволяет группировать материал по полу, возрасту, месту проживания испытуемых, времени проведения экспериментов и некоторым другим параметрам, обеспечивает поанкетный просмотр материала. Несмотря на то, что школьники имеют ограниченный социальный опыт, в их ассоциативных реакциях поле власти и властных отношений оказывается достаточно развернутым.

Доклад **Э.А. Столяровой** опирается на корпус записей русской разговорной речи, формируемый на кафедре русского языка и речевой коммуникации СГУ. Хотя к теме власти в разговорной речи обращаются довольно редко, а само слово *власть* употребляется преимущественно в значении «должностные лица», «начальство», тем не менее, как показано в докладе, можно говорить о концепте власти, который не столько осмысливается, сколько переживается говорящими. Народ осуждает власти за их низкий интеллектуальный уровень, моральные качества и даже за их внешний вид. Облеченные властью неправильно с точки зрения народа используют власть, стремясь лишь к собственной сладкой жизни, не проявляя при этом заботы о народе, не защищая его, а иногда даже ущемляя его права. Характерная номинация «они»

отчетливо демонстрирует противостояние между народом и властями.

В сообщении **Т.Н. Медведевой** рассмотрены народные представления о власти на материале текстовых корпусов записей диалектных текстов кафедры общего и славяно-русского языкознания СГУ, показано, что специфика народного концепта власти тесно связана с общими отличительными чертами речи на диалекте, в частности с иным, чем у носителей литературного языка, наполнением исторического времени. Это проявляется в наборе номинаций лиц, облеченных той или иной властью, в обозначениях атрибутов власти, ее функций и под.

**Н.С. Сергиева** формирует специальный корпус устных рассказов людей об их жизненных судьбах в связи с судьбами страны. В докладе рассматривались особенности композиции рассказов «о себе» и отражения в них исторического и социо-культурного контекста, способы осмысления действительности применительно к человеку и семейной группе.

6. Ряд докладов был посвящен исследованию феномена власти на материале художественных произведений. В докладе **М.Б. Борисовой, Н.И. Бахмутовой, Л.Г. Хижняк** (Саратов) «*Идеологический аспект слова: власть и типы личности в художественном тексте*» рассматривалось семантическое наполнение идеологемы «власть» в драматургической трилогии М. Горького («Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие», «Сомов и другие»), а также типы личности в плане их общественных позиций и взглядов. Социальная оценка различных типов личности (как выражение их самооценки и взглядов окружающих) реализуется в характеристиках «умник», «дурак», «чудак», которые отражают определенный исторический этап в общественном сознании России.

Метафорической интерпретации социально-политической жизни XX века в семиотике света и тьмы посвятили свой доклад «*Контрастивная концептуализация социума: свет и тьма*» **Н.М. Орлова** и **М.В. Черепанов** (Саратов). Концепты исходного общечеловеческого статуса «свет» и «тьма» рассматривались в докладе на материале мемуарной литературы позднесоветского и постсоветского периода.

В докладе **Н.А. Купиной** и **О.А. Михайловой** (Екатеринбург) «*Феномен власти в художественно-публицистическом изображении: Роман А. Проханова «Господин Гексоген»*» показана многослойная структура концепта *власть*. Если содержательный минимум концепта, по мнению авторов, может быть раскрыт на материале словарных дефиниций, то компоненты фреймовой структуры концепта с достаточной полнотой могут быть описаны только в опоре на тексты художественной литературы и публицистики. Словарные дефиниции лексем *власть*, *властный*, *властвовать* репрезентируют содержательный минимум концепта, а несовпадения в дефинициях одного и того же слова в разные периоды существования языка и общества позволяют представить динамику развития соответствующего концепта в общественном сознании. Например, произошедшая в советский период редукция «политического значения» слова *власть* ('право управления государством, политическое господство') вследствие его идеологизации («политическое значение» слова в советское время фактически приравнивается к значению 'советская власть') сменяется актуализацией данного значения в связи с изменением политического устройства России. Это значение потеряло идеологические добавки, приписанные ему в советское время. Претерпевает изменения и «политическое персонифицированное» значение 'органы государственного и местного управления, их права и полномочия; лица,

входящие в эти органы, начальство, администрация'. Оно получает грамматическое ограничение (только в форме мн. ч. – *власти*) и значительное расширение сочетаемости: *Городская власть, сельская, районная. Столичная власть, муниципальная власть, Российская власть.*

Концептуальные признаки феномена *власть* реализуются в текстах. Так, в романе А. Проханова «Господин Гексоген» отражены, например, следующие компоненты концепта *власть*: власть предполагает 'обладание'/ 'владение', в том числе и материальными ценностями; она связана с влиятельными структурами и криминалом; власть не существует без соперничества, конкуренции, жестокой борьбы, компромата, лести; власть безнравственна, жестока, разрушительна, но не созидательна (*действующая власть* получает приращение 'сатанинская'); жажда власти не имеет предела; роль личности в борьбе за власть оказывается несущественной; народ - заложник власти - пассивно ожидает прихода вождя; народная идея трактуется как уничтожение власти сатанинской. Многокомпонентная структура концепта *власть* может быть выявлена на основе анализа всей совокупности языковых средств выражения концепта, а также при исследовании текстов, в которых *власть* оказывается темой произведения.

Таким образом, феномен власти получил на конференции объемное, многоаспектное рассмотрение с позиций разных направлений лингвистики и с применением различных лингвистических методик.

*Гольдин В.Е., Крючкова О.Ю., Сдобнова А.П.*

### **Отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН 2002 года**

В 2002 году отделом диалектологии и лингвогеографии и отделом фонетики продолжена целенаправленная экспедиционная работа по сбору магнитофонных записей диалектной речи. Такая масштабная экспедиционная работа не проводится больше нигде: ни в России, ни в других странах. Эта работа чрезвычайно объемна не только по количеству получаемых записей, но и по географическому охвату: в 2002 году\* было проведено девять экспедиций в разные регионы России, а также на Украину.

Общая цель этих экспедиций – запись диалектной речи из говоров разных регионов на магнитофон для пополнения фонотеки Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН. В результате этих экспедиций записано на магнитофонные пленки 366 часов звучания.

С 29 июня по 28 июля состоялась вторая экспедиция Л.Л.Касаткина и Т.Б.Юмсуновой к **старообрядцам Забайкалья – семейским**. Основной целью данной экспедиции, как и первой экспедиции 2001 г., была магнитофонная запись рассказов старообрядцев старшего поколения. Обследованию подверглись наиболее важные в лингвистическом отношении места проживания семейских: в Бурятии – сс. Большой Куналей, Куйтун, Надеино, Верхний Жирим Тарбагатайского района и с. Новодесятниково Кяхтинского района, в Читинской области – с. Урлук Красночичкойского района. Л.Л. Касаткиным и Т.Б. Юмсуновой записано 72 часа

---

\* Грант Российского гуманитарного научного фонда 02-04-18039е.

звучания речи семейских. В обследовании некоторых пунктов принимали участие преподаватели и студенты Бурятского госуниверситета и учителя Верхнежиримской средней школы Тарбагатайского района. Особенно интересные записи, включающие не только монологическую, но и диалогическую речь, сделаны в с. Урлук, где в большей степени сохранился архаический тип говора.

Говоры семейских относятся к вторичным говорам Сибири, их носители пережили сложную историческую судьбу. До сих пор нет единого мнения среди ученых о материнской основе этих уникальных говоров. Данные говоры представляют значительный интерес в связи с решением двух исследовательских задач: 1) происхождения семейских и 2) бытования переселенческих говоров в инодиалектном и иноязычном окружении. Крайнее расположение русских старообрядческих говоров Забайкалья по отношению к материнским говорам Европейской России определило особую сохранность этих диалектов.

Чертами, свидетельствующими о связях говоров семейских с говорами Юго-Западной диалектной зоны, являются в области фонетики: сохранение следов диссимилятивного аканья и яканья жиздринского типа; произношение звуков [w], [ǔ], [y] в соответствии с фонемой /в/; звуки [хв], [хф], [х], [хв'], [хф'], [х'] в соответствии с /ф/, /ф'/; [с'] на месте исконного х' в формах существительных; [с] на месте и; долгие мягкие согласные на месте сочетания Cj; протетический [и] перед группой согласных и др.; в области морфологии: более широкая, чем в литературном языке и многих других говорах, сфера употребления окончания -у в П. п. ед. ч. у существительных м. р. и ср. р., причем не только у неодушевленных, но и у одушевленных; формы личного местоимения м. р. ед. ч. 3-го лица *won* и *jon*, формы указательного местоимения *той*, *тая*, *тую*, *тог*, *тые*, *тэи*, *теи* (и *тее*, *тея*); формы местоимений *тэй*, *однэй* в Р., Д., Тв., П. пп. ед. ч. ж. р.; форма местоимения *кого* вместо *чего* и др.; в области синтаксиса: употребление в значении сказуемого деепричастий на *-виши* (*-виша*), *-миши* (*-миша*), *-иши*, а также на *-тчи*.

Продолжительные контакты семейских с русским сибирским старожильческим населением и бурятами наложили значительный отпечаток и на лексику старообрядческих говоров. В настоящее время в говорах семейских преобладает лексика, имеющая общесибирское распространение, активно функционирующая в соседних русских сибирских старожильческих говорах, на северной и среднерусской диалектной основе. Однако взаимодействие с соседними говорами не помешало говорам семейских сохранить целые пласты самобытной южнорусской лексики, распространенной в говорах Европейской России, преимущественно Юго-Западной диалектной зоны. Наиболее защищенным от проникновения заимствований является традиционный пласт лексики, т.е. тематические группы (ТГ), связанные прежде всего с обрядовой лексикой семейских, а также с такими ТГ, как Огородничество, Пища, Посуда, Одежда, Головные уборы, Украшения и др. Много исконной лексики обнаруживается и в тематической сфере Человек (*куко́бник* 'хозяйственный экономный мужчина, хороший хозяин', *куко́бница* 'женск. к *куко́бник*', *лы́нда* 'ленивый человек', *лопотли́вый* 'болтливый', *зажури́ться* 'загрустить, задуматься о чем-л.; опечалиться', *обре́заться* 'исхудать, осунуться' и др.). Наиболее проницаемой со стороны бурятских говоров явилась ТГ Животноводство, поскольку скотоводство является традиционным видом хозяйственной деятельности бурят (*буру́н* / *бурушо́к*, *кашари́к* / *качари́к* 'теленок по второму году', *куца́н*, *куса́* 'некастрированный баран', *ирге́нь*, *рдень*, *эрге́нь*

‘кастрированный баран’, *тыкён* ‘некастрированный козел’ и др.). Влияние сибирских старожильческих говоров ярко проявилось в тематической сфере Природа; в ТГ, связанных с названиями построек и помещений для скота и др.

В Бурятии изучению старообрядцев придается большое значение. В Бурятском госуниверситете работает большая группа исследователей, изучающих историю, культуру, язык семейских. Большинство этих исследователей – диалектологи. В настоящее время под руководством отдела диалектологии Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН в Бурятии развернута работа по следующим основным направлениям: подготовка звучащей хрестоматии, основанной на магнитофонных записях большинства говоров семейских; работа над вторым, значительно дополненным изданием «Словаря говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья»; создание Диалектологического атласа русских говоров Бурятии.

С 20 сентября по 10 октября была проведена экспедиция Л.Л.Касаткина и Т.Б.Юмсуновой к **русским старообрядцам – «липованам», проживающим в устье Дуная, в Одесской области Украины**. Название «липоване» некоторые исследователи связывают с именем Филиппа Олонецкого (беглого стрельца Фотия Васильева) – основателя старообрядческого монастыря на Белом море. Его последователей, живших в устье Дуная, стали именовать «филипповане», а затем это название трансформировалось в «липоване». Существует и народная этимология этого слова: старообрядцы, спасаясь от преследований, селились в липовых лесах, поэтому их стали называть «липованами».

Магнитофонные записи производились в селах Старая Некрасовка, Новая Некрасовка, Муравлёвка Измаильского района, селе Приморское Килийского района и небольшом городке Вилково, который называют «местной Венецией», потому что там вместо дорог прорыты каналы – *эрики* и жители ездят по ним на лодках. В экспедиции обследовано 28 информантов, записано 64 часа звучания.

Поскольку русские островные говоры уже более двух веков бытуют в отрыве от основного материнского языкового и диалектного массива и активно взаимодействуют с полиязычным окружением: украинским, болгарским, молдавским, гагаузским, лексика говоров липован содержит много заимствований из этих языков.

В ноябре 2002 года подписан Договор о научном сотрудничестве между Институтом русского языка им. В.В.Виноградова РАН и Измаильским государственным гуманитарным университетом. Планируются совместные диалектологические экспедиции по изучению говоров русских старообрядцев – липован, проживающих в Одесской области и в Румынии, подготовка Диалектологического атласа говоров (русских, украинских, болгарских, молдавских, гагаузских) Украинского Подунавья и др.

Основные особенности языка липован в области фонетики: сильное аканье и иканье; [ʏ] и спорадически [h]; в соответствии с /в/ обычно произносится [w] перед гласным и [ʏ] перед согласным и на конце слова; предлог у вместо в; протетический [w] ([в]) перед /о/, /у/: [w]о́нух, [w]о́вцы, [в]о́кунь, [в]у́чится; [x] на месте /ф/: ко[x]та, ту[x]ли, шка[x], у шка[x]а́х, шэ[x], штра[x]у́ют; [ф] на месте хв: [ф]ост, [ф]а́тит, [ф]о́рост, у[ф]ат; твердые губные согласные на месте мягких на конце слова; мягкие [шʹ], [жʹ] перед мягкими согласными: по[шʹ]ли́, подо[шʹ]ли́, [шʹ]люз, то[шʹ]ни́ть, деви[шʹ]ник, помо[шʹ]ник, ра́не[шʹ]ние; по[жʹ]ми́, [жʹ]ди, [жʹ]дэшь; почти утраченные результаты прогрессивного ассимилятивного смягчения [к] после мягких согласных: це́лень[кʹ]ю, И. п. ед. ч.: бе́днень[кʹ]я, ма́лень[кʹ]ия,

*кру́чень[к']ия, дли́нень[к']ия, бра́вень[к']ия, бо́дрень[к']ия; [кы] ([кэ]) на месте к'и: Пу́ш[кы]на, заболел лёг[кэ]ми, де́душ[кы]на, ру́с[кы]х, мо́лодень[кы]х, с ма́лень[кы]м; протетический *и* перед группой согласных в начале слова: *ирва́ть, ижмёт, вода́ ишла́, работал ис това́рищем, бог с вами ис дурака́ми.**

В области морфологии: у существительных 1-го склонения окончание *-и / -ы* в Д. и П. п. ед. ч.: *поставил к стены́, платил сестры́, к невесты́, к мамы́; мыши у норы́*; в форме В. п. ед. ч. перенос ударения с основы на окончание, приводящий к замене подвижного ударения неподвижным у этих слов в ед. числе: *ногу́, боро́ду*; ударение на окончании в словах *туча́, дочка́*; у существительных 3-го склонения в П. п. ед. ч. ударное окончание *-е*: *на степе́*; безударное окончание Т. п. мн. ч. после заднеязычных *-ими*: *влады́кими, доя́ркими, с вну́кими, с соба́кими, лодки́ми, оре́хими*; форма *свекру́ха*. У прилагательных м. р. ед. ч. П. п. окончание *-им / -ым*: *на большы́м, у шесты́м, у седьмы́м*; у прилагательных (и существительных, образованных от прилагательных) в формах ж. р. Р., Д., Т., П. п. окончание *-ей* после твердых согласных (после заднеязычных – твердых и мягких): *с молодэ́й, на золотэ́й верёвочке, с пряме́й, звинавэ́й, у кладовэ́й, никакэ́й, дру́э́й, при такэ́й, никакэ́й, дру́э́й*. У глаголов в окончании 3-го лица настоящего / будущего времени мягкий *-ть*. Наблюдается выравнивание основы путем изменения формы 1-го лица ед. ч.: 1) замена подвижного ударения неподвижным с ударением на основе (акцентный тип АА): *вяжу́, де́ржу, па́шу, заду́шу, то́чу, утя́ну, уо́ню, стéлю, упа́ду, пряду́*; 2) замена конечного сочетания губных согласных с *л'* или шипящего согласного в форме 1-го л. ед. ч. а) на мягкий губной или зубной по аналогии с остальными формами с одновременным переносом ударения на основу: *лю́блю, зару́блю, ку́плю, то́плю, заво́длю, хо́длю, кру́тлю, про́блю, ме́блю*; б) без переноса места ударения: *спю́, садю́ся, бро́сю*; в) замена шипящего на твердый зубной: *уля́ду* (от *улядеть*), *лету́* (от *лететь*), *ви́ду* (от *видеть*). У глагола *видеть* в форме 3-го лица мн. числа в конце основы шипящий: *ви́жутъ*. Удвоение приставки *по*: *поповы́делали, попопу́хли, попошня́ли, попорéзали, попопо́ртили, попобе́лим, попомо́рли, попосажа́ли*, а также сочетания других приставок: *попришло́, запоумира́ли*. В соответствии с усилительно-выделительной частицей *-то* и ее вариантами широко употребительна частица *-сь*, восходящая к другому древнему указательному местоимению и ставшая в некоторых случаях, очевидно, частью слова (как и в других русских говорах; например, *вчера́сь, завтра́сь, утрось, ночесь, днесь, летось, зимусь, осенесь, лонись, надось, экость, оногдысь, третеднясь, тудыкась* и др.): *кто-сь просить, у кого́-сь, на погоду́ на каку́ю-сь, там каку́ю-сь копéчку заробля́ла, бы́ли листоч́ки каки́е-сь, охота́ же вы́йти куда́-сь, куды́-сь, туды́-сь, откуда́-сь.*

В области синтаксиса: особенности в употреблении предлогов: *смею́тся с нас; забы́ли за мешки́; по люде́й уехали́; весело́ было по селе́; бьютъ по зерне́; попошли́ по гостя́х; по степя́х и щас естъ; по края́х; по работа́х*; деепричастия на *-ши, -миши* в роли сказуемого: *мы привы́кши к хоро́шему; кладки́ бы́ли затопи́ши* (в наводнение); *я там нае́миши*; бы́ли четы́ре доч́ки, вси отда́миши (замуж); существительные (местоимения) в форме И. п. при слове *надо*: *мне бу́лка твоя́ не надо́; э́та же́ница́ нам не надо́; мы там не надо́; оно́ тебе надо́? ры́ба надо́ было*; формы плюсквамперфекта: *я был коло́ це́рквы работал; был поше́л на хронт; был увори́л; на маши́нке была́ печата́ла.*

В мае – июне (18 дней) состоялась экспедиция О.Г.Ровновой совместно с группой проф.

Я.-П.Лохера (Бернский университет, Швейцария) и с группой проф. В.Н.Чекмонаса (Вильнюсский университет, Литва) в **Псковскую, Вологодскую и Архангельскую области**. Опрошено 25 информантов, записано 40 часов звучания диалектной речи. Обнаружены ранее неизвестные диалектологам старообрядческие поселения по реке Исса в Опочецком районе Псковской области. Установлено распространение конструкций типа *у мужа дрова заготовлено* на этой территории.

25 июля – 9 августа 2002 г. состоялась экспедиция в **Заонежье** (Медвежьегорский район Карелии), в которой приняли участие А.В.Тер-Аванесова и сотрудница издательства «Языки славянской культуры» А.И.Рыко. Было записано 30 часов звучания в деревнях Великая Губа, Великая Нива, Палтега и их ближайших окрестностях, опрошено 18 информантов.

Два основных заонежских говора (юго-западный, распространенный на островах Кижского архипелага и южном побережье Толвуйского полуострова, и северо-восточный, занимающий остальную часть этого полуострова) различаются главным образом фонетикой, а также акцентуацией и лексикой. Имеются некоторые этнографические различия на территориях распространения этих говоров (например, долбленая лодка *ушко́й* встречается только на территории северо-восточного заонежского говора и др.). Записаны тексты разного содержания и ответы на вопросы морфологической программы. В Палтеге целенаправленно собирался материал по этнологии. Удалось записать как образцы традиционных говоров, так и примеры полудиалекта (бывший председатель сельсовета, бывший бухгалтер и др.). Интересен материал, характеризующий языковую ситуацию в Заонежье второй половины XX века.

С 24 июля по 16 августа А.В.Копылова и А.К.Петрова были в экспедиции в **д. Азаполье Мезенского района Архангельской области**. В ходе экспедиции было записано 46 часов звучания диалектной речи. Кроме того, велись записи в полевые тетради и производилась фотосъемка этнографических объектов. Особое внимание в данной экспедиции уделялось изучению пропозициональной и абстрактной лексики, осуществлялся сбор материала для выявления всех значений родительного падежа.

Отличительной чертой этой экспедиции была ее социолингвистическая направленность. Среди информантов были не только пожилые люди, но и дети в возрасте от 8 до 12 лет. Такие записи от представителей разных поколений очень важны для изучения тенденций развития и изменений, происходящих в диалектном языке.

Говор Азаполя относится к северо-восточной диалектной зоне Архангельской области. Яркой языковой чертой является неподвижное ударение в формах настоящего времени глаголов 1-го и 2-го спряжения при подвижном ударении в других говорах: в 1-м л. ед. ч. ударение падает на основу, как и в других формах настоящего времени: *хо́жу, но́шу, тя́ну, вя́жу, зало́жу, посмо́трю, ска́жу, пока́жу, помо́гу, то́плю, сбро́жу, наку́плю, по́йду*. Наблюдаются также другие случаи передвижки ударения: *убе́жыш, роди́ла, закле́ила, нача́л*.

В области морфологии здесь, как и во всех говорах северной части Архангельской области, у существительных 1-го склонения отмечаются в Д. и П. пп. окончания *-и (-ы)*: *к Москвѣ́, в сторонѣ́, на землѣ́*; у существительных 3-го склонения в П. п. окончание *-и*: *на лошади́* (но зафиксирована также форма *на лошаде́*); у существительных 2-го склонения в П. п. окончание *-и*: *на столѣ́, на темлякѣ́, в теплѣ́, на дворѣ́, во снѣ́, в умѣ́*, а также *-у*: *в яшишыку́, на плату́, на песку́*,

в дому́. В И. п. мн. ч. частотно окончание *-а*: *ребяту́шка, праздни́ка, цыга́на, око́шка, ветра́, полуша́лка*. Встречаются диалектные формы Р. п. мн. ч.: *дождё́ф, из малышо́ф, и́гроф, ис крайе́й*.

Наряду с окончанием Т. п. мн. ч. прилагательных и местоимений *-ма*: *многolóетнима, с йимá*, здесь распространено окончание *-ми*, зафиксирован также случай отвердения конечного согласного основы: *со сво́ймы сыновья́ми*.

Отмечаются некоторые морфологические особенности, характерные также для других архангельских говоров: притяжательные местоимения *йе́йной, йего́вой, ихной*; сравнительная степень прилагательных и наречий *порáтче* (от *порато*), *знакоме́*; наличие глагольных форм 3-го лица настоящего времени без *-т*: *тене́*. Довольно частотны формы инфинитива от глаголов на *г, к* с сохранением заднеязычного в корне и с суффиксом *-чи (-ци)*: *пекчи́, посе́кчи́, стрі́кци, запря́кци*; необычно образование страдательного причастия с сохранением этого согласного: *пекче́но*.

Отличия от литературного языка отмечены в употреблении видовых форм: *Без де́нек полу́ците, дак одда́ете; Реше́ли не убрáть* (Ленина из мавзолея), *ско́ко посто́йт-то; Хле́ба че́рного не несú* (= не принесла), *бес че́рного хорошо́*.

В области синтаксиса зафиксированы модели управления некоторых глаголов, не свойственные этим глаголам в литературном языке: *Я ходи́ла му́жу-ту Ва́линому изви́нялась; Са́шка-то то́жэ заши́ты́лся за ма́терь-ту; Вы э́тих не ве́рте, они фсе до́ма бы́ли; Заходи́те, не бо́йтесь, я вас научú, не ве́рте йи́х; Нице́ бо́ле не могу́, фсево́ бо́ле отка́злась; Вот мене́ на́казы́вала, што́ прие́жжái ты́; Де́ле большы́ де́ньги што́ ли получи́ете, те́х старáетесь? Эдак-то Бо́гу сла́вим, хоть э́дак горі́т ышио́; Ни́кого́ не отка́зываю*.

Есть также некоторые особенности в употреблении предлогов: предлог *подле* с В. п.: *подле реку́, подле воду́*; другое значение предлога: *А я сегóдня для воскресéнья ничё то́жэ не пекла́*.

Экспедиция О.Г.Ровновой, А.В.Тер-Аванесовой, Т.Б.Юмсуновой, Д.М.Савинова и сотрудницы Института славяноведения РАН О.В.Беловой была проведена 20–27 августа в **Харовском районе Вологодской области**, она имела основной целью продолжить сбор материала для монографического описания говоров деревень, входящих в Слободской сельсовет этого района. Эти говоры представляют собой единую систему с архаичными и уникальными языковыми чертами. В этом году обследовался не только Слободской, но и соседний с ним Кумзерский сельсовет с целью установления западных границ распространения слободского говора. В обследовании деревень Кумзерского сельсовета, кроме сотрудников ИРЯ РАН О.Г.Ровновой и Д.М.Савинова, принимали участие студенты Гуманитарного педагогического института (Москва). Было обследовано 20 деревень вокруг озер Кумзеро и Шамзеро, велась фото- и киносъемка реалий деревенской жизни. Установлено, что кумзерский говор отличается от слободского и является менее архаичным.

А.В.Тер-Аванесова, Т.Б.Юмсунова и О.В.Белова сделали записи в дд. Арзубиха, Злобиха и Захариха Слободского сельсовета. Собирался материал по этнолингвистике, а также продолжен сбор материала по морфологии и акцентологии этого архаического говора. Проводилось изучение лексических особенностей говора, уточнены его северные границы, а также внутреннее деление территории, занятой данным говором, изучались контакты его носителей с представителями других диалектов. Всего в экспедиции записан 61 час звучания.

Экспедицию в **Варнавинский район Нижегородской области** провели

О.Е. Кармакова и И.А. Букринская (24 июля – 2 августа). Ими обследовано 10 населенных пунктов, записана речь 10 информантов общим звучанием 15 часов. Основное направление данной экспедиции – обрядовая материальная и духовная культура.

Для обследования были выбраны говоры Поветлужья, относящиеся к Центральной диалектной зоне по классификации К.Ф.Захаровой и В.Г.Орловой. Эти говоры имеют свои специфические черты, поскольку находятся на периферии Центральной зоны, в них также сохраняются архаические черты в области лексики и этнографии. Вокализм характеризуется пятифонемным составом с реликтом /h/, полным оканьем, заударным ёканьем, переходом *e* в *o*. У старшего поколения отмечено интересное явление в области консонантизма – неоглушение звонких на конце слова (*хле[б]*, *го[д]*, *сто[г]*), кроме того, следы цоканья. В области морфологии наблюдается стяжение гласных в окончаниях прилагательных и глаголов, совпадение форм Д. и Т. пп. существительных во мн. ч., существительное *дедушко* изменяется по 2-му склонению. Говоры сохраняют постпозитивную частицу, у которой согласование с существительным может быть морфологическим (*дом-от*, *борона-та*, *шишки-ти*) или фонетическим (*до лесу-ту*).

Для исследуемого говора характерна такая лексика, как: *го́лбец* ‘подполье’, *западня́* ‘крышка лаза в подполье’, *ра́дуга-дуга́*, *ело́ха* ‘ольха’, *бесе́дки* ‘вечерние собрания молодежи’, *по́мочь* ‘коллективная помощь в сельской работе’, *выть* ‘еда’, *молоти́ло* ‘цеп’ и ‘бьющая часть цепа’.

Говоры Нижнего и Среднего Поветлужья расположены на стыке среднерусских и севернорусских говоров, поэтому в них встречаются черты тех и других, что широко представлено вариативностью, например, в лексике: *ело́ха* и *ольха́*, *клу́ша* и *кло́ха*, *выть* и *реве́ть* ‘плакать по покойнику’ и др.

Еще по воспоминаниям 150-летней давности, оставленным местным священником, варнавинцев отличал веселый нрав: жители очень любили праздники, их не очень беспокоила нечистота жилища, они всегда подавали милостыню. И сейчас варнавинцы широко отмечают праздники как светские, так и церковные. Эта традиция не затухала даже в советские времена. Годину (годовщину, день поминания св. Варнавы Ветлужского по церковному календарю) святого Варнавы, в честь которого и назван поселок, они праздновали всегда.

В экспедиции записаны заговоры, частушки, причитания, былички, оценки диалектоносителями своего говора и соседних.

Аспиранты О.Р.Горина и В.Л.Строменко провели экспедицию в **Кировскую область** (июль, август - сентябрь). Обследовано 11 населенных пунктов из пяти районов Кировской области — Бобинского, Кирово-Чепецкого, Оричевского, Слободского, Юрьянского; сделано записей на 28 часов звучания. При сборе материала особое внимание обращалось на специфику интонации вятских говоров и способы передачи в них чужой речи.

Интонация вятских говоров, относящаяся к севернорусскому типу, имеет ряд особенностей, не характерных для интонации литературного языка. Все они представлены в речи информантов: пословное акцентное выделение, участки монотонной, безакцентной речи, интонация незавершенности в повествовательных высказываниях, высокий темп речи, усиленное начало фразы и др.

В собранном материале представлены как разговорные, так и чисто диалектные особенности передачи чужой речи. К диалектным особенностям относятся использование в качестве вводного компонента частиц *мол*, *де*, *дескать*, а также отсутствие вводного компонента.

В речи информантов встречаются случаи препозиции, интерпозиции и постпозиции авторских слов. Зафиксировано автоцитирование, цитирование лиц противоположного пола и официальных источников (радио, телевидение). Прочие особенности передачи чужой речи в вятских говорах на всех уровнях языка могут быть выявлены при тщательном исследовании, в том числе при помощи компьютерного анализа. Чрезвычайно важно, что материал дает возможность сравнить особенности цитирования в речи неграмотных и малограмотных информантов и образованных жителей села.

Полевой сезон 2002 года завершила экспедиция в с. **Веретье Острогжского района Воронежской области** (11-17 ноября). Она носила комплексный, диалектологический и этнолингвистический, характер. Кроме сотрудников Института русского языка О.Г. Ровновой и Д.М. Савинова, в ней участвовала сотрудница Института славяноведения РАН О.В. Белова. Выбор для обследования говора с. Веретье был обусловлен тем, что в начале 1950-х годов во время сбора материала для Диалектологического атласа русского языка здесь были обнаружены архаические типы диссимилятивного аканья и яканья, в целом редко встречающиеся в воронежских говорах. Об этом в свое время писали Т.Г. Строганова (Одна из особенностей южнорусского вокализма // Вопросы языкознания, 1955, № 4) и К.Ф. Захарова (Архаические типы диссимилятивного яканья в говорах Белгородской и Воронежской областей // Материалы и исследования по русской диалектологии: Новая серия, Т. I. М., 1959). Задача нынешней экспедиции заключалась в том, чтобы установить современное состояние говора с. Веретье.

Во время работы было опрошено 11 информантов и записано на магнитофон 10 часов звучащей речи. Материал показал, что в говоре по-прежнему последовательно сохраняются архаические типы диссимилятивного яканья и аканья, а также имеется ряд других архаических фонетических явлений: рефлекс /Ѣ/, фонем /o/ и /ω/, отсутствие перехода *e* в *o*, представленное здесь только в личных формах глагола (*нес[é]шь, пропад[é]шь, жив[é], тек[é]*), произношение [x], [xв], [xв'], [xф], [xф'] на месте /ф/, /ф'/ ([x]ронт, тор[x] 'торф', Арé[x]овна (Арефьева), итра[x]ова́ли, ту́[x]ли, [Xв]оми́нична, [xв]ойé 'фойе', ра[xв']ина́дик, о[xф]о́рмили, [xф']евра́ль, за[xф']икси́ровали, [xф']и́нны). Кроме того, в говоре отмечено произношение долгого мягкого согласного на месте сочетания «мягкий согласный + j» (*Верé[т'т']е, ма[д'д']я́ры, о́се[н'н']ю*), произношение твердого [л] в словах, которые в литературном языке произносятся с мягким [л'], и наоборот (*ш[л]ы 'шли', не[л]зя́, венча́[л]ных, отде́[л]но, самостояте[л]но, си́[л]ные, бо[л]шой, па́[л]цы; мо[л']ча́ла, мо[л']чи́ть, чу[л']ки́*).

Из морфологических явлений наиболее яркими являются следующие. Существительные с ударными и безударными окончаниями, относящиеся в литературном языке к ср. р., в говоре, сохраняя в падежной парадигме окончания 2-го склонения, синтаксически ведут себя как существительные ж. р., на что указывают формы согласующихся с ними слов: *моя звяно́, такая полотéнца у меня была; лека́рства какая дорогая; моя де́тства прошла на конце* (деревни); *в эту вре́мя; на нашей кла́дби́ше; на свою кла́дби́ше; в какой звяне́ двадцать человек*. Гораздо реже такие существительные выражают женский род в косвенных падежах морфологически: *сялу́ всю сожгли; яйцу отдашь*.

В говоре употребляется форма существительного П. п. мн. числа с предлогом *по-* в соответствии с формой Д. п. других говоров и литературного языка:

ходили **по сёлах** волки; **по могилках** брызгала; ходили иконы снимали **по хатах**; **по воскресеньях** тока; **по окнах** лазили; **по хуторах**; стали разбирать **по домах** технику; **по этих могилках**; дети **по разных сторонах** живут; **по чужих сёлах** ходили; пел **по мёртвых**.

В форме Р. п. ед. числа прилагательных последовательно употребляется окончание *-оуо*. Местоимения *тобе, собе* имеют в говоре варианты с основой на *-j*: **тоё** мисочку, **тоё** и **тоё**; **мы сами соё**, **они сами соё**; **надо всё на соё** несть.

Глаголы исконно 2-го спряжения с безударными окончаниями имеют в форме 3-го лица мн. числа окончание 1-го спряжения *-уть* (*хóдють, вíдють*, как *пóлють, мо́ють*). Формы 3-го лица ед. и мн. числа имеют окончания с *-ть* и без *-ть*. Распределение этих окончаний в зависимости от спряжения и ударения довольно сложно: окончание без *-ть* характерно для глаголов 1-го спряжения с ударными и безударными окончаниями в форме 3-го лица ед. числа (*живé, сдéлае*), для глаголов 2-го спряжения в формах 3-го лица мн. числа под ударением (*они хрaня́*) и 3-го лица ед. числа без ударения (*она ухóдя*); окончание с *-ть* характерно для глаголов 1-го спряжения в форме 3-го лица мн. числа под ударением (*живу́ть*), для глаголов 2-го спряжения в форме 3-го лица ед. числа также под ударением (*сиди́ть*) и в форме 3 л. мн. числа общего спряжения без ударения (*вя́жутъ, ва́рютъ*). В сфере акционального словообразования продуктивен дистрибутивный способ действия с приставкой *по-*: *Маленькие были, на печь позалезли*; *с Воронежа это попривозили*; *ещё колхозов не было, попомерли мои родители*.

Среди служебных частей речи отмечены следующие явления: разделительный союз *чи* (*мы живые чи нет; чи попродали, чи попроели эти колокола; я ня помню, чи я жила́ чи нет*), подчинительный уступительный союз *хай* 'хотя' (*хай мене повязуть – у мене пустой карман; хай я получу пенсию 12 рублей, и всё покупала и всё было*).

Диалектная лексика представлена такими словами, как: *дóси* 'до сих пор', *дюрка* 'дырка', *земь* 'земля', *кошеня́та* 'котятa', *курéнь* 'плохой, старый дом', 'шалаш', 'собачья конура', *кухлик* 'глиняный кувшин с отбитым горлом', *приса́день* 'палисадник', *пря́ха* 'прялка', *скрозь* 'езде', *ту́сьменный* 'хмурый, бессолнечный' (день), *щети́ть* 'утеплять соломой хату'.

Этнокультурная специфика с. Веретье состоит в том, что оно окружено украинскими селами. При этом в его южнорусском говоре не было обнаружено влияния украинского языка. Не обнаружено влияния украинской традиции и в сфере духовной культуры. В с. Веретье сохраняется свойственная южнорусской территории календарная обрядность (наличие в комплексе рождественской святочной обрядности таких элементов, как *колéда* и *овсéня*; поливание могил как способ вызывания дождя); в селе живо представление о «знающих» и «оборотничестве», о магии и ведовстве («Черная Мага»). Здесь жива также традиция духовных стихов, которые называются *пса́льмы* и тексты которых характеризуются хорошей сохранностью. Собранный языковой и этнолингвистический материал свидетельствует о том, что на территории Острогожского района Воронежской области сосуществуют, но не перемешиваются две культурные традиции – русская («москальская») и украинская («хохольская»). Такая кросскультурная ситуация включает в себе богатые перспективы для дальнейшего изучения.

Обзор подготовлен *О.Г.Ровновой* и *Т.Б.Юмсуновой*

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

---

Глубокоуважаемая редакция!

Мне хотелось бы внести коррективы и дополнения в мою публикацию под названием «Из истории русской орфографии: Письмо немецкому естествоиспытателю о пользе буквы Ъ», нашедшую место на страницах вашего журнала – № 1(3) за 2002 г. (с. 263–291). В ней шла речь об одном старинном орфографическом споре в петербургской гостинной, случившемся в конце ноября 1829 года, и об отражении этого спора в «Литературной газете» в апреле следующего 1830 года.

На с. 266 мной сделана неправильная конъектура (на что мне указал И.С. Сидоров) в последней фразе «Челобитной отъ ера», относящейся к началу 1780-х годов: «Челобитную писалъ оной же типографіи <переб>орщикъ <?> Елисей Еролюбовъ»; в сноске к конъектуре я указал: «В оригинале: тередорщикъ». Слово «тередорщикъ» издавна существовало в русском языке; соответствующая словарная статья имеется уже в «Словаре Академии Российской», часть VI, 1794 г., стб. 99: «*Тередуриць*, ка. с. м. См. Печбтнкъ». Рядом – словарные статьи однокоренных слов: «ТЕРЕДУРИЮ, дуришь, дурить. гл. д. Печатаю, тисню»; «*Тер<e>дуреніе*, нія. с. ср. Тисненіе, печатаніе»; «*Тередурицьковъ*, ва, во. и *Тередуричьій*, чья, чье. прил. Тередорщику, тередорщикамъ принадлежащій, приличный». (Что же касается «переборщика», такого слова я не нашел ни в одном из русских словарей, так что его следует признать плодом моей словотворческой фантазии.)

Однако для обнаружения этого старинного типографского термина столь глубоко в старину уходить не надо: он есть в словаре В.И. Даля и в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера, в IV томе которого на с. 46 (по второму русскому изданию – 1986–1987 гг.) читаем: «**тередурить** «печатать», *тередуриць* «печатник»; производные от \**тередур* из ит. *tiratore* «печатник»: *tigare* «тащить», напр. *t. un foglio di stampa* «отпечатывать лист».

В связи с итальянским происхождением данного слова интересны указания Я.К. Грота в его «Заметке о некоторых старинных технических терминах русского языка» (Я.К. Грот, «Филологические разыскания», изд. 4-е, СПб., 1899, с. 215–219; цитата на с. 219): «Въ отношеніи къ стариннымъ типографскимъ терминамъ весьма важно и любопытно замѣчаніе г. Румянцова, сдѣланное в 1869 году на московскомъ археологическомъ сѣздѣ, объ итальянскомъ происхожденіи нѣкоторыхъ изъ этихъ терминовъ. Г. Гатцукъ, в статьѣ «Очеркъ исторіи книгопечатнаго дѣла въ Россіи» <сноска: «*Русскій Вѣстникъ* 1872, май, стр. 333»>, хотя и не допускаетъ, чтобы эти названія были заимствованы непосредственно изъ Италіи, и именно изъ Венеціи, однакожь приводитъ ихъ съ указаніемъ тѣхъ итальянскихъ словъ, изъ которыхъ они передѣланы: *тередориць* отъ *tiratore* (нѣм. *drucker*, печатник); *батыриць*, накладчикъ краски на литеры, набойщикъ – отъ *battitore*; *маца* – отъ *mazza* <‘кувалда, ручной молот, молот’> (ново-нѣм. *ballen*); *марзанъ* – *margina* (нѣм. *stege*); *тимпанъ* – отъ *timpano* (нѣм. *deckel*); *фрашкетъ* – отъ *frascato*; *пунсонъ*, рѣзанная на стали буква для выливанія изъ мѣди матриць, – отъ *punzione* (нѣм. *stempel*); *штанба*, книгопечатный станокъ и всѣ вообще принадлежности – отъ *stampa*

(нѣм. druckerei). <...> почему же невѣроятно, чтобы эти термины были заимствованы русскими прямо из источника, когда сношенія съ Италією и знакомство Москвы съ итальянскимъ искусствомъ началось уже за цѣлое столѣтіе до введенія книгопечатанія въ Россіи?».

Обращаясь к нашей современности, замечу, что поисковая машина Яндекс в Интернете на запрос «тередорщик» выдала 21 контекст. Поэтому мне остается принести извинение редакции и читателям за свою текстолого-лексикологическую небрежность.

Другие мои коррективы относятся к библиографическим и реальным комментариям в названной выше публикации. Выяснилось (по указанию И.Г. Добродомова), что в XIX столетии история описанного орфографического спора привлекла гораздо большее внимание журналистов и филологов, чем это было мной представлено. Кроме указанных мной (на с. 265) трех фактов перепечатки материалов из «Литературной газеты» 1830 г., было еще два: (1) в журнале «Маяк», 1842, т. IV, кн. VIII, с. 64–76 (раздел «Смесь»), эти материалы были полностью перепечатаны, правда, с ошибками, с внесенными публикатором курсивными выделениями фрагментов текста, с заменой готической транскрипции на обычную антикву; (2) в журнале «Древняя и новая Россия», 1880, т. XVI, № 2, с. 374–378, П.А. Гильтебрандт в отделе «Областная печать и современная летопись» опубликовал заметку «Князь Петръ Андреевичъ Вяземскій о буквѣ Ъ», откликнувшаяся на незадолго до этого изданный второй том собрания сочинений Вяземского, откуда Гильтебрандтъ перепечатал значительную часть письма от буквы Ъ, приписанного им Вяземскому (как и в самом собрании сочинений). Весьма любопытно, что в том же выпуске «Древней и новой России» на с. 414–415 обнаружилась публикация под названием «О буквѣ Ъ», содержащая – без каких-либо комментариев (в конце указано: «Сообщ. Ив. Павловскій») – список «Челобитной от ера», существенно расходящийся с тем, о котором шла речь в моей публикации (в частности, вместо «тередорщикъ» там фигурирует такой лексикологический монстр: «тередаридоль»).

В уже упомянутых «Филологических разысканиях» Я.К. Грота (1873), выдержавших в XIX в. четыре издания, была рассказана история орфографического спора в петербургской гостиной, причем указано конкретное место, где он произошел: «Въ исторіи нашего *ера* случайно является также одно изъ знаменитѣйшихъ именъ европейской науки, впрочемъ опять же на сторонѣ противниковъ этой буквы. Находясь въ Петербургѣ въ 1830 году <ошибка Грота: Гумбольдт покинул Петербург в декабре 1829 г.>, Александръ Гумбольдтъ на вечерѣ у известнаго А. Н. Оленина <сноска: «Слышано отъ графа Ѳ. П. Литке, бывшаго также на этомъ вечерѣ»>, выразилъ свое мненіе о совершенномъ излишествѣ *ера* въ нашей азбукѣ» (Я.К. Грот. Филологические разыскания. СПб., 1873, с. 497). Тем самым вносится корректива в мое замечание на с. 264: «Неизвестно, в чьем доме Гумбольдт критически отозвался о статусе буквы ъ <...>» – это было в доме А.Н. Оленина на Мойке. И теперь мы знаем следующие имена участников орфографического спора: А. Гумбольдт, А.А. Перовский, Д.Н. Блудов (оппоненты Гумбольдта), Ф.П. Литке, А.Н. Оленин. Пушкина среди них, увы, быть не могло: после неудачного сватовства к А.А. Олениной летом и осенью 1828 г. поэт был неприязненно настроен к семейству Олениных. Впрочем,

Пушкин встретился с Гумбольдтом день-два спустя в салоне Е.М. Фроловой-Багреевой на Невском проспекте, однако о том, затрагивалась ли при этом тема ера, нам пока ничего не известно...

Любопытно, что орфографическую публикацию в «Литературной газете», с выражением «челобитная отъ буквы ъ» в предуведомлении Вяземского, спустя четыре с половиной года вспомнил Ф.В. Булгарин, печатая в «Северной пчеле» (1834, № 270, 27 ноября, с. 1079–1080), в разделе «Словесность», свой сатирический очерк под названием «Челобитня словъ: сей, оный, кой, понеже, поелику и якобы (изгоняемыхъ безъ суда и слѣдствія изъ Русскаго языка), ко всѣмъ грамотнымъ Русскимъ людямъ». Это было направлено против «Библиотеки для чтения» и ее редактора О.И. Сенковского, ратовавшего за изгнание названных слов из языка как «канцелярских». У Булгарина эти слова вспоминают свое славное языковое прошлое и жалуется на судьбу, подобно букве Ъ в письме Перовского: «Вѣроу и правдоу служили мы нѣскольکو тысячелѣтій, въ радостяхъ и невзгодахъ народныхъ и семейныхъ <...>. Отъ Духовной Мономаха и Правды Русской, до послѣдняго нумера Сенатскихъ Вѣдомостей, отъ Пѣсни о полку Игоревѣ и Несторовыхъ лѣтописей, до послѣдняго произведенія Московской изящной Словесности, мы преспокойно ложились на страницы, поучая, исправляя, забавляя и усыпляя православный народъ Русскій. – Ни великій Ломоносовъ, ни творческій Державинъ не избѣгали насъ, и даже краснорѣчивый Карамзинъ и геніальный Пушкинъ жили въ ладу съ нами. Вдругъ нашла туча, раздался громъ и чернильный океанъ взволновался, угрожая намъ гибелью и истребленіемъ. <...> насъ хотятъ истреблять безъ всякой причины, по своенравію, потому только, что мы употребляемся въ канцелярскомъ слогѣ, какъ говоритъ Библиотека для Чтенія». (Сведениями о публикации Булгарина я обязан И.С. Сидорову.)

Наконец, последнее. На с. 278 я высказал такое предположение: «<...> в записях оригинала «предъ-ы-ди-щій» (здесь готический дефис – лишний) и «ѣ-иже-ні-је», передающих звучание слов «предъидущій» и «сѣуженіе», первый дефис, по-видимому, отмечает раздельность произношения – может быть, «шваобразный» призвук <...>». И.Г. Добродомов предложил другое объяснение первых вхождений дефиса в указанные слова: они могли отмечать наличие гортанной смычки после предшествующей согласной.

Приношу благодарность И.Г. Добродомову и И.С. Сидорову за весьма важные замечания к моей публикации. Мне остается лишь сожалеть о том, что я не предоставил этим коллегам текст моей публикации еще на стадии ее подготовки.

Н. В. Перцов